Е.Р. Пономарев

И.А. БУНИН И Л.Н. ТОЛСТОЙ (1880-е – 1900-е годы)

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БУНИН


ИМЛИ
РАН
1932


АКАДЕМИЧЕСКИЙ
БУНИН
А
Б

Серия
«Академический Бунин»

Редакционная коллегия

А.В. БАКУНЦЕВ, Т.М. ДВИНЯТИНА, Р.Д. ДЭВИС,
С.Н. МОРОЗОВ, В.В. ПОЛОНСКИЙ, Е.Р. ПОНОМАРЕВ

5

МОСКВА
ИМЛИ РАН
2026

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Е.Р. ПОНОМАРЕВ

И.А. БУНИН и Л.Н. ТОЛСТОЙ
(1880-е — 1900-е годы)

МОСКВА
ИМЛИ РАН
2026

УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)
П 56

Монография подготовлена в Институте мировой литературы
им. А.М. Горького РАН в ходе работ по гранту Российского научного фонда
(проект № 22–18-00347)

Издание осуществлено за счет средств гранта Российского научного фонда
(проект № 22–18-00347–П)

Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук

Серия
«Академический Бунин»

5

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
С.Н. Морозов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук,
А.Д. Степанов, доктор филологических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет
И.Н. Сухих, доктор филологических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет

Пономарев Е.Р.
П 56 И.А. Бунин и Л.Н. Толстой (1880-е — 1900-е годы) / Е.Р. Пономарев. — М.: ИМЛИ РАН, 2026. — 392 с. — (Академический Бунин; 5).
https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0871-4
https://elibrary.ru/AAHUIM
ISBN 978-5-9208-0871-4 (вып. 5)
ISBN 978-5-6043382-4-7 (вып. 1)

Монография представляет результаты новейшего исследования, посвященного постоянному присутствию личности и творчества Л.Н. Толстого в творческой биографии И.А. Бунина. Исследование охватывает период от начала литературной деятельности Бунина до смерти Толстого (с конца 1880-х до 1910 г.; личные и творческие связи, по сути, завершаются в первой половине 1900-х гг.; после смерти великого писателя отношение Бунина к нему перейдет на иной уровень). Исследованы личные отношения писателей, толстовские мотивы в раннем творчестве Бунина, а также особенности сюжетосложения некоторых произведений Бунина, в которых он пытается «переписать Толстого».

Ключевые слова: И.А. Бунин, раннее творчество, Л.Н. Толстой, толстовство, народничество, поэтика, проза, сюжетология, художественные стили, переписывание классического сюжета

УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-9208-0871-4 (вып. 5)
ISBN 978-5-6043382-4-7 (вып. 1)

© Пономарев Е.Р., текст, 2026
© Прокофьева Т.О., оформление, 2026
© ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7

Глава первая
РАННИЕ ГОДЫ: ТОЛСТОВСТВО И ВЫБОР ПУТИ 13

1. Духовная близость и первые «невстречи». 13

2. Выбор убеждений: путь от народничества к толстовству и обратно.. . . . 18

3. Толстовство в жизни русского общества 1880–1890 годов 31

4. Бунин-толстовец. «Не опрощаться до конца» 48

5. Учение Толстого в сознании Бунина. 71

Глава вторая
ТОЛСТОВСКИЕ МОТИВЫ РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА И.А. БУНИНА 85

1. Опережая Толстого: близость художественных мировоззрений 86

2. Толстовский «тон» и толстовство как тема 90

3. Толстовство или народничество? Рассказы из «Русского богатства» . . . 97

4. «На даче». Рассказ о толстовце или толстовский рассказ? 108

5. Жизнь и литература. Письмо 1896 года. 121

6. Переосмысление толстовского наследия:
творчество второй половины 1890-х годов 126

7. Модернизм и неореализм. 135

Глава третья
БУНИН-НОВАТОР НА ФОНЕ ПОЗДНЕГО ТОЛСТОГО: 1900-е годы 139

1. Освобождение от толстовства. Расхождение с Толстым. 139

2. Системная перестройка бунинской поэтики: растворение
идеологического, исчезновение толстовских сентенций. 158

3. «Заповедь радости» в поэзии Бунина. 171

4. Переписать Толстого: «Поликушка» и «Кукушка». 177

5. Толстовская идея в модернистском контексте: рассказ «Астма» 182

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 202
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рассказы И.А. Бунина (тексты первых публикаций) 206
Два странника 206
День за день. Старая история 214
Тарантелла (Из жизни деревенской интеллигенции) 219
На даче 261
В деревне. Из детских воспоминаний 304
Свиданье 310
Кукушка 317
Астма 331
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Летопись личных встреч (включая «невстречи») и переписки И.А. Бунина и Л.Н. Толстого 357
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 358
Указатели 372
Указатель имен 372
Указатель географических названий 380
Указатель произведений И.А. Бунина 382
Указатель произведений Л.Н. Толстого 385
Условные сокращения 387

ВВЕДЕНИЕ

Тема «И.А. Бунин и Л.Н. Толстой» представляется принципиально важной как для описания творческого пути Бунина, так и для характеристики литературного процесса 1880–1900 гг. Любовно-внимательное отношение к Льву Толстому, многолетнее чтение и перечитывание его произведений, сознание собственной близости творческой манере Толстого, а также использование художественных находок Толстого в своем творчестве очень характерны для творческой биографии «последнего русского классика». Толстой был для Бунина образцовым писателем, величайшим мастером из всех живущих в его эпоху и, возможно, вершинным автором всей мировой литературы — наподобие Леонардо да Винчи в изобразительных искусствах[1]. Но можно сказать, что исключительное уважение к Толстому, перечитывание и обсуждение хорошо знакомых произведений более раннего периода, а также внимательное чтение и восхищение новейшими произведениями в высшей степени характерно для всего литературного процесса тех трех десятилетий, когда Бунин рос, мужал, начинал литературное творчество, входил в моду и становился одним из самых ярких авторов неореалистического направления. Бунин, таким образом, в своем обожании Толстого-писателя следует за культурным кодом эпохи, но переживает его очень глубоко и лично.

Естественно, что тема «И.А. Бунин и Л.Н. Толстой» привлекала внимание исследователей практически с первых лет существования научного буниноведения. Однако в полном объеме эта тема практически не изучалась: ученые обычно ограничивались тем или иным ее аспектом. В биографическом аспекте (личные связи писателей, их мнения друг о друге, отзывы о творчестве, от-

[1] В 1940 г. Бунин сделал в дневнике такую запись о Леонардо: «Леонардо да Винчи, переселившись в Милан, предлагал свои услуги Людовику Моро — между прочим в качестве скульптора и живописца: “во всем этом, светлейший государь, я могу делать все, что только можно сделать, — *по сравнению с кем угодно*”. Вот это я понимаю!» (*Бунин И.А.* Дневники 1885–1953 гг. / предисл., подгот. текста и примеч. Т.М. Двинятиной, О.А. Коростелева, С.Н. Морозова // Литературное наследство. Т. 110: И.А. Бунин. Новые материалы и исследования: в 4 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2022. Кн. 2. С. 262). В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: *ЛН–110* с указанием книги и страницы.

ношение Бунина к памяти Толстого) наиболее важны статьи А.К. Бабореко[2], в дальнейшем обобщенные в его книге «И.А. Бунин: Материалы для биографии с 1870 по 1917», вышедшей первым изданием в 1967 г.[3], вторым, значительно дополненным, в 1983 г.[4] и наконец третьим в 2004 г.[5] Отметим также разыскания Н.М. Кучеровского (статья «“Мундир” толстовства (Молодой И.А. Бунин и толстовство)»[6], позднее включенная в книгу Кучеровского «Бунин и его проза (1887–1917)»)[7]. Обобщение биографических разысканий было сделано в «Летописи жизни и творчества И.А. Бунина», создаваемой С.Н. Морозовым[8].

Сопоставление художественных систем Бунина и Толстого, а также выявление стилистической близости, тематических сближений и реминисценций было начато О.Н. Михайловым (статья 1959 г. «Бунин и Толстой»)[9]; продолжена Р.С. Спивак в целом ряде статей[10], а также в кандидатской диссертации «И.А. Бунин и Л.Н. Толстой (Наблюдения над соотношением художественных стилей)»[11]; отметим также работы В.А. Гейдеко (статья «Толстовство в творчестве Бунина»[12] и бунинский сюжет в его монографии «Чехов и Бунин»[13]), а также книгу В.Я. Линкова «Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина»[14]. Монография Н.М. Кучеровского «Бунин и его проза (1887–1917)» занимает важное место и в этом ряду.

---

[2] *Бабореко А.К.* Бунин о Толстом // Яснополянский сборник: статьи и материалы, 1910–1960. Тула: Кн. изд-во, 1960. С. 129–134.

[3] *Бабореко А.К.* И.А. Бунин: Материалы для биографии с 1870 по 1917. М.: Худож. лит., 1967.

[4] *Бабореко А.К.* И.А. Бунин: Материалы для биографии с 1870 по 1917. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1983.

[5] *Бабореко А.К.* И.А. Бунин: жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2004.

[6] *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства (Молодой И.А. Бунин и толстовство) // Из истории русской литературы XIX века. Калуга: [б. и.], 1966. С. 110–131.

[7] *Кучеровский Н.М.* Бунин и его проза (1887–1917). Тула: Приокск. кн. изд-во, 1980.

[8] Летопись жизни и творчества И.А. Бунина / сост. С.Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Т. 1: 1870–1909. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: *Летопись* с указанием тома и страницы.

[9] *Михайлов О.Н.* Бунин и Толстой // Лев Николаевич Толстой. М.: МГУ, 1959. Сб. 2. С. 203–216

[10] *Спивак Р.С.* «Живая жизнь» И. Бунина и Л. Толстого (некоторые стороны эстетики Бунина в свете традиций Л. Толстого) // Учен. зап. Пермск. гос. ун-та. Пермь, 1966. № 155. С. 87–128; *Спивак Р.С.* Принципы художественной конкретизации в творчестве Л. Толстого и И. Бунина: деталь // Учен. зап. Пермск. гос. ун-та. Пермь, 1968. № 193. С. 247–277; *Спивак Р.С.* Русская деревня в изображении И.А. Бунина и Л. Толстого // Вестник Московского гос. университета им М.В. Ломоносова. Сер.: Филология. 1969. № 3. С. 41–48.

[11] *Спивак Р.С.* И.А. Бунин и Л.Н. Толстой (Наблюдения над соотношением художественных стилей): Автореф. канд. дисс. М.: МГУ, 1967.

[12] *Гейдеко В.А.* Толстовство в творчестве Бунина // Бунинский сборник. Орел, 1974. С. 240–250.

[13] *Гейдеко В.А.* А. Чехов и Ив. Бунин. М.: Сов. писатель, 1976; *Гейдеко В.А.* А. Чехов и Ив. Бунин. 2-е изд. М.: Сов. писатель, 1987.

[14] *Линков В.Я.* Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина. М.: МГУ, 1989.

Во многих общих работах, посвященных творчеству Бунина, тема толстовского влияния или сопоставление художественных систем Бунина и Толстого встречаются регулярно. Из монографий более раннего периода назовем работы Т.М. Бонами «Художественная проза Бунина. 1887–1904»[15], В.Н. Афанасьева «И.А. Бунин»[16], А.А. Волкова «Проза Ивана Бунина»[17], книгу А.А. Нинова «М. Горький и Бунин. История отношений. Проблемы творчества», выдержавшую два издания[18], и две книги О.Н. Михайлова «Строгий талант. Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество» и «Бунин. Жизнь и творчество»[19].

Из монографий более близкого нам периода назовем работы Ю.В. Мальцева «Иван Бунин. 1870–1953»[20] и О.В. Сливицкой «"Повышенное чувство жизни": мир Ивана Бунина»[21], а также бунинскую часть монографии Б.В. Аверина «Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции»[22]. Отметим и пристальное внимание к доэмигрантскому творчеству Бунина во многочисленных работах В.А. Келдыша, посвященных типологии художественных направлений Серебряного века[23]. Из авторов иностранных монографий о Бунине наиболее интересно касается толстовской темы Джеймс Вудвард (James Woodward)[24].

В 2000 г. автор настоящей монографии предпринял первый подход к комплексному изучению темы в кандидатской диссертации «И.А. Бунин и Л.Н. Толстой»[25]. В этой работе были соединены различные аспекты изучения темы и добавлен третий (помимо биографического и творческой близости) аспект: Толстой как постоянная тема творчества Бунина. Однако в тот период многие источники, известные нам сегодня, еще не были введены в научный оборот. Поэтому горизонт актуальности в современном буниноведении невелик. В настоящей работе старая диссертация используется очень незначительно.

---

15 *Бонами Т.М.* Художественная проза Бунина, 1887–1904. [Владимир]: Владимирск. кн. изд-во, 1962.

16 *Афанасьев В.Н.* И.А. Бунин. М.: Просвещение, 1966.

17 *Волков А.* Проза Ивана Бунина. М.: Московский рабочий, 1969.

18 *Нинов А.А.* М. Горький и Бунин. История отношений. Проблемы творчества. Л.: Сов. писатель, 1973; *Нинов А.А.* М. Горький и Бунин. История отношений. Проблемы творчества. 2-е изд. Л.: Сов. писатель, 1984.

19 *Михайлов О.Н.* Строгий талант. Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество. М.: Современник, 1976; *Михайлов О.Н.* Бунин. Жизнь и творчество. Тула: Приокское кн. изд-во, 1987.

20 *Мальцев Ю.В.* Иван Бунин, 1870–1953. М.: Посев, 1994.

21 *Сливицкая О.В.* «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004.

22 *Аверин Б.В.* Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003.

23 *Келдыш В.А.* Русский реализм начала XX века. М.: Наука, 1975; *Келдыш В.А.* О «серебряном веке» русской литературы: Общие закономерности. Проблемы прозы. М.: ИМЛИ РАН, 2010.

24 *Woodward J.* Ivan Bunin: A Study of His Fiction. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1980.

25 *Пономарев Е.Р.* И.А. Бунин и Л.Н. Толстой: Автореф. канд. дисс. СПб: СПбГУ, 2000.

За последние десять-пятнадцать лет буниноведение существенным образом изменилось. Во-первых, был введен в научный оборот огромный пласт новых источников и документов, которые тогда были недоступны, а многие даже неизвестны. Во-вторых, появились новые интерпретации бунинского творчества и новые представления о взаимодействии Бунина с другими писателями эпохи.

Эта монография ограничивается ранним творчеством Бунина — периодом малоизученным и в биографическом плане (в последнее время появилось значительное количество источников, ранее неизвестных; они дают возможность по-новому посмотреть на жизнь юного Бунина) и в плане творческом (исследователи, как правило, быстро пробегали начальный этап литературной работы Бунина, переходя к более зрелым произведениям). Период раннего творчества Бунина почти совпадает с периодом «живого Толстого»: это эпоха, когда и Толстой и Бунин, в тот момент еще неисоизмеримые по своей писательской значимости, творили рядом, искали новые формы и оба были, в бахтинском значении слова, «не завершены».

Толстой в ту эпоху был для Бунина прежде всего человеком, чрезвычайно интересным, но весьма непростым в общении, с которым он долго искал знакомства, наконец познакомился, но встречался после этого всего несколько раз. Общение между писателями было весьма фрагментарным (вероятно, Бунин чувствовал некую досаду от того, что ему не удалось общаться с Толстым больше и ближе), но возможность поговорить с Толстым у Бунина оставалась всегда: показательно, что во время последней встречи на Арбате в 1900 г. Толстой приглашал Бунина заходить. Ощущение Толстого своим современником и почти соседом, живущим неподалеку, определяет все размышления Бунина о Толстом вплоть до осени 1910 г.

Во-вторых, в период толстовского «послушания», в 1894 г. и в первой половине 1895 г. (вероятно, и некоторое время после) Бунин воспринимал Толстого как «учителя жизни». Это отношение, думается, в дальнейшем наложилось на шаблон «великий современник» и определило то восторженное чувство в отношении Толстого, которое сохранилось у Бунина навсегда (отметим, что до переезда в Полтаву Бунин мог высказаться о Толстом весьма критически). Толстой для него (в отличие, например, от А.П. Чехова) — человек не от мира сего, стоящий надо всеми остальными, по-настоящему великий при жизни. При этом вплоть до осени 1910 г. сохраняется понимание, что формы проявления этого величия могут разниться и меняться, поскольку меняется сам Толстой. Его слова, поступки и писания далеко не всегда понятны каждому (вполне возможно, что и невнимание по отношению к себе Бунин списывал именно на это) и тем более не предсказуемы. Вот эта «загадка Толстого» (как назовет свою книгу Марк Алданов в 1923 г.[26], Бунин ее внимательно прочи-

[26] *Алданов М.* Загадка Толстого. Берлин: И.П. Ладыжников, 1923.

тает, со многими положениями будет спорить, но основной посыл заглавия он, безусловно, разделял) постоянно сопровождает в сознании Бунина чувство Толстого-соседа, Толстого-современника.

В-третьих, Толстой для Бунина в эту эпоху одновременно и живой классик и литературный ориентир. Но вплоть до 1910 г. (точнее, до 1911–1912 гг., времени выхода «Посмертных художественных произведений Льва Николаевича Толстого», познакомивших читательскую публику с художественным творчеством позднего периода, неизвестным ранее) этот ориентир тоже был изменчивым и неоднородным, ибо творчество Толстого Бунин, как и все прочие читатели-современники, воспринимал в динамике. Представление о Толстом-писателе менялось с каждым новым опубликованным текстом. Вехами для Бунина стали, во-первых, «Крейцерова соната» (почти одновременно с которой он прочитал и всего более раннего Толстого), затем — «Хозяин и работник», возможно, «Власть тьмы» и, наконец, «Воскресение» (о котором в год первой публикации Бунин хранил красноречивое молчание). Но еще более нравится Бунину Толстой «до перелома»: «Казаки», «Поликушка», «Война и мир», «Анна Каренина». Произвели на него сильнейшее впечатление и «Посмертные художественные произведения».

Толстой, в свою очередь, почти не выделял Бунина из общего хора молодых литераторов. Его недолгое внимание по отношению к Бунину определялось не интересом к молодому писателю, а заботой о приезжавшем к нему толстовце со знакомой фамилией. Тем не менее, некоторые произведения Бунина были Толстым замечены и оценены.

В монографии собраны все известные на сегодняшний день факты, касающиеся личных отношениях писателей, а также их суждения друг о друге. В биографии Бунина юношеских лет остается довольно много неисследованных страниц по причине небольшого количества сохранившихся документов. Тем не менее, в первой главе, которую можно в целом назвать биографической, совершенно по-новому реконструированы как юношеский период восприятия Буниным Толстого, так и полтавский период жизни Бунина, включающий 1894 г., когда он искренне пытался быть толстовцем.

Что же касается толстовской тематики творчества Бунина (точнее, разнородной рецепции творчества Толстого или преломлений толстовского творчества в самобытном творчестве Бунина), то этому большей частью посвящены вторая и третья главы. Здесь, по сравнению с нашими прежними работами, сменились и сам подход и методологическая матрица. Если ранее мы ограничились, по сути, мотивно-тематическим анализом творчества Бунина, то новое исследование, сохраняя мотивно-тематический каркас, более сконцентрировано на жанровой специфике, формах сюжетосложения, оркестровке тем и связанной с этим глобальной проблематикой эпохи.

В качестве обширного Приложения к монографии публикуются тексты рассказов Бунина, наиболее важных, на наш взгляд, для изучения темы «И.А. Бунин и Л.Н. Толстой»[27]. Тексты рассказов подготовлены автором монографии по первым публикациям. Эта деталь представляется принципиально важной: тексты Бунина знакомы даже научному читателю (не говоря о широком читателе) не в синхроническом, а в диахроническом плане — по вариантам и редакциям, представляющим так называемую последнюю авторскую волю. В большинстве случаев эти варианты и редакции создавались через много лет после первых публикаций рассказов и существенно отличались от них: тексты сокращались, «улучшались» стилистически и композиционно. В результате, они далеко не всегда дают верное представление о раннем творчестве Бунина. В случае же рассказа «Астма» произошла еще более сложная трансформация текста. В эмиграции Бунин «разрезал» дореволюционный рассказ на две половины, отрезав от первой половины первую главу, а от второй половины — последнюю главу. Первая (усеченная) половина была опубликована в 1927 г. в газете «Возрождение» под заглавием «Белая лошадь» с подзаголовком «Рассказ». Вторая (лишенная первоначального финала) половина — в газете «Последние новости» в 1929 г. с тем же заглавием и подзаголовком «Из повести». Из этих двух публикаций в советских изданиях был сформирован общий текст (никогда не публиковавшийся Буниным) под заглавием «Белая лошадь», который мы и читаем по сей день как «последнюю авторскую волю».

Во избежание такого рода диахронных представлений о творчестве Бунина мы републикуем (для удобства чтения и проверки наших выводов) первые редакции рассказов, не всегда легко доступные и определенно не находящиеся у читателей под рукой, — никогда не перепечатывавшиеся с момента первой публикации. Более того, нам представляется, что эта републикация имеет в некотором роде и самостоятельное научное значение.

Автор выражает исключительную признательность Бунинской группе ИМЛИ РАН за важные советы и дополнения, сделанные во время обсуждения этой монографии. Автор благодарит Отдел русской литературы конца XIX — начала XX века за внимательное отношение к настоящему труду и важные замечания. А также лично С.Н. Морозова и А.В. Бакунцева за советы и поправки, М.Л. Спивак за ценную критику, М.В. Михайлову и С.А. Серегину за рецензирование текста, а также Е.Р. Обатнину (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН) за помощь с архивными документами, М.С. Щавлинского и Д.В. Зайцева за помощь в поиске материалов.

[27] На этом основании в Приложение 1 включен малоизвестный рассказ «День за день», опубликованный Буниным всего один раз в ранней юности в газете «Орловский вестник».

Глава первая

РАННИЕ ГОДЫ: ТОЛСТОВСТВО И ВЫБОР ПУТИ

1. Духовная близость и первые «невстречи»

Трудно сказать определенно, когда Бунин начинает думать о Л.Н. Толстом. В «Освобождении Толстого» Бунин сообщает:

> Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтений его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», — один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец (в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя) говорил:
>
> — Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал...
>
> И я смотрел на него во все глаза: живого Толстого видел![1]

В книге В.Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина» сообщения о чтении Ваней Буниным «Севастопольских рассказов», «Детства и отрочества» стоят рядом с отцовскими рассказами о собственной молодости[2]. Думается, все эти впечатления Бунина-ребенка следует воспринимать именно так — в синтезе нескольких мотивов.

В книге «Воспоминания» писатель добавил:

> Не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выделил его из прочих. Бывает, что человек открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумлением. Этого со мной по отношению к Толстому не было, такой минуты я не помню[3].

---

[1] *Бунин И.А.* Освобождение Толстого. Париж: YMCA-Press, 1937. С. 73. В дальнейшем ссылки на этом издание в тексте: *ОТ* с указ. страницы.

[2] *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.: Сов. писатель, 1989. С. 32.

[3] *Бунин И.А.* Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. С. 66.

Безусловно, Лев Толстой входил в круг чтения молодого Бунина. Первое произведение Толстого, время знакомства с которым точно документировано, — это роман «Анна Каренина» (письмо Ю.А. Бунину от 14 октября 1888 г.)[4]. Но это уже юношеское чтение. Наверное, Толстой занимал какое-то место и в чтении Бунина-мальчика.

Некоторое представление о толстовском мифе в ранней жизни Бунина дает ряд страниц романа «Жизнь Арсеньева». Учитывая литературную природу этого произведения и его общенационально-историческую атмосферу (одним из тематико-жанровых пластов этого сложного текста является «история моего современника»[5]), мы можем транспонировать мировосприятие Арсеньева (в котором соединились сознание юноши конца XIX века и сознание русского эмигранта во Франции конца 1920-х гг.) на мировосприятие юного Бунина. Восприятие Толстого Арсеньевым вмещает комплекс мотивов: с одной стороны, это великий писатель, стоящий вне времени и пространства в ряду других классиков, с другой (что придает классике жизни и глубины) — современник, человек «нашего круга» (а некоторые его дети — «мои» ровесники) и почти сосед, с которым можно познакомиться, как с любым другим соседом. Величие Толстого только усиливается от ощущения, что он человек «нашего круга», при этом Толстому и потенциальному общению с ним (через его книги или непосредственно, если познакомиться) сообщается простота и «домашность», а также задушевность:

> Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжее поле чья-то охота вместе с охотой молодых Толстых. Как это удивительно — я современник и даже сосед с *ним*! Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все *его* — эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей: «Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне, и величия чего-то непонятного, но важнейшего...». Пьеру кто-то все говорил: «Жизнь есть любовь... Любить жизнь — любить Бога...». Это кто-то и мне всегда говорит, и как люблю я все, даже вот эту дикую ночь! Я хочу видеть и любить весь мир,

[4] *Бунин И.А.* Письма 1885–1904 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. [Т. 1] / под общ. ред. О.Н. Михайлова; подгот. текстов и коммент. С.Н. Морозова, Л.Г. Голубевой, И.А. Костомаровой. С. 15. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: *П* с указ. тома и страницы.

[5] *Пономарев Е.Р.* Преодолевший модернизм: творчество И.А. Бунина эмигрантского периода. М.: Литфакт, 2019. (Академический Бунин; вып. 2). С. 83–96. См. также: *Пономарев Е.Р.* «Жизнь Арсеньева» как история моего современника: движение автобиографических форм повествования от В.Г. Короленко к И.А. Бунину. Ч. 1 // Вестник СПбГУКИ. 2014. № 4 (21). С. 152–165; *Он же*. «Жизнь Арсеньева» как история моего современника: движение автобиографических форм повествования от В.Г. Короленко к И.А. Бунину. Ч. 2 // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 1 (22). С. 143–150.

всю землю, всех Наташ и Марьянок, я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться!»[6]

В приведенном абзаце содержится и важный художественный смысл. Мироощущения героев Толстого (а через них и самого Толстого) сливается с мироощущением Арсеньева (юный герой слышит те же слова о «Божьем величии», растворенном в мире, которые можно воспринять как большую тематическую линию всей русской литературы). Надо думать, что Бунин рано обратил внимание на обостренную силу восприятий, проявившуюся в текстах Толстого, например — точность передачи запахов или природных красок[7]. Эту обостренность восприятия Бунин ощущал и в себе самом. Ощущение растворенности в мире божественного начала, а также собственной растворенности в мире, которое сквозит в процитированном абзаце, тоже касается неких основ мировосприятия, близких у Толстого и Бунина[8]. Собственно, толстовское умение видеть мир не могло не поразить юного Бунина, поскольку и сам он многое видел так же. Речь идет о «внешней изобразительности» Бунина и Толстого, как называет этот феномен О.В. Сливицкая[9].

Можно не без оснований предположить, что прозаик Толстой (наряду, как ни странно, с поэтом Надсоном, смерть которого поразила юношу Бунина и заставила отправить первое стихотворение в журнал[10]) во второй полови-

---

[6] *Бунин И.А.* Жизнь Арсеньева. Юность. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 216.

[7] В «Освобождении Толстого» зрелый Бунин много внимания уделяет нечеловеческому обонянию Толстого. Напр., выделяет у Толстого поразительные для себя строки: "*счастливый, белый* весенний запах..." (*ОТ*, 135). Начало 11-й главы посвящено тому, как важен был для Толстого запах ландышей, грибов — какие тонкие оттенки он умел различать. Этот мотив возвращается в разных местах книги несколько раз, что подчеркивает его особую важность.

[8] В начале 4-й главы «Освобождения Толстого» приведена огромная цитата из повести «Казаки», где Оленин как бы растворяется в жизни леса. Этот отрывок, сообщает Бунин, вспомнился ему, когда он прочитал в 1910 г. о смерти Толстого.

[9] *Сливицкая О.В*. «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 33 и далее.

[10] Впоследствии Бунин говорил об увлечении Надсоном как о детском и незрелом. В свое Полное собрание сочинений 1915 г. он сознательно не включил первое напечатанное им стихотворение «Над могилой С.Я. Надсона» (1887), а стихотворению «Деревенский нищий» добавил подзаголовок: «Первое напечатанное стихотворение». В «Автобиографической заметке», написанной для «Русской литературы XX века» и включенной в это собрание, он отметил: «<...> увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть» (*Бунин И.А.* Полн. собр. соч.: в 6 т. Пг.: Т-во А.Ф. Маркс, 1915. Т. 6. С. 326. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: *ПСС* с указ. тома и страницы). В.Н. Муромцева-Бунина рассказывает в «Жизни Бунина» о том, что и в молодые годы он критически относился к Надсону: «Они с Юлием подробно обсуждали стихи Надсона, и Юлий Алексеевич поражался суждениями своего младшего брата, развенчивающего российского кумира, первого, но не последнего. И в будущем многие кумиры не стали его кумирами <...>» (*Муромцева-Бунина В.Н*. Жизнь Бунина…С. 80). Однако

не 1880-х гг. олицетворял для него художественное творчество, которым он все более увлекался. Поэтому не удивителен поступок, который он совершает примерно летом 1887 г. («Летопись жизни и творчества И.А. Бунина» дает датировку «май – сентябрь; *Летопись 1*, 44): верхом отправляется в Ясную Поляну. Однако доехав до Ефремова и переночевав на скамейке в городском саду, приходит в себя и возвращается домой. Явиться к Толстому просто так было неудобно.

Очень похожее настроение сквозит и в первом письме, которое Бунин написал Толстому 12 июня 1890 г.:

> Я — один из тех многих, которые, с глубоким интересом и уважением следя за каждым Вашим словом, берут на себя смелость беспокоить Вас своими сомнениями и думами о своей собственной жизни. Я знаю при этом, что Вас, наверно, уже утомило выслушивать часто очень шаблонные и однообразные вопросы, и потому вдвойне чувствую себя неловко, прося Вас ответить, могу ли я когда-либо побывать у Вас и воспользоваться хотя на несколько минут Вашею беседою. <…>
>
> Напишите же, глубокоуважаемый Лев Николаевич, могу ли завернуть к Вам и когда. <…> (*П 1*, 77).

Сильное желание лично встретиться с Толстым поглощается в этом тексте серией извинений: автор письма понимает, что Толстому пишут очень многие, а времени для таких встреч у него совсем нет[11].

Не получив ответа на письмо, в конце этого же месяца Бунин вновь предпринял попытку знакомства: он отправился к Толстому вместе с Б.П. Шелеховым

контекст этого рассказа и его обращенность к будущему позволяют предположить, что он был записан со слов зрелого Бунина и не отражает того отношения, которое испытывал к умершему Надсону шестнадцати-семнадцатилетний Бунин.

[11] Похожее письмо (с поправкой на то, что Чехов для него — старший современник, а Толстой уже классик) Бунин напишет А.П. Чехову в начале января 1891 г.: «Начинающие “писатели” имеют обыкновение ужасно надоедать различным редакторам, поэтам, беллетристам, более или менее известным, и очень многим другим с просьбами прочесть их произведения, сказать “беспристрастное” мнение и т. д. и т. д., — я принадлежу к этим господам, сознаю, что подобные просьбы иногда просто даже нетактичны и невежливы и... все-таки предлагаю их. <…> Так как Вы самый любимый мной из современ<ных> писателей и так как я слыхал от некоторых моих знакомых (харьковских), знающих Вас, что Вы простой и хороший человек, — то “выбор” мой “пал” на Вас. К Вам я решился обратиться с следующей просьбой: если у Вас есть свободное время для того, чтобы хоть раз обратить внимание на произведения такого господина, как я, — обратите, пожалуйста. Ответьте мне, ради Бога, могу ли когда-нибудь прислать Вам два или три моих (печатных) рассказа и прочтете ли Вы их когда-нибудь от нечего делать, чтобы сообщить мне несколько Ваших заключений. Простите меня за назойливость, глубокоуважаемый Антон Павлович, и будьте снисходительны к просьбе» (*П 1*, 58). Чехов, в отличие от Толстого, на письмо ответил, но Бунин рассказов не послал.

(редактором газеты «Орловский вестник», в которой он начал активно печататься) — на сей раз не просто так, а как сотрудник провинциальной прессы. В письме Ю.А. Бунину, написанном 28 или 29 июня 1890 г., он сообщает: «<…> поехал с Шелеховым (ред<актором> “Орлов<ского> вест<ника>”) к Л. Толстому “потолковать”. Толстого не застали, и вчера я вернулся домой» (*П 1*, 31–32).

Эта история юношеских «невстреч» с Толстым важна, в первую очередь, тем упорством, с каким Бунин хочет познакомиться с писателем, уже практически признанным живым классиком. Кроме того, интересно развитие этого желания: сначала он едет сам (предполагая отрекомендоваться как сын давнего знакомого?[12]) — и, застеснявшись, не доезжает. Поведение юного Бунина в этой ситуации позволяет говорить о сложившемся отношении к Толстому именно как к кумиру. Через три года он пишет письмо с просьбой о встрече — а не получив ответа, повторяет попытку в компании со взрослым человеком, едущим к Толстому как бы по делу.

Понятно, что при таком отношении к Толстому Бунин внимательно следит за всеми выступлениями великого писателя, особенно если они как-то сокращают дистанцию между ними. Показательна, например, фраза из постскриптума его письма к Ю.А. Бунину от 20 ноября 1888 г.: «Читал ли ты у нас (каково?) в “Неделе” статью графа Льва Николаевича Толстого?» (*П 1*, 19). Речь идет об открытом письме Р. Роллану «Ручной труд и умственная деятельность: Из письма к французу», опубликованном в еженедельной петербургской газете «Неделя» за 13 ноября 1888 г. Это первое упоминание в письмах публицистики Толстого. Статья Толстого в письме не обсуждается (вероятно, содержание ее не очень интересно Бунину), выделен сам факт печатания Толстого в «Неделе», которую на тот момент Бунин уже считает главной своей литературной площадкой[13]. По этой причине в письме появилось забавное «у нас». Вероятно, тщеславие юного Бунина согревала мысль, что он печатается в том же издании, где не брезгует появляться сам Толстой.

---

[12] Так строится диалог во время первой состоявшейся встречи: «Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму?» (*ОТ* 83).

[13] Именно редактор и владелец «Недели» (а также литературного приложения к ней — «Книжек “Недели”») П.А. Гайдебуров отговорил Бунина от сотрудничества с журналом «Родина» (из-за несерьезной репутации) — первого общероссийского издания, в котором начал печататься Бунин.

2. Выбор убеждений: путь от народничества к толстовству и обратно

Молодому человеку, входившему в жизнь в конце 1880-х гг., приходилось задуматься о выборе «убеждений»[14]. Молодому журналисту, поэту и писателю они были просто необходимы: литературная среда отвергала всякого автора без четко декларируемых «принципов» (случай А.П. Чехова, едва ли не единственное исключение, показателен: отказ от выбора позиции и ясного артикулирования убеждений был совершенно не понятен всему писательскому цеху. Однако Чехов был взрослее и тверже, чем Бунин, и мог настаивать на своей «аполитичной» позиции). Девятнадцатый век вообще был временем «принсипов», как выражался Павел Кирсанов в «Отцах и детях» Тургенева, а разночинная среда, в которой Бунины оказались в силу разорения семьи, требовала обязательно принять одну из распространенных общественных идеологий: выбор их был невелик. Ориентация на Толстого в этом контексте предполагала не только художественные ценности и приемы, но и готовую идеологию толстовства, которая не считалась консервативной и, тем более, проправительственной (ибо преследовалась правительством, как и народничество), имела широкий круг поклонников и распространялась большей частью именно в разночинной среде, ее умеренных слоях. Кроме того, народничество и толстовство имели много общего[15].

Бунин не сразу обратил внимание на толстовство. Убеждения юного Бунина формировались под сильнейшим влиянием его старшего брата Юлия — значительной фигуры в народническом движении[16]. Юлий был для Ивана непрере-

---

[14] А.К. Бабореко приводит более позднюю запись Бунина о том, какие книги он собирался прочесть в это время («и так и не прочел»). Среди прочего — книга Н.А. Кареева «Беседы о выработке миросозерцания» (*Бабореко А.К.* Бунин. Жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 36). Впрочем, Бабореко ссылается на публикацию бунинских «Записей» в «Новом журнале» (*Бунин И.А.* Записи // Новый журнал. 1965. № 80. С. 125), которые характеризуют молодость Алексея Арсеньева.

[15] Е.В. Агарин полагает толстовство одной из форм народничества, расширяя последнее понятие до любых размышлений о народе и любого обращения к народным интересам (временами используется термин «популизм»). Такая трактовка представляется нам не слишком продуктивной (см.: *Агарин Е.В.* Трудами рук своих: толстовские земледельческие колонии в дореволюционной России. М.: Common place, 2019. С. 43–63). На наш взгляд, толстовство непосредственно восходит к народничеству в его традиционно-узком понимании.

[16] См.: «<…> Юлий присутствовал на знаменитом “Липецком съезде” <…> …Юлий был знаком с Софьей Перовской, незадолго до 1 марта 1881 года встречался с Желябовым, осенью 1879 близко сошелся с революционером Ал. Дм. Михайловым. Позднее, весной 1884 года, в Москве познакомился с Германом Лопатиным» (*Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина… С. 63). Не исключено, что Муромцева-Бунина смешала Липецкий и Воронежский съезды народовольцев, прошедшие в июне 1879 г. Липецкий съезд предшествовал Воронежскому, в Липецк съехались сторонники террористических методов политической борьбы (т. н. «политики»). В Воронеже

каемым авторитетом и, по существу, единственным учителем — заменившим младшему брату и гимназических преподавателей и университетских профессоров. Вероятно, Юлий руководил всем чтением младшего брата: подбирал для него и художественную литературу и политическую публицистику.

Показательно, что после отъезда Юлия из Озёрок Иван поначалу будет по привычке отчитываться перед старшим братом о прочитанном. Например, в письме от 22 июля 1890 г.:

> В настоящее время все читаю Полонского и очень часто испытываю ощущение, которое характеризовал Фофанов <далее следует цитата из стихотворения К.М. Фофанова>. Что за милый и дорогой Полонский! Напр.: <следует большая выписка из стихотворения Я.П. Полонского>. <…> Читаю «Войну и мир» и в некоторых местах прихожу в неистовый восторг. Что за прелесть, напр<имер>, эта Наташа! Великое мастерство! Просто благоговение какое-то чувствую к Толстому! (*П 1*, 35).

Отметим, что в поэзии на смену Надсону пришли другие ориентиры. Толстой же как прозаик характеризуется словами изумления и восхищения.

О прочитанных публицистах Иван брату почти не пишет, но вскоре он сам начнет руководить чтением В.В. Пащенко. И тогда отчитается перед Юлием (письмо от 25 ноября 1891 г.) уже за свою ученицу: «<…> читаю с Варею по вечерам… (Представить себе ты не можешь, как я заразил ее разными идеями (серьезно!), статьями Цебриковой по женскому и моральным вопросам, Скабичевским, Кавелиным, Шелгуновым и т. д.)» (*П 1*, 134).

Действительно, в письмах лета–осени 1891 г. Бунин советует Пащенко «развивающую» литературу: помимо упомянутых имен, встречаются некоторые другие: Д.И. Писарев, Л. Бёрне. Из художественной литературы он рекомендует А.П. Чехова (по письмам кажется, что любовь к Чехову была свойственна Пащенко и без Бунина)[17], всю серию Э. Золя о Ругон-Маккарах. В отношении Пащенко Бунин принимает на себя ту же роль, которую Юлий играл в отношении него самого: так, в письме от 12 ноября 1891 г. он сообщает ей подробности о жизни М.К. Цебриковой (к слову, пишет, что в

собрались как «политики», так и «деревенщики» (сторонники продолжения хождения в народ). Ю.А. Бунин, присутствие которого ни на одном из съездов в исторических документах не зафиксировано (состав участников восстанавливался историками большей частью по воспоминаниям и сохранившимся полицейским документам, в которых имя Ю.А. Бунина не упоминалось, — возможно, потому он и получил за свою народническую работу крайне мягкое наказание), был далек от идей революционного террора.

[17] В письмах к В.В. Пащенко Бунин, как и в письмах к брату, делает большие стихотворные выписки (нередко переписывает стихотворение целиком). В письмах Пащенко выстраивается несколько иной список любимых поэтов: А.А. Фет, А.Н. Апухтин и все тот же К.М. Фофанов, который фигурирует и в письмах к Ю.А. Бунину.

Озёрках у него был список ее «Письма к Александру III» — из чего можно заключить, что Юлий предложил ему широкий спектр революционной литературы, включая запрещенную), разъясняет смысл статьи Н.В. Шелгунова «Переходные характеры». Интересно, что в обсуждении разного рода «вопросов» используется характерно-народническая фразеология. Так, Варвара Владимировна писала, что боится по своим убеждениям остаться «ни павой, ни вороной», а Бунин отвечает: «Знаешь что — ей-богу, по-моему, лучше быть павой, чем глупой вороной» (*П 1*, 128). Несмотря на то, что Бунин делает отсылку к басне И.А. Крылова «Ворона» (к которой и восходит фразеологизм), за всем этим диалогом нельзя не услышать характерного языка эпохи: выражение «ни пава, ни ворона» в то время было у всех на слуху (и Пащенко, полагаем, заимствует его именно из языкового узуса) благодаря повести А.О. Новодворского (литературный псевдоним — Осипович) «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны» (1877). Это одно из самых значимых произведений народнической литературы.

К одному из писем Пащенко (от 4 ноября 1891 г.) Бунин прикладывает две статьи 1886 г. по так называемому женскому вопросу: статью А.М. Скабичевского «Граф Л. Толстой о женском вопросе» и статью Цебриковой «По поводу теории гр. Толстого о женском труде». Теорию Толстого Бунин оценивает невысоко: «<…> теории, надо сказать правду, не особо разумной, чтобы не сказать более (найдешь в XII томе его соч<инений>)» (*П 1*, 122). Статью Цебриковой, напротив, считает значительной: «Прочти, пожалуйста, повнимательнее, особенно статью Цебриковой. Я говорил тебе про эту писательницу — ума палата! И эта статья — прелесть!» (*П 1*, 122).

Итак, в конце 1891 г. Бунин, уже считая Толстого величайшим мастером художественной прозы, легко может скептически отозваться о его морально-дидактических статьях. Причина проста: общественные взгляды Ивана Бунина следуют за взглядами старшего брата и на тот момент вполне укладываются в «прогрессивистскую» матрицу. А в этой системе взглядов над Толстым положено иронизировать — особенно над его рассуждениями о положении женщины, вреде высшего образования для девушек и т. п.

Здесь нам предстоит разрешить важное методологическое противоречие. Советское буниноведение использовало «народнический» период биографии Бунина для обобщенных рассуждений об усвоенных писателем идеалах «народности и демократизма», а иногда и о близости революционному движению в русской литературе. Н.М. Кучеровский одним из первых противопоставил этот (идеологически обусловленный) подход тем страницам романа «Жизнь Арсеньева», которые рассказывали о внутреннем отталкивании автобиографического героя от народнических компаний: «Но все такие утверждения — от самых решительных в своем стремлении демократизировать молодого Бунина до наиболее осторожных — находятся в противоречии с тем, что он писал сам,

вспоминая свое умонастроение этого времени»[18]. Приводя обширные цитаты из романа, исследователь подводил итог: «Нет оснований не верить автору “Жизни Арсеньева” в том, что он *никогда* не разделял восторгов старшего брата перед “Перовской и Желябовым”; нет оснований не верить тому, что он “не мог слушать”, когда ему внушали, что “весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества <…>”»[19]. Это мнение возобладало в поздние советские и постсоветские годы. Впрочем, Ю.В. Мальцев, например, формулировал значительно менее прямолинейно: «Бунин был ему <народничеству. — *Е.П.*> чужд, но принимал его просто как общепринятую и неизбежную условность, вроде определенного покроя платья, которому все мы должны следовать. <…> Среда народников-революционеров (некоторые из них впоследствии стали большевиками и участвовали в установлении советского режима) — оттолкнула юного Бунина своим догматизмом, узкой нетерпимостью, несложной прямолинейностью теорий (“все злое — направо, все доброе — налево”, спасение от всех зол в революции), презрением ко всем слоям общества, кроме беднейшей части крестьянства (даже богатых крестьян ненавидели, видя в них “кулаков”), отрицанием целиком прошлого России и ее настоящего (революционным нигилизмом), неприятием неутилитарного и не “прогрессивного” искусства (Чехова и Толстого в том числе), высокомерной уверенностью этих “профессиональных устроителей счастья человечества” (как Бунин потом будет их называть) в своей непререкаемой правоте и праве поучать других»[20]. В этом обширном перечислении, что именно отталкивало Бунина от народничества, нетрудно заметить близкий к тексту пересказ тех же страниц «Жизни Арсеньева», которые цитировал Кучеровский.

Однако оснований «не верить автору “Жизни Арсеньева”» довольно много. Начиная с того, что «Жизнь Арсеньева», хоть и использует обширный автобиографический материал, претворяет его в объемную «историю современника». Продолжая тем, что «Жизнь Арсеньева» писалась почти через 30 лет после интересующих нас событий. За эти годы и творчество и мировоззрение Бунина существенно изменились, на них самое сильное влияние оказали и обе русские революции (1905 и 1917 гг.), и Мировая война, и Гражданская война. Кроме того, народники уже в 1920-е гг. были канонизированы в СССР в рамках истории революционного движения и стали восприниматься не как идейные противники, а как предшественники большевиков. Понятно, что на рубеже 1920–1930-х гг., когда писались 4 и 5 книги «Жизни Арсеньева», Бунин относился к революционному движению и народничеству совершенно иначе, чем в молодости.

---

18 *Кучеровский Н.М.* Братья Бунины (Начало литературной деятельности И.А. Бунина) // Из истории русской литературы XIX века. Калуга: [б. и.], 1966. С. 87.

19 Там же. С. 89.

20 *Мальцев Ю.В.* Иван Бунин, 1870–1953. М.: Посев, 1994. С. 50.

Мальцев находит в ранней статье Бунина («Поэт-самоучка. По поводу стихотворений Е.И. Назарова», 1888) полемические по отношению к народникам формулировки, которые, по его мнению, звучат почти как формулировки «Вех»: «<…> служение народу понимается крайне узко <…>, тогда как часто самое простое без всякой примеси героических черт и исполнимое дело остается без всякого внимания!»[21] Однако, если быть точным, статья написана еще до знакомства Бунина с друзьями брата (она опубликована в журнале «Родина» 12 июня 1888 г., И.А. Бунин впервые отправился в Харьков в 1889 г.). И речь в ее преамбуле, из которой цитирует Мальцев, идет, собственно, о том, что помощь народу должна выражаться не в подвигах или лозунгах, а в ежедневной работе для помощи нуждающимся (в данном случае — писателям из народа и вообще начинающим писателям, чье материальное положение не позволяет совершенствоваться в сфере словесного искусства). Полагаем, что Ю.А. Бунин и все его соратники по земской работе поддержали бы этот тезис. После разгрома революционных народнических организаций народников объединили умеренные политические требования. Большинство из них стало служить в земских статистических бюро как раз для того, чтобы приносить каждодневную пользу народу: собирать сведения об экономических проблемах крестьянства, информировать о них общество, способствовать их решению[22].

Письма Бунина этой поры свидетельствуют о том, что он был очарован кругом общения брата, в который вошел сначала в Харькове, а затем и в Полтаве. Никакого отторжения от земско-народнической среды молодой Бунин не испытывает. Так, в письме, написанном 28 или 29 июня 1890 г. (Юлий в мае этого года переехал из Харькова в Полтаву), Иван спрашивает брата: «Напиши, пожалуйста, какова Полтава, есть ли там или, по крайней мере, будут ли знакомые вроде харьковских» (*П 1*, 31). Никакого отторжения в этой фразе не прочитывается. Напротив, авторская интенция подразумевает безусловную ценность того круга, в котором Юлий вращался в Харькове. Младший брат приезжал к старшему

[21] См.: Там же. С. 60. Статья цит. по: *Бунин И.А.* Поэт-самоучка: по поводу стихотворений Е.И. Назарова // Иван Бунин: в 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 1. С. 290. (Литературное наследство; т. 84). В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: *ЛН–84* с указанием книги и страницы.

[22] См. в воспоминаниях Ю.А. Бунина, начавшего свои занятия статистикой в Харькове сразу после окончания срока пребывания под надзором полиции и профессионально продолжившего их в Полтаве: «Мы, земские работники, можно сказать, со страстностью увлекались нашими профессиональными занятиями, нередко проводя за работой чуть не целые ночи, в особенности осенью, перед земскими собраниями. Отчасти это происходило оттого, что в начале 90-х годов в Полтаве не было почти никаких общественных организаций, где мы могли бы проявить свою энергию, а главным образом оттого, что занятия в земстве вообще, и в частности статистикой, мы считали работой в духе наших старых народнических идеалов, в чем, конечно, была значительная доля правды» (*Бунин Ю.А*. Из архива Юлия Бунина. Из жизни провинции в 90-х годах / публ. Т. Гордиенко // Москва. 2016. Март. С. 213–246. URL: https://moskvam.ru/publications/publication_1495.html (дата обращения: 16.07.2023).

в Харьков в 1889 г. и сразу вошел в этот круг как свой человек. Показателен и возвышенный тон в описании «харьковцев» из другого письма к старшему брату, от 29 сентября 1890 г., когда Бунин в начале сентября, поехав в Курск по делу, вдруг завернул на несколько дней в Харьков: «Видел в Харькове почти всех. Они гнали меня к тебе <т. е. в Полтаву. — *Е.П.*>, и я думал, да деньжонок было обмалковато. Они сказали, что ждут тебя в Харьков к 20 <…>» (*П 1*, 54). Отметим, что в последующие годы сразу несколько человек из полтавских и харьковских земцев-статистиков будут всячески помогать молодому Бунину и Варваре Пащенко получить службу, а во время их совместной жизни в Полтаве именно из земских статистиков составится широкий круг их общения.

Интерес к учению Толстого пробуждается у молодого Бунина именно в тех точках, где толстовство смыкается с народничеством. Это, во-первых, так называемый половой вопрос, активно обсуждавшийся в связи с появлением повести Толстого «Крейцерова соната» и «Послесловия» к ней (1890–1891), а во-вторых, работа Толстого «на голоде» в 1891–1893 гг.

Повесть Толстого «Крейцерова соната» (1889; в том же году начала распространяться в списках; первая официальная публикация в 1891 г.) стала величайшим общественно-литературным событием. Обсуждали повесть практически повсеместно, в том числе и в народническом кругу. Народникам, в большинстве случаев решавшим половой вопрос по лекалам, предложенным за тридцать лет до этого Н.Г. Чернышевским в романе «Что делать?»[23], был близок пафос повести, направленный на лицемерие и безнравственность сложившегося института брака. Стимулировало радикально настроенное общество и первоначальное цензурное запрещение повести (через некоторое время император Александр III разрешил напечатать произведение в составе очередного тома собрания сочинений Толстого), оно создало вокруг (консервативного по центральной общественной идее) произведения мощный антиправительственный резонанс. Поначалу повесть читали в списках (как, например, уже упоминавшееся «Письмо к Александру III» М.К. Цебриковой), в списке прочел ее и Бунин. В письме от 28 или 29 июня 1890 г., Иван Бунин сообщал старшему брату:

> Читал «Крейцерову сонату» — давали Воробьевы; рукопись попалась одна из лучших и верных. Я положительно поражался, сколько правды в ней. Да правда-то такая неприкрашенная; это мне тоже понравилось. Неправда тоже есть — только ведь это не толстовская, т. е. говорит ее Позднышев? Напиши, милый Юричка, как-нибудь о ней... (*П 1*, 32)

[23] Напр., у Ю.А. Бунина была гражданская жена Е.Е. Юргенс, не расходившаяся с официальным мужем из-за ребенка и время от времени приезжавшая к Ю.А. Бунину. И.А. Бунин, познакомившись с ней в Харькове, периодически встречался с ней в других городах как с женой брата. От родителей, мыслящих не столь свободно, этот роман Ю.А. Бунина утаивали.

Для молодого Бунина размышления над «Крейцеровой сонатой» были не только литературой: весной и летом 1890 г. началось его чувство к В.В. Пащенко; восприятие повести Толстого наложилось на его первую серьезную любовь. Рассуждения о правде и неправде, которыми молодой писатель делится со старшим братом, вызваны, вероятно, сравнением собственных переживаний с переживаниями и рассуждениями героя «Крейцеровой сонаты».

Однако «Послесловие» к повести (1890; распространялось в списках и литографических копиях; официально опубликовано в 1891 г. вместе с текстом повести) удивило очень многих: оказалось, что мысли Позднышева — это мысли Толстого.

Показательно, как эти два текста воспринял А.П. Чехов. Первоначально он тепло отзывается о «Крейцеровой сонате». В письме А.Н. Плещееву от 15 февраля 1890 г. он пишет:

> Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная — тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: «Это правда!» или «Это нелепо!». Правда, у нее есть очень досадные недостатки <…> — смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. <…> Но все-таки эти недостатки разлетаются, как перья от ветра <…>[24].

Этот отзыв практически суммирует отношение к повести, сложившееся в обществе. Отношение в целом положительное. Именно чрезвычайное мастерство исполнения и злободневность тематики стали причиной беспрецедентной популярности «Крейцеровой сонаты». Но по прочтении «Послесловия» Чехов пишет совершенно иное по тону и содержанию письмо (А.С. Суворину от 8 сентября 1891 г.). Сравнение публицистики Толстого с неудачной публицистикой Н.В. Гоголя (письмо XXI из «Выбранных мест из переписки с друзьями» называется «Что такое губернаторша») формирует типологическое сравнение:

> Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, Боже мой, сколько тут личного! Я третьего дня читал его «Послесловие». Убейте меня, но это глупее и душнее, чем «Письма к губернаторше», которые я презираю[25].

---

[24] *Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: в 30 т.: Письма: в 12 т. М.: Наука, 1976. Т. 4. С. 18.

[25] Там же. С. 270. Говоря об отношении Чехова к «Крейцеровой сонате», необходимо учитывать, что именно в это время он совершил поездку на Сахалин, которая во многом изменила его

Бунин прослушал «Послесловие» (его, судя по формулировке письма, читали вслух в большой компании, а после обсуждали; это была обычная практика той поры) вскоре после знакомства с повестью. В письме Юлию от 27 июля 1890 г. говорится: «Недавно читали “Послесловие” Толстого... Впрочем об этом уже, кажется, писал...» (*П 1*, 37). Возможно, было еще одно, не сохранившееся письмо к Юлию, в котором Иван делился своими сомнениями. Показательно, что его первое письмо к Толстому, в котором он просит разрешения заехать в Ясную Поляну, упоминает «Послесловие»:

> Я прочитал Ваше «Послесловие», и Ваши мысли слишком поразили меня; высказанное Вами настолько резко, что я не то что не соглашаюсь с Вами, но не могу, так сказать, вместить Ваших мыслей (*П 1*, 31).

Исследователи традиционно полагали, что Бунин тут следует в русле общего отношения читающей публики к «Послесловию». Так, Н.М. Кучеровский писал, что Бунина могло поразить, что Толстой защищает ту самую неправду, которую он приписывал Позднышеву[26]. Однако мы не видим в тексте первого письма следов сильного интеллектуального переживания, которое можно было бы передать словом «поразило». Скорее «Послесловие» использовано в письме просто как повод — оправдание тому, что пишущий отвлекает яснополянского мыслителя от более важных дел. Не оставляет ощущение, что Бунин хочет найти нечто такое, что сам Толстой может посчитать важным и серьезным для личной встречи. Обсуждение мыслей «Послесловия», надеется автор письма, окажется достойным поводом для просьбы о встрече.

Кроме того, удивляет и датировка письма. Письмо написано 12 июня 1890 г. Однако из писем Юлию Бунину мы видим, что Иван действительно читал «Крейцерову сонату» в июне, но к концу месяца еще не ознакомился с «Послесловием», ибо считает всю «неправду» повести позднышевской. О чтении «Послесловия» он сообщает Юлию в письме от 27 июля, в предшествующем же длинном письме брату, от 22 июля, восторгается романом «Война и мир», о «Послесловии» не пишет. Не пишет о нем и в более раннем письме Юлию, датируемом серединой июля. Если и существовало несохранившееся письмо старшему брату, в котором Иван подробнее делился мыслями о «Послесловии», оно, вероятно, было написано между 22 и 27 июля.

Таким образом, во-первых, следует учитывать последовательность чтения произведений Толстого: в июне Бунин прочитал «Крейцерову сонату»,

---

мировоззрение. Так, 17 декабря 1890 г. он писал Суворину: «До поездки “Крейцерова соната” была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой» (Там же. С. 147).

[26] *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства (Молодой И.А. Бунин и толстовство) // Из истории русской литературы XIX века. Калуга: [б. и.], 1966. С. 115.

в июле (вероятно, впервые[27]) «Войну и мир» и после этого, в конце июля, «Послесловие к “Крейцеровой сонате”». Впечатления от этих текстов наложились друг на друга, и Бунин воспринимал дискуссию о «Крейцеровой сонате» комплексно — на фоне любовных и семейных сцен «Войны и мира». Во-вторых, надо полагать, что, отправляя письмо Толстому, Бунин уже мог ознакомиться с самим текстом повести (хотя мог не знать и его — и только планировал это сделать под влиянием разговоров окружающих), но еще не был знаком с «Послесловием», о котором предлагал Толстому побеседовать. Если наше рассуждение верно (в связи с нехваткой материала трудно судить об этом с абсолютной уверенностью), то «Послесловие» стало лишь поводом к написанию письма и просьбе о встрече.

Обсуждали «Крейцерову сонату», а потом и «Послесловие» невероятно широко. О произведениях высказались крупнейшие российские журналы, за период с 1891 по 1893 г. было выпущено громадное количество статей и брошюр с анализом идей Толстого[28].

Светские и церковные деятели, писавшие о повести, солидарны в ее неприятии. Спор с Толстым сводится, по сути, к двум развернутым возражениям. Во-первых, по общему мнению комментаторов, Толстой отождествляет брак и чувственное влечение — и не видит никакого различия между человеком и животным. Некоторые критики, завершая этот тезис, изящно противопоставляли отвлеченные рассуждения Толстого логике жизни: «Граф Толстой, — писал М. де Вогюэ, — хочет упразднить природу, и этот избыток логики ставит его в невозможность сделать вывод»[29].

---

[27] А.К. Бабореко был уверен, что Бунин впервые прочитал «Войну и мир» именно в это лето (см.: *Бабореко А.К.* Бунин о Толстом // Яснополянский сборник: статьи и материалы, 1910–1960. Тула: Кн. изд-во, 1960. С. 129). Поскольку биографического материала крайне мало, мы не можем (чисто теоретически) исключить, что какие-то отрывки из романа или, возможно, весь роман Бунин читал и раньше. В любом случае, летом 1890 г. он впервые прочитал роман осмысленно, как молодой прозаик, способный оценить писательское мастерство Толстого.

[28] Вот лишь некоторый список: *Вогюэ М.* По поводу «Крейцеровой сонаты» // Русское обозрение. 1890. № 12. С. 511–527; *Гусев А.* О браке и безбрачии: против «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней. Казань: Имп. ун-т, 1891; *Листовский И.С.* Заметки на «Крейцерову сонату» графа Л.Н. Толстова. М.: Унив. тип., 1891; *Михайловский Н.К.* О Крейцеровой сонате // *Михайловский Н.К.* Сочинения: в 6 т. СПб.: Ред. журн. «Русское богатство», 1897. Т. 6. Стб. 761–771; [*Преображенский Ф.*] Христианский брак: несколько слов о сущности и условиях христианского брака по поводу воззрений графа Л.Н. Толстого в его сочинениях «Крейцерова соната» и «Послесловие» к ней. М.: И.Д. Сытин, 1891; *Никанор, архиеп.* Против графа Льва Толстого: восемь бесед высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского. Одесса: Е.И. Фесенко, 1891; *Протопопов М.А.* Психологический вопрос (По поводу последней повести Льва Толстого «Крейцерова соната») // Русская мысль. 1891. № 8. С. 123–144; *Разумовский А.* «Крейцерова соната» графа Л.Н. Толстого и ее выводы. М.: Т-во «И.Н. Кушнерев и К», 1892; *Соловьев А.Е.* Отрицает ли Лев Толстой семью и брак (По поводу «Крейцеровой сонаты»). Пенза: Тип. губ. правл., 1893.

[29] *Вогюэ М.* По поводу «Крейцеровой сонаты». С. 518.

Второй общий тезис: не Позднышеву рассуждать о православном браке, ибо он человек неверующий. Проповедником в рассказе Толстого оказывается «развратник, пошляк и убийца»[30]. Если брак Позднышева не сложился, это не значит, что брак плох сам по себе. «Обжегшись на своем молоке, Позднышев на чужую воду дует <…>»[31], — заметил Н.К. Михайловский.

С точки зрения народников, Позднышев не имеет права судить ни о браке, ни о жизни еще и потому, что жизнь богатого человека, как пишет в «Русской мысли» М.А. Протопопов, не может считаться образцом, тем более что Позднышев — человек неуравновешенный. «Вся беда Позднышева в том, что он человек не цельный, а половинчатый, человек, которого влекут в одну сторону его привычки и привитые понятия, а в другую, противоположную сторону он склоняется в силу известных идей и принципов, известных ему как интеллигентному человеку и, кроме того, в силу своей доброй, хотя и испорченной натуры»[32].

Так возникает широко распространенная в светской критике[33] идея о невозможности приписывать мнения Позднышева Толстому[34]. А.Е. Соловьев считает, что Толстой создал новый «болезненный» тип — такой же, как Онегин и Базаров[35]. Кое-кто пытался смягчить толстовскую дилемму: «<…> заявление Позднышева о том, что физическое половое общение неестественно и в брачной жизни, нужно понимать так: половое общение вообще естественно, но бывают случаи, когда оно становится и неестественным»[36]. Сам Толстой, скорее, перефразировал бы эту фразу критика с точностью наоборот: половое общение вообще неестественно, но бывают случаи, когда оно становится и естественным. См., напр., такое рассуждение из «Послесловия к “Крейцеровой сонате”»:

> Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал или скорее — одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему — бесконечна[37].

---

30 *Никанор, архиеп.* Против графа Льва Толстого: восемь бесед… С. 160.

31 *Михайловский Н.К.* Сочинения. Т. 6. Стб. 769.

32 *Протопопов М.А.* Психологический вопрос… С. 139.

33 Практически все церковные критики, по понятным причинам, были уверены, что Позднышев — alter ego Толстого.

34 *Михайловский Н.К.* Сочинения. Т. 6. Стб. 771.

35 См.: *Соловьев А.Е.* Отрицает ли Лев Толстой семью и брак (По поводу «Крейцеровой сонаты»). Пенза, 1893. Знаменательно, что брошюра написана уже после появления «Послесловия».

36 *Разумовский А.* «Крейцерова соната» графа Л.Н. Толстого и ее выводы. С. 53.

37 *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1928–1958. Т. 27. С. 84. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: *Т* с указанием тома и страницы.

Дальнейшие суждения Бунина о «Крейцеровой сонате» идут в русле этих народнических мыслей об относительности жизненного опыта Позднышева. Так, через месяц после сообщения о чтении «Послесловия», 28 августа 1890 г., Иван писал брату:

> Прочитал ром<ан> Зола. Он произвел на меня очень сильное действие. Думаю, что в нем захвачено побольше, чем в «Крейцеровой сонате», напр<имер>. Отчего же мало писали про него? (*П 1*, 47)

Речь идет о новейшем романе «Человек-зверь» (1890), в котором тема супружеских измен (местью за которые становится убийство любовника) переплетается с темой маниакального желания убить женщину. Убийства и попытки убийства в этом произведении множатся, как множатся и супружеские измены. Напрашивается сопоставление сюжета с пьесой Толстого «Власть тьмы», но Бунин этого сопоставления не делает. Возможно, на тот момент он не был знаком с первой пьесой Толстого (она была опубликована издательством «Посредник» в 1887 г., но запрещена цензурой к постановке на сцене). Отметим для общей картины, что второе драматическое произведение Толстого, комедию «Плоды просвещения» (оконченную в 1890-м и опубликованную в 1891 г.), Бунин читал в год ее выхода. В одном из писем к В.В. Пащенко следующего лета (от 15 августа 1891 г.) он использует один из образов комедии:

> Какой повод думать обо мне, что я надеюсь не работать? Ты просишь меня дать тебе слово, что буду делать дело... Значит, ты предполагаешь, что, *не давши тебе этого слова*, я надеюсь в то же время «служить» — *т. е. сесть на шею*? Ну, ей-богу, никогда не думал быть на положении старого повара в «Плод<ах> просвещения»!.. (*П 1*, 114)

Что же касается второго важного сближения толстовства и народничества — большой работы, проделанной Толстым в голодающих губерниях в 1891–1893 гг., то эта деятельность вполне укладывалась в народническое представление об общественном долге[38]. Имя Толстого способствовало широкому общественному

[38] Она, напротив, плохо соотносилась с общей системой толстовства. В.А. Маклаков остроумно рассказал об этом в воспоминаниях: «Видя всеобщее увлечение устройством столовых и разного вида благотворительной помощи, он <Толстой. — *Е.П.*> приготовил статью, где на эти приемы обрушивался. Его друг И.И. Раевский, сам занимавшийся устройством столовых, позвал его посмотреть, что у них делается. Толстой поехал к нему с готовой статьей, чтобы укрепиться в отрицательном к этому отношении; поехал на два дня и остался там на два года и стал во главе самого грандиозного общественного начинания помощи голодающим» (*Маклаков В.А.* Из воспоминаний. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. С. 166). Как известно, поначалу, в 1891 г.

резонансу, который получила информация о крестьянском бедствии, оно привлекло значительные пожертвования и стало символом той общественной кампании по организации бесплатных столовых, которой Толстой лично руководил. Для «работы на голоде» к Толстому съезжаются добровольцы: как толстовцы, так и народники, не говоря о людях, не примыкавших напрямую ни к одной из общественных идеологий. Приезжают даже знаменитости — так, зимой 1892 г. к Толстому в Рязанскую губернию приехал И.Е. Репин[39].

Бунина, вероятно, интересует эта тема. 8 мая 1892 г. он посылает записку Пащенко (оба находились в Орле) с просьбой захватить с собой для него «сегодняшний» номер газеты «Русская жизнь» (*П 1*, 159). Л.Г. Голубева полагает, что Бунина интересовал цикл статей Л.А. Обольянинова «Из поездки в голодающую местность», который начал печататься в «Русской мысли» с 8 мая 1892 г. (*П 1*, 517). В конце лета 1892 г. молодой писатель приехал к старшему брату в Полтаву, получил работу от Статистического бюро Полтавской земской управы (в дальнейшем он займет штатную должность библиотекаря, которую создадут специально для него). В Полтаве уже жила группа известных толстовцев, в которой у Ивана тоже появились знакомые. От них, вероятно, он в подробностях узнал о борьбе Толстого с голодом. Через полгода, 7 февраля 1893 г., — через два с половиной года после первого, — Бунин пишет второе письмо Толстому:

> Борис Николаевич Леонтьев рассказывал нам, что в той округе, где Вы теперь находитесь, нужны люди, которые помогали бы Вашем делу в столовых. Мне очень хотелось бы хотя недолгое время посвятить этому делу, — недолгое потому, что я связан службой, — и вот я прошу Вас написать мне — не окажусь ли я лишним, если приеду в Епифаньский уезд недели через две, и вообще — как, когда, куда мне приехать, куда отправиться по приезде и т. д. Очень прошу Вас написать мне обо всем этом *поскорее*. Я боюсь упустить время и лишиться возможности взять отпуск (*П 1*, 177)

Толстой успел высказать то отношение к помощи голодающим, которое непосредственно проистекало из его учения (нельзя желать добрых дел только по случаю голода; противодействовать надо тому, что производит голод). В ответ раздалась отповедь одновременно из «прогрессистского» и консервативного (поскольку Толстой говорил о том, что голод производит социально-экономическая система) лагерей. См., напр.: *Ю.Б.* [Юзефович Б.]. Несколько слов по поводу письма гр. Л.Н. Толстого о способах борьбы с голодом. Киев: Т-во «И.Н. Кушнерев и К» в Москве; Киевск. отд., 1891; *Плеханов Г.В.* Смешение представлений (Учение Л.Н. Толстого) // *Плеханов Г.В.* Сочинения: [в 24 т.] М.; Л.: ГИЗ, 1927. Т. 24. С. 198–209. Плеханов подошел к позиции Толстого тоньше и продемонстрировал понимание ее логики: спасение людских тел мешает спасению души. Толстой же под влиянием увиденного полностью переменил позицию.

[39] См. об этом в его воспоминаниях: *Репин И.Е.* Далекое близкое. 5-е изд. М.: Акад. художеств СССР, 1960. С. 371–374.

Интенция этого письма легко прочитывается на фоне предыдущего. Бунин находит новый повод, который может дать возможность к личному знакомству с Толстым. Просьба усилена ссылкой на хорошо известного Толстому человека, который выступает как бы потенциальным рекомендателем Бунина.

На этот раз Толстой Бунину ответил. В письме от 20 февраля 1893 г. сказано:

> Приезжать вам, я думаю, не стоит: вы предлагаете только на короткое время; у нас же достаточно сотрудников с теми, которых мы уже пригласили и ждем. А вам для короткого времени незачем бросать службу. Желаю вам всего лучшего (*Т* 66, 297).

Н.М. Кучеровский предположил, что Толстой отказал Бунину, потому что тот уровнял работу на голоде и службу[40]. Действительно, предложение Бунина и его вопросы смотрятся несколько наивно. Б.Н. Леонтьев (1866–1909) был всего на четыре года старше Бунина. Он некоторое время провел в Полтаве в кружке толстовцев. В декабре 1891 г. Леонтьев пешком пришел в Бегичевку — имение друга Толстого И.И. Раевского в Рязанской губернии, в котором располагался организационный центр помощи голодающим. Полтавские толстовцы отправили с Леонтьевым собранные ими деньги для голодающих, их хватило на содержание двух столовых. Затем Леонтьев активно включился в работу на голоде: сначала был командирован Толстым в Скопинский уезд Рязанской губернии, где открывал столовые и руководил их работой, в феврале переехал в Епифанский уезд Тульской губернии с той же целью (*Т* 66, 155). Б.Н. Леонтьев оказывается живым олицетворением того, как поступает человек, искренне желающий помогать «работе на голоде». Предложение Бунина на этом фоне можно воспринять как каприз интеллигента. Кстати, Епифанский уезд упомянут в письме не случайно: Бунин знает, где в данный момент находится Леонтьев. В этом случае, если его интересуют организационные вопросы, можно было обратиться непосредственно к нему, а не к Толстому.

Учитывая все обстоятельства, Толстой, возможно, не ответил бы и на это письмо. Но он спутал И.А. Бунина со знакомым ему толстовцем Н.И. Буниным, о чем свидетельствует текст (*Т* 66, 297) и отправил письмо ему. Впрочем, ответ дошел до молодого писателя: в следующем письме Толстому он написал, что Н.И. Бунин был в Полтаве и передал ему письмо.

Мотивы Бунина, собственно, тоже вполне понятны. Его жизнь целиком определяется в этот момент любовью к Варваре Пащенко, ради совместной жизни с нею он и переехал в Полтаву. Для женитьбы ему необходимы хоть какие-то постоянные средства. Поэтому Бунин не может бросить службу,

[40] *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства… С. 114.

несмотря на искреннее, надо думать, стремление работать и «приносить пользу».

Судя по сохранившимся воспоминаниям, в интеллигентных домах Полтавы (как пишет Л.А. Женжурист, своеобразными клубами для одиноких статистиков[41], каковых было большинство, стали семейные квартиры их коллег — такие, как их собственная квартира[42] или дом семидесятника С.Я. Оголевца, служившего в Полтаве податным инспектором[43]) народники (большей частью прошедшие тюрьму или ссылку) тесно соседствовали с толстовцами, появившимися в городе чуть позднее народников, в 1891 г.[44] Народники и толстовцы спорили, но не враждовали. Так, семья Женжуристов (они были, можно сказать, потомственными революционерами: в народническом движении участвовали еще их родители, вслед за родителями они состояли в тесных дружеских отношениях с В.Г. Короленко, С. Карониным (Н.Е. Петропавловским), С.Я. Елпатьевским и др.) даже приютила у себя толстовца И.М. Клопского (в некоторых источниках Клобский; упомянут в «Освобождении Толстого»)[45]. В этих условиях и зародился интерес Бунина к учению Толстого и тем, кто пытался жить, исполняя его заповеди.

3. Толстовство в жизни русского общества 1880–1890 годов

Вторая половина 1880-х гг. — время затухания народничества; точнее, перерождения его в умеренное общественное течение. Разгромленное в начале 1880-х гг., оно возрождалось в новых, менее радикальных формах — в первую очередь, в рамках земства. Народническая публицистика и народническая литература продолжили свое существование, но общий тон их общественной

---

41 См. в воспоминаниях Ю.А. Бунина: «Наш земский кружок все более и более сплачивался и расширялся. Для более тесного общения друг с другом мы устраивали систематические еженедельные собрания по субботам в квартирах то одного, то другого из наших товарищей. На этих собраниях, которые мы называли “интеллигентским клубом”, бывало обыкновенно человек 50–60, приблизительно в одном и том же составе. В “клубе” читались рефераты на разные литературные и общественные темы — с очень отвлеченными и горячими дебатами» (Из архива Юлия Бунина. Из жизни провинции…).

42 *Женжурист Л.А.* Из воспоминаний о Полтаве // *ЛН–84.* Кн. 2. С. 239. Вступительная статья и примечания к этой публикации, выполненные В.С. Оголевцом, родители которого тоже жили в описываемое время в Полтаве и принимали у себя полтавскую интеллигенцию (среди прочих И.А. Бунина), цитируют сразу несколько дополнительных документов: прежде всего воспоминания Ю.А. Бунина, на момент публикации тома еще не опубликованные.

43 *Оголевец В.С.* Примечания // Там же. С. 236.

44 Эту дату появления толстовцев в Полтаве дает в своих воспоминаниях Ю.А. Бунин (*Бунин Ю.А*. Из архива Юлия Бунина. Из жизни провинции…).

45 *Женжурист Л.А.* Из воспоминаний о Полтаве. С. 240–241.

проповеди стал значительно спокойнее, чем в 1870-е гг. Учение Л.Н. Толстого в этот период (трактаты «Исповедь» и «В чем моя вера?» были опубликованы в 1884 г.; первый в Женеве из-за цензурного запрещения, второй в России, но сразу был запрещен к распространению) завоевывает большую популярность и активно обсуждается в печати. «Он <Л.Н. Толстой — *Е.П.*> стал почти всероссийским фаворитом и при том не в качестве художника только, а главным образом в качестве мыслителя <...>»[46], — пишет в 1886 г. один из лидеров народничества Н.К. Михайловский. «Любимый баловень нашей читающей публики <...>, граф Л.Н. Толстой сделался теперь настоящею злобою дня. <...> Никогда еще популярность писателя не достигала у нас таких размеров. Очевидно, Лев Толстой далеко оставил за собою славу, приобретенную “Войной и миром” и “Анною Карениною”<...>»[47], — вторит ему далекий от народников юрист и экономист Л.З. Слонимский. Позднее А.В. Пешехонов, революционер, знакомый Бунина по Орлу, так написал о Толстом в некрологе: «Он вставал перед нами <...> в моменты нашего упадка»[48]; «Настали 80-е годы, годы общественного упадка, уныния и апатии — и Толстой со своими религиозными исканиями и моральной проповедью занял чуть не весь небосклон»[49].

Мысль об общественном упадке, о котором любила толковать литературная критика 1880–1890-х гг. (заменяющая, по сути, общественно-политическую публицистику), проистекала из ностальгической тоски по единому и цельному миросозерцанию (миросозерцаниям?) прошлых десятилетий. Примечательно предисловие к книге о проблемах современной интеллигенции, написанное известным критиком Е.А. Соловьевым в 1892 г.: «Когда мне приходится раскрывать книгу, написанную 25–30 лет назад, мне всегда становится немножко стыдно и “много” завидно. Меня увлекает прежде всего удивительная целостность и определенность миросозерцания наших отцов»[50]. К этому добавляют сетования на блеклость идей современной беллетристики, отсутствие яркости шестидесятничества и убежденности семидесятничества[51].

---

[46] *Михайловский Н.К.* Нечто о морали: о гр. Л.Н. Толстом (Май 1886) // Сочинения. Т. 6. Стб. 360.

[47] *Слонимский Л.З.* Новые теории графа Л.Н. Толстого. С. 808.

[48] *Никифоров Л.П.* Кем был Л.Н. Толстой? (По лучшим отзывам русской печати). М.: Тип. «Печатное дело», 1912. Сб. 1. С. 17.

[49] Там же. С. 15.

[50] *Соловьев Е.А.* В раздумьи: очерки и рассказы из жизни русской интеллигенции. СПб.: В.И. Штейн, 1892. С. VII.

[51] В этом же русле находятся и надежды народников, в большинстве своем вернувшихся из ссылок, на возрождение широкого общественного движения. См. в воспоминаниях Ю.А. Бунина: «В свободное от занятий время мы часто бывали друг у друга, периодически собирались в некоторых домах, мечтали о возвращении радикального движения, строили даже планы этого возрождения, читали идейные книги и журналы, но в первые годы моего пребывания в Полтаве практических шагов никаких не предпринимали. У нас, однако, вовсе не было унылости и пес-

Тем не менее, критика пытается классифицировать наличествующие в литературе (обществе) идеи и разделяет их, как правило, на мещанские и идеалистические (содержание последних — внутреннее «я» человека). Их противопоставление отражают заглавия общих трудов по истории литературы. Р.В. Иванов-Разумник называет книгу о литературе «История русской общественной мысли». И добавляет подзаголовок: «Идеализм и мещанство в русской литературе». С.А. Венгеров заглавием своего труда показывает, какой идеологии, по его мнению, в основном придерживаются писатели: «Героический характер русской литературы». Одной из наиболее «героических» личностей он считает Л.Н. Толстого[52]. О противостоянии двух общественных взглядов пишут критики и общественные деятели.

Е.А. Соловьев продолжает: «В настоящее время прозрачность и определенность совершенно исчезли. Прежняя точка зрения, требовавшая выхода мысли в действительность и приведения жизни в сообразность с разумом — оказалась не по плечу. Громадное большинство интеллигентных людей подчинилось жизни и скромно идет по проложенным дорожкам. Эти дорожки — комфорта, обеспеченности, возможности спокойного бытия. Меньшинство углубилось в себя и на первый план выдвинуло задачу спасения собственной души»[53].

В 1880–90-е гг. толстовство, наряду с народничеством, воспринималось идеологией, противостоящей мещанской. Н.В. Шелгунов посвятил одну из статей «Очерков русской жизни», печатавшихся в журнале «Русская мысль» в конце 1880-х — начале 1890-х гг., толстовству как идеологии восьмидесятых. По его мнению, после 1860-х и 1870-х гг. «деятельное чувство общественного доброжелательства осталось в пустоте». Из критики предшествующих общественных движений, полагает он, вышли два течения: восьмидесятники (практические люди, пессимисты) и толстовцы. Шелгунов признает, что лучшая часть молодежи идет за Толстым. Причина этому — отталкивание от мещанской идеологии восьмидесятников[54]. Литературный критик М.С. Громека, посвятивший «Анне Карениной» целый ряд статей, перетекших в обсуждение толстовства, использует близкие термины: Толстой, по его мнению, выступает против позитивизма современного общества, противопоставляя ему живую идею. Он объединяет Толстого с Вл.С. Соловьевым (и добавляет к ним Э. Гартмана как представителя иностранной мысли) как самые живые тенден-

---

симизма, и мы глубоко верили, что скоро вновь начнется освободительное движение, когда пригодятся и наши силы» (*Бунин Ю.А.* Из архива Юлия Бунина. Из жизни провинции…).

[52] «В число самых ярких и характерных проявлений стремления русской литературы всегда быть учительною кафедрою нельзя не включить взгляд на роль литературы Льва Толстого» (*Венгеров С.А.* Героический характер русской литературы. СПб.: Прометей, 1911. С. 39).

[53] *Соловьев Е.А.* В раздумьи. С. X.

[54] *Шелгунов Н.В.* Очерки русской жизни // *Шелгунов Н.В.* Сочинения: в 3 т. 3-е изд. СПб.: О.Н. Попова, [1908]. Т. 3. Стб. 979–987.

ции современной мысли[55]. Кроме того, Громека указывает на цельность мировоззрения, которое предложил Толстой. О системности учения Толстого пишет и Л.З. Слонимский: молодежь, считает он, «<...> рада ухватиться за всякую систему нравственных правил, предлагаемую искренним и любимым писателем <...>»[56].

Несмотря на то, что лидеры народничества единогласно выступили против толстовства[57], эти две идеологии имели много общего. Можно сказать, что толстовство во многом наследовало народничеству. Примером движения от народничества к толстовству может стать фигура самого Толстого. В 1860-е гг. Толстой считался «народником». Надо учесть, что в публицистике второй половины XIX столетия слово «народник» употребляется в широком значении. Это не член партии «Земля и воля» (а затем «Народной воли» или «Черного передела»), как понимается это слово сегодня (в парадигме, заданной советской историографией), — а человек, сочувствующий идее долга интеллигенции перед народом. Толстой считался народником за свою педагогическую деятельность в Ясной Поляне. Многие публицисты, включая идеологов народничества, обсуждая в восьмидесятые годы новое учение Толстого, вспоминают о его деятельности в крестьянской школе. Так, Н.К. Михайловский пишет о новом отношении Толстого к теории долга народу: «Стяжав в свое время на этой ступени известные лавры, которые так за ним, конечно, и останутся, он теперь утверждает, что это пустяки и гордыня»[58]. А.Н. Пыпин, в свою очередь, в «Истории русской литературы» прямо говорит о Толстом как о народнике: «<...> чем, как не хождением в народ, было дело гр. Л.Н. Толстого, когда, уединившись в Ясной Поляне, он отдавал свое время и труд на деревенскую школу <...>»[59]. П.А. Кропоткин

---

[55] А бывший народник Л.А. Тихомиров, пересмотревший свои взгляды и превратившийся в монархиста, в дневниковой записи от 24 февраля 1890 г., видит единство Толстого и Соловьева, да и народничества тоже, в пафосе отрицания: «Чем угодно готовы увлечься, лишь бы человек был против Христа и против церкви. Нигилизм, материализм, толстовщина, соловьевщина, что угодно, лишь бы против правды» (*Тихомиров Л.А.* Воспоминания. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. С. 380).

[56] *Слонимский Л.З.* Новые теории графа Л.Н. Толстого. С. 834.

[57] Н.К. Михайловский в трех статьях своего «Дневника читателя» (Северный вестник. 1886. № 5–7) осудил учение Толстого. В том же ключе неоднократно высказывался и Н.В. Шелгунов в «Очерках русской жизни» («Русская мысль», 1886–1891), где имя Толстого постоянно мелькает в разных статьях. Примерно эту же точку зрения выразил и П.Л. Лавров (Вестник народной воли. 1886. № 5; см.: *Лавров П.Л.* Старые вопросы (Учение графа Л.Н. Толстого) // *Лавров П.Л.* Социальная революция и задачи нравственности. Старые вопросы. Пг.: Колос, 1921. С. 95–148), живший за границей. Весьма сходно с ним мнение критика А.М. Скабичевского в книге «Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель: критич. очерки и заметки» (СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1887), состоящей из статей разных лет.

[58] *Михайловский Н.К.* Нечто о морали: о гр. Л.Н. Толстом. Стб. 364.

[59] *Пыпин А.Н.* История русской литературы. СПб. Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. Т. 4. С. 599.

же считает хождение в народ толчком всей сложной эволюции Толстого: «Не будет ли с моей стороны большой смелостью сделать предположение, что то же движение “в народ”, которое вдохновило стольких русских юношей и девушек идти в деревни и на фабрики и жить жизнью трудящегося народа, заставило и Толстого, в свою очередь, задуматься над своим положением в роли богатого помещика?»[60].

Общность народничества и толстовства проявилась в том, что многие интеллигентские поселения в деревне попросту «переориентировались». Идея интеллигентской коммуны, члены которой кормились бы трудами рук своих, принадлежала народникам. Еще до появления учения Толстого в России существовал ряд поселений подобного рода[61]. Одна из наиболее известных колоний — интеллигентная деревня А.Н. Энгельгардта, о которой рассказывалось в нескольких разных книгах[62]. О таких поселениях рассказывала и художественная литература — например, повесть С. Каронина (Н.Е. Петропавловского) «Борская колония». Многие известные в обществе люди бросали привычную карьеру и «садились на землю». П.Д. Боборыкин в «Воспоминаниях» упоминает своего дядю со стороны отца, агронома: «Женившись, он поселился в деревне, недалеко от Нижнего, и стал чем-то вроде Л.Н. Толстого, по проповеди опрощения и по опытам разных усовершенствований в домоводстве, по идеям сближения с народом и работе над его просвещением <...>»[63]. Среди таких «одиночек» особенно примечательна фигура А.К. Маликова, не только занявшегося земледельческим трудом, но и проповедовавшего идеи, близкие идеям Толстого, значительно раньше писателя. Одна из глав книги В.Г. Короленко «История моего современника» посвящена А.К. Маликову[64], о котором после его смерти в 1904 г. га-

---

[60] *Кропоткин П.А.* Идеалы и действительность в русской литературе. СПб.: Знание, 1907. С. 147.

[61] Е.В. Агарин тоже отмечает этот факт, но предпочитает говорить о коммунитарном движении в целом, повлиявшем на толстовство. Он подчеркивает, что сам Толстой осторожно высказывался о толстовцах-коммунитариях, предпочитая им толстовцев-хуторян и толстовцев-странников (*Агарин Е.В.* Трудами рук своих... С. 78 и далее). Нам же кажется, что для формирования земледельческих (а в некоторых случаях, как мы видим на примере Полтавы, и мастеровых) коммун первично идеологическое обоснование ухода от привычной жизни, а не формы быта, на которых строит свой анализ автор. Методологически неверным в рассуждении Агарина представляется и неразделенность толстовской идеологии, с одной стороны, и личных пристрастий Л.Н. Толстого, с другой.

[62] *Соловьев Е.А.* В раздумьи; *Мертваго А.П.* Не по торному пути: из воспоминаний (1878–1888). СПб.: Бр. Пантелеевы, 1895; *Кривенко С.Н.* На распутьи (Культурные скиты и культурные одиночки). 2-е изд. М.: Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1901.

[63] *Боборыкин П.Д.* Воспоминания: в 2 т. М.: Худож. лит., 1965. Т. 1. С. 64.

[64] См. о нем: *Соловьев К.А.* «Я сказал: вы — боги...»: религиозное течение в освободительном движении 70-х гг. XIX в. в России («богочеловечество»). М.: [б. и.], 1998.

зеты говорили как о предшественнике Толстого в «теории непротивления». Шелгунов, начиная в «Очерках русской жизни» разговор о толстовстве, пишет: «Замечу только, что два главных основных догмата учения не принадлежат Толстому. Непротивление злу было провозглашено более двадцати лет назад Маликовым, и, в то же время, раздался голос, призывающий интеллигенцию отдать свой долг народу»[65].

Процесс постепенной смены идеологии интеллигентских поселений от народничества к толстовству отчасти описан в книге С.Н. Кривенко «На распутье (Культурные скиты и культурные одиночки)». Стремление кормиться исключительно трудами своих рук сохраняется. Но на первый план выдвигаются задачи нравственного самосовершенствования. Основной деятельностью становятся беседы на нравственно-философские темы. Сама жизнь в колонии осмысляется, в некотором роде, как уход из государства и от общества. Например, В.А. Маклаков вспоминал, как в юности он провел некоторое время в толстовской колонии Новоселова в Тверской губернии:

> Я прожил в ней <колонии. — *Е.П.*> очень недолго и вернулся в Москву «очарованный». Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир постепенно последует, у меня не было; но я видел, что то, чего жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который удовлетворял бы их «совесть», ими был действительно найден. Они все были счастливы этим. <...> Все это делалось ими с радостью и убеждением, что за то зло, которое господствует в мире, они более не «ответственны»; то, что лично они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сделали. Все это было предметом горячих бесед, которые велись в колонии вечером. Была общая атмосфера какого-то всеобщего «медового месяца» наступившего счастья»[66].

Эти идеологические изменения заметны и в художественной литературе. В повести С. Каронина «Борская колония» (Русская мысль. 1890. № 4–6) интеллигентская земледельческая колония разваливается, не успев начать работу. Разваливается по многим причинам, но одна из самых важных — отсутствие у ее членов четких нравственных ориентиров. Организатор колонии Грубов начинает мучиться от того, что у него нет «высшей меры вещей». Он ищет Бога и находит иную, чем в интеллигентском обществе, — истинную — меру вещей в крестьянстве. И говорит словами Толстого или Г.И. Успенского (которого Бунин тоже весьма почитал): «<...> мы живем чувством приятного и прекрасного, мужик же чувством должного и неизбежного. Мы делаем то, что

---

[65] *Шелгунов Н.В.* Очерки русской жизни. Стб. 979.

[66] *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. С. 83.

нам нравится, мужики — то, что должно делать. Не думаю, чтобы эта разница была в нашей выгоде...»[67].

Толстовство приносит обновление народнической идеологии — новое внутреннее содержание. Знаменательно, что, согласно исследованию Кривенко, в каждом поселении идеологические изменения проходят по-своему, элементы толстовства проникают в «убеждения» поселенцев в большей или меньшей степени, но так или иначе во всех поселениях народническая и толстовская идеологии сливаются, демонстрируя их внутреннюю близость, которую показал В.Г. Короленко в «Истории моего современника». Короленко считал, что все идейные течения русской мысли конца XIX века сходились в одном — признании народной мудрости истиной в последней инстанции:

> Не говоря о славянофилах, в системе которых народ занимал такое огромное место, но даже Катков и консерваторы указывали на мудрость народа <...> Для Достоевского народ был «богоносец» <...>. В одном рассказе Златовратского («Золотые сердца») выведен интеллигент из крестьян, медик Башкирцев. Он говорит почти нечленораздельно, но все чувствуют, что он знает что-то не известное мятущимся интеллигентам <...>.
>
> Невольно напрашивается сближение между этим героем <...> и Каратаевым из «Войны и мира» <...>. Это же отношение к каратаевщине, несомненно, было присуще и самому Толстому, а с ним чуть не всем русским критикам, касавшимся «Войны и мира»[68].

Этой идейной доминантой объясняется общий мотив эпохи — принятие учения Толстого как давно сознаваемого, но не сформулированного. В повести И.Л. Щеглова (Леонтьева) «Около истины» (Русский вестник. 1892. № 2) главный герой так говорит о проповеди Толстого:

> <...> когда в нашей умственной пустыне раздался суровый голос яснополянского философа <...>. Великий в своей святой неуступчивости, этот голос раздался для большинства совершенно неожиданно, подобно раскатам первого весеннего грома, и скорее оглушил, чем заставил одуматься... Для меня <...> не было в этом вещем голосе ничего оглушительно неожиданного, потому что вся его потрясающая правда давно смутно ворочалась во мне, как громоздкий упрек совести <...>»[69].

---

[67] *Каронин С.* <Н.Е. Петропавловский>. Сочинения: в 2 т. М.: Гослитиздат, Ленингр. отд., 1958. Т. 2. С. 345.

[68] *Короленко В.Г.* Собр. соч.: в 5 т. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1990. Т. 4. С. 452–453.

[69] *Щеглов И.Л.* Около истины: повесть в трех письмах // Русский вестник. 1892. № 2. С. 80.

Герою литературного произведения вторит Н.С. Лесков (письмо Толстому от 4 января 1893 г.):

> <...> я *сам* подходил к тому, что увидал у Вас, но сам с собою я все боялся, что это ошибка, потому что хотя у меня светилось в сознании то же самое, что я узнал у Вас, но у меня все было в хаосе <...>; а когда услыхал Ваши разъяснения, логичные и сильные, — я все понял, будто как «припомнив», и мне своего стало не надо, а я стал жить в свете, который увидал от Вас <...>[70].

Совпадение толстовства с положениями ряда других идеологических течений было отмечено еще современниками. Так, Р.В. Иванов-Разумник писал: «<...> между принципами “толстовства” и отмеченными выше основными положениями восьмидесятых годов существовала тесная связь и трогательное единодушие. Самосовершенствование, постепеновство, малые дела — все это толстовство нашло уже готовым в окружающей его атмосфере <...>»[71]. Готовым было и не только это. Как показано советской исследовательницей толстовства З.В. Калиничевой, практически все толстовские идеи еще до появления учения «имели хождение среди части русской интеллигенции, преимущественно, дворянской»[72]. Она приводит примеры из жизни видных толстовцев: В.Г. Чертков, П.И. Бирюков, князь Д.А. Хилков стали придерживаться «толстовских» взглядов и жить «по-толстовски» еще до того, как познакомились с трактатами великого писателя. Одним словом, по ее мнению, идеи, сходные с толстовскими, «носились в воздухе»: «<...> Л.Н. Толстой не придумал идеи, составившие фундамент толстовства, а лишь выразил и оформил в определенное мировоззрение мысли и стремления, которые жили и бродили среди части русской интеллигенции и дворянства. Но эти идеи были выстраданы Толстым, переработаны, дополнены, “пропущены через себя”, поэтому, естественно, что “принципы жизни”, вышедшие из-под его пера и только благодаря этому получившие широчайшую аудиторию, названы “толстовскими”[73]».

Идеи, по отдельности широко представленные в общественном сознании и заново узнаваемые в новом контексте толстовства, делали переход от народничества к толстовству легким и не требующим серьезных усилий, тем более «перелома», который пережил сам писатель. Вероятно, идейная эволюция Бунина протекала именно так. Но этот же фактор принципиальной близости

---

[70] *Лесков Н.С.* Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 11. С. 519.

[71] *Иванов-Разумник Р.В.* История русской общественной мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.: [в 2 т.]. СПб., 1907. Т. 2. С. 309.

[72] *Калиничева З.В.* К вопросу о возникновении толстовства // Научный атеизм, этика, эстетика: науч. доклады. XXVII Герценовские чтения. Л., 1974. С. 56–57.

[73] Там же. С. 57.

толстовства разным формам «прогрессивного» мировоззрения способствовал перекрестной критике Толстого и его учения из совершенно разных лагерей. В статье Г.В. Иванова «Тема “бескровного преуспеяния” в творчестве Толстого и Щедрина 80-х годов» приведен набор отзывов об учении Толстого, иногда курьезно противоречивых. Например, В.В. Берви-Флеровский считает, что оно способствовало усыплению общества, а И.Н. Крамскому и П.А. Кропоткину (каждому со своей точки зрения) оно кажется революционным[74]. С другой стороны, толстовство в ряде «вопросов» могли неожиданно поддержать как «слева», так и «справа». Народники безоговорочно поддержали Толстого в его помощи голодающим в начале 1890-х гг. А чуть раньше Толстого неожиданно поддержал самый одиозный публицист газеты «Новое время» В.П. Буренин, увидевший в пьесе «Власть тьмы» основы народности[75]. Собственно, мнение тех или иных общественных групп, исповедующих те или иные идеологии, могло меняться в зависимости от момента, ибо Толстой в развитии учения следовал своей собственной логике, не обращая внимания на общественно-политический контекст. Какие-то положения и идеи из вновь высказанных Толстым находили неожиданных сторонников в разных лагерях; идеи же, высказанные позднее, могли оттолкнуть тех, кто еще недавно его поддерживал[76]. Неизменно осуждала проповедь Толстого (по понятным причинам) лишь официальная церковь[77].

---

[74] *Иванов Г.В.* Тема «бескровного преуспеяния» в творчестве Толстого и Щедрина 80-х годов // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1979. С. 222–224.

[75] Характерно начало статьи В.П. Буренина, посвященной «Власти тьмы»: «Наш выцветший и выдохшийся либерализм в добровольном союзе с пронырливым жидовством старается подорвать великое и глубокое значение тех творческих созданий гр. Л. Толстого, которыми обнаруживается его гений за последнее время» (*Буренин В.П.* Критические этюды. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1888. С. 169).

[76] В качестве одного из многочисленных примеров — суждения Л.А. Тихомирова. 18 сентября 1889 г. он записывает: «Я все эти дни читаю Толстого. У него бывают блистательные места: // “Человек умирает только от того, что в этом мире благо его истинной жизни не может уже увеличиться, а не от того, что у него болят легкие, или у него рак, или в него бросили бомбу”» (*Тихомиров Л.А.* Воспоминания. С. 365). А 1 февраля 1892 г. он уже так пишет о Толстом: «<...> выживший из ума сектант, который в лоск портит молодежь» (Там же. С. 400). См. также рассуждение Л.З. Слонимского: «Шумные восторги, нашедшие себе отклик в книге покойного Громеки («Последние произведения графа Л.Н. Толстого», 1884. — *Е.П.*), уступили место суровой критике и резкому осуждению. Только два-три издания, печатающие изредка статьи самого Л.Н. Толстого, продолжают усердно истолковывать его идеи <...>. Но и эти наивные поклонники “учителя” в нашей печати начинают отказываться от солидарности с отдельными его мнениями, в виду явной их невозможности» (*Слонимский Л.З.* Новые теории графа Л.Н. Толстого. С. 809).

[77] См., напр., книги: *Никанор, архиеп*. Против графа Льва Толстого: восемь бесед…; *Бородкин М.* Граф Л.Н. Толстой как учитель жизни. СПб.: И.Л. Тузов, 1897. В последней книге собрана обширная библиография.

Если суждения о Толстом столь разнились даже у идейной публики, то у большинства читателей, не примыкавших к политическим лагерям, преобладало сочувственное отношение ко всем сочинениям Толстого. Интеллигенция конца XIX века слышала в учении Толстого много непререкаемой правды, которую следует принять, отделив от ошибок и неточностей. Образцом такого взгляда на проповедь Толстого может служить книга Л.Е. Оболенского «Л.Н. Толстой, его философские и нравственные идеи»: «<...> все нападки на Толстого были как раз за то, за что нападать не было ни смысла, ни цели, ни даже малейшей логической возможности <...>, а то, что следовало отметить, разобрать и отвергнуть в теориях Толстого, не было даже замечено»[78]. Полемизируя с писателем по частным вопросам, Оболенский исходит из общей идеи этого времени (встречавшейся, как было показано, и в статьях, например, Н.В. Шелгунова): идейность Толстого противостоит «обезыдеившемуся» интеллигентному мещанству.

Именно так воспринимает толстовство в восьмидесятые годы и А.П. Чехов. В 1886 г. он печатает в «Новом времени» рассказ «Сестра» (впоследствии получил заглавие «Хорошие люди»). Сестра известного критика Лядовского, посвятившего всю жизнь «вопросам чистого разума, гуманности, искусства, жизни»[79], увлекается идеей «непротивления злу». Жизнь брата, доказывающего ей мелочность и безнравственность этой идеи, она начинает считать пустой. Внутреннее отчуждение от брата все усиливается. Наконец, Вера уходит в N-скую губернию прививать оспу. Дальнейшая судьба Веры Семеновны остается неизвестной. Ее брат вплоть до самой смерти пишет фельетоны. Но сразу после смерти оказывается совершенно забыт. Как во многих рассказах Чехова, «настоящей правды» не знает ни один из героев. Но моральная сила — на стороне Веры.

В начале января 1887 г. Чехов в споре с А.Д. Курепиным «доказывал, что нужно хорошенько разобраться в толст<овской> теор<ии> сопр<отивления> злу, а пока нельзя честно говорить ни за ни против»[80].

Как показано В.Я. Лакшиным, Чехов не заимствовал положения толстовства, а пришел к близким толстовству идеям самостоятельно — например, неприятие общественной лжи и фальши характерно еще для раннего творчества Чехова[81]. Из трех рассказов А.П. Чехова, традиционно считающихся “толстовскими” («Нищий», «Встреча», «Казак»), лишь «Казак» не похож на обычный чеховский рассказ. Морализаторская тенденция, ставшая основой сюжета, придает тексту особое звучание. В двух других рассказах тоже появляются толстовские идеи — обращение пьяницы-нищего («Нищий») и вора

[78] *Оболенский Л.Е.* Л.Н. Толстой, его философские и нравственные идеи. 2-е изд. СПб.: Кн. магазин А.Ф. Цинзерлинга, 1887. С. 7–8.

[79] *Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Соч.: в 18 т. Т. 5. С. 588.

[80] Цит. по: письму А.С. Лазарева-Грузинского Н.М. Ежову от 2–3 января 1887 (Там же. С. 667.).

[81] *Лакшин В.Я.* Толстой и Чехов. 2-е изд. М.: Сов. писатель, 1975. С. 24–26.

(«Встреча») на путь истинный. Однако характерный толстовский сюжет здесь оттенен финалом, который ставит под сомнение действенность определенных жизненных рецептов, предлагаемых адептами толстовства.

Как обычно у Чехова, важны не рецепты жизненного поведения, а сами размышления о нравственном и должном. Иронический подтекст, найденный Лакшиным во многих «толстовских» рассказах, в данном случае не столь важен, как сама постановка «толстовских» вопросов. Самостоятельность чеховских суждений указывает на то, что многие идеи толстовства бродили в обществе, и роль Л.Н. Толстого заключалась не в изобретении оригинального учения, а в обобщении и формулировке эпохальных идей и стремлений.

Отчасти в этом следует искать и причину увлечения толстовством многих писателей — В.М. Гаршина, А.И. Эртеля, Н.С. Лескова. Каждый из них находит в толстовстве созвучие собственным исканиям. Важно отметить, что все они приходят к толстовству в одно и то же время — в середине восьмидесятых годов. Например, в 1886 г. Н.С. Лесков стал относиться к проповеди Толстого весьма сочувственно. Для Чехова именно в середине 1880-х гг. Толстой становится главным литературным авторитетом[82].

С другой стороны, это увлечение не предполагает следования Толстому абсолютно во всем. Характерно письмо А.И. Эртеля В.Г. Короленко от 20 февраля 1890 г.: «Не буду отрицать того, что многое в мыслях Л.Н. Т<олстого> представляется мне верным и глубоким до поразительности, но я расхожусь с ним в его отношениях к общественности, к учреждениям, к средствам борьбы со злом, и до известной степени — к так называемой цивилизации»[83]. Расхождения, даже очень значительные, с учителем вполне допустимы для толстовца. Пафос этого вероучения — в собственном постижении Бога личным религиозным опытом[84]. Важен основополагающий принцип: задуматься о смысле жизни и Боге и жить сообразно своим убеждениям. Сам Толстой не настаивает на догматическом следовании собственному учению. Среди его советов сыну Сергею — лишь самые общие начала толстовства[85]. Современники считали учение Толстого не догматическим и поэтому чрезвычайно широким. Так, А.С. Пругавин в очерке о толстовцах пишет: «<...> из Толстого, как из моря, разные люди почерпают различные моральные и религиозные ценности. Каждый берет то, что ему более сродно»[86]. О том же свидетельствует и цер-

---

82 Там же. С. 18.

83 *Эртель А.И.* Письма. М.: И.Д. Сытин, 1909. С. 181.

84 Толстовство как религиозное учение неоднократно сравнивалось в литературе с протестантизмом и русским сектантством. См.: Толстовство как секта // Миссионерское обозрение. 1897. № 910. С. 807–843.

85 *Толстой С.Л.* Очерки былого. М.: ГИХЛ, 1956. С. 175–180.

86 *Пругавин А.С.* О Льве Толстом и толстовцах: очерки, воспоминания, материалы. М.: Изд. автора, 1911. С. 227.

ковный эксперт (протоиерей и профессор богословия Харьковского университета) Т.И. Буткевич: «Вероучение толстовцев первоначально не представляло строгого единства. Оно было полно неопределенностей и кривотолков»[87]. Впоследствии В.А. Маклаков, близко знакомый с рядом толстовцев и самим Толстым, писал: «Те, кого мы тогда в общежитии называли толстовцами, были часто совсем не схожи друг с другом. Общее у всех было одно. Преобладание у всех моральной точки зрения, которая определяла их вкусы, взгляды, жизнь»[88].

И у Бунина в «Освобождении Толстого» приведен яркий эпизод (цитата из воспоминаний А.Л. Толстой), подчеркивающий, что Лев Толстой далеко не всегда следовал правилам, предписанным собственным учением:

> Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца:
>
> — Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?
>
> Отец смутился. Всем стало неловко… (*ОТ*, 76).

В девяностые годы обсуждение учения Толстого было продолжено. Исчезает, по выражению Эртеля, «<...> тон непримиримой вражды <...>»[89], характерный для полемических отзывов конца восьмидесятых. Выражением общественного мнения 1890-х гг. может служить статья о Толстом энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, написанная С.А. Венгеровым. Автор статьи говорит об учении Толстого с большим уважением, подчеркнуто воздерживаясь от оценок: «Еще не наступила пора дать сколько-нибудь объективную оценку последнего периода литературной деятельности Толстого <...>. Это еще жгучая злоба дня <...>. Сколько-нибудь единодушного отношения не установилось даже по отношению к беллетристическим произведениям Толстого, написанным за последние 20 лет»[90].

Общее представление об отношении к Толстому в этот период можно получить, просмотрев журнал «Вопросы философии и психологии», издававшийся хорошим знакомым Толстого Н.Я. Гротом. Руководство журнала поставило перед собой задачу собрать разные мнения о новых идеях великого писателя.

---

87 *Буткевич Т.И.* Обзор русских сект и их толков. 2-е изд. Пг.: И.Л. Тузов, 1915. С. 529.

88 *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. С. 81–82.

89 *Эртель А.И.* Письма. С. 182.

90 Энцикл. словарь. СПб.: Акц. изд. о-во Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон, 1901. Т. 33. С. 455.

Со статьями выступили А.Л. Волынский[91], Н.Я. Грот[92], Н.Н. Страхов[93], профессор философии А.А. Козлов[94]; Вл.С. Соловьев опубликовал работу «Смысл любви»[95] с упоминаниями «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонаты» как великолепного воспроизведения пустоты обыденной жизни. Отдельными брошюрками или в научных журналах в 1890-е гг. появляются открытые письма Толстому либо с выражением недоумения, либо в защиту Толстого от нападающих и недоумевающих[96]. С другой стороны, в периодике начинают выступать адепты Толстого — например, кн. Д.Н. Цертелев кратко излагает содержание книги «О жизни», запрещенной в России и вышедшей за границей по-французски[97].

Таким образом, учение Толстого в девяностые годы, как правило, внушает уважение людям самых разных взглядов. Характерно продолжение цитировавшегося выше письма Эртеля к Короленко: «Затем надо добавить и следующее: я смотрю даже на его парадоксы, на то, что мне представляется ошибочным в его взглядах и рассуждениях, с великим интересом. В этом отношении, мне кажется, совершенно прав был тот человек, который сказал, что ошибочное суждение из уст мудрого драгоценней истины, произнесенной глупым»[98].

---

91 *Волынский А.Л.* Нравственная философия гр. Льва Толстого // Вопросы философии и психологии. 1890. № 1 (5). С. 26–45.

92 *Грот Н.Я.* Нравственные идеалы нашего времени (Фридрих Ницше и Лев Толстой) // Вопросы философии и психологии. 1893. № 1 (16). С. 129–154.

93 *Страхов Н.Н.* Толки об Л.Н. Толстом (Психологический этюд) // Вопросы философии и психологии. 1891. № 5 (9). С. 98–132.

94 *Козлов А.А*. Письма о книге гр. Л.Н. Толстого «О жизни» // Вопросы философии и психологии. 1890. № 1 (5). С. 1–34; 1891. № 2 (6). С. 68–96; № 3 (7). С. 69–102. Еще в 1888 г. А.А. Козлов выпустил книгу «Религия графа Л.Н. Толстого, его учение о жизни и любви» (2-е изд. СПб.: И.А. Фролов, 1895).

95 *Соловьев Вл.С.* Смысл любви // Вопросы философии и психологии. 1892. № 14. С. 97–107, № 15. С. 161–172, 1893. № 16. С. 115–128, № 17. С. 130–147, 1894. № 21. С. 81–96. Основная работа Соловьева, направленная против Толстого, — «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» появится позднее, в 1899–1900 гг. Но уже в «Смысле любви» в одном из примечаний он вступает в полемику с Толстым. Его не удовлетворяет предложенный писателем выход, освобождающий от страха смерти: «По поводу недавних толков о смерти и страхе смерти нужно заметить, что кроме страха и равнодушия <...> есть и третье отношение — борьба и торжество над смертью. Дело идет не о своей смерти <...>, а о смерти других, любимых существ <...>» (*Соловьев Вл.С.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 526).

96 См., напр., письмо проф. Бернского университета Н. Райхесберга (Научное обозрение. 1898. № 7. С. 1208–1211); письмо П. Новицкой против проф. Козлова в защиту Толстого (Вопросы философии и психологии. 1896. № 2 (32). С. 167–169); открытое письмо Ф.Д. Батюшкова (Вильно, 1898) и т. д.

97 *Цертелев Д.Н.* Учение графа Л.Н. Толстого о жизни // Русское обозрение. 1890. № 7. С. 268–296.

98 *Эртель А.И.* Письма. С. 181–182.

Увлечение толстовством расценивается как нечто странное, но благородное. В художественной литературе появляется немало героев-толстовцев. С. Каронин (Н.Е. Петропавловский) публикует уже упоминавшуюся повесть «Учитель жизни» (Русская мысль. 1891. № 1–4), в «Русском вестнике» (1892. № 2) печатается цитировавшаяся выше повесть И.Л. Щеглова (Леонтьева) «Около истины». В обоих произведениях толстовцы нарисованы иронично. Ирония направлена на недостойных последователей писателя, но не на учение. Однако для противников толстовства последователи-лицемеры становятся аргументом против толстовских идей. Именно этих литературных героев один из критиков учения М. Бородкин назвал «худосочными плодами», собранными с древа толстовской философии[99].

Герои некоторых произведений Чехова 1890-х гг. по-прежнему решают толстовские вопросы[100]. Герой «Дома с мезонином» в споре с «восьмидесятницей» Лидой Волчаниновой, полагающей целью жизни создание в деревне «аптечек и библиотечек», говорит, что помощь народу должна заключаться в том, чтобы дать возможность каждому подумать о душе. Для этого нужно освободить людей от непосильного физического труда — взять на себя долю их работы. В повести «Моя жизнь» главный герой Мисаил Полознев[101] считает, что «умственный труд», которым занимаются люди его круга и он сам, абсолютно бессмыслен. Это замаскированная высокооплачиваемая праздность. Он решает заниматься физическим трудом, который «<...> несут миллионы людей»[102]. Дальнейшее развитие сюжета не столь важно, как сама постановка вопроса. Герой вызывает читательскую и авторскую симпатию, что заставляет задуматься над его идеей. Идея же в том, «<...> чтобы сильные не порабощали слабых <...>», чтобы все без исключения участвовали в борьбе за существование, «<...> а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как

---

99 *Бородкин М.* Граф Л.Н. Толстой как учитель жизни. С. 115.

100 А.П. Скафтымов, рассматривая вопрос о возможном влиянии Толстого на Чехова в 1890-е гг., приходит к следующим выводам: «Совпадение у Чехова с Толстым происходит в том, что в проповеди Толстого имело прогрессивный смысл. <...> Одна нравственность, по Чехову, не составляет счастья, но и без нее оно невозможно. <...> Изъятия и исправления, какие делались Чеховым в этическом учении Толстого, совсем не касались главного: его исходной нравственной тревоги, осуществлявшей их во многом общий суд над жизнью» (*Скафтымов А.П.* О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь» // *Скафтымов А.П.* Нравственные искания русских писателей. М.: Худож. лит., 1972. С. 402–403).

101 А.С. Собенников отмечает, что, по словам писателя С.Т. Семенова, Толстой видел в герое «Моей жизни» известного опрощенца кн. В.В. Вяземского. Собенников находит в тексте повести аллюзии, связанные с фигурой Вяземского, а также скрытые цитаты из Т.М. Бондарева и Л.Н. Толстого (*Собенников А.С.* Архетип праведника в повести А.П. Чехова «Моя жизнь» // Русская литература XIX века и христианство. М.: МГУ, 1997. С. 239–246).

102 *Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Соч.: в 18 т. М.: Наука, 1985. Т. 9. С. 193.

физический труд <...>»[103]. Эта мысль высказана в споре с доктором Благово, считающим, что существование бедных и богатых — «<...> мещанская, кухонная, серая сторона жизни <...>»[104], необходимая для прогресса человечества. Но Мисаил и к идее прогресса относится по-толстовски: «Ведь прогресс — в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не порабощаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса?»[105].

«Работа на голоде» привлекла к Толстому сильнейшие общественные симпатии. Некоторые народники становились толстовцами под влиянием этой работы. Например, доктор А.А. Волкенштейн (упоминается в «Освобождении Толстого»), ординатор Полтавской больницы (официально называлась Полтавским богоугодным заведением) — в прошлом участник хождения в народ, — подсудимый на Процессе 193-х (1877–1878), в ходе процесса оправданный, — примкнул к толстовскому кружку в Полтаве. 1 августа 1892 года он отправил Толстому обширное письмо, в котором благодарил его за возможность принять участие в большом общем деле. При этом Волкенштейн сетовал на то, что многие (да и он сам) не сразу отважились на помощь голодающим (можно прочитать этот витиеватый пассаж и так: сначала он не понял великой идеи, а теперь всецело ее поддерживает).

> Теперь оно понятно: даже помощь голодному, поставленная на началах прямой, бесхитростной самодеятельности многим казалась (в глубине души) чем-то слишком отважным. По себе сужу в какой степени отсутствует в среднем русском обывателе уверенность что то, что рассудок и совесть признают хорошим, — следует и делать! <...> думал: да, хорошо, но можно ли? удастся ли? разрешено ли? — Словом это маленькое дело вызвало гораздо больше местной жизни, чем крупные (по сумме денег)[106].

Несмотря на туманность выражений, характерную для писем Волкенштейна, понятно, что помощь голодающим его увлекла. Конец абзаца можно прочитать как какое-то общее рассуждение, а можно как сообщение о конкретном сборе денег (не слишком больших), с которыми (частью которых?), например, и был позднее отправлен к Толстому Б.Н. Леонтьев В этом же письме Волкенштейн писал, что все поручения Толстого, касающиеся покупки пшена и отправки его в голодающие губернии, выполнит «с особенной готовностью и — говорю искренно — радостью»[107].

---

[103] Там же. С. 220.

[104] Там же. С. 221.

[105] Там же. С. 220

[106] *Волкенштейн А*. Письма к Л.Н. Толстому // Государственный музей Л.Н. Толстого. Отдел рукописей (далее: ОР ГМТ). Ф. 1. 141/82. Письмо 1 (сохранена пунктуация оригинала).

[107] Там же.

О пшене часто пишет Толстому в 1892 г. и другой полтавский толстовец, И.Б. Файнерман (тоже упомянутый в «Освобождении Толстого») — например, в письме от 23 апреля 1892 г. (датировка по почтовому штемпелю):

> Вчера был Волкенштейн, читал письмо Аркадия. Он прислал 500 р. за просо и просит еще 6 вагонов пшена. Сегодня узнавал цену. Постараюсь найти[108].

Предполагаем, что Аркадий, упомянутый в этом письме, — это Аркадий Васильевич Алехин (1854–1918), один из трех братьев Алехиных (двое других — Митрофан и Алексей), выходец из богатой купеческой семьи, учившийся в Петровской сельскохозяйственной академии. В 1889 г. братья Алехины организовали толстовскую земледельческую общину в Смоленской губернии, в том же году Аркадий Алехин вступил в переписку с Толстым. Митрофан Алехин (художник-пейзажист, с отличием окончивший Академию художеств) в 1890 г., отделившись от брата, основал свою общину («хутор Байрачный») в Харьковской губернии, он тоже с 1889 г. переписывался с Толстым. Л.А. Женжурист сообщает в воспоминаниях о братьях Алехиных следующее: «Крупные землевладельцы, они почти все свои средства отдавали на революционную борьбу. Когда же стали толстовцами, поделили землю между крестьянами, оставив необходимый участок для интеллигентной колонии»[109].

М.В. Алехин с конца февраля 1892 г. стал одним из главных помощников Толстого в «работе на голоде» в Орловке и Бегичевке Епифанского уезда Тульской губернии: заведовал столовыми и занимался бухгалтерией, а также замещал Толстого во время его отсутствия, руководя всем процессом помощи голодающим (*Т* 66, 180). Арк.В. Алехин работал в это время на голоде в Скопинском уезде Рязанской губернии. Братья Алехины осели в Полтаве, вероятно, в конце 1892 г. (помимо «Освобождения Толстого», они упоминаются как полтавские толстовцы в воспоминаниях Ю.А. Бунина и Л.А. Женжурист) и участвовали в работе столярной артели (мастерской). Не известно, жил ли с ними в Полтаве Алексей, химик по образованию, тоже в 1892 г. работавший с Толстым на голоде, но в конце 1893 г. писавший Толстому из общины, организованной в Тверской губернии (*Т* 66, 450).

Интересно, что братья Алехины, по мнению Л.А. Женжурист, пришли к толстовству не просто из народничества, но из народников-террористов:

> Один из них <Алехиных. — *Е.П.*> бывал у нас очень часто, и мне страшно хотелось услышать от него лично, что послужило толчком к та-

---

108 *Файнерман И.Б.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 194/11. Письмо 2.

109 *Женжурист Л.А.* Из воспоминаний о Полтаве. С. 240.

> кому резкому душевному перелому — вплоть до признания и ощущения в себе высшего существа... И он поведал мне все пережитое им на грани перехода от террориста к непротивленцу: когда ему выпал жребий совершить террористический акт, он, простояв двое суток на своем посту, выслеживая обреченную жертву, пережил мучительный душевный разлад «пред необходимостью убить человека, не будучи в силах задушить курчонка». Обессилев в этой внутренней борьбе и все же не желая стать дезертиром, он выстрелил наугад в окно второго этажа, увидев в нем давно жданную фигуру. Кажется, это было одно из неудавшихся покушений на Победоносцева <…>[110].

Впрочем, воспоминания Л.А. Женжурист написаны уже перед Второй мировой войной и во многих деталях не точны. Однако сама возможность такого идейного перехода не вызывает сомнений. Народники-террористы внутренне менялись в 1880-е гг.; пример Л.А. Тихомирова, выпустившего в 1888 г. брошюру «Почему я перестал быть революционером?», очень характерен. Известно, что Арк.В. Алехин, оказавшись в 1884 г. за границей, вращался в кругу народников-эмигрантов и был хорошо знаком с Тихомировым[111].

Если же говорить о широких общественных настроениях в отношении помощи голодающим, можно обратиться к поздним воспоминаниям В.А. Маклакова. Он рассказывает о переполнявших его в тот год чувствах: «Люди самых различных направлений и настроений вкладывались тогда в это дело. <...> Все так называемые “толстовцы” приняли в этом участие. <...> При виде такой работы и мне стало стыдно <...>»[112].

Таким образом, авторитет Толстого в начале 1890-х гг. (и как великого писателя, и как общественного деятеля, и как философа — учителя жизни) поднимается на невероятную высоту. Учитывая этот общественный и культурный контекст, а также настроения в Полтаве, куда Бунин попал именно в 1892 г., в разгар «работы на голоде» (а также узость круга интеллигентной публики, включавшей в одну тесную «семью», как пишет Л.А. Женжурист[113], и народников, и толстовцев, а также бывших народников, ставших толстовцами — как Алехины или Волкейштейн), понятно его желание тоже войти в толстовскую общину. Тем более, что многие ее участники были хорошо знакомы с Л.Н. Толстым, переписывались с ним — и надежда лично познакомиться с любимым писателем (которую в более поздних воспоминаниях Бунин сделал

---

110 Там же.

111 *Чисников В.* Лев Толстой и его последователи: по сведениям департамента полиции (1861–1896) // Нева. 2020. № 10. С. 208.

112 *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. С. 167.

113 *Женжурист Л.А.* Из воспоминаний о Полтаве. С. 239.

едва ли не единственной мотивацией в своем желании быть толстовцем) должна была загореться в нем с новой силой.

4. Бунин-толстовец. «Не опрощаться до конца»

15 июля 1893 г. Бунин пишет третье письмо Толстому. Теперь он обращается к нему как начинающий писатель. К письму приложен отдельный оттиск рассказа «Деревенский эскиз» (в более поздних вариантах заглавие будет изменено на «Танька») из журнала «Русское богатство». Это первая публикация прозы Бунина в толстом журнале общероссийского значения. В эти годы журнал имел четкую народническую ориентацию; рассказ Бунина затрагивал темы, равно интересные народникам и толстовцам. В нем громко звучала тема крестьянского голода, а также выстраивалась антитеза двух социальных миров: жизнь барина и бедной крестьянской девочки.

В письме Бунин занимает позиции глубокого почитателя и молодого коллеги по цеху:

> Не удивляйтесь, что получите при этом письме брошюрку, Вам, может быть, совершенно ненужную и неинтересную. Посылаю ее Вам, как человеку, каждое слово которого мне дорого, произведения которого раскрывали во мне всю душу, пробуждали во мне страстную жажду творчества (если только я смею употреблять это слово, упоминая о себе).
>
> Много раз мне хотелось написать Вам многое, увидать Вас. Но боюсь, что причислите меня к лику тех, которые осаждают Вас из пошлого любопытства и т. п.
>
> Не примите хотя этого за навязчивость и неискренность (*П 1*, 182).

Помимо часто цитировавшихся строк, формулирующих исключительное отношение к Толстому, показательно в этом письме позиционирование свободного художника (отправляю, просто так, брошюрку — с уничижительным по значению суффиксом — не столько для прочтения, сколько в знак почитания)[114]. Бунин третий раз пишет Толстому в надежде привлечь к себе внимание. В кратком панегирике обращает внимание формулировка «слово (Толстого)», очень по-толстовски соединяющая художественное слово и публицистическое слово (хотя критика часто разделяла эти два понятия), почти в евангельском

[114] К этой системе смыслов близко несохранившееся письмо Бунина С.А. Толстой по поводу подписки на Полное собрание сочинений Толстого и просьбой о рассрочке. Известен ответ Софьи Андреевны от 20 октября 1893 г. с отказом (*Ширмаков П.П.* Рукописи и переписка И.А. Бунина // Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома. [Л.]: Изд. АН СССР, 1959. № 8. С. 134).

значении. Впрочем, далее употреблено слово «произведения», но оно тоже применимо и к художественным текстам и статьям.

Еще интереснее постскриптум:

> P.S. Нынешней весной от И.Б. Фейнермана я узнал, что Вам нужны были помощники в Вашем деле около ст<анции> Клекоток, и написал Вам. Вы ответили мне, но смешали меня с другим Буниным, который, правда, появлялся осенью в Полтаве, и, вероятно, бывал у Вас. Он теперь устроился где-то недалеко от Полтавы, в имении (*П 1*, 182).

В нем резко меняется позиция пишущего и сам тон корреспонденции. Это уже не обращение поклонника к недосягаемому кумиру, а разговор немного знакомых людей, с легкой претензией на светскость, с обсуждением известных обоим вопросов. Формулировка «в Вашем деле», без конкретики, предполагает нечто очевидное, не требующее называния. Скрыть «работу на голоде» — важнейшее дело Толстого последних лет — за общей формулировкой может только единомышленник, для которого важность этого дела понятна сама по себе. Сведения о Н.И. Бунине — то, что может быть интересно адресату; ответ, как бы предваряющий вопрос. Собственно, только попадание в круг полтавских толстовцев дало Бунину право писать Толстому в таком речевом жанре. Он, правда, вероятнее всего, еще не совсем уверен в этом праве — этим объясняется разность тона между основным текстом письма и постскриптумом.

Зимний эпизод изложен в постскриптуме несколько иначе, чем в предыдущем письме. Во-первых, тогда в качестве рекомендателя-посредника был указан Б.Н. Леонтьев, теперь он заменен И.Б. Файнерманом (иногда его фамилию пишут с первой гласной «е», В.Н. Муромцева-Бунина в «Жизни Бунина» пишет «Фееман»). Не имея подробных сведений о том, как протекало «толстовское послушание» Бунина, можем предположить, что за эти полгода, прошедшие между вторым и третьим письмом, Бунин освоился в так называемой «толстовской колонии» и получил наставника — упомянутого Файнермана. О том, что под руководством Файнермана он учился не только жизненной мудрости, но и бондарному ремеслу, Бунин упоминает в воспоминаниях о Толстом, позднее вошедших в «Освобождение Толстого». Географическая точка, куда собирался Бунин зимой, здесь указана точно: это железнодорожная станция Клекотки, расположенная у одноименного села в Епифанском уезде Тульской губернии. В зимнем письме речь шла о Епифанском уезде вообще. Вероятно, место, где требовались помощники, было известно Бунину и тогда (от Б.Н. Леонтьева — напрямую или через посредничество одного из полтавских толстовцев[115]), но

[115] Так, предыдущей весной, в 1892 г., в селе Горлове близ станции Клекотки «работал на голоде» Арк.В. Алехин.

в том письме он решил задать Толстому лишний вопрос — в надежде на индивидуальное отношение: «Учитель» мог лично направить его куда-то еще.

Исаак Борисович Файнерман (1864–1925), вероятно, сыграл в эти годы немаловажную роль в жизни Бунина. В 1893–1894 гг. (т. е. до окончания полтавского периода) он заменил (наверное, лишь отчасти) в его жизни Ю.А. Бунина (тем более, что тот был рядом и, как всегда, готов к советам и всяческой помощи). Файнерман увлекся толстовством практически сразу после выхода первых трактатов Толстого. В первом письме Толстому, написанном в 1885 г., он подробно рассказал, как самостоятельно пришел к близким идеям: прошел период атеизма, затем прочел Льюиса и Милля о Конте. Под влиянием их идей «положительную т. е. этическую часть моего атеизма» он заменил «“социальной религией”, той самой религией, в к<ото>рой я и теперь имею счастье пребывать, но уже в более сознательном виде»[116]. Наконец, он одновременно прочел сочинения Толстого и «Исторические письма» П.Л. Лаврова (далее Файнерман приводит собственные краткие формулы обоих учений). «Вывод из сопоставления этих двух формул таков, что и Вы, и Лавров в сущности говорите одно и то же, хотя тот говорит о *прогрессе*, а Вы об *исполнении воли Бога*. Вот эта-то простота и ясность Вашей мысли, так широко и глубоко охватывающей понятие о смысле жизни, и привлекла меня к Вам, — я стал Вашим учеником»[117].

По этому развернутому изложению идейных исканий хорошо видно, что путь от народничества к толстовству, пройденный Буниным, был свойствен и многим другим последователям Толстого. Рассуждение Файнермана вполне типично: интересно, что Б.М. Эйхенбаум приводит очень похожее рассуждение Н.А. Малиновского о том, что система научной этики Берви-Флеровского — предшественница нравственного учения Толстого[118].

Уволившись из гимназии (как и Бунин, не окончив курса), Файнерман летом 1885 г. приехал в Ясную Поляну и познакомился с Толстым. Попытался устроиться учителем в Яснополянскую школу, но прослужил там недолго из-за возражений попечителя учебного округа. Прожил в Ясной Поляне частным образом около двух лет, затем участвовал в деятельности нескольких сельскохозяйственных толстовских общин в иных местах[119]. Как и Бунин, Файнерман уделял время статистике. В одном из писем Толстому, написанных в 1887 г., Файнерман сообщает: «По статистике поработываю»[120].

---

116 *Файнерман И.Б.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 194/8. Письмо 1.

117 Там же. Выделено Файнерманом.

118 *Эйхенбаум Б.М.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1974. С. 25.

119 *Элиасберг Г.А.* Запреты и предписания, касающиеся семейной жизни, в творчестве толстовца И. Тенеромо // Запреты и предписания в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2018. С. 275, 278–280. (Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия.)

120 *Файнерман И.Б.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 194/8. Письмо 10.

Вероятно, с середины 1890 г. Файнерман жил в земледельческой общине М. Алехина на хуторе Байрачном (см. письмо Толстого от 21–22 мая 1890 г. к П.И. Бирюкову: «Файнерман поехал к Алехину. Митроф<ан> Алех<ин> приглашает в свою. У него мало народа» (*Т* 65, 96). В комментарии к письму ошибка: комментатор пишет, что Файнерман уехал в смоленскую колонию Шевелево, организованную Аркадием Алехиным, но это противоречит данным департамента полиции, прямо указывающим на колонию М. Алехина[121]). Там же, на хуторе Байрачном, некоторое время проживал и Клопский.

С 1891 г. Файнерман обосновался в Полтаве и стал одним из лидеров местного толстовского общества. Несмотря на имеющийся опыт жизни в земледельческих колониях, в Полтаве он создал редкую в среде толстовцев неземледельческую общину — столярную мастерскую. В ней работали многие полтавские толстовцы (Б.Н. Леонтьев, Алехины, Дудченко и Симонсон). По-видимому, Файнерман умел увлечь: помимо Бунина в эти же годы у него проходил «послушание» полтавский семинарист Г.А. Гапон. Симпатия к толстовству послужила причиной трений Гапона с начальством семинарии, но это не помешало ему окончить ее в 1893 г. В 1893–1894 гг. Гапону пришлось искать заработок в Полтаве: он выполнял какие-то работы для Статистического бюро Полтавского земства. В воспоминаниях Ю.А. Бунин упоминает этот факт, но отмечает, что Гапон тогда был совершенно не заметен в общественном плане[122].

В воспоминаниях о Толстом и «Освобождении Толстого» Бунин характеризует Файнермана так: «громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, <…> державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом» (*ОТ*, 78).

Насколько можно судить по имеющимся источникам, полтавские толстовцы частью «сели на землю», частью проповедовали и спорили в «полтавских салонах» (*ОТ*, 77), которые Ю.А. Бунин именовал интеллигентскими клубами. Судя по переписке Толстого с М.В. Алехиным, под Полтавой возникли и существовали какое-то время различные толстовские хутора и поселения (см. письмо от 25 февраля 1893 г., где Толстой советует М. Алехину поработать на хуторе Ф.А. Мищенко, *Т* 66, 300–301). Кроме того, Бунин упоминает в воспоминаниях о Толстом и «Освобождении Толстого» о неких братьях Д., работавших на земле: «Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно

---

121 *Чисников В.* Лев Толстой и его последователи. С. 218.

122 «В числе временно работавших в бюро был одно время знаменитый впоследствии отец Гапон, тогда только что окончивший духовную семинарию. Хотя он работал в то время, когда я заведовал статистическим бюро, я его совершенно не помню, да и те, которые помнят о его пребывании в бюро, не могут указать на что-либо интересное в его личности. Герой 9 января был, по-видимому, безвестной фигурой» (*Бунин Ю.А.* Из архива Юлия Бунина. Из жизни провинции…).

скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные <...>» (*ОТ*, 78). М.В. Теплинский восстанавливает их фамилию: имеются в виду М.С. и Т.С. Дудченко[123]. Фамилию Дудченко (без инициалов и не упоминая, что это братья) называет среди «лидеров» толстовства, поселившихся в Полтаве, и Ю.А. Бунин[124]. Митрофан Семенович Дудченко (1867–1946) — известный толстовец, женатый на штундистке Марии Федоровне Симонсон (1867–1902 или 1903). Симонсон училась на высших женских курсах, служила земской учительницей. Была выслана из Харьковской губернии за пропаганду штундизма, вслед за ней последовал и Дудченко. С 1891 или 1892 г. они поселились в Полтаве, где оба стали работать в столярной мастерской, затем переселились на хутор в Зеньковском уезде Полтавской губернии, но в середине 1893 г. вместе с малолетними детьми были присланы по этапу — уже за распространение учения Толстого среди крестьян — в Полтаву, где им определили место жительства под гласным надзором полиции на два года[125]. Дудченко сохранит верность толстовству и вплоть до 1920-х гг. будет руководить толстовскими сельскохозяйственными коммунами в Харьковской губернии. О старшем брате М.Т. Дудченко Тихоне Семеновиче (1853–1920) известно меньше. Он учился на юридическом факультете Петербургского императорского университета, затем увлекся толстовством и «сел на землю». Переписывался с Толстым. За интересующий нас период есть одно известное письмо Толстого, адресованное ему, от 7 апреля 1894 г.

В более позднем рассказе «В августе» (1901) Бунин делает зарисовку «малорусского города», как обычно в его текстах обобщенно именуется Полтава. Собственно, практически все детали в этом тексте автобиографичны, начиная с первого предложения: «Уехала девушка, которую я любил <...>»[126]. И далее: «Был конец августа, в малорусском губернском городе, где я служил, стояло знойное затишье… И когда однажды в субботу я вышел после занятий из палаты, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город»[127]. За городом стоит хутор толстовцев — братьев Тимченко, Павла

---

123 *Теплинский М.В.* Доктор А.А. Волкенштейн (штрихи к портрету обыкновенного порядочного человека) // Вестник Сахалинск. музея. 1997. № 1 (4). С. 157.

124 *Бунин Ю.А.* Из архива Юлия Бунина. Из жизни провинции…

125 *Чисников В.* Лев Толстой и его последователи. С. 214–215. См. также письмо Л.Н. Толстого к А.Н. Дунаеву от 7 июня 1893 г., в котором Толстой жалеет Дудченко и его семью в связи с их насильственным перемещением в Полтаву (*Т* 66, 350).

126 *Бунин Ив.* В августе // Русская мысль. 1901. № 8. С. 146.

127 Там же. В варианте текста 1915 г. эта биографическая подробность была снята — ее заменила другая, которая в первоначальном тексте тоже присутствует, см. далее по тексту рассказа: «<…> учился бондарному ремеслу» (Там же. С. 147); «И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город» (*ПСС* 2, 222).

и Виктора. Известно, что тексты раннего Бунина широко используют автобиографический материал. Вполне вероятно, что здесь взят, как говорили в то время, хутор братьев Дудченко. Жена старшего Тимченко, с которой до конца рассказа беседует герой, сидя на меже бахчи, носит имя Ольга Семеновна (похоже на имя и отчество второй жены А.А. Волкенштейна, с которой он жил в Полтаве: Ольга Степановна, урожд. Засядко[128]). Впрочем, жена Волкенштейна не была столь молода, как героиня. В рассказе совсем молодая женщина, внешне похожая на девочку, скучает; тяготы толстовского хозяйства оказались не для нее; разговоры на общественные темы ее тоже мало занимают. В душе героини намечается надрыв. Примерно то же самое пишет о М.Ф. Симонсон (жене М.С. Дудченко) толстовец Е.И. Попов:

> Жизнь их была очень тяжелая и скудная. М.С. мужественно переносил все трудности и настойчиво осуществлял свое решение, но М.Ф. такая жизнь была тягостна. Когда я был один раз у них проездом, М.Ф. жаловалась мне, что их жизнь ее не удовлетворяет. Действительно у них в хате было очень скудно; дети (их было 3) имели вид замарашек и детей неспокойных; сама М.Ф. тоже имела вид неряшливый, замученный. От ее роскошной косы осталась половина. С течением времени жизнь их стала несколько более зажиточной, но все-таки труд поглощал все их силы и внимание[129].

Впрочем, в семье Дудченко разрыва не случилось. М.Ф. Симонсон (которая была на три года старше Бунина) мужа и хозяйство не бросила, но скоропостижно скончалась примерно через десять лет после описываемых событий. Атмосфера приближающегося разрыва могла быть заимствована Буниным из истории Л.А. Женжурист, ровесницы Бунина, приехавшей в Полтаву с мужем-народником и, кажется, поначалу с симпатией отнесшейся к проповеди толстовства (судя по ее воспоминаниям, И.М. Клопский считал, что обратил ее в свою веру, но однажды получил от нее отповедь[130]). Л.А. Женжурист весной 1892 г. разошлась с мужем и уехала к родне в Минск. Бунин сопровождал ее до станции Бахмач, куда приехал за нею ее брат (*Летопись 1*, 138). Так или иначе, этот рассказ-настроение наполнен множеством автобиографических деталей, которые Бунин в этот период использует в своих текстах, комбинируя или распределяя между разными персонажами, для создания объемного реалистического изображения[131].

---

128 *Теплинский М.В.* Доктор А.А. Волкенштейн... С. 156.

129 Цит. по: *Агарин Е.В.* Трудами рук своих... С. 219.

130 *Женжурист Л.А.* Из воспоминаний о Полтаве. С. 242.

131 См. об этом подробнее: *Пономарев Е.Р.* «Письмо с натуры»: автобиографический материал в ранней прозе И.А. Бунина // Studia Litterarum. 2023. Т. 8, № 3. С. 148–167. DOI: 10.22455/2500-4247-2023-8-3-148-167.

Отметим недолгое присутствие в Полтаве толстовца И.М. Клопского, имевшего скандальную известность и послужившего прототипом главного героя упоминавшейся выше повести С. Каронина «Учитель жизни». В «Освобождении Толстого» Бунин пишет, что Клопский был первым толстовцем, с которым он познакомился в Полтаве. Рассказ о нем обширнее характеристики Файнермана:

> Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Коронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город (*ОТ*, 76)[132].

Чуть далее приводится анекдот из жизни Клопского: его выносят из поезда, потому что у него нет билета — никаких билетов он не признает. Отрицание билета как такового в целом укладывается в рамки толстовства (Толстой неоднократно высказывался о пагубной роли денег в жизни общества; за железнодорожный билет нужно заплатить, поэтому он тоже, получается, «не нужен»), но сама по себе история выходит двойственной: человек не платит за проезд, прикрывая скаредность высоконравственными рассуждениями. Эта живая сценка из жизни Клопского соответствует многим сценам повести Каронина. Ее главному герою Денису Чехлову (как, вероятно, и прототипу) можно передать две бунинские характеристики, адресованные Файнерману: «нестерпимый ритор» и «софист». Еще резче пишет о Клопском Л.А. Женжурист: «Только я не могла еще примириться с мыслью, что человек может быть каким-то мыльным пузырем — взлетит на воздух... и нет ничего, одни брызги... Казалось, если это не душевнобольной, не маниак, то должно же быть у него что-то, что оправдывало бы это метание по чужим углам, это жуткое безделье»[133]. Она рассказывает, как один из ее друзей уступил Клопскому свою кровать на одну ночь, Клопский же решил, что может жить в его комнате, сколько заблагорассудится. Передает и еще один «софизм» Клопского: «<…> например, на требование вида (на жительство) отвечать: “Вот мой вид”, — обведя рукою свою фигуру

---

[132] Интересно, что в 1889 г. Клопский побывал в Нижнем Новгороде, там его видел М. Горький. В дальнейшем Клопский станет одним из проходных персонажей в его произведении «Мои университеты» (1923).

[133] *Женжурист Л.А.* Из воспоминаний о Полтаве. С. 242.

<…>»[134], — прибавляя, что за этой игрой слов всегда скрывалась абсолютная внутренняя пустота.

В переписке с Толстым Клопский, как и в жизни, неестественен и риторичен, нередко теряет чувство меры. Время от времени он отсылает Толстому стихи собственного сочинения. Стихи приложены уже к первому письму (от 10 мая 1886 г.). Несколько страниц предваряет посвящение: «Посвящаю этот бедный труд неподкупному слуге истины Льву Николаевичу Толстому. Автор»[135]. В конце письма приписка: «Приношу в дар, как ничтожную лепту, тому, у кого не достоин отвязать ремень от сапог его»[136]. Отношение Толстого к Клопскому, по-видимому, было сложным. Это отношение (как и характер самого Клопского) просвечивает в цитате из его письма Толстому от 17 января 1892 г.: «Кроме того ваше слово — “чудак” — заставляет меня молчать. Зачем вы сказали его?»[137]

С.А. Толстая писала о Клопском мужу 4 мая 1886 г.: «Он очень странный и безнадежный: мягкости, то есть способности подчиняться жизни — нет; что-то ищет и ни с чем не совладает. Глаза остановившиеся и страшные» (*Т* 83, 565). А сам Толстой 12 августа 1889 г., записал после разговора с Клопским: «Тяжелый разговор. Я не сумел не раздражиться» (*Т* 50, 121). И следующий день, 13 августа: «Опять Клобский[138], с к<оторым> говорил любя, но трудно» (*Т* 50, 121).

Впрочем, Клопский был в 1892 г. выслан из Полтавы и, надо думать, серьезного влияния на Бунина не оказал (он вскоре отправился в США, где и умер в 1898 г.: попал под травмвай). Наверное, наиболее важен (помимо Файнермана) для Бунина-толстовца был доктор А.А. Волкенштейн. Если Файнермана, Клопского, Алехиных, Дудченко можно назвать толстовцами первого поколения, к началу 1890-х гг. все они были уже хорошо знакомы с Толстым (кто лично, кто по переписке), то Волкенштейн, надо думать, превращался в толстовца на глазах у Бунина, — как мы видели ранее, в период «работы на голоде»[139].

Волкенштейн жил в Полтаве со своей второй женой Ольгой Степановной, дочерью полтавского помещика. Его первая жена Л.А. Волкенштейн некоторое время провела за границей, а после нелегального возвращения в Россию была арестована и приговорена к заключению в Шлиссельбургской крепости за участие в убийстве Харьковского губернатора Кропоткина. Для Ольги Степановны брак с Волкенштейном тоже был вторым: молодой девушкой она

134 Там же. С. 241.

135 *Клопский И.М.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 155/110.

136 Там же.

137 Там же.

138 Толстой пишет фамилию «Клобский» через «б».

139 Подробнее см. раздел 2 настоящей главы.

вышла замуж за прокурора, развод с ним был непростым. Клопский некоторое время проживал у Волкенштейнов. В.М. Теплинский цитирует секретное донесение начальника Полтавского губернского жандармского управления в Департамент полиции, в котором говорится о событиях 1892 г.:

> Кружок последователей учения графа Толстого продолжал свою деятельность по-прежнему, и к нему открыто примкнул известный в Департаменте полиции служащий в Полтавском богоугодном заведении губернского земства врач Александр Волкенштейн, не только сам бывающий у Файнермана и других, но принимающий их довольно часто у себя, а Иван Клопский даже некоторое время жил и скрывался у Волкенштейна. Вообще учение графа Толстого за последнее время стало распространяться в среде более интеллигентной молодежи[140].

Рассказывая в «Освобождении Толстого» о Волкенштейне, Бунин выделяет несколько деталей: «<…> по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского из “Анны Карениной”» (*ОТ*, 77)[141]; «<…> очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет» (*ОТ*, 80). О нем, как и о Клопском, тоже рассказан анекдот: в вокзальных буфетах на пути в Москву Волкенштейн то и дело выпивает две-три рюмки водки, закусывая пирожками с мясом (хотя как толстовец водки пить не должен, а есть — только «безубойное»), а потом «пресерьезно» говорит: «Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...» (*ОТ*, 79). Эта же шутка повторена и в московском эпизоде: «<…> не он раб шамбертена, а шамбертен его раб» (*ОТ*, 80). Появляется и эпизод, который рифмуется с «риторством» Файнермана и Клопского: «<…> “С новым годом, Александр Александрович!” — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я?» (*ОТ*, 80). В поздравлении Бунина ровно нет никакой бессмыслицы: дело происходит утром 1 января, однако толстовец привык отменять все сложившиеся человеческие обычаи. Анекдотичность и пустая риторика становятся визитными карточками почти каждого толстовца в «Освобождении Толстого». Надо думать, в начале 1890-х гг. Бунин воспринимал толстовство и его установки совсем иначе.

---

[140] *Теплинский М.В.* Доктор А.А. Волкенштейн... С. 157. Т.И. Буткевич в книге, написанной несколько позднее (первое издание вышло в 1910-м, второе в 1915 г.), называет Волкенштейна главным пропагандистом толстовства в Полтавской губернии (см.: *Буткевич Т.И.* Обзор русских сект… С. 529).

[141] А.А. Волкенштейн родился в семье генерал-лейтенанта.

Начнем с «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия», о которых Бунин надеялся побеседовать с Толстым еще летом 1890 г. 28 августа 1890 г. Бунин пишет брату Юлию обстоятельное письмо, в котором рассказывает о чувстве к Варваре Пащенко и о том, как оно развивалось (постскриптум письма уже цитировался нами в связи с тем впечатлением, которое произвел на юношу роман Золя «Человек-зверь»)[142]. Бунин делится с братом ощущением, что это чувство — совершенно особое, совсем не такое, какое он раньше испытывал к девушкам:

> Я, напр<имер>, в жизни никогда не чувствовал к ней полового влечения <…>. Знаешь, у меня совсем почти никогда не бывает теперь похотливого желания. Ужасной кажется гадостью... Впрочем, ты может быть не поверишь (*П 1*, 45).

Толстовская лексика бросается в глаза. Это пишет человек, внимательно прочитавший «Крейцерову сонату». Бунин привносит в свое чувство толстовское понимание любви. Мысли Толстого проникают в сознание Бунина, ассимилируются с его мышлением и превращаются в мыслительные трафареты. Становится заметен механизм неосознанного подчинения собственных мыслей общепринятым: Бунин создает для себя контаминацию из нескольких идеологий (Варе он будет читать Скабичевского и Шелгунова) — и выбирает идеологию в зависимости от «вопроса». О любви он говорит по-толстовски.

Отсюда же, из толстовского дискурса, взята и формулировка, завершающая письмо Толстому о «Послесловии»: «<…> не могу, так сказать, вместить Ваших мыслей» (*П 1*, 31). Писания Толстого у многих читателей (а особенно — у затронутых толстовским учением) оставляют послевкусие непонятой глубокой мысли. Показательно письмо И.М. Клопского, написанное сразу после знакомства с Толстым. Клопский пишет, что все время откладывал написание письма, так как надеялся еще раз обдумать слова Толстого: «<…> и притом некоторые вопросы были без ответа; но я почему-то был уверен, что ответ кроется тут же <…>»[143]. Бунин в своем письме моделирует похожую языковую ситуацию, которая становится почти обязательной в общении толстовца с Толстым: слова Учителя предельно просты, но при этом настолько глубоки, что осознание их приходит только со временем. Легким отталкиванием от языка толстовцев звучит лишь вводное выражение «так сказать», поставленное перед глаголом «вместить». Оно снижает значение глагола, как бы смягчает использованную формулировку. В правильном толстовском высказывании его

---

142 См. раздел 2 настоящей главы.

143 *Клопский И.М.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 155/110 (письмо от 10 мая 1886).

быть не должно. Эта языковая деталь показывает, что Бунин испытывает некоторое эстетическое отталкивание от толстовской риторики.

Таким образом, еще не попав в полтавский круг толстовцев, Бунин уже применяет на себя в некоторых случаях обычный толстовский код. В Полтаве Бунин, вероятно, погружается в толстовский дискурс сильнее. Однако мы не видим этого ни в сохранившихся письмах, ни в каких-либо иных документах. Можно предположить на этом основании, что Бунин употреблял толстовский язык исключительно в толстовском кругу (ведь «братия», как он пишет в «Освобождении Толстого», считала его совершенно своим), вне его он говорит так, как раньше.

В конце декабря 1893 г. Волкенштейн берет Бунина с собой в длительную поездку: сначала они вместе едут в село Хилково Харьковской губернии, мужики которого исповедовали веру, близкую толстовству[144]: «<…> надо было <…> пожить с хилковскими “братьями”, войти в личное общение с ними и “укрепить” и себя и их этим общением на путях “доброй” жизни» (*ОТ*, 79). Бесконечные кавычки, в которые Бунин заключает толстовскую лексику в воспоминаниях о Толстом, вошедших в «Освобождение Толстого», очень характерны: он знает и хорошо чувствует эту лексику; но в эмиграции, в период создания цитируемого текста, она уже представляется ему курьезной. Тогда же, вероятно, он хорошо говорил на этом языке.

Визит Бунина к Толстому напоминает стандартный для тех лет визит незнакомого посетителя. Неслучайно он приходит к Толстому как последователь его учения, а не как молодой писатель. К поклонникам своего литературного таланта Толстой относится с недоверием, ибо в толстовской системе представлений художественное творчество, не пропитанное религиозной идеей, заведомо греховно. К разделяющим его взгляды незнакомцам, Толстой, напротив, нередко проявляет радушие. Так, в воспоминаниях Г.А. Русанова, посетившего Ясную Поляну в августе 1883 г. (самое начало толстовства как идейного течения), будучи незнакомым с Толстым, рассказывается о приеме, который был ему оказан. Сначала Толстой был видимо недоволен посещением. Русанов объяснил причину: «<…> некоторые места в этих сочинениях <«Исповедь» и «Новое Евангелие». — *Е.П.*> остались для меня темными, и разъяснение их настолько важно для меня, что я нарочно приехал к вам»[145]. Толстой преобразился и пригласил незнакомца остаться еще на день.

Отметим, что Бунин использует для знакомства тот же ход, что и раньше: если первый раз он отправился к Толстому с редактором Шелеховым (а на «борьбу с голодом» хотел попасть через толстовца Леонтьева), то теперь он

---

144 Смычка толстовства не только с интеллигентским народничеством и теорией малых дел, но и с мужицким сектантством представляет исключительный интерес, однако рамки этой монографии не позволяют развить эту значительную тему.

145 *Русанов Г.А.* Поездка в Ясную Поляну // Толстовский ежегодник. 1912. С. 53.

едет с Волкенштейном — уже известным Толстому с положительной стороны человеком, который, вероятно, договорился о приезде заранее. Волкенштейн, впрочем, тоже едет знакомиться с «великим старцем»: он увлекся толстовством недавно и раньше с Толстым не встречался. 3 января 1894 г. Волкенштейн и Бунин прибыли в Москву. Как рассказано в «Освобождении Толстого», Волкенштейн посетил Хамовники в тот же вечер и предупредил о приходе Бунина на следующий день.

Необычайное волнение во время первой встречи с Толстым входит в общепринятый код поведения визитера (особенно молодого писателя, если Толстой согласился его принять). Например, писатель из рабочих С.Т. Семенов (впоследствии тоже, как и Бунин, участник телешовских сред), говорит о невероятном волнении, охватившем его перед домом в Хамовниках[146]. В столь же восторженном духе рассказывает о первом визите в Хамовники Л.А. Авилова[147]: «<…> я <…> с замиранием сердца вошла в переднюю. И через несколько минут Лев Николаевич уже быстро спускался ко мне по лестнице со 2-го этажа дома. Помню, что в этот миг <…> я пережила какое-то особенно сильное и сложное чувство: я вдруг поняла, что не имела права прийти к нему, что мое желание работать для народа — выдуманный предлог <…>»[148]. Небывалая одухотворенность после встречи — тоже обычна, особенно для толстовца. И.М. Клопский писал Толстому о своих ощущениях после знакомства: «После свидания с вами я почувствовал избыток энергии <…>»[149].

Однако, думается, что чувство Бунина перед домом Толстого было серьезнее, чем обычная робость, сопровождаемая благоговением. Бунин усиливает стандартное поведение в разы, тем самым делая его нестандартным. Важно свидетельство В.Н. Муромцевой-Буниной: «Скажу только, что когда, в 1906 году, в начале нашего знакомства, Иван Алексеевич рассказывал мне о своем посещении Толстого, то волновался так, как будто это свидание было несколько дней тому назад»[150].

Многие, знавшие Толстого близко, говорят о каком-то гипнотическом воздействии его личности. Например, И.Е. Репин пишет: «Для меня духовная атмосфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей. При нем, как загипнотизированный, я мог только подчиняться его воле. В его присутствии всякое положение, высказанное им, казалось мне бесспорным»[151].

---

146 *Семенов С.Т.* Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. СПб., 1912. С. 5.

147 Бунин в дальнейшем познакомится с Авиловой, а в конце жизни прочитает ее воспоминания и тепло выскажется о них (впрочем, целый ряд современных исследователей предпочитает не до конца доверять сведениям, в них сообщенным).

148 *Авилова Л.А.* Рассказы. Воспоминания. М., 1984. С. 213.

149 *Клопский И.М.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 155/110.

150 *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина… С. 139.

151 *Репин И.Е.* Далекое близкое. С. 366.

В этом контексте следует понимать и известное письмо Чехова Суворину, написанное в 1894 г.: «<…> толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода»[152].

Этот «гипнотизм» можно предположить и в сознании Бунина.

Не исключено, что в воспоминания о первой встрече с Толстым Бунин добавил несколько важных для него элементов. Например, светское начало разговора: Толстой сразу вспомнил его отца, хотя не имел о нем сведений около сорока лет. Но знакомство отца с молодым Толстым очень важно для самого Бунина — и, вероятно, поэтому попадает в текст. Фраза о писании дана так, как будто Толстой «благословил» молодого писателя: «Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни...» (*ОТ*, 83). Эта фраза в целом укладывается в рамки толстовской этики, однако обычно Толстой и толстовцы строже относились к художественному творчеству. Впрочем, эта фраза звучит в унисон с ключевой темой разговора о трудовой жизни, из которой не надо делать «мундира». И получается, что толстовство в изложении «от автора» — либеральное, индивидуально ориентированное учение, в котором каждый может найти что-то близкое себе, вступив в общение с людьми, желающими жить хорошо и честно.

На этом глубинном смысле воспоминаний стоит остановиться подробнее. Бунин уловил ту конституирующую особенность толстовства, какой не было ни в народничестве, ни в других интеллигентских идеологиях. Это отсутствие жесткого требования принять все положения учения и, тем более, все жизненные практики. Основной ментальной практикой толстовство признавало индивидуальное размышление о Боге и жизни. В зависимости от выводов, к которым приходил человек в ходе таких размышлений, он мог принимать или не принимать идейные формулировки, которые предлагались в толстовской литературе (большей частью в виде множества афоризмов, из которых легко было выбрать близкие себе), а также присоединяться или не присоединяться к тем формам общежития, которые практиковали толстовцы[153]. Это пространство личной свободы, которое существовало в толстовстве (ср. у Толстого в «Пути жизни»: «Не только один человек не имеет права распоряжаться многими, но, и многие не имеют права распоряжаться одним»; *Т* 45, 272). Бунин оценил, вероятно, еще в те годы, а затем подчеркнул в написанных в эмиграции воспоминаниях.

Вне всякого сомнения, интенция воспоминаний — идеализация учителя Толстого на фоне анекдотических последователей-учеников. При этом Бунин

---

[152] *Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Письма: в 12 т. Т. 5. С. 283.

[153] Напр., И.Б. Файнерман, организовав в Полтаве столярную мастерскую, выступил в некотором роде новатором: сельскохозяйственных общин у толстовцев было достаточно, мастеровых — практически нет. Этим и объясняется интерес, который питал Толстой к делу Файнермана.

объединяет в первом разговоре практически все темы, которые важны для его собственного понимания толстовства. Беседа строится согласно избранной визитером линии поведения — как разговор наставника и ученика: она состоит из расспросов и наставлений. Наставления, как было сказано, имеют весьма обобщенный характер и совсем не обязательны к исполнению, кроме одного, имеющего модальность долженствования: «С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда...» (*ОТ*, 83). Это, пожалуй, едва ли не самое обязательное требование толстовства, полагающего, что любое оставление жены есть грех прелюбодеяния[154]. Молодого Бунина — в свете его отношений с В.В. Пащенко — это наставление совсем не тяготит. В письмах (в том числе и в следующем письме Толстому) он называет ее «женой», по-толстовски не разделяя брак фактический и официальный. Он всячески желает вступить с ней в брак официально, но это желание, как известно, наткнулось на несколько препон (сначала родители Варвары Владимировны категорически возражали против этого брака; когда же они практически согласились, решение оттягивала уже сама Варвара Владимировна).

Слова «Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет» (*ОТ*, 84) практически совпадают с фразой из письма Толстого Бунину от 23 февраля 1894 г.: «Не ждите от жизни ничего: лучше того, что у вас есть теперь, и момента более серьезного и важного, чем тот, который вы теперь переживаете, не может быть, потому что он настоящий и один в вашей власти. Не думайте тоже о форме жизни иной, более желательной: все безразличны» (*Т* 67, 48). Это совпадение вновь наводит на мысль, что воспоминания Бунина о первом разговоре с Толстым состоят из ряда элементов, как случайно соединенных его собственной памятью, так и связанных с общим замыслом воспоминаний, вошедших в книгу «Освобождение Толстого». Окончание разговора: «Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...» (*ОТ*, 84), на первый взгляд, звучит не столько по-толстовски, сколько по-чеховски или бунински (особенно эмигрантского периода). Однако в соединении с предыдущей фразой, доподлинно толстовской, позволяет провести интересные художественно-мировоззренческие параллели, речь о которых ниже.

Интересно сопоставить это художественное изложение первого разговора с Толстым с документальным (но тоже поздним) свидетельством. В 1929 г. Ольга Степановна Волкенштейн сообщила в письме к исследователю творчества Толстого В.А. Жданову, что Волкенштейн и Бунин ездили в 1894 г. в Хамовники, чтобы посоветоваться с учителем о своем желании «сесть на землю». Толстой, по ее словам, спросил, что думают об этом их жены, и узнав, что те не сочувствуют этой идее, посоветовал не разрушать семью и не делать над

[154] См. главу 6 трактата «В чем моя вера?».

ними насилия[155]. Что бывает в тех случаях, когда жена не одобряет стремление мужа к опрощению, Толстой видел на примере Файнермана в 1885–1886 гг., когда тот жил в Ясной Поляне. Его жена Эсфирь не могла принять жизни в бедности и желания раздать все, что имеешь (кроме того, Файнерман по совету Толстого принял православное крещение, чтобы получить место учителя Яснополянской школы), поэтому в 1887 г. супруги развелись. Те же проблемы возникали у Файнермана и во втором (гражданском) браке, уже в Полтаве[156]. В письме М.В. Алехину от 24 февраля 1894 г., обсуждая подробности жизни толстовских поселений на Кавказе, Толстой писал:

> Им, семейным людям, надо или бросить жен и детей, — а этого нельзя сделать, — или жить оседло. А то это кочеванье должно быть мучительно женам, кот<орые> всегда (да простят они меня) в лучшем случае, ведя христианскую жизнь, ведут ее не для Бога, а для мужей. И им, бедным, это трудно. И потому, мне кажется, их надо беречь и жалеть. Еле-еле у мужа с женою, как Бодянский или Скороходов, установится кое-какое равновесие, кое-как они станут на ноги, а тут трудность переселения, нового устройства. И им не по силам, и все с трудом воздвигнутое здание заваливается. <…> Надо не жениться, как вы и другие, счастливые и сильные, но, женившись и имея детей, нельзя нарушить того, что сделано, нельзя стереть грех, а надо нести последствия его. <…> Раз согрешив браком, надо нести последствия своего греха наилучшим, наихристианнейшим образом, а не освобождаться от него, делая новый грех, и в этом положении всеми силами служить Богу (*Т* 67, 49–50).

Таким образом, свидетельство О.С. Волкенштейн может быть верным. Тогда все в художественном тексте Бунина встает на свои места. Совет Толстого «не делать мундира» из трудовой жизни, если избавить его от красивой метафоры, можно воспринять как совет отказаться от жизни «на земле». Интересно, что в автобиографической заметке для «Русской литературы XX века» (под редакцией С.А. Венгерова), включенной Буниным и в Полное собрание сочинений в 6 томах (1915), сказано прозаичнее: «Но сам же Толстой, к которому я ездил с А.А. Волкенштейном и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление, и отклонил меня опрощаться до конца» (*ПСС* 6, 327). В этот контекст хорошо укладывается и фраза из четвертого письма Бунина Толстому, написанного через некоторое время после поездки, 15 февраля 1894 г.: «С женой я не говорил больше о переселении в деревню, хотя не потому, чтобы мы отдалялись друг от друга или были настроены неприязненно» (*П 1*, 185).

---

155 *Теплинский М.В.* Доктор А.А. Волкенштейн... С. 161.

156 *Элиасберг Г.А.* Запреты и предписания… в творчестве толстовца И. Тенеромо. С. 280–282, 285.

Мотив, когда сам Толстой отговаривает становиться толстовцем, звучит весьма характерно для историй так называемых случайных толстовцев. Подобный эпизод, например, встречаем в воспоминаниях Л.А. Авиловой. Ее брат Федор, познакомившись с Клопским, решил не заканчивать университет и стать последователем Толстого, чем привел мать в ужас. После долгих колебаний мать решила пойти к Толстому и, вернувшись, с умилением и в слезах рассказывала, что Лев Николаевич сам очень огорчился: «<…> огорчен он потому, что боится, что у Феди это только порыв или каприз. Внешнее, а не внутреннее побуждение. Тогда для него это только вред <…>»[157].

30 января 1894 г. Б.Н. Леонтьев писал Толстому из Полтавы: «Бунин <…> приехал очень огорченный, что так мало провел времени с вами, — вы были главная цель его поездки, — он вас очень любит и давно жаждал знакомства с вами. Он не может спокойно, без волнения говорить о вас…»[158] Это письмо лишний раз подтверждает свидетельство В.Н. Муромцевой-Буниной, что восхищение Бунина перед Толстым далеко выходит за пределы обычного отношения молодого писателя к мэтру. Оно же свидетельствует и о краткости состоявшегося разговора, который в воспоминаниях развернут сразу на несколько тем. В письме от 15 февраля о том же пишет и сам Бунин: «Ваши слова, хотя мне удалось слышать их так мало и при таком неудачном свидании, произвели на меня ясное, хорошее впечатление <…>» (*П 1*, 185).

Общий тон этого четвертого письма (первого письма, так сказать, «полноправной» переписки) довольно смутен:

> Приехавши из Москвы, я долго был нездоров инфлуэнцей и находился в нехорошем душевном состоянии: как-то все смешалось у меня. Верно, это оттого, что и дорогой из Москвы и после — напряженней думал. Точно определить не умею; во всяком случае, не от Ваших слов. <…>
>
> Дни проходят ужасно быстро, но жизнь для меня брезжит только. Все жду чего-то (*П 1*, 185).

Последняя из процитированных фраз — квинтэссенция настроений Бунина этого периода. Размышления о бессмысленности будничной жизни — постоянная тема его (более ранних) писем к брату Юлию, первому учителю жизни и моральному авторитету[159]. Теперь эта роль переносится и на Толстого,

---

157 *Авилова Л.А.* Рассказы. Воспоминания. С. 215.

158 *Гусев Н.* Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891–1910. М., 1960. С. 121.

159 Так, 10 августа 1891 г. Бунин делился с Юлием размышлениями о тщетности всего земного: «За последние же <дни> к этому прибавились еще думы о житье-бытье на свете, так сказать, “философского” характера. Для чего я только рождался! Я, напр<имер>, знаю, что давай я себе волю думать в этом направлении — с ума сойду! Помнишь, у меня было такое состояние в Озёрках: явилась какая-то mania grandiosa, — все кажется мелко, пустяково...» (*П 1*, 109–110). В другом письме,

с ним молодой писатель тоже делится сокровенным. Впрочем, можно предположить, что тут Толстой и Бунин одними и теми же словами называли разное. Для Толстого смысл жизни — это ответ на вопрос, во имя чего живет человек и как надо жить, чтобы что-то в жизни можно было противопоставить смерти. Сформулировав этот вопрос еще устами Левина в «Анне Карениной» («<…> он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое» — *Т* 19, 367), он продолжает ставить его и в философских трактатах. Для Бунина же смысл жизни — это в первую очередь поиск себя молодым человеком: как жить, чтобы заниматься полезным делом и при этом не нуждаться. За большинством формулировок, которые мы встречаем в бунинских письмах первой половины 1890-х гг., кроется именно это значение: он ищет не столько смысл, сколько место в жизни. Впрочем, фраза «Нет у меня тихой внутренней жизни» (из письма Ю.А. Бунину середины октября 1891 г.) свидетельствует о том, что наше рассуждение лишь отчасти справедливо: Бунин ищет нечто большее.

Переходом ко второй части письма становится восклицание о смерти Е.Н. Дрожжина: «Как тяжело!» (*П 1*, 185). Евдоким Никитич Дрожжин вышел из крестьян Курской губернии, учился в Белгороде в учительской семинарии, затем служил сельским учителем. Его обращение в толстовство произошло благодаря знакомству с кн. Д.А. Хилковым; это, как и революционные связи семинарских лет, стоили ему учительского места. Перестав быть учителем, Дрожжин потерял бронь от призыва на военную службу. Будучи призванным в 1891 г., он по убеждениям отказался от присяги и в 1892 г. был отправлен в Воронежский дисциплинарный батальон. Там Дрожжин принципиально отказывался от соблюдения каких бы то ни было армейских правил (например, не отдавал честь офицерам), за это почти беспрерывно сидел в карцере. У него развилась чахотка, в конце 1893 г. медкомиссия уволила его из армейской службы и в январе 1894 г. он был переведен в гражданскую тюрьму. При переводе его лишили теплой одежды, и в конце января Дрожжин умер в тюрьме от воспаления легких[160]. Стойкость Е.Н. Дрожжина сделала его символом непротивленческой борьбы, толстовцем-мучеником. Толстой, отвечая Бунину 23 февраля 1894 г., напишет, что смерть Дрожжина призывает всех к еще большей нравственной требовательности.

Бунин принял эту смерть близко к сердцу, поскольку, возможно, увидел в Дрожжине самого себя — сложись его обстоятельства несколько иначе.

середины октября 1891 г., Бунин пишет: «Не могу я так жить. Прежде чувствовал, а теперь почти убежден, что (может быть, глупо!) нету смысла в этой будничной, хотя бы даже рабочей жизни. День мелькает за днем как в тумане. Все хлопочут, уверивши себя, что так и надо, что хлопоты кому-то нужны... <…> / Нет у меня тихой внутренней жизни» (*П 1*, 118–119).

[160] См. подробнее: *Попов Е.И.* Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина (1866–1894). С предисл. Л.Н. Толстого. Берлин: Ф. Готгейнер, 1895.

Дрожжин был призван в 1891 г. — в тот же год, когда подлежал призыву и Бунин. В 1890 г., за год до призыва, Бунин всерьез думал о сдаче экзамена на должность сельского учителя, потому что сельские учителя от воинской повинности освобождались (см. недатированное письмо Ю.А. Бунину, написанное в 1890 г., не позже мая. — *П 1*, 30). Весь 1891 г. он сильно мучился ожиданием. Так, в письме Ю.А. Бунину от 10 августа 1891 г. писал: «Состояние мое — крайне тревожное. Меня неотступно томит мысль о солдатчине» (*П 1*, 109). Как известно, в ноябре 1891 г. мучения разрешились: на жеребьевке Бунин вытащил счастливый номер, до которого призыв так и не дошел. Причины неприятия армейской службы у Бунина были совсем не толстовские, однако общее неприятие солдатчины как обезличивания человека, превращение его в машину для исполнения чужих приказов находит в толстовском учении прямой отзвук[161]. Вполне возможно, что, проецируя историю Е.Н. Дрожжина на себя, Бунин видел и свою судьбу, если бы его все-таки «забрили» (как он пишет в письмах 1890–1891 гг.) в армию. Умный и интеллигентный человек, Дрожжин до конца боролся с армейскими начальниками (от унтер-офицеров до командира Воронежского дисциплинарного батальона) за свое человеческое достоинство.

Вторая часть письма наполнена ближайшими планами толстовской общины, в которых Бунин всячески задействован:

> Некоторое оживление внесли наши собрания во главе с Фейнерманом: толковали об устройстве ремесленной школы. Вчера решили открыть. (Он писал Вам, кажется, об этой школе). Затем Борис Николаевич предложил мне взять на себя дело распространения изданий «Посредника». Это дело мне очень симпатично, и вчера я написал об этом П.И. Бирюкову (*П 1*, 185).

Во-первых, это ремесленная школа для обучения ремеслу детей из бедных еврейских семей (Файнерман, несмотря на крещение, видимо, пользовался авторитетом среди еврейского населения), которая была создана в начале 1894 г. Толстой одобрил это начинание. В течение года на базе столярной мастерской появилась еще одна ремесленная школа. Обе школы были закрыты решением суда в октябре 1894 г.[162] Интересно, что в организации школы, судя по тексту письма (неопределенно-личная форма «решили»), мог участвовать и Бунин.

---

[161] Интересно, что еще весной 1892 г. (письмо В.В. Пащенко от 19 марта) Бунин рассуждает о бессмыслице военной службы не по-толстовски, а скорее по-народнически — с точки зрения общественной пользы армейской службы: «Идти или быть взятым на войну за освобождение, за народные интересы, как, напр., на войну 1877 года — имеет цель; но участвовать в идиотской, бессмысленной резне, возникшей из-за дипломатических пошлостей (именно такова будет теперешняя война), не только не имеет цели, но даже подло» (*П 1*, 147)

[162] *Элиасберг Г.А.* Запреты и предписания… в творчестве толстовца И. Тенеромо. С. 285.

Впрочем, эту форму можно интерпретировать и так: собрание решило открыть школу, а Бунин был участником собрания. В воспоминаниях о Толстом и «Освобождении Толстого» Бунин пишет, что, вернувшись в Полтаву, «обручи набивать бросил» (*ОТ*, 84).

Во-вторых, Бунин начинает торговлю книгами толстовского издательства «Посредник» (вновь по предложению Б.Н. Леонтьева). Павел Иванович Бирюков, упомянутый здесь, был другом Толстого и заведовал делами издательства (письмо Бунина к нему не сохранилось). В «Освобождении Толстого» Бунин пишет: «Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: “Книжный магазин Бунина”» (*ОТ*, 83–84). В.Н. Муромцева-Бунина сообщает, что магазин был открыт в конце зимы[163], однако у нас есть сомнения, что в течение двух недель, которые прошли с 14 февраля (когда было послано письмо Бирюкову), Бунин успел договориться с «Посредником», снять помещение, меблировать его, получить в нужном количестве книги и начать торговлю. Вероятно, речь должна идти о весне.

В «Адрес-календаре и справочной книжке Полтавской губернии на 1894 год», где представлен список книжных магазинов и книжных лавок Полтавы, книжная лавка Бунина не упомянута (к слову, только в одном адрес-календаре — на 1894 г. — в составе Статистического бюро Полтавской земской управы указан библиотекарь «Бунин Ив. Алексеев.»[164]). Книжный магазин Бунина (на углу Александровской и Ивановской улиц) появляется в этом же издании за 1895 г.[165] Дело, вероятно, в том, что адрес-календарь составлялся заранее, в предшествующем году. Тогда можно предположить, что постоянное место библиотекаря при Статистическом бюро Бунин получил в 1893 г., а магазин открыл в 1894 г. Наше предположение подтверждается тем фактом, что и в адрес-календаре на 1895 г. И.А. Бунин числится библиотекарем при Статистическом бюро, хотя он в декабре 1894 г. испросил отпуск и покинул Полтаву на полгода (вероятно, через некоторое время он был совсем уволен от должности). В адрес-календаре 1896 г. при Статистическом бюро уже отсутствует должность библиотекаря[166]. В списке полтавских книжных магазинов магазина Бунина тоже нет[167].

---

163 *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина... С. 140.

164 Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1894 год. Сост. Д.А. Иваненко. Полтава: Типогр. Л. Фрешберга, 1894. С. 14.

165 Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1895 год. Сост. Д.А. Иваненко. Полтава: Типогр. Л. Фрешберга, 1895. С. 200.

166 Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1896 год. Сост. Д.А. Иваненко. Полтава: Типогр. Л. Фрешберга, 1896. С. 18–19.

167 Там же. С. 153.

Торговля изданиями «Посредника» вызывала трудности полицейского характера. 10 августа 1894 г. (датировка по почтовому штемпелю) Файнерман писал Толстому: «К книжной торговле стал пристав придираться, прямо требуя закрытия ее; но губернатор, после того как к нему сходили, разрешил»[168]. Бунин сообщает в воспоминаниях о Толстом и «Освобождении Толстого» еще один интересный факт:

> <…> я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, — я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен (*ОТ*, 85–86).

Восшествие на престол нового императора совпало с окончанием совместной жизни с Варварой Пащенко. В день присяги, 4 ноября 1894 г., она уехала из Полтавы домой, где вскоре вышла замуж за друга Бунина А.Н. Бибикова. С нашей точки зрения интереснее всего сам факт, что Бунин (для которого 1894 г., начавшийся свиданием с Толстым, был самым «толстовским» в жизни) отправился в церковь на эту присягу. Принципиальная толстовская позиция заключалась в отрицании любых клятв, а особенно присяги — ибо Иисус заповедовал: «Не кляните!». Например, доктор Волкенштейн, как пишет М.В. Теплинский, присягу принимать отказался, что создало ему дополнительные неприятности в отношениях с полицией: жандармское управление предлагало удалить его из Полтавы, но решением Особого совещания он был оставлен в городе, уволен от государственной службы и подчинен гласному надзору полиции с 8 сентября 1895 г. на три года[169]. В отношении полтавских толстовцев к присяге проявилась относительная свобода личных принципов, существовавшая внутри общественного течения: каждый из полтавских «братьев» сам решал, как ему поступить в определенный момент.

Бегство Варвары Владимировны Бунин воспринял как крах всей прежней жизни. Он перестал заниматься книжным магазином (ликвидировали магазин

---

168 *Файнерман И.Б.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 194/11. Письмо 17.

169 *Теплинский М.В.* Доктор А.А. Волкенштейн... С. 160.

уже без него[170]) и в декабре 1894 г. уехал из Полтавы. Можно предполагать, что и общение с полтавскими толстовцами на этом прервалось. Толстовство, вероятно, воспринималось им как часть разрушенного прошлого.

Впрочем, в марте 1895 г. Бунин, приехав в Москву, второй раз посетил Толстого в хамовническом доме. Основные темы разговора переданы в воспоминаниях о Толстом, вошедших в «Освобождение Толстого»: восхищение Бунина рассказом «Хозяин и работник» и стыд Толстого за то, как это «ничтожно»; только что умерший сын Толстого Ваня и восклицание скорбящего отца «Смерти нет!» (*ОТ*, 89). Неоднократные посещения издательства «Посредник», о которых сказано на предшествующих страницах «Освобождения Толстого», вероятно, относятся к этому же периоду. Однако быстрое сближение Бунина с народническими (петербургскими) журналами и издательствами, которое произошло в 1895 г., стремительное попадание молодого автора в «высший свет» народнической литературы предопределило его расхождение с толстовцами.

Бунин стал одним из многочисленных «временных толстовцев», испробовавших толстовские жизненные практики в течение некоторого времени, а после этого возвратившихся к обычной жизни. Временные толстовцы — почти терминологическое определение, используемое публицистами-современниками, изучавшими толстовские колонии[171]. Е.З. Баранов писал, что временное толстовство было поистине массовым явлением: «Таких “толстовцев”, то есть интеллигентов, или утомившихся городской жизнью и желавших набраться новых сил “на лоне природы”, или же по тем или иным соображениям вознамерившихся, как они, обыкновенно, говорили, “применить в жизни идеи Л.Н. Толстого”, в свое время (1895–1901) на черноморском побережье было немало. <…> И все они или почти все свое “сидение на земле” заканчивали возвращением к прежней городской жизни»[172].

В данном случае, и сама полтавская колония толстовцев распалась довольно скоро. А.А. Волкенштейн в полтавском адрес-календаре за 1896 г. (т. е.

---

[170] См. письмо М.И. Селитренникова к Ю.А. Бунину от 8 марта 1895 г. с просьбой получить от И.А. Бунина нотариальную доверенность на ведение торговли и продажу дела третьему лицу. В качестве главной меры по сохранению магазина автор предлагает устранить от торговли толстовцев (*Летопись 1*, 191).

[171] См., напр.: *Кривенко С.Н.* На распутьи…. В прошлом видный народник, а в 1895 г. редактор «Русского богатства», С.Н. Кривенко стал одним из первых серьезных петербургских знакомств Бунина в его первый приезд в столицу в январе 1895 г. В «Автобиографической заметке» 1915 г. Бунин вспоминал, что Кривенко отнесся к нему: «<…> с истинно-отеческой нежностью» (*ПСС* 6, 328). А в 1913 г. в интервью газете «Южное слово» Бунин рассказывал о том, как развивалось это знакомство: «Первое мое беллетристическое произведение было напечатано в “Русском богатстве”, но я долго в журнале не продержался. Как только покойный С.Н. Кривенко откололся от “Русского богатства” и основал “Новое слово”, я ушел вместе с ним» (Южное слово. 1913. 14 июля. № 565; перепечатано: *ЛН–84*. Кн. 1. С. 377).

[172] *Баранов Е.* Толстовцы. М., 1912. С. 94.

составлявшемся в 1895-м) уже не числится ординатором Полтавского богоугодного заведения: как было сказано выше, в 1895 г. он был уволен от государственной службы, для получения средств на жизнь ему была разрешена только частная практика[173]. В конце 1896 г. он получил письмо от первой жены Л.А. Волкенштейн, переведенной в Петропавловскую крепость для последующего этапирования (через Одессу) на Сахалин. Доктор принял решение ехать вместе с ней (несмотря на сложную ситуацию со второй семьей). Но покинуть Полтаву он смог лишь по истечении срока гласного надзора полиции — в конце 1898 г. Сведений о его общественной деятельности в Полтаве в 1895–1898 гг. практически нет[174]. Не исключено, что из-за гласного надзора полиции ему пришлось существенно ограничить общение с полтавской интеллигенцией.

М.В. Алехин еще в 1893 г. был арестован за попытку размножить на гектографе книгу Толстого «Царство Божие внутри вас» и выслан в Закавказье (с 1894 г. он вел переписку с Толстым из Кутаисской губернии).

И.Б. Файнерман покинул Полтаву в 1896 г. Он переехал в Елисаветград, где получил звание фельдшера. В дальнейшем он окончил зубоврачебную школу и практиковал в качестве зубного врача. Тогда же, в 1896 г., он начал заниматься журналистской деятельностью (писал под псевдонимом Тенеромо). Толстой стал одной из основных тем его статей. Файнерман продолжал переписку с Толстым и посылал ему свои публикации, посвященные ему и его учению. В 1905 г., сразу после Кровавого воскресенья, в их переписке всплывает еще один полтавский толстовец — Г.А. Гапон:

> Вы, вероятно, читали уже, что Гапон, оказывается, мой ученик, а через меня и ваш.
>
> Это одно из тех сотен знакомств, которые были у меня в Полтаве, и я никогда не ожидал таких всходов[175].

Файнерман пишет, что потерял Гапона из виду около 15 лет назад. Судьба другого толстовского знакомого Бунина — И.М. Трегубова — совершенно противоположна. Трегубов, сын священника, переставший признавать православие, не участвовал в полтавской колонии (он проживал во Владимирской губернии, одно время непосредственно у В.Г. Черткова), но был известным человеком в кругу толстовцев. В полицейских донесениях сообщалось: «Трегубов изучает у деревенского портного портняжное ремесло, одевается оборванцем и собирает в стакан насекомых, водящихся на нем в изобилии,

---

173 *Теплинский М.В.* Доктор А.А. Волкенштейн... С. 160.

174 Там же. С. 162–165.

175 *Файнерман И.Б.* Письма к Л.Н. Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 194/13. Письмо 6.

с тем чтобы выпускать их затем на волю, не имея по своим убеждениям права лишать жизни малейшее живое существо»[176]. В 1894 г. Бунин вел с ним переписку, касающуюся торговли книгами «Посредника», а также нравственно-духовных переживаний[177]. О. Иоанн (Шаховской) вспоминал, что встретил Трегубова летом 1927 г. в монастыре Петховцы (Петковицы) в Сербии:

> Бывший атеист и сквернослов, из средней русской «чеховской» интеллигенции, прошедший через толстовство, а после сотрудничество в первых советских газетах, выброшенный из России в 20-е годы, он горько осознал грехи своей жизни и отпадение русского народа от Бога. <…>
>
> Как некогда Григорий Сковорода, он стал странником, хотя и без свирели, но с Библией в руках. Он пошел по православной Сербии, в которой оказался[178].

Такой поворот в судьбе бывших толстовцев был неединичным. В.А. Маклаков вспоминал о своем знакомом М. Новоселове, который, пройдя толстовство, принял священство и стал миссионером[179].

Сложные повороты биографий бывших толстовцев — следствие той самой свободы личной мысли, которая лежала в основе учения. Духовное совершенствование, которое проповедовали толстовцы, стимулировало к развитию собственных взглядов, не позволяло замереть им на уровне раз и навсегда выбранных «убеждений». С этой точки зрения, Бунин, как многие, прошел сквозь толстовство и двинулся дальше, к новым идеям и новым жизненным практикам. Его личное толстовство продолжалось примерно полтора года. За это время его мировоззренческий горизонт значительно расширился.

Во-первых, он вынес из толстовства, то свободное отношение к «принципам» и «убеждениям» (даже основополагающим для «учений» и идеологических систем), которое позволяло в каждой идейной системе брать только то, что созвучно собственным мыслям и настроениям. Это позволило ему в дальнейшем печататься в народнических журналах, не артикулируя напрямую в своих текстах постулаты народничества, а лишь используя их косвенно — для актуализации тех или иных мотивов, тех или иных тем.

Во-вторых, он заимствовал из толстовской среды целый ряд представлений о духовном здоровье и «естественности» жизни, а также правдивости и здравомыслии как в жизни, так и в литературе, которые составили важнейшую часть его собственного индивидуального мировоззрения. Некоторые

---

176 *Чисников В.* Лев Толстой и его последователи. С. 219.

177 *Антюхин Г.В.* Друзья Л.Н. Толстого. Воронеж, 1983. С. 114; *Летопись 1*, 179–180.

178 *Иоанн (Шаховской).* Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 81.

179 См.: *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. С. 85.

идеи, приобретенные в «толстовский» период, сохранятся у Бунина на всю жизнь.

5. Учение Толстого в сознании Бунина

Мы не знаем доподлинно, какие именно сочинения Толстого с изложением его учения были прочитаны Буниным в те годы и насколько внимательно он к ним отнесся. Однако предполагаем, что полтора года общения в кругу толстовцев не прошли даром. Думается, даже если Бунин не прочитал ряд морально-дидактических работ Толстого, содержание их было ему известно по разговорам в толстовской среде.

Учение Л.Н. Толстого последовательно изложено в ряде трактатов, как бы дополняющих друг друга. Но и до этого на протяжении всего творчества можно заметить пристальный интерес Толстого к общим вопросам бытия. Многие идеи философских трактатов Толстого появляются значительно раньше — в ранних произведениях писателя, романах «Война и мир», «Анна Каренина»[180]. Первым был задуман трактат «Исповедь» (1879–1882), в котором говорилось, как пришло к автору осознание бессмысленности всех земных дел перед лицом смерти. С этого момента его жизнь изменилась — превратилась в поиск смысла жизни, неуничтожаемого смертью. Поначалу Толстой открывает такой смысл жизни в вере простого народа, ибо жизнь простонародья, в отличие от жизни высших классов, вся построена на христианской вере: «Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры» (*Т* 23, 39). Избыток материальных ценностей лишает имущие классы возможности понимать жизнь; истиной обладает лишь трудовой народ.

Второй этап поисков веры и смысла жизни связан с осознанием противоречий и неясностей в вероучении православной церкви. Толстой формулирует новую задачу: отделить истину христианства, которой без сомнения обладает простой народ, от лжи, проповедуемой церковью.

Решению этого вопроса посвящены трактаты «Исследование догматического богословия» (1879–1880) и «В чем моя вера?» (1883–1884). Первая работа демонстрирует читателю искажения в толкованиях текстов Священного писания и антихристианские, по мнению Толстого, элементы системы официального богословия. Во второй излагается система подлинного, по Толстому, христианства, без церковных искажений. Трагедия исторического христианства, по мнению автора, заключается в том, что мир, приняв учение Христа,

[180] См., напр.: *Галаган Г.Я.* Путь Толстого к «Исповеди» // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1979. С. 192–217.

не построил по нему свою жизнь, а напротив, приспособил учение Христа к сложившимся формам быта.

Трактат «В чем моя вера?» — центральное сочинение с изложением учения — начинается с тезиса, продолжающего завершающие идеи «Исповеди». По мнению Толстого, все противоречия христианского учения исчезают, если слова из Нагорной проповеди Христа «не противьтесь злому» (Мф. 5: 39) понимать дословно. Эта заповедь связует все учение воедино. Далее принцип дословного толкования переносится с этой заповеди на текст всей Нагорной проповеди — и Евангелия целиком. Толстой считает, что Христос в Нагорной проповеди сформулировал 5 новых заповедей, противостоящих заповедям Моисея: 1) запрет гневаться, запрет любой вражды; 2) запрет разводиться с женой (нельзя допускать мысли о перемене жены); 3) запрет присягать («не клянитесь вовсе»); 4) запрет противиться злу насилием; 5) запрет воевать (и вообще делать различие между своим и чужим народом).

Исполнение всеми людьми этих заповедей приведет к установлению Царства Божия на земле. Собственно, проповедь Толстого не была созданием новой религии, как утверждали некоторые адепты. В ней нет ни онтологии, ни метафизики, ни мистического начала[181]. Вся проповедь Толстого сводится к очень личному вопросу: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10: 17; Мф. 19: 16; Лк. 18: 18). Учение затрагивает исключительно вопросы личной морали, ответы на которые позволяют противопоставить смерти праведную жизнь. В отличие от народничества, толстовство предлагает не конечную цель осуществления правды-справедливости (выражение Н.К. Михайловского), а формы каждодневной жизни, благодаря которым мир постепенно преобразится, а смерть перестанет восприниматься всеобъемлющим уничтожением.

Смысл жизни, по Толстому, следует искать не столько в личном существовании — оно бессмысленно, — сколько в общем бытии человечества, в служении людям. Бессмертия души не существует, но есть «восстановление жизни», то есть ее непрерывная преемственность в человечестве. Исполнение учения Христа прямо выгодно человеку, поскольку он таким образом обретает счастье. Толстой выделяет пять «главных условий земного счастья». Это связь человека с природой, любимый и свободный физический труд, семья, свободное общение со всеми людьми мира, здоровье и безболезненная смерть.

---

[181] И.И. Евлампиев и И.Ю. Матвеева полагают, что учение Толстого во многом напоминает «религию человечества» Л. Фейербаха и религию философов-просветителей — за тем исключением, что важное значение для Толстого имеет непосредственное «общение с Богом», что не укладывается в рамки этих учений (*Евлампиев И.И., Матвеева И.Ю.* Принцип «непротивления злу насилием» Л.Н. Толстого в контексте русской религиозной философии конца XIX — начала XX века // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2020. Т. 24, № 2. С. 168).

Цивилизация в ее развитии все сильнее нарушает эти условия и делает людей все более несчастными. Цивилизация преступна, поскольку все ее блага покупаются лишениями тысяч, удерживаемых насилием. Толстой предлагает осознать, что всякая жизнь за счет чужого труда бессмысленна и преступна. Этот принцип он кладет в основу своей системы отрицаний. Так называемое высшее общество есть паразитический класс, обреченный на вымирание. Государство преступно по своей природе, поскольку поддерживает право жить за чужой счет, отрицая заповеди Христа. Дважды преступна Церковь, поскольку нравственно благословляет эту жизнь, приспособив христианство к ее нуждам.

В качестве следующего шага на пути «очищения» христианства Толстой издал евангелие в собственном переводе, исправляющем намеренные и ненамеренные искажения (в его понимании) изначального текста, а также «Краткое изложение Евангелия». Появились позднее и несколько новых трактатов и статей, развивающих и корректирующих учение.

Толстой создал систему идей, имеющих прагматическую — поведенческую направленность. Именно этой направленности Толстой не находил в науке и философии; здесь лежит основа толстовских симпатий по отношению к агностицизму. Это заметили наиболее серьезно осмыслившие учение Толстого современники — например, профессор А.А. Козлов. Он последовательно доказывал, что учение Толстого не является ни религиозным, ни философским[182]. С его точки зрения, это моралистическая публицистика. Задача, которую писатель сформулировал изначально: приспособить христианство к собственному мышлению, очистив от сверхъестественного и непонятного — соответствует этому жанру. Оканчивая трактат «Исповедь», Толстой писал: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить» (*Т* 23, 57).

Стремление Толстого к «разумной вере» проходит через всю его жизнь. Не случайно, говоря о духовном кризисе Толстого конца 1870-х гг., часто цитируют дневниковую запись 1855 г., которая поразительно предваряет мысли позднего Толстого: «Вчера разговор о божест<венном> и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (*Т* 47, 37). Эта мысль звучит удачным эпиграфом к тому «переформатированию» религии, которое Толстой предпринял во второй половине жизни. Духовный кризис Толстого 1870-х гг. был, по сути, продолжением давнишних размышлений о религии. Не случайно Толстому очень нравилось, когда критики (прежде всего его друг Н.Н. Страхов) говорили о том,

[182] *Козлов А.А.* Религия графа Л.Н. Толстого, его учение о жизни и любви. СПб., 1888.

что новые взгляды писателя вовсе не противоречат прежним, а напротив, логически продолжают их. Литературоведы XX в. с этим, в целом, согласились. Например, Г.В. Иванов полагал, что в конце 1870-х гг. Толстой впервые нашел более или менее удачные формулировки для вопросов, мучивших его на протяжении всей жизни. Это привело к созданию «<…> единой системы нового морально-этического учения <…>»[183]. В «Исповеди», начинающей изложение учения Толстого, важнейшие для Толстого темы, по мнению Г.Я. Галаган, развиваются «уже с позиции итогов»[184].

«По-моему, — отметил В.Г. Короленко в первой статье о Толстом, — вся многообразная история толстовских душевных переживаний сводится <…> к жадному исканию цельности и гармонии духа»[185]. Цельности и гармонии духа искали многие. Толстой выработал собственную систему взглядов, удовлетворявшую лично его. Но остановиться на этом этапе он не смог. В записной книжке писателя за 1878 г. есть характерная запись: «Вера выражается и передается не словом, а делом, примером» (*Т* 48, 190). Не менее показательна и шутка Толстого в «Скорбном листе душевнобольных яснополянского госпиталя»: «Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом» (*Т* 25, 515). Толстой создает и публикует ряд текстов, основная функция которых — проповедь нового учения. Толстовство, таким образом, выходит за пределы регламентации личной жизни и претендует на общественную роль.

Это основное противоречие толстовства, когда отречение от общественной жизни (а во многих случаях и прямое отвержение ее как греховной[186]) сочетается с активной проповедью, было замечено еще современниками. Еще большим противоречием оказывалось толстовство как общественное движение. Собственно, отделять Толстого от толстовства было и удобно и логично (сам Толстой с удовольствием примерял на себя роль учителя жизни, но от роли лидера движения неизменно отказывался). Младший современник Толстого В.А. Маклаков в своих поздних мемуарах так рассуждал о глубинных различиях учения Толстого и учения толстовцев:

> Когда я позже самого Толстого узнал, я понял, почему этих «хороших людей», которые думали, что идут вместе с ним, он сам не считал своими единомышленниками. У него и у них отправные точки были различны.

---

183 *Иванов Г.В.* Тема «бескровного преуспеяния»… С. 221.

184 *Галаган Г.Я.* Л.Н. Толстой // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1982. Т. 3. С. 830.

185 *Короленко В.Г.* Собр. соч.: в 5 т. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1990. Т. 3. С. 567.

186 Подробнее см.: *Пономарев Е.Р.* Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции: Часть 1 // Новый филологический вестник. 2023. № 3 (66). С. 190–198. DOI: 10.54770/20729316-2023-3-190

> Многие не поняли тогда, какую революцию во взглядах мира приносил с собой Толстой, когда вслед за Христом стал отрицать ценность того, что люди считали за благо <…>. Завет Христа богатому юноше — раздать свое имение нищим, решал его личный, а вовсе не социальный вопрос. Только на личный вопрос Христос ответил богатому юноше. Те же, кого называли «толстовцами», шли другою, мирскою дорогой. Они старались построить лучшее общество, где можно было справедливее пользоваться тем, что люди признавали за благо и отказываться от чего они не хотели. Это другой подход к делу, который приближал их к «политикам» и позволял сравнивать толстовцев с ними, а не с Толстым[187].

Похожим образом — с диаметрально противоположных позиций — рассуждал церковный деятель Т.И. Буткевич: «<…> сущность толстовства состоит не в религиозных верованиях, а в анархических и социалистических чаяниях <…>. <…> в настоящее время их не следовало бы даже и называть сектантами. Это — атеисты и грубые неверы»[188].

Подтверждение этому находим в поведении «учителя» Бунина И.Б. Файнермана. В 1892 г. он предложил Толстому прообраз некой толстовской организации: «Еще яснее среди нас какая-то нарочитая разъединенность»[189]. Проект Файнермана заключался в следующем: всем толстовцам следует собраться вместе и обсудить общие насущные проблемы. Местом съезда предлагалась Ясная Поляна; если же С.А. Толстая воспротивится, то Полтава, где в тот момент жил Файнерман. «Пусть все вместе выскажемся, как нам дальше быть»[190]. Толстой отверг эту идею, но Файнерман пытался убедить Учителя и в следующем письме просит его еще раз подумать об этом предложении: «Вы считаете все это барской затеей какой-то. А это вопрос нашей жизни»[191]. Братья Алехины, судя по переписке с Толстым, идее Файнермана симпатизировали, но не были так настойчивы.

Реакция Толстого на предложение Файнермана вполне понятна: любая общественная деятельность представлялась ему антихристианской и совершенно ненужной. Это четко прочитывается в статье «Неделание» (1893) и некоторых других, более ранних сочинениях, где Толстой нападет на бессмысленные, с его точки зрения, занятия (включая науку) образованного общества. Толстому, таким образом, претит сама мысль об организации его имени, которую ему предлагается возглавить. Своих последователей Толстой воспринимает как

---

187 *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. С. 77–78.

188 *Буткевич Т.И.* Обзор русских сект… С. 551–552.

189 *Файнерман И.Б.* Письма к Толстому // ОР ГМТ. Ф. 1. 194/11. Письмо 3.

190 Там же.

191 Там же. Письмо 4 (почтовый штемпель на конверте: 7 августа 1892 г.).

многочисленных индивидов-единомышленников, которые обдумывают те же вопросы, что и он; причем каждый из последователей оригинален в своих выводах. Об унификации (а институционализация толстовства неминуемо повлекла бы за собой как организационную, так и идейную унификацию) в таком контексте не может быть и речи. Толстовство сохраняется как инвариант множества индивидуальных вариантов. Не обязательно во всем близких варианту самого Толстого. Файнерман, например, в ряде религиозных вопросов имел собственную позицию, отличавшуюся от позиции Учителя. Об этом он писал в письме Толстому от 19 апреля 1893 г. (датировка по почтовому штемпелю): «К вам я охлаждения никакого не испытывал. То же чувство любви и признательности, какое и было. Наши мысли о формах жизни и о Христе различны, но это нисколько не охлаждает во мне чувства дружбы, и я со слезами на глазах пишу вам это»[192].

Мысли молодого Бунина были одним из индивидуальных вариантов толстовства. Из трех его составляющих — этической, религиозной и социальной — юношу интересовала, в основном, та смычка этического и социального, где говорилось о здоровой жизни на природе. В «Освобождении Толстого» Бунин пишет:

> <…> **страстно мечтая о чистой, здоровой, «доброй» жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде**, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем <…> (*ОТ*, 74. Выделено мной. — *Е.П.*).

В очерке 1927 г. «О Толстом» (первоначальном варианте воспоминаний) после выделенного отрывка читаем: «<…> в братской дружбе не только со всеми бедными и угнетенными людьми, но и со всем растительным и животным миром <…>»[193]. Выделенный пассаж дает полное представление о специфике бунинского восприятия толстовства. Бунина привлекли в толстовстве не новое понимание Бога, не социальные стороны учения, а главным образом пять условий счастья, сформулированные в трактате «В чем моя вера?». Не исключено, что в те годы Бунин мог не знать трактат целиком (он был запрещен в России, однако широко расходился в виде копий с экземпляров, запрещенных цензурой), однако часть X главы в виде статьи под заглавием «В чем счастье?» была опубликована в первой книжке журнала «Русское богатство» за 1886 г. Именно эта часть трактата и была для Бунина всего важнее:

---

[192] Там же. Письмо 9.

[193] *Бунин И.А.* О Толстом // Современные записки. 1927. № 32. С. 7.

> Одно из первых и всеми признаваемых условий счастия есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животными (*Т* 23, 418).

Бунину были близки пантеистические корни толстовства (связанные с руссоистским увлечением Толстого) — идеи о благе единения с природой, растворения в ней, ощущение себя «комаром или оленем», как сказано в повести «Казаки» (весь этот отрывок цитируется в IV главе «Освобождения Толстого» — как воспоминание любимого эпизода в момент известия о смерти великого писателя). Мотив единения с природой, которое дает ощущение чистоты души, будет с поразительным постоянством появляться в творчестве Бунина в разные периоды жизни.

В «Антоновских яблоках» (1900) единение с природой, духовная чистота и крестьянский труд звучат единым аккордом:

> И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с медными подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену <третье условие счастья, по Толстому, — это семья. — *Е.П.*> в праздничном, живописном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, — обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так большего и желать невозможно![194]

В.Я. Лакшин так комментирует этот пассаж: «Бунин говорит, что если ему казалось заманчивым стать мужиком, то не из больной совести, как Толстому, а по эстетике деревни»[195]. Но это не просто эстетика деревенской жизни. Нагнетание бытовых деталей само по себе создает поэтическое настроение, которое сакрализует повседневность. Крестьянский быт становится образцом жизненных ценностей. Он преображается, превращаясь в вечный праздник единения с природой («встать вместе с солнцем»). При этом человеческие обычаи (благовест, совпадающий с восходом, превращается в его музыкальное сопровождение; обед у тестя по обилию деталей становится важнее обедни в церкви) вписаны

---

194 *Бунин И.А.* Антоновские яблоки. Картины из книги «Эпитафии» // Жизнь. 1900. № 10. С. 154–155.

195 *Лакшин В.Я.* Пять великих имен. М.: Современник, 1988. С. 440.

в сельскохозяйственный и годовой природный цикл, воспринимаются частью природы. А человеческая жизнь — благодаря косьбе и молотьбе, «естественной» постели омёта и многих других, не перечисленных, но подразумеваемых материальных ощущений, — частью великого Божьего замысла. В приведенном отрывке соединились все пять условий человеческого счастья (за исключением безболезненной смерти), которые сформулировал Толстой.

Приведем другой пример из рассказа «Скит» (1900). Герой-повествователь навещает старика Мелитона, живущего в лесу, в караулке. Глядя на кроткого и доброго старика, повествователь размышляет:

> На ногах старика лыковые лапти, на теле — чистая замашная рубаха... Как хорошо и самому прожить такую же чистую и простую жизнь!
>
> Для кого он собирает и вяжет эти венички? — думал я, внутренно улыбаясь. Вяжут их из «перекати-поля», и у старосветских помещиков еще до сих пор чистят ими платье. Они очень душисты; в детстве я сам собирал их… Воспоминание об этом и какая-то связь между воспоминаниями и Мелитоном еще более тронули меня, и я сказал, подымаясь:
>
> — Совсем у тебя скит, Мелитон![196]

Некоторые детали крестьянского быта повторены без изменений. «Замашная рубаха» становится чем-то вроде символа, как неизменная блуза Толстого. Чистота этой рубахи намекает и на детскую чистоту души. Умилившие повествователя венички из перекати-поля (детство и старчество, как часто у Бунина, семантически рифмуются) становятся простой работой, которая подходит старичку, — это любимый и свободный физический труд, второе условие счастья, по Толстому. Появляется и новый мотив: «простая жизнь» навевает мысли о ските и в конечном счете — о спасении.

Этот комплекс мотивов может появиться не только в рассказах из крестьянского быта. Так, в рассказе «На Женевском озере» (1901; при следующей публикации в 1902 г. он получит заглавие «Тишина») переданы впечатления от Швейцарии. Как многие рассказы раннего Бунина, это произведение автобиографично[197] и создано в «фотографической» манере, запечатлевающей реальные ощущения конкретного момента. Созерцание швейцарских красот влечет комплекс мотивов здоровой и чистой жизни на природе. Спутник произносит восторженную декларацию, а повествователь с ним молча соглашается. Этот пассаж задает камертон всему повествованию:

---

196 *Бунин И.А.* Скит // Журнал для всех. 1901. № 7. Стб. 821.

197 Жанр этого произведения стилизует путевой дневник. В октябре 1900 г. Бунин совершил поездку по Европе в компании со своим другом — художником и хранителем одесского музея В.П. Куровским. Ср. текст рассказа с описанием Швейцарии в письме Бунина к брату Юлию от 18–19 ноября 1900 г. (*П 1*, 335–339).

> Право, это совсем не такой пустяк, как думают, — не курить, есть только молоко, зелень, жить на воздухе и просыпаться вместе с солнцем! Я говорю о том, как это утончает и облагораживает дух! Посмотри, что скоро об этом будут говорить не доктора, а поэты…
>
> Я молча, улыбкой, согласился с ним. Действительно, мы все время нашего путешествия жили очень воздержано и почти не курили, что давало ощущение, давно неиспытанное, — ощущение чистоты и юношеской свежести[198].

Публикуя рассказ во второй раз, в 1902 г., после слова «воздержано» автор добавил: «здоровой жизнью»[199]. Еще более подчеркнув толстовский ход мысли: жизнь на природе позволяет ощутить себя частью природного цикла (отметим повторение мотива из «Антоновских яблок» «просыпаться вместе с солнцем»), здоровая (безубойная) пища и исключение табака ведет к душевному здоровью, а оно, в свою очередь, «утончает и облагораживает дух».

Крайне важно, что этот комплекс мотивов прослеживается не только в творчестве Бунина, но также в письмах и дневниках. Появляется он еще до увлечения толстовством и проявляется на много десятилетий позже отхода от толстовства. Так, в письме к В.В. Пащенко от 9 апреля 1891 г. (Бунин искал себе службу, чтобы хоть как-то обеспечить семейную жизнь) писатель говорит о душевной чистоте: «Нет, я, ей-богу, буду, должно быть, человеком. Только, кажется мне, что для этого надо не “место”, а сохранять, как весталке, чистоту и силу души”» (*П 1*, 80). А в письме ей же от 14 августа 1891 г. из Глотово, появляется практически весь приведенный пассаж из «Антоновских яблок» (и само это словосочетание):

> Я еще у Евгения, — он упросил меня остаться у него денек... Вчера мы проболтали с ним почти до двух часов ночи, но проснулся я все-таки рано. Вышел на крыльцо и увидал, что начинается совсем осенний день. Заря — сероватая, холодная, с легким туманом над первыми зеленями... крыльцо и дорожки по двору отсырели и потемнели. В саду пахнет «антоновскими» яблоками... Просто не надышишься! Ты ведь знаешь, милый зверочек, как я люблю осень!.. У меня не только пропадает всякая ненависть к крепостному времени, но я даже начинаю невольно поэтизировать его. Хорошо было осенью чувствовать себя именно в деревне, в дедовской усадьбе, с старым домом, старым гумном и большим садом с соломенными валами! Хорошо было ездить целый день по зеленям, проезжать по лесным тропинкам, в полуголых

198 *Бунин И.А.* На Женевском озере // Мир Божий. 1901. № 7. С. 34.

199 *Бунин И.А.* Тишина // *Бунин Ив.* Рассказы. Т. 1. СПб.: Знание, 1902. С. 277.

> аллеях, чувствовать лесной, холодный воздух!.. Право, я желал бы пожить прежним помещиком! Вставать на заре, уезжать в «отъезжее поле», целый день не слезать с седла, а вечером, с здоровым аппетитом, с здоровым, свежим настроением возвращаться по стемневшим полям домой, в усадьбу, где уже блестит, как волчий глаз на лесной опушке, далекий огонек дома... Там тепло, уютно, освещенная столовая и в ней — Варенька!.. (*П 1*, 113)

Этот комплекс мотивов находим и в дневниках эмигрантского периода. Так, 12 октября 1933 г. он записывает о своей жизни в Грассе: «Проснулся часов в 5. <…> И еще думал: как хорошо так жить — живу с природой, с петухами, с чистым воздухом горным <…>» (*ЛН–110*, 2, 213–214). Другая запись — от 1 декабря 1936 г. — использует этот комплекс мотивов в совершенно ином контексте: здоровая жизнь помогает забыть о Г.Н. Кузнецовой, которая покинула его. «Светлая погода. И опять — решение жить здоровее, достойнее... Дай Б<ог> не сглазить — все больше забываю о ней, спокойнее чувствую, сознаю *конец* и прошлого, и этих проклятых трех лет <разлад с Кузнецовой начался в самом конце 1933 г. — *Е.П.*>» (*ЛН–110*, 2, 223). Вновь вслед за понятием «здоровый» — понятие нравственного порядка. Именно в эти месяцы Бунин работает над «Освобождением Толстого»[200].

Писатель, таким образом, не столько заимствовал у Л.Н. Толстого «правила» и формулировки подлинного человеческого счастья, сколько нашел у него то, что уже чувствовал в собственной душе. Читая в первый раз «Войну и мир», «Анну Каренину» и «В чем моя вера?» (в одни и те же годы — что можно назвать читательским кодом бунинского поколения: они не видели различия между Толстым до духовного перелома и Толстым после него; они воспринимали творчество Толстого в единстве и синхронически, как современную литературу), он отмечал то, что было удивительно близко его мироощущению.

Показательно еще одно юношеское письмо Бунина. Оно было адресовано не известному нам лицу и наполнено рассуждениями, очень близкими тому, что обсуждалось в кругу толстовцев (письмо писалось в Полтаве весной 1892 г. — теоретически к этому времени Бунин уже мог познакомиться с кем-то из местной «братии») о смысле жизни и о том, что жизнь, как будет сказано в четвертом письме Толстому, «брезжит только»:

> Отчего мы всегда недовольны и только ждем, что будем довольны? Для какого времени мы готовим себя? Мальчик приносится в жертву юноше, юноша — мужу, муж — старику. А когда старик хочет начать

[200] См. в конце этой записи: «Вчера отдал Слониму 4 главы “Освобождения Т<олстого>”» (*ЛН–110*, 2, 223). М.Л. Слоним переводил книгу на французский язык.

> *жить для жизни* <близкая Толстому нарочитая тавтология. — *Е.П.*> — приходит Смерть! И это верно!
>
> Утренние зори, соловьи, весна, милый взгляд девушки — в сущности ничто — и все! Все заключается в молодости. Мир — зеркало, отражающее то, что смотрится в него. Все зависит от настроения. Много у меня бывало скверных минут, когда *все* и вся казалось глупо, пошло и мертво и это было, вероятно, правда. Но бывало и другое, когда все и вся было хорошо, радостно и осмысленно. И *это* было правда. Самые веские доводы доказывали мне, что жизнь — ерунда, что нет конца моему горю и нет больше радости. Но «время все берет»... и на утро еще более веские доводы говорили мне, говорили сильно, что много и хорошего в жизни и с радостью соглашался я с этим голосом. И только тот, кто глуп, как рекрут в чреве матери, может по-мальчишески сказать — «жизнь — ерунда!». Шансы за то и за другое равные. Как же сметь решать в одну сторону? (*П 1*, 150).

Получается, что мотивная структура ранних рассказов Бунина с народническо-толстовской тематикой, с персонажами-стариками и размышлениями о смысле быстро утекающей жизни (рассказы «На хуторе» и «Кастрюк» имеют такую же авторскую дату, как и это письмо: 1892)[201], вполне вероятно, восходит к беседам о смысле жизни, которые он уже вел в те годы в кругу полтавских толстовцев.

Вероятно, мысль об утекающей жизни жила в Бунине с самых ранних лет — это одна из его мировоззренческих констант, которая не менялась на протяжении всей его сознательной жизни. С высокой долей вероятности именно толстовское послушание научило Бунина грамотно артикулировать эту мысль. В народническом кругу смысл жизни не обсуждался — он был ясен изначально: нужно, не покладая рук, работать на благо общества. И толстовцы и сам Толстой (начиная от внутренних монологов Андрея Болконского и Пьера Безухова, продолжая размышлениями Константина Левина, заканчивая — на момент бунинской юности — духовными мучениями Ивана Ильича) бесконечно возвращаются к вопросу о смысле жизни. Цитированное выше письмо Бунина к неизвестному лицу очень созвучно тем словам Толстого, которые Бунин записал в воспоминаниях: «Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...» (*ОТ*, 84). Следовательно, толстовское послушание сильнейшим образом повлияло на раннюю прозу Бунина.

Итак, растворение в «чистоте» природы (и одновременное погружение в быт, что заставило молодого писателя в дальнейшем быть особо внимательным ко всем бытовым деталям) и пять условий человеческого счастья, с одной стороны, а также постоянная артикуляция вопроса о смысле жизни, с другой

[201] См. их анализ в главе 2.

стороны, — это два важнейших тематических пласта, которые были вынесены Буниным из толстовских практик. Это явление никак нельзя назвать заимствованием и трудно называть влиянием. Правильнее будет сказать, что увлечение толстовством совпало с моментом взросления Бунина. Толстовство, таким образом, сыграло определенную роль в формировании его мировоззрения.

В этом плане следует выделить и третий важный момент творческой биографии Бунина, связанный с его увлечением толстовством. Мы видели, что до попадания в круг полтавской «братии» молодой писатель мог легко позволить себе критику Толстого там, где тот казался ему неправым. В толстовской среде отношение к Толстому было иным. «Учитель» воспринимался с благоговением, как совершенно особый человек. Это отношение участники толстовских колоний сохраняли и много лет спустя.

Например, И.Б. Файнерман не удовлетворился карьерой зубного врача и стал журналистом, писавшим под псевдонимом Тенеромо (поскольку Бунин приводит этот псевдоним в воспоминаниях, можем предположить, что многие журналистские работы бывшего учителя были ему известны). В 1900-е гг. Тенеромо стал публиковать отрывочные воспоминания о Толстом и делиться с Толстым этими опусами. 17 января 1905 г. (датировка по штемпелю на конверте) он писал Толстому: «Живу теперь в Одессе. Сотрудничаю в “Одесском листке”. Доходят ли до вас мои “воспоминания”, печатающиеся в “Листке” и друг<их> газетах?»[202]. 20 февраля 1906 г. он отправил Толстому свою первую книгу о нем. Тот ответил 14 марта:

> Виноват перед вами, любезный Исаак Борисович, не поблагодарил вас за вашу книгу. Я пробежал ее, но прочту, если буду жив, когда будет нужно. Я избегаю читать про себя без нужды. Я знаю ее содержание и знаю, что она написана в хорошем духе о том хорошем времени, к<отором> мы тогда переживали вместе с вами, благодарю вас за это» (*Т* 76, 122).

Воспоминания Тенеромо о Толстом вышли и после смерти великого писателя, в 1912 г. Книга называлась «Живые слова Л.Н. Толстого» и состояла из маленьких рассказов. В каждом рассказе есть сюжетная основа (например, прогулка Толстого и Тенеромо), обрамляющая длинную речь Льва Николаевича. Первый рассказ книги носит название «Новая заповедь». Рассказчик и Толстой входят в лес. «Повеяло тихой, благоговейной прохладой, и, помню хорошо свое ощущение, мне показалось, что мы вошли в настоящий Божий храм, где в каждом уголке чувствуется дыхание высшей силы»[203]. Далее следует речь

[202] ОР ГМТ. Ф. 1. 194/13. Письмо 6.

[203] *Тенеромо И.* Живые слова Л.Н. Толстого (за последние 25 лет его жизни). М., 1912. С. 1.

Толстого о том, что он понял: нельзя возлюбить ближнего, как самого себя, нужно любить ближнего, как Бога (так сказано и в греческом тексте: как Его самого). Окончание рассказа: «Нас слушал лес и тихое, голубое между осинами небо, — и слова учителя глубоко запали в мою душу»[204].

Видим, что в среде толстовцев практиковалось почти обожествление Толстого. Тенеромо лишь уловил общую тенденцию. Ученики нередко сравнивали Толстого с пророками, Буддой, Христом — религиозными учителями прошлого. Так, Тенеромо записывает слова художника Н.Н. Ге, известного толстовца: «<…> я смотрю на него, как он лежит <…> и не могу оторваться от мысли, что это лежит Моисей. <…> Я и раньше чувствовал, что Лев Николаевич ближе к пророкам древности, чем к апостолам христианства <…>»[205]. Интересно, что и сам Толстой (с оговорками о нескромности) думал о себе в том же семантическом поле: см., напр., дневниковую запись от 25 августа 1909 г.:

> Оч<ень> важное. Хотя это и оч<ень> нескромно, но не могу не записать того, что оч<ень> прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать. Читаю Конфуция, Лаотзи, Будду (то же можно сказать и об Еванг<елии>) и вижу рядом с глубокими, связными в одно учение мыслями самые странные изречения, или случайно сказанные, или перевранные. А эти-то, именно такие странные, иногда противуречивые мысли и изречения — и нужны тем, кого обличает учение. Нельзя достаточно настаивать на этом. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом (*Т* 57, 124).

А последователи и друзья Толстого относились к такого рода высказываниям учителя с полным пиететом. Так, Д.П. Маковицкий цитирует приведенную дневниковую запись в предисловии к «Яснополянским запискам»[206].

Полагаем, что Бунин, который и ранее чувствовал к Толстому «благоговение» (цитата из письма брату Юлию, см. выше) за его художественное мастерство, легко принял это отношение толстовцев. Именно к этой толстовской практике (помимо влияния жанра «житийных биографий», появившегося в эмигрантской литературе), с нашей точки зрения, восходит центральная идея «Освобождения Толстого». Почитание Толстого как учителя ко второй половине 1890-х гг. сменилось почитанием Толстого как литературного мэтра. Не

---

[204] Там же. С. 3.

[205] Там же. С. 9.

[206] *Маковицкий Д.П.* У Толстого. 1904–1910: Яснополянские записки. Кн. 1. М.: Наука, 1979. С. 89. (Литературное наследство; т. 90).

исключаем, впрочем, что идеи Толстого, касающиеся (писательской) нравственности, повлияли на мировоззрение Бунина и позволили ему, человеку во многом мягкому и гибкому, особенно в молодые годы, проявить исключительную твердость и принципиальность в некоторые моменты его непростой жизни.

В целом же Бунин не без приятности вспоминал годы толстовского послушания и увлечения Толстым. Андрей Седых (Я.М. Цвибак) вспоминал, как Бунин рассказывал ему о своем увлечении толстовством: «Вы не смейтесь. Чего смеяться? В его учении было много прекрасного и чистого, много пленительного для молодого сердца. И была еще у меня страшная влюбленность в Толстого-художника»[207].

[207] *Седых А.* Далекие, близкие. М., 1995. С. 210.

Глава вторая

ТОЛСТОВСКИЕ МОТИВЫ РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА И.А. БУНИНА

Раннее творчество И.А. Бунина практически не изучено. В советском литературоведении произведения конца 1880-х и первой (а нередко и второй) половины 1890-х гг., пропускали, едва упомянув, поскольку «<…> в них еще чувствовалась сковывающая власть традиции, непреодоленных идей народничества и толстовства»[1]. Какие именно идеи народничества и толстовства повлияли на бунинское творчество, не уточняли: это, видимо, представлялось неинтересным. Пролистывание ранних рассказов продолжилось и в постсоветское время, поскольку все внимание исследователей сосредоточилось на Бунине зрелом, о котором теперь можно было говорить в полный голос. Так, например, поступил Ю.В. Мальцев, поскольку «<…> в ранних рассказах еще не определился его <Бунина. — *Е.П.*> собственный мир и круг <…>»[2]. Полагаем, что настало время внимательно изучить эти рассказы, потому что ранние рассказы Бунина представляют особенный интерес переменчивостью художественного мира, отражающей динамизм сознания писателя в эти годы. В них проглядывает становящееся, незавершенное миросозерцание Бунина.

Судить о влиянии произведений Л.Н. Толстого на самое раннее творчество И.А. Бунина, опираясь только на биографические источники, довольно сложно. Первые прозаические опыты Бунина относятся к 1886 г. (см. датированный автограф повести «Увлечение»); чтение основных романов Толстого зафиксировано значительно позднее: «Анну Каренину» он прочитал в 1888 г., «Войну и мир», по всей вероятности, в 1890 г.[3]

Н.М. Кучеровский, характеризуя писательское ученичество Бунина, обратил внимание на очень важные слова, характеризующие методику работы молодого писателя:

> Эта проза интересна прежде всего как опыты начинающего Бунина в области чужих стилей, как своеобразное «творчество» по стилевому

---

[1] *Крутикова Л.В.* Иван Бунин // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, 1983. Т. 4. С. 636.

[2] *Мальцев Ю.В.* Иван Бунин. 1870–1953. М.: Посев, 1994. С. 62.

[3] См. главу 1 настоящей монографии.

образцу. О характере этих опытов и задачах, которые ставил перед собой Бунин, можно судить в какой-то мере по его собственным словам: …«Выписываю из Батюшкова — из его писем — что попало, лишь бы набрать выражений и заменить себе тон»[4].

Полагаем, что такого рода опыты серьезно повлияли не только на самые ранние прозаические опыты Бунина, но и на весь первый период его творчества. Например, «очерк» (авторское определение жанра) «Шаман и Мотька» (1890) выстроен на тургеневском «тоне» (использует комплекс стилистических приемов, восходящих к «Запискам охотника»), в цикле «очерков» «Мелкопоместные» (1891) соединены гоголевский «тон», стилистика зачинов тургеневских романов, а также стилистические приемы из романа натуральной школы. Наконец, самый известный рассказ Бунина 1890-х гг. «На край света» построен следующим образом: популярнейшая тема народнической литературы помещена в гоголевский стилистический контекст, восходящий к повести «Тарас Бульба»[5].

В «Увлечении» (1886) нет ни толстовского «тона», ни вообще каких-либо следов влияния Толстого. Повесть содержит следы чтения «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова и произведений И.С. Тургенева[6]. Но в двух рассказах, написанных в следующем 1887 г. толстовский «тон» начинает звучать весьма отчетливо.

1. Опережая Толстого: близость художественных мировоззрений[7]

Первые опубликованные прозаические опыты Бунина — «Два странника» (1887) и «Нефедка» (1887) — более зрелы и значительно ближе толстовской тематике. В них, разумеется, тоже довольно много ученических черт[8]. Но если

---

[4] *Кучеровский Н.М.* Братья Бунины... С. 106.

[5] Подробнее см.: *Пономарев Е.Р.* Поэтика ранней прозы И.А. Бунина: жанровый генезис, стилистические тенденции, художественные ориентиры // Раннее творчество И.А. Бунина (1883–1902 гг.): поэтика, текстология, комментарий / отв. ред. С.Н. Морозов; ред. А.В. Бакунцев, Т.М. Двинятина, Е.Р. Пономарев. М.: ИМЛИ РАН, 2024. С. 20–34. (Академический Бунин; 4). DOI: 10.22455/978-5-9208 0761-8-20-34.

[6] Там же.

[7] Материал этого и следующего раздела был предварительно опубликован в виде журнальной статьи: *Пономарев Е.Р.* Опережая Л.Н. Толстого: толстовские темы и толстовский «тон» в ранней прозе И.А. Бунина // Studia Litterarum. 2024. Т. 9, № 4. С. 206–221. DOI: 10.22455/2500-4247-2024-9-4-206-221.

[8] Напр., в рассказе «Два странника» наиболее профессиональны две последние, IV и V главы. В главах I–III мысли героев, их действия и мотивировки этих действий довольно часто не разделены. Даже в удачной IV главе можно увидеть, как путаются внешний и внутренний планы

«Увлечение» оставляет впечатление насквозь подражательного нарратива, то эти тексты уже похожи на оригинальные опусы начинающего прозаика.

Оба произведения рассказывают о крестьянах; оба, так или иначе, о духовном преображении человека. Еремушка[9] (в варианте 1889 г., напечатанном в «Орловском вестнике» под заглавием «Божьи люди», имя главного героя изменится на Тимоша), как бы спасает собственной (праведной) смертью душу пьяного мужика, зарезанного беглым монахом Рафаилом ради денег. Этот смысл не прочитывается напрямую, но он ощутим в подтексте; его формирует ключевая фраза, произнесенная главным героем: «<…> не губи душу его! Куда она должна пойти?.. Ведь в ад… Братик, послушайся, не льстись!..»[10]. Этот смысл существенно подкрепляет и цитата из предпасхального песнопения, произнесенная Еремушкой: «да не сном отяготися». Полный текст этого песнопения[11] говорит о душе, которая не будет предана смерти. Если же, допустим, не заметить этот подтекст, то рассказ все равно нацелен на нравственную проблему: уклонение героя от греха (Рафаил предлагает ему соучастие в краже и убийстве) стоит ему жизни, но, так или иначе, Еремушка (Тимоша) умирает, как праведник. Его предсмертным видениям посвящена вся последняя главка рассказа — и здесь типологическим ориентиром молодому Бунину могли послужить сразу два текста молодого Толстого.

Во-первых, это 12 глава рассказа «Севастополь в мае» с предсмертными мыслями ротмистра Праскухина, занимающими большую часть главы. В.Н. Муромцева-Бунина сообщает, что Ваня Бунин подростком читал «Севастопольские рассказы». Этот эпизод должен был отложиться в его памяти еще и потому, что его в подробностях цитирует Н.Г. Чернышевский в статье «Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого» (той самой, в которой появляется словосочетание «диалектика души»), первоначально опубликованной в «Современнике» в 1856 г. Полагаем, осваивая критическое наследие Чернышевского (а с этим наследием его непременно должен был познакомить старший брат Юлий), Бунин наверняка прочитал эту статью. Во-вторых, это рас-

---

повествования. Напр., когда Еремушка приходит в себя после удара, сказано: «Когда же он мог подняться, — даже в кабаке все спали мертвым сном и был потушен огонь» (*Бунин И.А.* Два странника // Родина. 1887. № 39. 28 сентября. Стб. 1227). Тот факт, что в кабаке «был потушен огонь» — это впечатление героя, внешний взгляд; «спали мертвым сном» — его умозаключение или, возможно, внутренний (мысленный) взгляд внутрь кабака. В любом случае эти два сообщения должны идти не в том порядке, в котором даны в тексте, а, скорее, в обратном. Показательны и стилистические несуразности: напр., публицистическая формулировка, открывающая V главу — уместная скорее в критической статье, чем в художественном тексте: «Только слабое соображение Еремушки могло допустить возможность путешествия в такую бурную ночь пешком и полураздетому» (Там же).

[9] Полный текст первого варианта рассказа см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

[10] *Бунин И.А.* Два странника // Родина. 1887. № 39. 28 сентября. Стб. 1227.

[11] Подробнее см. комментарий к этому рассказу в Приложении 1.

сказ Толстого «Метель» (1856). Видения, которые посещают заснувшего героя под завывания холодного ветра (в этом рассказе герой не умирает, история имеет счастливый конец), тоже могли (если юный Бунин был знаком с этим произведением Толстого) типологически повлиять на последнюю часть «Двух странников». Показательно, что в 1895 г., прочитав новейшее произведение Толстого «Хозяин и работник», сюжет которого вновь был связан с блужданием в метели и замерзанием насмерть одного из героев, Бунин пришел в исключительный восторг, оценив новый вариант знакомого сюжета[12]. Собственно, произведение на эту тему (очень национальное, связанное с малой заселенностью российских просторов и необустроенностью дорог[13]), стало первым произведением Бунина, в котором он пытается заглянуть в сам процесс умирания. Пристальный интерес к смерти и умиранию, безусловно, роднит его с Толстым тематически — что позднее подчеркнет и сам Бунин в «Освобождении Толстого».

История, рассказанная в «Нефедке», приводит к духовному преображению главного героя — в отличие от первого рассказа, не предсмертному, а предполагающему все дальнейшее изменение жизни. И хотя Нефедка обретает новый смысл жизни именно в Рождественскую ночь и, привлеченный церковным благовестом, приходит на службу в храм (Толстой, как известно, полагал, что традиционные христианские праздники не имеют мистического значения, а официальную церковь вообще не считал подлинно христианской), типологически это именно то покаяние и преображение, когда человек отрекается от прежней неправедной жизни и меняет все свое поведение. Духовные переломы, покаяние и преображение вошли в моду, в том числе и в литературе, после появления трактатов «Исповедь» и «В чем моя вера?». Сыграла важную роль в этом процессе и повесть «Смерть Ивана Ильича», опубликованная в 1886 г.[14] Таким образом, Бунин, не по-толстовски оркеструя сюжет, пишет на важную толстовскую тему.

Продолжая эту систему тематико-типологических аналогий, можно отметить, что сюжет рассказа Бунина «День за день. Старая история» (опублико-

---

[12] См. в главе 1 настоящей монографии воспоминание Бунина о посещении Буниным Толстого весной 1895 г., когда он застал великого писателя за чтением только что вышедшего «Хозяина и работника».

[13] Череда «метельных текстов» в творчестве Бунина интересно прослежена К.В. Анисимовым, однако «Два странника» в нее не включены (*Анисимов К.В.* Толстовская парадигма «Хозяина и работника» у Бунина: «метельный (кон)текст» философии субъекта // Критика и семиотика. 2018. № 1. С. 187–215. DOI: 10/25205/2307-1737-2018-1-187-215)

[14] Мы не можем сказать точно, прочитал ли шестнадцатилетний Бунин повесть именно тогда, когда с ней знакомилась вся читающая Россия. Впоследствии он неоднократно будет говорить и писать о «Смерти Ивана Ильича». Например, в 1930 г., описывая литературную ситуацию 1880-х гг., поставит «Смерть Ивана Ильича» рядом с «Крейцеровой сонатой» как самые значительные произведения той эпохи (*Бунин Ив.* Записная книжка // *Бунин И.А.* Критика и публицистика 1911–1953 годов / отв. редактор А.В. Бакунцев; сост. А.В. Бакунцев, С.Н. Морозов, О.А. Коростелев; предисл., подгот. текста и коммент. А.В. Бакунцева, С.Н. Морозова. М.: ИМЛИ РАН, 2025. С. 383).

ван в «Орловском вестнике» 22 ноября 1889 г.[15]) соотносим с проблематикой «Крейцеровой сонаты» (опубликована в 1890-м, в том же году прочитана Буниным[16]). Бунин как бы предвосхищает проблематику, поднятую Толстым, предлагая зарисовку состоятельной елецкой семьи, где муж и жена, во-первых, ничем не занимаются, живут пустой жизнью, а во-вторых, по сути, чужие друг другу люди. В отличие от рассказов с крестьянской тематикой, мотивное наполнение темы звучит вполне по-толстовски:

> Она сама не знала, зачем вышла замуж за Кондаурова. Когда они венчались, она не думала определенно о цели этой свадьбы; венчалась потому, что другие венчаются, выходят замуж, — и она должна была идти. <…> Прежде она почему-то вовсе не чувствовала болезненного чувства неудовлетворенности от того, что жила день за днем, однообразно и скучно; теперь же это чувство развилось до громадных размеров.
>
> — Господи! что же будет дальше, — думала она, и болезненная тоска все возрастала; неужели я теперь погребена и на целую, да, на целую жизнь осталась в Ельце?.. Неужто дни будут проходить так же бесцельно. Вот теперь зима, потом весна, лето и опять все сначала. И весна, и зима, и лето — я наперед знаю, как пройдут. Те же дни, тот же обед, сцены после обеда до тусклых сумерек?! Она села на кровать и вздернула плечами... Она боялась даже дальше думать об этом[17].

Среди толстовских мотивов появляются и традиционные для левой среды (выпущенные в приведенной цитате) рассуждения о неразвитости героини и отсутствии у нее «идеалов, стремлений». Они заимствованы, скорее всего, из народнической картины мира, в которой важное место занимало идейное развитие девушек: чтение ими соответствующей литературы и формулирование жизненных задач. Понятно, что в 1889 г. для Бунина еще актуальны эти мотивировки характера персонажа, практически повсеместно распространенные в народнической литературе. Однако общая тональность текста значительно ближе Толстому, чем, например, Чернышевскому — идейному вдохновителю этой литературы в сфере «женского вопроса»: трудно представить себе какое-нибудь дальнейшее «развитие» Надежды Федоровны. Ощутив трагическую пустоту жизни, она, скорее всего, заведет какую-либо интрижку: эта линия намечена (героиня хочет отомстить мужу, вспоминает о молодом учителе уездного училища, пытается ему написать и пригласить на вечер, но бросает письмо). Скорее всего, назревающее решение просто отложено — ведь героине нечем

---

15 Полный текст этого рассказа см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

16 См. об этом главу 1 настоящей монографии.

17 *Бунин И.А.* День за день: старая история // Орловский вестник. 1889. 22 ноября. № 156. С. 2.

больше скрасить жизнь. Муж ею совершенно не интересуется, разговаривает с ней по-хамски, и она сама понимает, что в ее жизни «<…> все, так сказать, кончено <…>»[18]. Из бунинского текста вытекает, по сути, очень толстовская мысль: само устройство института брака влечет жизненную пустоту, супружеские измены и разрушение брака изнутри.

Эта работа Бунина «на опережение» Толстого свидетельствует одновременно о двух вещах. Во-первых, о том, что толстовские темы носились в воздухе эпохи: особенно остро их чувствовали те, кому народническая идеология начинала казаться узкой. Во-вторых, о мировоззренческой близости Бунина и Толстого. Бунин думал о том же, что и Толстой, и приходил к похожим выводам (разве что формулировал их не так радикально). Когда же Толстой высказывался на уже обдуманную им тему, Бунин бывал поражен: насколько ярко и насколько смело была подана та художественная идея, которую он сам уже пытался воплотить. Именно такую реакцию можно предположить у Бунина (за несколько месяцев до того написавшего рассказ «День за день») на появление «Крейцеровой сонаты»[19]. Местами заметна и бунинская специфика развития темы: самое ужасное для Надежды Федоровны не бессмысленность дней, как было бы у Толстого, а их однообразная тягучесть. Для молодого Бунина куда страшнее ощущать движение времени, чем саму пустоту; пустота жизни лишь усиливает ощущение этого движения.

В той же системе значений можно рассмотреть и восхищение Буниным «Хозяином и работником» тотчас после выхода рассказа в 1895 г.: Толстой мастерски сделал то, что он сам только нащупывал в «Двух странниках» в 1887 г. и позднее (переработка и публикация нового варианта этого рассказа через два года после первой публикации говорят о том, что произведение казалось Бунину немаловажным). Притча, вырастающая из бытовой трагической истории о замерзающих в метель, — именно то, что пытался сделать юный Бунин. Толстой рукою мастера явил ему образец.

2. Толстовский «тон» и толстовство как тема

Вместе с тем, Бунин использует в своих ранних произведениях и просто «тон» Толстого, заимствованный из его ранней прозы. Так, в рассказе «Первая любовь: Из воспоминаний детства» (1890) три тематически различных части. Первая посвящена дружбе мальчиков, проводящих лето в деревне. Сценки и диалоги между ними напоминают главы из «Детства» (см., напр., главу VIII «Игры») или «Отрочества» (см. главу V «Старший брат», в которой Николенька

[18] Там же.

[19] См. подробнее главу 1 настоящей монографии.

мирится и ссорится с братом Володей, или главу XIII «Изменница», где рассказывается о детских играх) не деталями или сюжетными поворотами, сколько общим «тоном». Бунин выстраивает яркий диалог с использованием детского языка и мальчишеского сленга, а также особых детских интонаций, передающих быстрые перемены настроения и т. д. Тема отроческой влюбленности (Лева уличает Митю во влюбленности в его двоюродную сестру Сашу; Митя вспоминает разговор с Сашей, из которого можно заключить, что он ей тоже нравится) решена во многом так же, как у Толстого.

Вторая часть рассказа — поездка с дядей и встретившимся по пути крестьянским обозом в город — использует иной материал. Она построена на «письме с натуры»: реальных крестьянских диалогах, услышанных автором[20]. Интересен и разговор героя с дядей, который, во-первых, ярко характеризует персонажей, во-вторых, многое говорит о специфике их взаимоотношений. Третья часть, в которой герой пытается навестить Александру Брянцеву (героиню зовут так же, как и в повести «Увлечение») в гимназии, но из свидания ничего толком не выходит, возвращает подростковый диалог первой части, в который — жирной точкой концовки — вклинивается просторечие дяди. Как и в первой части рассказа, в качестве подтекстуальных значений, дополняющих речевые характеристики, используется смущение и покраснение героев:

> Смущенно и радостно улыбаясь, я подал ей руку. Около нас толпилось человек пятнадцать ее подруг и потому мы отошли к самым выходным стеклянным дверям.
>
> — Когда же вы едете? — спросила Саша.
>
> — Завтра, — сказал я, то расстегивая, то застегивая пряжку пояса. — Зашел проститься… Вам хоть немного будет меня жалко?..
>
> Саша покраснела и хотела что-то ответить… Но вдруг стеклянные двери отворились и вошел… дядя! Я обмер.
>
> — Что же ты тут ночевать что ли остался? — сказал он сердито, стоя передо мною с кнутом в руке. («Как мужик!» — мелькнуло у меня в голове). — Ждал, ждал тебя! Наконец, решился подъехать сам[21].

В этом эпизоде нет прямого влияния Толстого, но уже профессионально использованы те приемы, которые Бунин мог обнаружить, например, в первой части «Войны и мира»:

---

[20] См. об этом подробнее: *Пономарев Е.Р.* «Письмо с натуры»… С. 151–152.

[21] *Бунин И.А.* Первая любовь: Из воспоминаний детства // Орловский вестник. 1890. 14 февраля. № 27. С. 3.

Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.

— Поцелуйте куклу, — сказала она.

Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.

— Не хотите? Ну, так подите сюда, — сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. — Ближе, ближе! — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

— А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волнения.

Борис покраснел.

— Какая вы смешная! — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая» (*Т* 9, 53–54).

Отход подальше от посторонних глаз, смущение, покраснение обоих участников диалога при самом важном вопросе — обязательные авторские ремарки, передающие подростковое волнение. Диалог использует простые, малозначимые фразы и от этого становится психологически насыщеннее. Все это умело усвоенные Буниным приемы письма, вполне вероятно, из школы Толстого. Эта школа могла, пожалуй, усиливаться тургеневской (влияние чтения И.С. Тургенева на раннее творчество Бунина было значительным), однако Тургенева ранняя подростковая влюбленность интересовала мало — несмотря на то, что название бунинского рассказа, казалось бы, цитирует заглавие тургеневской повести. В «Первой любви» Тургенева герою 16 лет (Борис Друбецкой в продолжении приведенного эпизода собирается просить руки Наташи, когда той исполнится шестнадцать; в те годы это уже возраст молодежи, когда влюбленность вполне может закончиться браком), а героине — 21.

Н.М. Кучеровский считал, что «Первая любовь» — наиболее «бунинский» текст из раннего творчества Бунина[22]. Это утверждение отчасти спровоцировала тема рассказа, отчасти же, надо полагать, мастерство нюансировки диалога, предвещающее зрелую бунинскую поэтику[23].

В 1891 г. в объемном рассказе «Мелкопоместные» Толстой впервые появляется как тема (пока эпизодическая и проходная) разговоров провинциальных помещиков. Один из острословов придумывает эвфемизм, заменяющий понятие «пьянство»:

[22] *Кучеровский Н.М.* Братья Бунины... С. 105.

[23] Следует отметить, что поэтика диалога в текстах Бунина существенно меняется от периода к периоду.

— Ну, ты нынче, должно быть, всю дорогу «совершенствовался».

— Как «совершенствовался»?..

— Ах да, ты, ведь, не знаешь… Крутиков уморил нас со смеху. Ездили мы недавно за «косолобыми»… <…>

— Да ну, слушай же… Я по дороге забрел в Новоселки, — нужно было к мировому, — а они сказали, что проедут в Коровий верх. Только, понимаешь, выхожу от мирового, глядь — лошадки мои стоят смирнехонько около Иван Михайлова, а они, голубчики, второе «горлышко откусывают». — «Вы зачем сюда»? — «Дурак ты, говорит Крутиков, неужто ты не знаешь, что Толстой проповедует “совершенствование”? Вот мы и “совершенствуемся”»…

Оба захохотали, закурили, и беседа снова потекла в том же духе[24].

Понятие «самосовершенствование» — одно из центральных в моральной проповеди Толстого. Оно многократно используется в дневниках писателя (собственно, основная цель ведения дневника, как определял ее для себя Толстой, — это самосовершенствование), а также появляется в статьях и морально-религиозных трактатах. Герои «Мелкопоместных» превращают толстовское понятие в собственную противоположность. Толстой категорически выступает против пьянства (и употребления алкоголя вообще), полагая, что любое одурманивание рассудка мешает свободному размышлению о себе и, в конечном счете, самосовершенствованию. Они же называют «совершенствованием» временное улучшение самочувствия, которое достигается при помощи алкогольного опьянения.

Тем не менее, эта шутка свидетельствует о том, что обсуждение Толстого и толстовства было общим местом провинциальных разговоров. Этот смысл поддержан и следующим пассажем, которым заканчивается обширная характеристика богатых елецких помещиков. Черты прежней помещичьей жизни они соединяют с новыми обычаями: «<…> ездить на выставки, толковать о “порядочности”, о Толстом, о модных политических новостях, о практичности американцев, о школах и земских больницах, участвовать в любительских спектаклях, картавить, говорить: “вы дугак” лакеям и т. д., и т. д.»[25].

Общий «тон», в котором выдержаны «Мелкопоместные», не имеет ничего общего с толстовским: отчетливо звучат местами гоголевские, местами тургеневские интонации. Тон начинающий писатель подбирает тематически: для рассказа о мелкопоместных дворянах подходят интонации гоголевских повестей и рассказов из «Записок охотника», в которых центральными героями

[24] *Бунин И.А.* Мелкопоместные: Очерки из жизни елецких помещиков // Орловский вестник. 1891. 27 октября. № 285. С. 2. Подпись: И.А.Б.

[25] *Бунин И.А.* Мелкопоместные // Орловский вестник. 1891. 29 ноября. № 317. С. 2. Подпись: И.А.Б.

были те самые мелкопоместные. Таков же и рассказ «Помещик Воргольский» (подзаголовок «Из очерков “Старое и новое”»; 1892). Преобладают гоголевско-тургеневские интонации, Толстого нет ни стилистически, ни тематически. Но толстовство снова присутствует в тексте как важная современная тема и предмет дворянских толков. Если в «Мелкопоместных» она только обозначена, то здесь существенно расширена:

> — Вы, кажется, ярый последователь теории Толстого? — все хотите делать сами, — пошутил Сергей Сергеич, когда я вернулся.
>
> — Страстный! — ответил я в том же тоне.
>
> Тогда Сергей Сергеич сделал серьезное лицо и сказал:
>
> — À propos, читали вы новую книжку Скабичевского — «Толстой как художник и моралист»?
>
> — То есть барона Дистерло? — спросил я.
>
> — Да, да, Дистерло, — поспешно подтвердил Сергей Сергеич и, показав таким образом, что он перемешал фамилии из-за «глупейшей» рассеянности, авторитетно начал делать критические замечания на «книжечку».
>
> Потом перешел к самому Толстому, сказал несколько интересных фраз насчет его «теорий», прибавляя к ним, как к собственным мнениям: «мне кажется», «я думаю» — и наконец, доставая портсигар, быстро закурил папиросу, изящно помотал спичкой, элегантно бросил ее, откинулся к спинке стула и заключил:
>
> — Мне, по правде сказать, жаль его: запутался старик![26]

Сергей Сергеевич, с которым ведет диалог повествователь, разбирается в предмете плохо, но это сама по себе важная деталь: раз обычный салонный болтун кое-как освоил тему, значит, о Толстом говорят все. Название работы Р.А. Дистерло[27], вышедшей в 1886 г., после появления «Смерти Ивана Ильича» (анализ художественного творчества Толстого завершается в книге именно этим произведением), указывает направление всеобщих разговоров: во-первых, Толстой-художник и Толстой-моралист нередко рассматриваются отдельно друг от друга (Р.А. Дистерло, по сути, рецензирует 12-томное собрание со-

[26] Там же. 5 июня. С. 2.

[27] Интересно «скрещение судеб», о котором молодой автор «Помещика Воргольского» еще не знает. Внучка барона Романа Александровича Дистерло (1859–1919) Елена Юрьевна Дистерло (1934–2021; в замужестве Бобринская) станет лучшей подругой О.А. («Олечки») Жировой (1933–1964; в замужестве Colard), которая в эмигрантские годы (с конца 1930-х гг.) во многом заменит И.А. и В.Н. Буниным дочь. В качестве лучшей подруги Олечки Елена Юрьевна будет иногда бывать в квартире Бунина на рю Жак Оффенбах. «Леночка Дистерло» многократно упоминается в письмах В.Н. Буниной.

чинений; сначала он говорит о художественных произведениях; последние же две главы своей книги, десятую и одиннадцатую, автор посвящает этическому учению Толстого); во-вторых, критик весьма уважительно рассуждает о прагматической этике Толстого, которая, с его точки зрения, демонстрирует новейшие тенденции философской мысли: отказ от научного позитивизма, формирование новой религиозности, сосредоточенность на человеческой душе[28]. Сергей Сергеевич, тем не менее, излагая общие места тогдашней критики, делает иной вывод, чем невыгодно отличается от барона Дистерло. Упоминаемая книга и болтовня персонажа как бы противопоставлены в этом контексте.

Интересно, что у народника А.М. Скабичевского есть книга с очень похожим заглавием — «Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель», вышедшая практически одновременно с сочинением Р.А. Дистерло, в 1887 г. Построена она похожим образом: сначала идет очерк творчества Толстого (до 1872 г.), за ним следует статья «Разлад художника и мыслителя (По поводу романа гр. Л. Толстого “Анна Каренина”)», а завершает книгу раздел «Мысли и заметки по поводу нравственно-философских идей гр. Л. Толстого», в свою очередь, тоже разделенный на несколько частей. Одна из них посвящена пяти условиям счастья, которые, как мы видели, весьма импонировали Бунину на протяжении всей его жизни[29]. Скабичевский не оспаривает эти условия счастья, но утверждает, что Толстой изрекает неоспоримые истины[30]. А все учение Толстого, по мнению Скабичевского, похоже на то, как если бы математик вдруг взял и увлекся таблицей умножения, отвергая все более сложные разделы своей науки[31]. В дальнейшем критик как бы поучает впавшего в детство писателя: непротивление злу насилием есть недостижимый идеал, а суды, армии и прочие человеческие институции призваны сдерживать дикость людских инстинктов. Другая часть «Граф Л. Толстой о женском вопросе» (именно эту статью в ее журнальном варианте Бунин осенью 1891 г. пересылал В.В. Пащенко для ознакомления[32]) построена на жизненном примере: критик пишет об идеальной семье, в которой жена выучилась на учительницу, трудится не покладая рук и приносит треть семейного бюджета, а также идеально содержит дом и прекрасно занимается детьми. Ее, ранее большую поклонницу Толстого, привели в ярость мысли великого писателя о предназначении женщин и бесполезности женского образования.

Таким образом, Сергей Сергеич из «Помещика Воргольского» спутал, скорее, не автора, а заглавие. Он в своих суждениях о Толстом более опирается на

---

28 *Дистерло Р.А.* Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист. СПб: Тип. Н.А. Лебедева, 1886.

29 См. раздел 5 главы 1 настоящей монографии.

30 *Скабичевский А.М.* Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель. С. 148.

31 Там же. С. 146.

32 Подробнее см. главу 1 настоящей монографии.

«жизненную» критику Скабичевского, чем на взвешенный анализ Дистерло. Называние двух этих фамилий получает функцию подтекстуальной полемики с теми, кто судит о Толстом слишком поверхностно. Тем более, что сам Воргольский в завершение разговора уверяет своих собеседников в том, что Толстой раньше был министром (путая его с графом Д.А. Толстым, в 1866–1880 гг. министром народного просвещения, в 1882–1889 гг. министром внутренних дел), и не хочет слышать возражений.

Впрочем, приведенный эпизод не играет существенной роли в развитии сюжета. Остается неясным, действительно ли повествователь (которому переданы имя и отчество автора: Иван Алексеевич) страстный поклонник Толстого, или его ответ шутлив. Он приехал в поместье из университетского Харькова, где теория Толстого, вероятно, разбирается по Дистерло или Скабичевскому. С другой стороны, в Харьковской губернии и Харькове довольно много толстовцев — поэтому однозначного ответа, всерьез или нет ответил Иван Алексеевич, быть не может. Так или иначе, следует отметить, что учение Толстого из проходной шутки превращается в произведениях Бунина начала 1890-х гг. в одну из тем для светского разговора.

В рассказе «Тарантелла» (авторская дата: 1893; первая публикация: 1896; начиная с публикации 1912 г. заглавие: «Учитель»)[33] можно увидеть следующий шаг: Толстой и толстовство присутствует в тексте не только как тема светского разговора, но и в качестве символического визуального знака. В гостиной богатых и просвещенных помещиков Линтваревых княжны Трипольские упоминают Толстого в разговоре о знакомых и знаменитостях. Часть гостей постоянно живет в провинции, им интересен сам факт, что собеседники видели Толстого; для остальных же, тоже бывающих в столицах, — это обычная светская болтовня: «Потом Трипольские стали рассказывать про своих питерских знакомых, про Толстого, которого встретили в Москве на улице, про поэта Надсона»[34]. Визуальным же знаком — в дополнение к этому разговору — будет большой портрет Толстого, писанный масляными красками, висящий в столовой Линтваревых. Этот портрет демонстрирует как демократические симпатии хозяев, так и стремление ко всему доброму и светлому — например, к просвещению деревни. Исходя из этих убеждений Линтварев, вероятно, и пригласил к себе на Рождество земского учителя Турбина, не подумав, как тот будет осваиваться в его богатом интеллигентском кругу.

При этом разговор, который пытается завести Турбин, на единственную более-менее знакомую ему тему — о профессиональном образовании (которым, по слухам, Линтварев весьма увлечен) — тоже имеет толстовский оттенок. Турбин упоминает сочинения известного русского педагога Н.Ф. Весселя

[33] Полный текст первого варианта рассказа см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

[34] *Бунин И.А.* Тарантелла // Новое слово. 1896. № 7. С. 75.

о профшколах и обучении детей ремеслам, но, как и Толстой, считает, что любой крестьянин умеет работать руками лучше, чем интеллигент-учитель, а крестьянского ребенка нечего учить ремеслу, потому что он и так осваивает все ремесла в хозяйстве. Собеседники (Линтварев и богатый помещик Беклемишев, влиятельный земский гласный) говорить об этом не желают и третируют Турбина:

> — <…> Когда мне, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальца мастерить разные безделушки, когда он сам, в своем быту, так сказать…
>
> — Зачем же непременно безделушки?[35]

Произносящий последнюю реплику цепляется к неудачному слову, использованному Турбиным, но по сути спора ничего не высказывает; Турбин не кажется Линтвареву и Беклемишеву стоящим собеседником, они продолжают разговор о том, чего учитель не знает. Суть педагогической проблемы, по-видимому, не слишком интересует богатых помещиков.

В этом рассказе тема Толстого уже не случайна и не эпизодична. Она выстраивает систему подтекстовых смыслов, осуждающих либеральных бар и оправдывающих искренние порывы не слишком образованного, но стремящегося к знанию сельского учителя. Взгляды Толстого и толстовское общественное устройство, как оно реализуется в толстовских кружках и колониях (открытость представителям любых сословий и людям любого уровня образования), оказываются честнее и искреннее, чем псевдодемократические потуги богатых помещиков.

Итак, толстовство, включаемое поначалу в бунинские тексты как случайная деталь, со временем трансформируется в обсуждаемую героями тему, а затем начинает организовывать некоторые значения подтекста. На следующем этапе толстовство должно стать главной темой бунинского рассказа.

3. Толстовство или народничество? Рассказы из «Русского богатства»

Перейдем к четырем рассказам, опубликованным в журнале «Русское богатство», которые Н.М. Кучеровский[36] назвал «толстовскими», посчитав написанными под влиянием толстовских идей. Главным аргументом для исследователя, вероятно, послужил тот факт, что эти тексты создавались в Полтаве

[35] Там же. С. 76.

[36] *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства... С. 118.

в те самые годы, когда Бунин был увлечен толстовством. Первый из них («Деревенский эскиз») молодой писатель приложил к своему третьему письму Толстому в надежде на похвалу, которой, впрочем, не дождался[37].

Рассказ «Деревенский эскиз» (авторская дата: 1892; первая публикация: 1893; заглавие дальнейших публикаций: «Танька»), «Кастрюк» (авторская дата: 1892; первая публикация: 1895), «На хуторе» (авторская дата: 1892; первая публикация: 1895), «Неожиданность» (авторская дата: 1893; первая публикация: 1895; заглавие дальнейших публикаций: «Вести с родины») Кучеровский рассматривает как некий толстовский цикл. Однако нам кажется, что доказательства этой цикличности слабы. Если объединять рассказы тематически, то они соединяются попарно: «Деревенский эскиз» (в дальнейшем: «Танька») и «Неожиданность» (в дальнейшем: «Вести с родины») объединяет тема голода 1890-х гг., а также противопоставление народной и господской жизни; рассказы «Кастрюк» и «На хуторе» — тема старческого мировидения. Эти пары текстов тематически далеки друг от друга. Кучеровский полагает, что та и другая темы — толстовские, но это утверждение весьма спорно. Странным кажется уже то, что все четыре рассказа опубликованы в журнале «Русское богатство», которым в эти годы руководили Н.К. Михайловский и С.Н. Кривенко — люди от толстовства далекие.

Первый рассказ, посланный в редакцию без названия и напечатанный под редакционным заглавием «Деревенский эскиз», четко делится на две части. В первой глазами крестьянской девочки Настьки (в дальнейших публикациях ее имя изменится) дано зимнее утро в голодающей деревне (и тематически близкие воспоминания: о продаже коровы в конце лета). Во второй — один вечер из жизни мелкопоместного барина Павла Антоныча, который очень строг к своему работнику, но пожалел крестьянского ребенка и привез Настьку к себе в гости. «“Деревенский эскиз”, — пишет Н.М. Кучеровский, — не один, а два рассказа, которые подогнаны один к другому под идею нравственного совершенствования»[38].

Действительно, молодой писатель, воспитанный на очерковой поэтике[39], попытался в этом тексте соединить два сюжета с разными главными героями (во второй части Настька превращена в эпизодического персонажа; если в первой части повествование ведется повествователем как бы с ее точки зрения, то во второй части точка зрения повествования переключается: появляется некий объективный наблюдатель, сообщающий историю жизни Павла Антоныча и рассказывающий о его поступках в этот важный день. Однако соединение

---

[37] Подробнее см. главу 1 настоящей монографии.

[38] *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства… С. 119.

[39] Подробнее о генезисе прозы Бунина см.: *Пономарев Е.Р.* Жанровый генезис и сюжетология ранней прозы И.А. Бунина // Studia Litterarum. 2022. Т. 7, № 4. С. 178–193. DOI: 10.22455/2500-4247-2022-7-4-178-193.

частей трудно назвать чисто механическим, оно выстроено на продуманной системе антитез: утро — вечер, крестьянская изба — господский дом, холод — тепло, голод — сытость.

Что же касается «нравственного совершенствования», то его, кажется, и вовсе нет. Павлу Антонычу вдруг захотелось отогреть крестьянскую девочку, стоявшую отдельно от толпы катающихся мальчишек. От забот о чужом ребенке его сердце начинает оттаивать: «Все теплее и теплее становилось в его старческом сердце, когда он закутывал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но вожжи у него опустились, лицо стало тихое и сосредоточенное... брови шевелились чаще...»[40]. Отметим здесь психологический параллелизм, основанный на одной из антитез: Настька согревается после целого дня, проведенного на морозе; у барина теплеет на сердце после всей жизни, сделавшей его «кремнем»[41].

Ребенок, которому в диковинку все барские «вещички» (играющие часы, гитара, кушанья, которыми его потчуют), приятно меняет всю его раз навсегда заведенную жизнь: «Давно не проводил он такого веселого вечера...»[42]. Барин расспрашивает Настьку и внимательно слушает ее ответы: «На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда — молчала и мотала головой. Но все-таки Павел Антоныч узнал многое про Корнееву семью и задумался...»[43]. Раздумья приводят к осознанию того, чего старый служака (до того, как засесть в деревне и заняться хозяйством, Павел Антоныч служил в провинциальном гарнизоне) раньше не понимал:

> А он сам? Когда ему самому приходили в голову такие мысли? Кажется, еще ни разу. Сколько лет и ни разу!
>
> Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, и везде они одни и те же и везде мрут от голода люди!..
>
> Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына. Первый раз он глядел на него с бесконечной любовью и уважением, чувствовал его родным и своим другом...[44]

Вот тут, кажется, в текст Бунина попадает некоторая идеологическая натяжка — но не толстовская, а народническая. Не совсем понятно, что такое узнал

---

40 *Бунин И.А.* Деревенский эскиз // Русское богатство. 1893. № 4. С. 11.

41 Там же. С. 9.

42 Там же. С. 11.

43 Там же. С. 12.

44 Там же. С. 13.

о жизни обычной крестьянской семьи Павел Антоныч, чего он не знал раньше. Жизнь мелкопоместного барина и жизнь крестьян протекают рядом. Однако он впервые задумался о крестьянской жизни и о голоде — и впервые понял сына, сосланного за революционную деятельность в Сибирь. Но причем тут «нравственное совершенствование» и вообще толстовство?

Единственное отношение, которое этот текст имеет к Толстому, это тема крестьянского голода — в связи с «работой на голоде», которую вел Толстой. Отправляя великому писателю оттиск рассказа, Бунин мог полагать, что тот заинтересуется темой. Толстовским, конечно, можно посчитать само желание барина согреть и накормить голодного ребенка, но это желание, скорее следует отнести к общечеловеческому состраданию. Идейная же основа этого текста ближе народничеству: сын Павла Антоныча сослан за то, что старался улучшить несправедливую жизнь крестьян, и Павел Антоныч начал это понимать.

Показательно, что в дальнейших изданиях Бунин последовательно снимал наивно-народнические мотивы. Во втором варианте рассказа (1897) остался лишь портрет сына на стене, а новые чувства к нему, которые пробудились в отце, дружба и уважение, исчезли. В третьем варианте (1912) снята фраза о том, что Павел Антоныч «узнал многое про Корнееву семью», а также абзац, начинавшийся вопросом «А он сам?».

Таким образом, «Деревенский эскиз», в 1897 г. получивший название «Танька», никак не может считаться толстовским рассказом. Работа Толстого «на голоде», которой и сам Бунин хотел посвятить некоторое время, явно повлияла на замысел и его реализацию. Но сама идеология толстовства никак в этом тексте не проявилась. Напомним, что и для самого Толстого «работа на голоде» была компромиссом с нравственными постулатами, которых он придерживался (ибо, с точки зрения толстовства как учения, устранять следовало не последствия, а причины голода, восходящие к неправедной жизни общества).

Одна из структурных семантических антитез «Деревенского эскиза» (не основная, но дополняющая основные, эффектно появляющаяся в финале как потенциальное продолжение основной темы[45]) выросла в тему второго рассказа Бунина, посвященного голоду. В «Неожиданности», в отличие от «Деревенского эскиза», действительно можно увидеть «прозрение», характерное для толстовских сюжетов. Но содержание этого прозрения вновь народническое, не толстовское. Студент агрономического института дворянин Дмитрий Волков, готовящийся стать помощником директора опытного поля,

[45] Указание на огромную пропасть, лежащую между жизнью крестьянина и господской жизнью, в «Деревенском эскизе» коннотативно: «Вот теперь его племянницы во Флоренции... Настька и Флоренция!.. Даже слова-то этого она не услышит никогда!» (Там же. С. 13). Факультативны и сами племянницы главного героя: они упомянуты лишь раз — для введения этой дополнительной антитезы.

получает письмо из дома. Муж его сестры пишет о делах в имении, а также о голоде в деревне и, между прочим, перечисляет умерших. Среди имен — Мишка Шмыренок[46], в детстве он и Волков были неразлучны.

Герой хорошо знал про голод из газет. Но только теперь он понял, что это такое:

> Те, пухнувшие от голода, казанские мужики не отделялись для него от газетных строк; эти строки возбуждали внимание, заставляли задумываться; но только теперь он почувствовал всем существом, что это такое. Это не казанские мужики, это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренок, с которым он когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кроватке, звонко перекликался, купаясь в пруде, ловил головастиков[47].

Волков достает из старого ящика Мишкины рисунки, вспоминает яркие картины детства, когда они все время были вместе. А дальше идет разделение господской жизни и жизни крестьянской. Волкова увезли в город, в гимназию — Мишка остался в деревне. Волков стал студентом, Мишка — мужиком, обремененным «горем и семьею»[48]. Финал возвращает к началу рассказа: Волков, который по пути домой убеждал разочарованного земской службой Ивана Антоныча, что все они делают очень нужное и полезное дело, не может понять, для чего существуют сельскохозяйственные организации и аграрные институты: «— Не может быть! — воскликнул опять Волков, подымаясь с пола, — не может быть!.. Опытное поле, Иван Антоныч с его рассуждениями, я с своими коллекциями!.. Не может быть!»[49].

Пожалуй, в этом тексте можно обнаружить отдельные мотивы, восходящие к толстовству. Во-первых, подлинность трудовой жизни на земле противопоставлена пустоте городской жизни, заполненной бессмысленными делами (именно так говорит обо всех ученых занятиях Толстой, например, в статье «Неделание», 1893) — статистическими отчетами и утомительными заседаниями сельскохозяйственного общества, на которых скучают все их

---

[46] Это прозвище вместе с фонетически близким именем появлялось и в «Деревенском эскизе»: «Ночью — старческий тонкий сон, сквозь который часто прислушиваешься: “кого это собаки рвут, непременно Митька Шмыренок хоботье пришел воровать” <…>» (Там же. С. 9).

[47] *Бунин И.А.* Неожиданность // Русское богатство. 1895. № 6. С. 128.

[48] Там же. С. 131.

[49] Там же. С. 132. Переиздавая рассказ в сборниках и Полном собрании сочинений, Бунин усилит концовку, добавив мотив осознания Волковым бессмысленности своих прежних занятий. Ср.: «— Не может быть! — воскликнул опять Волков, быстро подымаясь с пола, — не может этого быть!.. Коллекции, гербарии... “Кормовая свекловица”… Какая галиматья!..» (*Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. СПб: О.Н. Попова, 1897. С. 111; *ПСС* 2, 36).

участники. Во-вторых, осязаемость человеческой смерти (Волков отчетливо представляет себе узкий гроб Мишки, потому что он был по-детски худ, новую белую рубаху, которую надели на его тело, розвальни, везущие гроб в церковь) противопоставлена умозрению, говорильне и писанине, которым предаются те, кто, как и Волков, считает свою службу исключительно важной. Проблемы подлинные, от которых умирают люди, — проблемам выдуманным, ненастоящим. В-третьих, появляется характерный мотив стыда сытого перед голодным (зафиксированный во многих дневниковых записях и статьях Толстого — например, Н.М. Кучеровский цитирует для иллюстрации предисловие к сочинению Т.М. Бондарева «Трудолюбие, или Торжество земледельца»[50]). Воспоминание Волкова о последней встрече с Мишкой наполнено жгучим стыдом.

Но трагическое просветление у Дмитрия Волкова чисто народническое: это долг интеллигентного юноши-студента перед своим сверстником-крестьянином, который так и не получилось вернуть. Принципиально важно, что раздвоение жизни на крестьянскую и дворянскую (интеллигентную) начинается в тот момент, когда Митю увозят в гимназию. Студенческая жизнь еще более отдаляет юношу-дворянина от прежних деревенских интересов. Однако в глубину народнических мотивов введены толстовские коннотации естественной природной жизни:

> Когда Волков приезжал гимназистом на каникулы, он еще был близок с Мишкой. <…> Он тогда был еще человеком, не успел разлюбить деревню, в нем была простота и искренность. Но потом...[51]

Выражение «был еще человеком» звучит несколько по-детски, но, по сути своей, напоминает исповеднический пафос Толстого. Логика движения мысли в «Исповеди» очень похожа: каждая следующая ступень образования отдаляет юношу от Бога. Здесь эта ступенчатая логика использована для иллюстрации удаления от «праведной» народной жизни. И, возвращая читателя к народнической основе прозрения Волкова, добавляется такая деталь: Дмитрий служит по агрономической части — казалось бы, для того, чтобы своими учеными занятиями облегчить тяжелый труд крестьян. Но он не в состоянии никого из них спасти от голода, даже своего давнего друга. Долг народу навеки остается не только не отданным, но еще и обесцененным: агрономическое образование не стоит выделенных на него денег. Толстовская идея о бессмысленности как науки, так и общественной деятельности вдруг прорастает коннотацией сквозь народнический каркас.

---

[50] *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства... С. 119.

[51] *Бунин И.А.* Неожиданность. С. 131.

Таким образом, из двух рассказов о голоде первый значительно меньше, а второй больше демонстрирует следующую тенденцию: Бунин усложняет народническую литературу теми толстовскими коннотациями, которые близки лично ему, и это получается у него весьма органично. Сказывается изначальная близость толстовства народничеству, а кроме того, само мышление юного Бунина, надо думать, было синкретичным. Его художественное мышление представляет единый комплекс идей, происхождение каждой из них вряд ли эксплицировалось.

Два других рассказа посвящены старости как важнейшему этапу человеческой жизни. Тема, безусловно, близка Толстому (он постоянно рассуждает об этом в дневнике, в доступных тогда печатных текстах о старости сказано не так и много, но некоторые мысли и афоризмы Толстого могли быть известны Бунину из устных источников), однако она принципиально важна и для самого Бунина: к этой теме он будет возвращаться всю свою писательскую жизнь. Это один из примеров мировоззренческой близости Бунина и Толстого.

Героя рассказа «Кастрюк», как справедливо отмечает Кучеровский, старость «беспокоит <…> только тем, что она отняла у него возможность трудиться, в чем весь смысл его прошедшей жизни»[52]. Точнее, старость оказывается неприятной из-за сознания своей ненужности в хозяйстве, а следовательно — и в жизни. К этому можно добавить еще один аспект: не имея сил работать, как раньше, он теряет статус хозяина. Теперь в доме всем распоряжается сын, а Кастрюк может только испрашивать у него разрешения что-либо сделать. Например, сев обедать, старик боится, что сноха будет ругать его за то, что он ел. Важна следующая ремарка повествователя: «(Сегодня он никак не мог отделаться от чувства своей беспомощности и несамостоятельности)»[53]. И только поехав с детьми в ночное, Кастрюк чувствует себя «определенно, бодро и молодо» и обретает душевную гармонию — молясь «<…> на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий млечный путь — святую дорогу ко граду Иерусалиму»[54]. Гармония достигается в единении с природой и в ощущении близости к Богу. Толстой мог бы здесь добавить, что пока крестьянин трудился в поте лица, он не имел времени подумать о Боге, стариковское же положение дает возможность обдумать все самое важное. Однако сюжет и финал рассказа трудно назвать чисто толстовскими — в связи с полным отсутствием толстовского дидактизма, которым наполнены как «Крейцерова соната», так и «Хозяин и работник», основные известные Бунину произведения тех лет.

---

52 *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства. С. 129.

53 *Бунин И.А.* Кастрюк // Русское богатство. 1895. № 4. С. 136.

54 Там же. С. 137.

Важный мотив рассказа — старик все время окружен детьми; у него есть и внучка, которую он очень любит. Естественное соединение детства и старости (единственная польза от Кастрюка в хозяйстве — на него можно оставить внучку) формирует мотив большого жизненного цикла: старость возвращает в детство и замыкает цикл. Это своеобразная реализация толстовской идеи растворения личности в «роевой» жизни человечества. На этом фоне «Деревенский эскиз» и история Павла Антоныча, думающего об обреченности одинокой смерти[55], предстает в новом свете: Павел Антоныч символически возвращается к жизненному началу. На природном фоне цикличность жизни обретает всеобъемлющий смысл. Собственно, и деревенский быт понимается как отражение природного круговорота[56].

«На хуторе» — дворянский вариант «Кастрюка» и одновременно иной, по сравнению с Павлом Антонычем, вариант одинокой старости мелкопоместного дворянина. Помещик Капитон Иваныч — первый бунинский старик, который рефлексирует по поводу утекшей жизни. Он не может решить, долга ли жизнь или коротка — как и не может ответить на вопрос, хорошо он прожил или дурно. Одна из мыслей героя звучит толстовским отголоском: видно, жить надо было не так. Но, в отличие от Ивана Ильича, как и прочих героев Толстого, испытавших духовный перелом, он так и не узнает, как надо было жить. Капитон Иваныч даже рисует себе иные потенциальные линии собственной жизни: он мог жениться или жить в шумном Петербурге. Однако (опять звучит толстовский отголосок с осуждением неестественной жизни в городе) он всегда чувствовал в петербургской жизни «<…> что-то нескладное, раздробленное…»[57]. И, в отличие от героев Толстого, он вдруг ощущает удовлетворение, поскольку любит родную природу и понимает, что здесь он прожил «определеннее, ровнее», чем мог бы в Петербурге:

> Он не сумел бы выразить свои мысли, но они были таковы: «Я не жил, как живут тысячи других, не суетился, не валил с ног других, чтобы самому завладеть чем-нибудь, не перевертывала меня, моих мыслей людская безграничная сумятица, не было со мною всего того, от чего мечутся и страдают люди в городе. Все у меня сложилось определенно. Все определенно, как спокойна и определенна эта деревенская природа, сама деревня, ее люди, ее отношения — вся ее жизнь»...[58]

---

[55] «<…> он думал только то, что у него теперь никого не осталось и что на Дальних Хуторах ждет его пустой дом, в котором он умрет в глухую зимнюю ночь...» (*Бунин И.А.* Деревенский эскиз. С. 8).

[56] Эти мысли также близки идеям Г.И. Успенского, творчество которого Бунин высоко ценил.

[57] *Бунин И.А.* На хуторе // Русское богатство. 1895. № 5. С. 125.

[58] Там же. С. 125.

В этом отрывке, с одной стороны, ясно звучит толстовская интонация, которую мы не находили до этого в раннем творчестве Бунина[59]. Но, с другой стороны, вся ситуация рассказа повернута совершенно в иную сторону, чем рефлексия героев Толстого. Капитон Иваныч, в конечном счете, понимает, что жил более-менее правильно. И, в целом, остается удовлетворенным прожитым. Это чувство дает ему ощущение себя частью природы, растворенность в бытии: он почувствовал, говорит повествователь, что вокруг него, как и в его сердце, разлито тепло. И даже упущенная молодость — единственное, о чем сожалеет герой, — присутствует где-то рядом.

Переиздавая рассказ, Бунин искал новые смыслы для концовки. Во втором издании (1897) изменилось заглавие («Фантазер»), а весь внутренний монолог героя был радикально перестроен. Ушел вопрос о том, хорошо или дурно он жил. Капитон Иваныч стал увереннее в своей правоте. После фразы «мечутся и страдают люди в городе» появилось новое завершение мыслей:

> Тихо прожил, — тихо и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого кустика…[60]

Сравнение с листом звучит совершенно по-толстовски, реминисценцией из повести «Казаки», когда дядя Ерошка говорит пораженному простотой и мудростью этих слов юнкеру Оленину: «<…> как умрешь, трава вырастет» (*Т* 6, 56). Эта отсылка к Толстому, вероятно, показалась автору слишком явной, и в третьем издании рассказа (1902) в существенно сокращенном внутреннем монологе после приведенной фразы появился новый пуант: «Фантазер, отживающий свое время тип!..»[61]. Но в следующем переиздании (1912) Бунин вернул заглавие «На хуторе» и сократил весь внутренний монолог до этой единственной толстовской фразы.

В варианте 1912 г. изменилось и заключительное предложение рассказа. Если раньше в финале духовное единение с миром звучало с легким минором: «Одно он ясно сознавал теперь — красоту и глубокое значение этой безмолвной природы, простоты и воли деревни, одно сожалел всей душой — далекую молодость...»[62], — то теперь сожалений не осталось. Пантеистическое растворение в природном мире (как у юнкера Оленина в кавказском лесу) стало абсолютно гармоничным. Теперь рассказ завершался восклицанием: «Как живо

---

[59] Н.М. Кучеровский видел в этом отрывке очевидную связь с трактатом «Так что же нам делать?» (1886) и другими работами 1880-х гг. (*Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства… С. 128).

[60] *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 93.

[61] *Бунин И.А.* [Собрание сочинений]. Рассказы. Т. 1. СПб: Т-во «Знание», 1902. С. 260.

[62] *Бунин И.А.* На хуторе // Русское богатство. 1895. № 5. С. 125.

чувствовал он свое кровное родство с этой безмолвной природой!»[63] На этом работа Бунина над финалом рассказа завершилась. Вплоть до последнего издания рассказа (1915) финал больше не менялся (*ПСС* 2, 28).

Еще один важнейший мотив рассказа — первое в творчестве Бунина (далее таких размышлений будет много) размышление о смерти в особом ракурсе: наложение бесконечной текучести жизни на момент исчезновения человека из мира, при этом исчезнуть должен именно размышляющий субъект.

> — Как же это так? — сказал он почти вслух, — не может быть! — Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля, сидя боком и беспечно покачиваясь на спине лошади... будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не <у>вижу, да не только не увижу — меня совсем не будет! И хоть тысяча, хоть десятки тысяч лет пройдут — я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду, где?[64]

Вполне возможно, что этот вопрос появился у Бунина на основе толстовских размышлений. Толстой отвергал христианскую идею вечной жизни, но не предложил ничего взамен, кроме пантеистического растворения в мире и общей жизни человечества. Христианская традиция, в принципе, отвечает на бунинский вопрос «где?»: «в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание»[65]. Ответ Толстого ограничивается абстракцией: нет никакого «где», сам этот вопрос неразумен. Более того, если христианская традиция говорит о личном воскресении, то Толстой отрицает само понятие личности после смерти. И вот этого мышление раннего Бунина, привыкшее оперировать конкретными деталями (см. нарочитое обилие подробностей из сферы крестьянского труда в размышлении Капитона Иваныча), постигнуть не может. Для него и традиционный христианский ответ кажется слишком абстрактным. Толстовство же, в большинстве случаев дающее очень конкретные и прагматичные ответы на духовные запросы, в данном случае бессильно.

Раздумья такого рода, противопоставляющие бесконечное обновление природы и конечность человеческой жизни, неизменно сохраняются в письмах и дневниках Бунина (а также в ряде произведений) с ранней молодости и до последних лет жизни. Например, похожая мысль звучит в неотправленном письме Толстому 1896 г.:

---

[63] *Бунин И.А.* Перевал и другие рассказы. М.: Московское книгоизд-во, [1912]. С. 39.

[64] *Бунин И.А.* На хуторе // Русское богатство. 1895. № 5. С. 124.

[65] Заупокойная молитва из Последования панихиды (см., напр.: https://www.molitvoslov.com/text231.htm; дата обращения: 14.02.2024).

> Много раз я убеждал себя, что смерти нет, да нет, должно быть, есть, по крайней мере, я не то буду, чем так хочу быть. И не пройдет 100 лет, как на земле ведь не останется ни одного живого существа, которое так же, как и я, хочет жить и *живет* — ни одной собаки, ни одного зверька и ни одного человека — все новое! А во что я верю? И ни в то, что от меня ничего не останется, как от сгоревшей свечи, и ни в то, что я буду блуждать где-то бесконечные века — радоваться или печалиться. А о Боге? Что же я могу сообразить, когда достаточно спросить себя: где я? (*П 1*, 217)

Вопрос Капитона Иваныча «где буду я?» звучит, например, и в стихотворении юного Арсеньева в романе «Жизнь Арсеньева»[66]. А также в дневниках Бунина последних лет жизни. Например, запись от 17 апреля 1940 г.: «Вот, кажется уже несомненно: никогда мне не быть, напр<имер>, на Таити, в Гималаях, никогда не видать японских рощ и храмов, и никогда не увидеть вновь Нила, Фив, Карнака, его руин, пальм, буйвола в грязи, затянутого илом пруда <вновь бытовые детали. — *Е.П.*>... Никогда! Все это будет существовать во веки веков, а для меня это кончено *навсегда*. Непостижимо» (*ЛН*–100, 2, 235). Антитеза «во веки веков — никогда (кончено навсегда)» сохраняется в сознании Бунина более полувека и не может разрешиться.

У героев же молодого Бунина этот мыслительный диссонанс разрешается в пантеистической гармонии. Погруженность в природную жизнь успокаивает их во многом по-толстовски: смерть становится растворением во всеобщем бытии, следовательно — в Боге, и человек ощущает себя не брошенным во вселенной, а согретым всемирной теплотой.

Иногда природная гармония парадоксально усиливается мотивом страшной непогоды снаружи дома, в котором коротают старость старики, тоже чувствующие «кровное родство с безмолвной природой» («Байбаки»; авторская дата: 1895; первая публикация: 1896). В некоторых рассказах природа занимает доминирующее положение, а тема человека уходит в подтекст («Эпитафия», авторская дата: 1900; первая публикация: 1901). «Природа у Бунина никогда не пейзаж, а скорее главное действующее лицо»[67], — афористично сформулировал Ю.В. Мальцев.

Именно простому человеку (мотив родства с безмолвной природой сближается с одним из начальных размышлений «Исповеди») дано чувствовать нерасторжимое единство Бога и природы. Так, в рассказе «Святая ночь» (авторская дата: 1893; первая публикация: 1895; со второго издания заглавие «На чужой стороне») мужики из голодающей губернии едут на юг на заработки.

---

[66] *Бунин И.А.* Жизнь Арсеньева. Юность. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952. С. 216.

[67] *Мальцев Ю.В.* Указ. соч. С. 29.

Второй день они ждут поезда и вынуждены встречать Пасху на вокзальной платформе, под открытым небом.

Особый текст, отражающий иную сторону раздумий о смерти, заданных в рассказе «На хуторе», Бунин опубликовал в «Орловском вестнике» в середине 1895 г. и никогда больше к нему не возвращался. Это рассказ «В лесах», производящий впечатление неоконченного произведения: практически все темы оставлены в нем без развития и итога. Он повествует о священнике, разуверившемся в Боге. Толчком к потере веры стали похороны в глухой деревушке. Но почему, собственно, именно они послужили причиной резкого жизненного поворота, остается непонятным. Толстовским по духу можно назвать здесь само вглядывание в смерть, которое меняет веру священника. Толстовским по духу мог бы быть и уход героя из официальной церкви, однако причины ухода так и не озвучены.

Итак, рассказы, напечатанные в «Русском богатстве», носят отчетливый народнический отпечаток. Называть их толстовскими ошибочно. Однако многочисленные толстовские коннотации, вплетенные в народнические темы, способствовали усложнению тематической структуры и появлению в текстах собственных бунинских тем. Бунин впервые (с опорой на Толстого) заговорил о старости и смерти, постепенном утекании жизни, вписанности человека в природный круговорот. Стоит отметить, что именно Толстой привлек внимание читающей публики к такого рода «бытовой философии», и рассказы Бунина легли на подготовленную почву. Вокруг четырех рассказов из «Русского богатства» существует большое семантическое поле как прозы, так и лирики Бунина, разворачивающих те или иные аспекты затронутых в этих рассказах тем.

4. «На даче». Рассказ о толстовце или толстовский рассказ?

Исключительный интерес с нашей точки зрения представляет рассказ «На даче» (авторская дата: 1895; первая публикация: 1897). Если ранее тема толстовства присутствовала в прозе Бунина эпизодически или в подтексте, то теперь она выходит на первый план. Если ранее толстовец мог появиться в рассказе Бунина лишь в ироническом ключе («Помещик Воргольский»), то теперь тема толстовства обсуждается всерьез. Если ранее толстовские идеи входили в текст в качестве значений, дополняющих некую народническую схему, то теперь толстовские идеи обсуждаются сами по себе.

Из-за толстовской тематики рассказ не был взят ни в один народнический журнал: ни в «Новое слово», ни в «Русскую мысль». А.М. Скабичевский, участвовавший в эти годы в редактировании «Нового слова», писал автору 27 августа 1896 г.: «К сожалению, не можем напечатать Вашего рассказа “Сутки на даче” <первоначальное заглавие. — *Е.П.*>. Больно уж он носит фельетонный

характер. Выставлены несколько несообразных уродов <…>, и над всеми ими возвышается толстовец, причем Вам не удалось выяснить, как Вы относитесь к нему: герой он или тоже урод»[68]. Н.М. Кучеровский не без основания полагал, что Скабичевский лукавил: толстовец в рассказе «<…> не просто возвышается над всеми, он противопоставлен остальным персонажам. Рассказ писался из-за толстовца и с очевидной целью: толстовец должен был нравиться»[69]. Впрочем, Кучеровский считал рассказ откровенно слабым и навеянным Чеховым. С этим утверждением мы не можем согласиться.

Сюжетная структура с двумя героями, один из которых находится в центре повествования как носитель основной идеи рассказа, а другой — своеобразный «наперсник», способствующий идейным излияниям первого, выработалась непосредственно в творчестве Бунина. Так выстроены «Деревенский эскиз» («Танька»), первая часть «Неожиданности» («Вести с родины») (Волков и Иван Антоныч), с особой оговоркой — вторая часть «Неожиданности» (Волков и Мишка Шмыренок), «Байбаки», отчасти «Учитель» (Турбин и Кондрат Семеныч). Чеховские рассказы и повести этого периода («Палата № 6», 1892; «Дом с мезонином», 1896) используют двух равноправных идейных героев, противопоставленных друг другу. Что же касается яркого бытописания, то и оно у Бунина самостоятельное — по крайней мере, совсем не чеховское.

Интродукция рассказа «На даче»[70] знакомит читателя с Гришей Примо, сыном архитектора. Тот факт, что Гриша — сын архитектора, можно было бы тоже отнести к чеховскому следу (Мисаил Полознев в повести «Моя жизнь» — сын губернского архитектора), однако рассказ был написан еще до выхода произведения Чехова в свет («Моя жизнь» опубликована осенью 1896 г.). Гриша занят выбором жизненного пути: он закончил гимназию и уже почти год бездельничает, выбирая высшее учебное заведение. В нем (не так радикально, как в Мисаиле Полозневе) проявляется неприятие доставшегося по наследству богатства: «Он привык жить свободно и покойно, в хорошей обстановке и с барским столом, но делать себе карьеру, думать о том, как прожить всегда так, как он жил с детства, ему не хотелось, было даже неприятно»[71]. Гриша, с одной стороны, скептик, с другой — нарцисс, уделяющий пристальное внимание собственным здоровью и красоте. Определенным образом характеризует его и утренняя попытка ухватить и притянуть к себе в постель горничную Гарпину[72].

---

[68] РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 2. Это письмо уязвленный Бунин 30 или 31 августа слово в слово списал в письме к брату Юлию (*П 1*, 221).

[69] *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства... С. 116–117.

[70] Полный текст рассказа в первой его редакции см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

[71] *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 16.

[72] Начиная со второго издания рассказа, Бунин сделает эпизод менее эротичным: Гриша больше не будет хватать Гарпину, а Гарпина не подойдет к его постели после зова (*Бунин Ив.* Перевал и другие рассказы. С. 148. См. также: *ПСС* 2, 105–106)

Толстовец Каменский появляется чуть позднее, он видит Гришу купающимся в реке и окликает его. Внешностью Каменский напоминает И.Б. Файнермана: «<…> увидал на берегу высокого мужика с русою бородою, с смелым, простым и открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз на выкате»[73]. А вот манера разговаривать, которая ставит в тупик собеседников (Каменский как бы разламывает привычные диалоги, восстанавливая «первоначальные» значения слов), вероятно, заимствована у И.М. Клопского.

Быт богатой дачи, нарисованный во второй и третьей главках рассказа, комментируется мыслями Гриши: «Какая скука! <…> Каждый день начинается одним и тем же воззванием!»[74] — и мыслями его матери: «— Опять, опять долгий день! — шевельнулось где-то в глубине души Натальи Борисовны <…>»[75]. Эти вышедшие из глубины сознания мысли напоминают более ранний рассказ Бунина «День за день. Старая история»[76], в котором традиционно-толстовский мотив (пустота жизни богатой семьи) обретает бунинскую специфику (тихий ужас самого течения жизни). Скукой отдают и утренние встречи Натальи Борисовны (о профессоре Камарницком с женой она сначала подумает: «Как трогательно!», а затем: «Какие скучные!»).

Объяснение, почему семья Примо живет скучной жизнью, дает небольшая предыстория: экзальтированная курсистка Наталья Борисовна в молодости собиралась «идти в народ», но отправилась в Женеву (вероятно, за высшим образованием, которого женщины в России получить не могли); Петр Алексеевич, когда встретил ее, «был на виду во многих партиях»[77] (эвфемизм народничества) и поехал за ней в Женеву, где решил всерьез заняться политической экономией (возможно, легкий намек на народническую эмиграцию или ранний марксизм). Но богатство и барский быт (напомним, что о докторе Волкенштейне Бунин воспоминает прежде всего как о большом барине) постепенно уводили их от мысли «работы для общества». Сначала они просто наслаждались благами, которые давали большие деньги, а затем уже не представляли себе иной жизни: «Убеждения супругов не изменились, но жили они уже давно не по убеждениям»[78]. Отметим и выражение «день за день»[79], как бы заимствованное из более раннего рассказа. Во втором издании рассказа в 1912 г. Бунин снял всю эту тенденциозную предысторию. Символическим ее остатком стала «<…> развернутая на “Внутреннем обозрении” книжка

[73] Там же. С. 17. Ср. с описанием Файнермана из «Освобождения Толстого»: «<…> громадный еврей, похожий на матерого русского мужика» (*ОТ*, 78).

[74] *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 21.

[75] Там же. С. 23.

[76] См. о нем раздел 1 настоящей главы.

[77] *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 25.

[78] Там же. С. 26.

[79] Там же.

“Вестника Европы” <…>»[80], лежащая на ночном столике Натальи Борисовны. Мать Гриши читает журнал либерального направления, но делает это медленно и лениво, от скуки.

Гриша берет у Каменского, живущего за деревней на мельнице, уроки столярной работы (безусловно, это отзвук полтавской столярной мастерской и бондарного «послушания» Бунина). Мотивация богатого юноши такова: «Ему давно хотелось узнать какое-нибудь ремесло и потому, что это полезно для здоровья, и потому, что когда-нибудь будет приятно показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу»[81]. Эта мотивировка объясняет странное сближение сына архитектора с чудаком-толстовцем. Впрочем, Каменский — очень хорошего происхождения: он сын богатых родителей (как Волкенштейн), учился в военной академии (эта черта напоминает Б.Н. Леонтьева — его учебу в Пажеском корпусе)[82]. Показательно и то, что Гриша гордится знакомством с «живым толстовцем», а Наталья Борисовна настойчиво просит сына пригласить его к ним на вечер. Следовательно, Примо видят в Каменском человека своего круга[83], а Толстой и толстовство (о них время от времени говорят и отец Гриши и его старший брат Игнатий, выпускник петербургского Горного института[84]) — чрезвычайно популярные темы разговоров интеллигенции.

Интересна композиция 4 главки, в которой рассказано об уроках Гриши. Главка начинается тем, что юноша идет от Каменского в странном настроении. Далее происходит первый временной скачок: отдельный абзац-предыстория рассказывает, как Каменский приходил брать заказ, Гриша сказал о своем желании научиться столярничать, а Каменский его пригласил. Следом — обширное отступление о суждениях отца, который легко развенчивает в глазах Гриши разных «знаменитостей», в том числе толстовцев; оно завершается шуткой из Козьмы Пруткова, которая Грише запомнилась. Затем — подробное описание мельницы. Потом — воспоминание Гриши о первом визите к Каменскому несколько дней назад. После него напоминание о том, что сегодня Гриша возвращался от Каменского очень взволнованный — и, наконец, еще одно (центральное для эпизода) подробное воспоминание о сегодняшней встрече на мельнице, объясняющее эту взволнованность. Отметим, что это один из первых (если не самый первый) опытов Бунина соединить несколь-

---

[80] Там же. С. 22.

[81] Там же. С. 28.

[82] Его поездка в Америку напоминает о И.М. Клопском, который отправился в США в 1896 г.

[83] Отметим, что имя и отчество Каменского — Алексей Александрович, как у толстовского Каренина, человека высшего света.

[84] В последующих вариантах рассказа профессия Игнатия будет изменена: он станет выпускником Петербургского университета, юристом.

ко разновременных воспоминаний в одно[85]. Совершенства в таких композиционных формах он достигнет позднее, но попытка выстроить воспоминания ступенчато, как видим, присутствует уже в раннем творчестве. Ступенчатость воспоминаний — безусловно, мировоззренческая черта Бунина, определяющая его художественное мышление. В этой точке он приближается к стилю мышления Толстого. Ср. в XIX главе «Отрочества»:

> Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? — Я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил... (*Т* 2, 58)[86].

В этой же главке рассказа выстроен целый ряд цитат, ключевых для бунинского восприятия толстовства. По сути, это конспект тех религиозно-культурных тенденций, которые определяют бунинское отношение к этому течению.

С одной стороны, звучит «келья под елью» — общеизвестный для той эпохи перифраз пословицы «Найдешь келью и под елью» (она приведена, например, В.И. Далем в «Пословицах русского народа»), принадлежащий Н.К. Михайловскому. В статье «Еще о гр. Л.Н. Толстом» (1880) Михайловский писал:

> Он просто презирает жизнь со всеми ее сложными формами. Он выстроил себе «келью под елью», куда разрешается ходить всем на поклонение и откуда сам он презрительно выглядывает на весь Божий мир: рабы и свободные, батраки и самостоятельные хозяева, — какие это все пустяки! Все — все равно, все — трын-трава, лишь бы старца в келье под елью слушали, да злу не противились... Уж он, старец-то, лучше знает, чем сам раб или батрак, чем сын убитой, брат замученного. Куда ж им в самом деле знать? Они только в батраках живут («только и заботы, что

[85] Интересно, что во втором варианте рассказа (1912) Бунин переделает это место более привычно — вероятно, не будучи уверенным в том, что прием ему удался. В начале главы Гриша идет не от Каменского, а к Каменскому. Таким образом снято самое первое воспоминание — рамка для всех последующих. Абзац, объясняющий начало занятий столярным делом, освобожден от воспоминаний о том, как Каменский приходил взять заказ. Воспоминание о первом уроке (перед основной сценой с рассматриванием «кельи» и прочитыванием цитат) сохранится, но без предыдущих воспоминаний оно прочитывается намного традиционнее.

[86] Этот пассаж Бунин цитирует в сокращении в XIV главе «Освобождения Толстого» (*ОТ*, 181).

> хозяину служить»); у них только мать убили, брата замучили, а он... он в келье под елью сидит!..[87]

Эту фразу Михайловского — наверное, самый популярный у современников иронический отзыв об учении Толстого — Бунин вкладывал в уста всем противникам толстовства и в более поздних своих произведениях, посвященных эпохе 1890-х гг. («Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого»). В этом же рассказе к расхожей фразе Михайловского добавлены резкие суждения Игнатия, старшего брата Гриши. Бесцеремонностью и самоуверенностью они напоминают речи Сергея Сергеича из «Помещика Воргольского».

Противостоят этим речам цитаты из священных и литературных текстов, которые Гриша прочитывает в жилище Каменского. Как уже говорилось[88], толстовское учение в бытовом использовании представляло обширный набор афоризмов, из которого каждый участник движения выбирал те, какие были ближе ему. Идейные предпочтения Каменского демонстрируются здесь именно как набор афоризмов, в котором священные тексты, философские тексты и художественная литература перемешаны и воспринимаются как равноценные источники.

В первой подборке друг за другом звучат библейские цитаты из Книги Ездры (9: 6), Послания ап. Павла к Ефесянам (6: 14–15, 17), а между ними приводятся две строки из К.М. Фофанова — поэта, которого молодой Бунин часто цитирует в письмах (иногда весьма и весьма развернуто)[89]. Затем следует сильное визуальное впечатление: Гриша видит фототипическое воспроизведение картины толстовца Н.Н. Ге «Распятие» — эта картина создавалась под непосредственным влиянием идей Толстого. Толстой был и первым зрителем картины. Первый ее вариант (1892) писатель не одобрил, второй (1894) похвалил. Этот второй вариант Ге пытался выставить на передвижной выставке в Петербурге, но в первый же день из-за личного запрета императора Александра III картину сняли с показа, художнику пришлось демонстрировать ее желающим на частной квартире. С этой картины «Посредник», уделявший большое внимание фототипическому копированию художественных произведений, и печатал открытки.

Вторая подборка называет книги из круга чтения толстовца: учебник эсперанто (Толстой симпатизировал модному увлечению универсальным языком, по этой причине эсперанто было популярно и среди толстовцев), сборники из-

---

[87] *Михайловский Н.К.* Еще о гр. Л.Н. Толстом // Северный вестник. 1880. № 6 (июнь). Отд. II. С. 216.

[88] Подробнее см. главу 1 настоящей монографии.

[89] Полагаем, что К.М. Фофанов имел на молодого Бунина значительное влияние, которое еще недостаточно изучено. Впрочем, этот вопрос требует специальной статьи и не относится к теме монографии.

речений Эпиктета и Марка Аврелия, а также Евангелие «<…> с параллельными текстами на английском, греческом и еврейском языках <…>»[90]. Эпиктет и его последователь Марк Аврелий часто цитируются Толстым, эти древние философы занимают важное место и в чтении Бунина на протяжении всей жизни (см. обширные выписки в его поздних записных книжках, напр.: *ЛН–110*, 2, 479, 483–484). Начиная со второго издания рассказа к этим двум именам добавится третье — Б. Паскаль (как автор «Мыслей»). Евангелие, позволяющее сравнить древнееврейский, греческий и современный текст (английский используется потому, что в России таких параллельных изданий не было) напоминает о том, что Толстой лично сравнил тексты на древних языках с современным ему каноническим церковнославянским текстом, обнаружил катастрофические, как ему казалось, для изначального смысла ошибки в переводах и создал собственный перевод Евангелия. Каменский как бы следует за Толстым, желая самостоятельно проверить, что именно говорится в Евангелии. Начиная со второго издания рассказа этот момент будет снят (точнее, Евангелие заменено на Паскаля, уравновешивающего древних философов); по-видимому, автор посчитал, что сравнение переводов слишком усложняет фигуру Каменского. Далее идут тематические подборки цитат («О Слове», «О Любви», «О плотской жизни») — точные толстовские формулировки важнейших частей учения. После них — первое и четвертое четверостишия (куплеты), а также припев англиканского гимна «Take My Life, and Let It Be», написанного в конце XIX в. Фрэнсис Ридли Хавергал. Цитируется русский перевод этого гимна, напечатанный, вероятно, в каком-нибудь сборнике духовных песен. Так вслед за указанием на новый перевод Евангелия, предпринятый Толстым, идет религиозный текст неправославной традиции, напоминая о том, что толстовство иногда рассматривали как русский вариант реформации[91]. Завершает подборку восклицание «из псалмов Давида»[92]. Хотя, судя по лексико-грамматическим нюансам, цитируется не Псалтирь, а параллельное место из Деяний св. апостолов (2: 28), ссылка на Псалтирь принципиальна: толстовцы не признавали важную роль апостолов.

Наконец, четвертой и последней подборкой оказывается подробное цитирование (по Евангелию от Иоанна) эпизода Тайной вечери. Молитвенное восклицание царя Давида, запомнившееся Грише, вновь приходит на ум и вставляется между евангельскими стихами. «Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!» — думает Гриша уже сам, впервые всерьез приобщаясь христианской культуре и вере. Между подборками цитат повествователь рассказывает о

[90] *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 36.

[91] Мысль такого рода лежит на поверхности и встречается у ряда авторов, пишущих об идеях Толстого. Н.М. Минский несколько позднее прямо сравнит Толстого с Лютером (*Минский Н.М.* Толстой и реформация. Идеи «Саломеи». М.: Заря, 1910).

[92] *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 37.

сложных чувствах Гриши. Сначала герой ощущает, как что-то возвышенное коснулось его души, потом чужой и далекой начинает казаться вся его прежняя жизнь, наконец, юноша задается вопросами, что заставило Каменского «<…> надеть мужицкие вериги <…>»[93]. Лексема «вериги», по-видимому, не случайна: чудак-толстовец получает коннотативное значение, связанное с монашеским аскетизмом и/или юродством. Гриша удивляется суровому аскетизму обстановки и наделяет Каменского мало объясняющим, но, вкупе с веригами, формирующим новый смысл определением: «Странный человек».

Всмотревшись в репродукцию с картины Ге, Гриша вдруг чувствует, что смотреть больше не может — слишком сильные чувства обуревают его. После чтения следующей подборки Гриша возвращается к картине, и острая жалость к Христу переходит у него на Каменского. А вдумавшись в слова Христовой проповеди, Гриша в глубине души соглашается с тем, что «<…> беззакония наши стали выше головы!»[94] и начинает воспринимать Каменского как борца с беззакониями, искупителем людских грехов.

Отметим, Каменский во время первого визита — во исполнение толстовской заповеди не проповедовать, так как любая проповедь насильственна, ибо не позволяет человеку самому прийти к истине — ничего не говорит Грише о Боге и морали, лишь показывает ему, как распиливать доски. Обращение Гриши происходит во второй раз, как бы самостоятельно. Функцию проповеди выполняют разглядывание жилища Каменского и чтение выбранных им цитат. И толстовцы и сам Толстой, вероятно, согласились бы, что Каменский идеально воздействовал на Гришу.

Все приведенные цитаты, а также упомянутые иные культурные артефакты толстовства («Распятие» Ге, учебник эсперанто, почти нищенская обстановка — только то, что необходимо) представляют учение и быт толстовства чрезвычайно полно. Полагаем, что Бунин отобрал в толстовстве то, что импонировало лично ему и создал своеобразную «энциклопедию» учения и быта. При этом повествователь ведет себя с читателем столь же тактично, как Каменский с Гришей — он характеризует толстовство длинным рядом деталей, не переходя к декларациям и проповедничеству.

Отметим, что в жилище Каменского две комнаты, каждая из которых по-своему представляет нам героя: в первой комнате — детали, указывающие на его прошлую жизнь (женский портрет, туалетные принадлежности, картина Н.Н. Ге, которая, возможно, стала для него импульсом к резкой перемене жизни, Евангелие как связующее звено двух сторон жизни Каменского); во второй — новая жизнь толстовца: книги, тетради, выписки цитат[95].

---

93 Там же. С. 35.

94 Там же. С. 37–38.

95 Автор благодарит за это ценное наблюдение С.Н. Морозова.

Дальнейший разговор с Каменским акцентирует еще несколько важных толстовских идей: бессмысленность извинения как фигуры речи; непризнание собственности («— Я говорю, взял вашу книгу… ну без спросу, что ли… / — Вашу? Что это значит?), уподобление большого города библейскому Вавилону, взгляд на любую службу как на бессмысленный перевод бумаги. При этом педантизм толстовца искупается его детской искренностью: «<…> такое у него было доброе и ясное лицо»[96]. Если в «Освобождении Толстого» Бунин будет остроумно иронизировать над манерами Волкенштейна и Клопского выражать свои мысли, то здесь повествователь явно симпатизирует стилю Каменского: в речи персонажа отчетливо видны стремление освободить язык (как и жизнь) от наносного, движение к простоте и ясности высказываний.

Разговор сводится к выбору жизненного пути, который предстоит Грише. Здесь Каменский начинает проповедовать, но делает это на своем примере (проповедь переходит в исповедь и звучит не так тенденциозно) — объясняет, почему он отказался от богатства. И вырисовывается картина жизни, хорошо знакомая Грише, возвращающая к началу рассказа — к молодому архитектору и его жене, которые со временем перестали вдохновляться высокими идеями. Каменский оказывается живой антитезой Гришиным родителям.

На обратном пути Гриша останавливается в жарком летнем поле, еще раз повторяет запомнившуюся строку псалма, ложится на межу. И мысли его звучат в унисон тем мыслям Бунина, которыми писатель в «Освобождении Толстого» будет предварять рассказ о толстовском эпизоде своей жизни:

> — Как жить? — думал Гриша. — Как жить, чтоб всегда было хорошо, легко, свободно, просто? И чтоб и другим было так же? Как жить?
>
> <…> Отчего кругом так гармонично все и прекрасно, а у нас все запутано, неравномерно, шатко… Вон жаворонки… ни дум у них нет, ни дач, ни философий… Как жить?[97]

Это размышление чем-то похоже на размышление Капитона Иваныча в финале рассказа «На хуторе». Герой так же расположился в поле на меже и так же растворен в окружающей природе, чувствует с нею кровную связь. Вопрос «Как мне жить?», с которого начиналась философия Толстого, повторен несколько раз. Евангельская реминисценция о «птицах небесных» (Мф. 6: 26) как бы сама собой поднимается из глубин сознания. Так завершается первая половина рассказа. Размышления Гриши и Капитона Иваныча близки и в композиционном плане: они, как тоника в финале (всего или части) музыкального произведения, маркируют итог, окончание движения мысли.

[96] Там же. С. 39.

[97] Там же. С. 45–46.

Вторая половина начинается сценой с Марьей Ивановной (любовная линия рассказа остается лишь намеченной), в которой Гриша начинает подражать Каменскому и в речи, и в толстовских рецептах праведной жизни: вместо хождения на службу он советует девушке пахать сохой. Сцена заканчивается самоосуждением — вполне в духе молодого Толстого, анализировавшего поступки вчерашнего дня и осуждавшего себя за неправильное поведение: «— Как мы, однако, все комедничаем! — вдруг пробормотал он, всходя на балкон»[98].

Размышления Натальи Борисовны интересны констатацией, что муж стал для нее чужим человеком (толстовская проблематика рассказа «День за день. Старая история» продолжает развиваться в сюжетной линии Гришиной матери). Сцены на крокетной площадке и появление адвоката Викентьева[99], привносят в тематическую структуру важную антитезу: и Викентьев, любящий полежать на травке и цитирующий известный афоризм Козьмы Пруткова «Камергер редко наслаждается природой», и профессорская чета, «пользующаяся дачей» и намеревающаяся «пользоваться рекой», не имеют того органического чувства природы, которое обнаружилось в Грише. Неумение раствориться в природе говорит и об отсутствии чувства божественного, и о профанации любых высоких устремлений. Викентьев свысока рассуждает о Каменском и толстовстве, эти темы подхватывают и остальные: «Заговорили о том, что влияние нравственного учения Толстого проходит, что Толстой велик как романист и слаб как философ, что он умеет только отрицать и ничего не дает положительного…»[100]. Гриша про себя нарекает Викентьева болваном, но задумывается над сказанным.

Основная сцена второй части, композиционно соответствующая обращению Гриши в части первой, — это «вечер с толстовцем»[101]. Гриша наблюдает все происходящее в гостиной из своей комнаты[102]. Слово «толстовец» сразу становится шаблоном для восприятия Каменского дачной публикой. Однако толстовец ведет себя вполне по-светски, пьет чай, разговаривая со статистиком

---

98 Там же. С. 48.

99 Начиная со второго издания рассказа (1912), в котором Игнатий превратится в юриста, успешный адвокат Викентьев, благообразный болтливый пошляк, станет олицетворенным будущим старшего брата Гриши.

100 *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 57.

101 Ср. с мнением В.А. Гольцева, объяснявшего Бунину, почему рассказ не берут в «Русскую мысль» (письмо Ю.А. Бунину от 26–27 октября 1896 г.): «Был в “Русской мысли”, Гольцов был чрезвычайно мил, но пер галиматью, говорил, что “Сутки на даче” написаны очень живо, но эскизно, и самое построение рассказа искусственно — все подогнано к тому, чтобы был вечер с толстовцем, и в конце концов оставил рассказ еще на две недели — пусть, говорит, прочтет Лавров и окончательно решит, будут ли “Сутки на даче” напечатаны в “Русск<ой> мысли”» (*П 1*, 223).

102 Начиная со второго издания рассказа Гриша остается в гостиной, но это не играет функциональной роли. Он все равно оказывается в роли арбитра, пытающегося оценить аргументы спорящих сторон.

о сибирской железной дороге и с агрономом о рамочных ульях. Его наводят на беседу о Толстом, он коротко отвечает (как бы не желая поминать Учителя всуе).

Запоздавший архитектор Примо, приехавший из города навеселе и отказываясь от коньяка, произносит пародию на Толстого: «<…> и вот мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что нужно делать»[103]. Эта пародия не просто талантлива, она свидетельствует о знакомстве Петра Александровича с сочинениями Толстого. Основой пародии стал зачин трактата «В чем моя вера?»[104]: «Пять лет тому назад я поверил в учение Христа — и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо» (*Т* 23, 304). Фраза «Когда я понял» повторяется в этом трактате 9 раз и превращается в формулу. Слова «не нужно (делать)» и «нужно (делать)» весьма частотны в трактатах и статьях позднего периода, так как Толстой часто использует прагматические аргументы для доказательства своих тезисов. Яркая пародия Петра Александровича свидетельствует о том, что ему уже приходилось задумываться над трактатами Толстого.

Вслед за этим Игнатий пытается начать спорить во имя спора, переходя от случайно возникшей темы велосипедистов к теме труда, но Каменский обрывает его проповедническим тоном. Проповедь и переход на личности («<…> вы, очевидно, не подумали, что сказали»[105]) Каменский объясняет так: «И отчего нам не говорить друг о друге? Мы не должны учить других, когда еще не очистились сами, но мы должны быть братьями и помогать друг другу»[106]. Похожую сентенцию Каменский произнесет и в начале ужина: «Ведь вся беда людей с древнейших времен и до этого вечера состоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми»[107].

Впрочем, высказаться Каменскому до ужина толком так и не дадут. Все, что он успевает сказать, — это сравнить общество с повозкой, у которой сломана ось, а остановиться и починить ось никто не хочет. Во время ужина он все-таки произносит речь, которая сводится к тому, что жизнь стала слишком сложна, полна ненужными вещами и смыслами, и все, что следует делать, — заговорить языком сердца, «<…> голосом любви, всепрощения и благоволе-

103 *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 64.

104 О принципиальной важности для Бунина этого сочинения Толстого см. главу 1 настоящей монографии.

105 *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 65.

106 Там же. С. 67.

107 Там же. С. 75.

ния ко всему живущему»[108]. Это очень упрощенный и, можно сказать, именно бунинский вариант толстовского вероучения. Растворение в природе, которое испытал Гриша, примерно того же рода.

Основное возражение на речь Каменского таково: «полюбить по заказу нельзя». Это очень поверхностный аргумент, более похожий на уход от спора, чем на сам спор. Тем удивительнее реакция Гриши: «Гриша совершенно терялся — с обеих сторон правда!..»[109]. Эта фраза была нужна Бунину: она с некоторыми стилистическими изменениями сохраняется от первого до последнего варианта текста; автор ее принципиально не вычеркивает, несмотря на то, что она совсем не вытекает из хода разговора. Ибо вся «правда» слушателей Каменского (кратко высказываемая хором после его весьма содержательной речи) сводится к одному банальному возражению — даже не слишком логичному: Каменский говорил о любви ко всему живому, о воспитании в себе таланта любви к ближнему своему, они же говорят о любви конкретной, личной, чувственной. То есть переводят метафизический разговор в область быта.

Вероятно, Гришины сомнения (возникшие еще во время вечерней прогулки) и отведенная ему роль арбитра, взвешивающего аргументы обеих сторон, присутствовала в замысле рассказа изначально и отказаться от нее было нельзя. Несмотря на то, что Каменский однозначно побеждает в споре, Гриша должен был остаться сомневающимся наперсником. Тот факт, что Бунин в этом тексте подробно изложил пункты толстовской проповеди и совсем не привел контраргументов, говорит сам за себя. Рассказ написан под влиянием учения Толстого, а также обаяния тех полтавских толстовцев, в тесном общении с которыми Бунин провел около года. Характерно, что Гриша чувствует несостоятельность оппонентов Каменского: «— Вот галиматья, — воскликнул Гриша, подымаясь. — Полный сумбур!.. Нет, отчего они так упорно не хотят говорить как следует? Чего раздражаются?.. Ни вдуматься, ни вслушаться, ничего не хотят…»[110]. Вот этот пассаж был снят автором уже во втором издании.

Интересна реакция Петра Алексеевича на проповедь Каменского. Начав с пародирования Толстого и деланого веселья, он все более мрачнеет и, едва ли не единственный из всех присутствующих, ощущает по отношению к толстовцу злобу. Причина раскрывается в финале рассказа. Слова Каменского напомнили архитектору Примо юношеские идеалы, и он остро ощутил собственную пошлость и ничтожность. Следующим утром пьяный отец является к Грише и сообщает: Каменский, только что встретившийся ему, назвал его новой интеллигенцией, так называемой «честной», но со всеми признаками обыкновенного буржуя, то есть, в его понимании, свиньей. Он уязвлен, но понимает, что

108 Там же. С. 77.

109 Там же.

110 Там же. С. 80.

толстовец прав. Трудно сказать, случайно или нет имя и отчество архитектора совпадают с именем и отчеством Петра Великого, породившего феномен русской интеллигенции. Возможно, эта коннотация присутствует в тексте.

Свой разговор с молчащим сыном Примо завершает призывом, достойным Константина Левина или самого Толстого времен «Записок сумасшедшего» и «Исповеди»:

> — Молчишь? — опять заговорил Петр Алексеевич. — Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай… подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь!.. Может быть, ты будешь декадентом, символистом, спиритом?.. Что ж? — Это еще ничего… Но непременно застрелись, если не станешь ничем иным, как навозным жуком — скептиком!.. Их, брат, появляется страшное количество, когда что-нибудь разлагается![111]

Это перифраз знаменитого толстовского высказывания о том, что по-настоящему честный перед собой человек не может жить, не зная ответа на вопрос о смысле жизни. О самоубийстве по этой причине думают и Левин, и сам Толстой. Архитектор Примо, еще не растерявший остатки совести, видимо, думает так же. Этот момент усиливается в тексте от варианта к варианту. Во втором издании 1912 г. перед «навозным жуком-скептиком» появилось более прямолинейное: «иронизирующей свиньей»[112]. А в варианте 1915 г. осталось только «иронизирующей свиньей» (*ПСС* 2, 138) — для усиления самоуничижения.

Финал рассказа указывает на процесс, идущий в сознании Гриши: «Гриша лежал на кровати и загадочно улыбался…»[113]. Со второго издания этот момент усилен: «<…> и зло, загадочно улыбался»[114]. Финал, таким образом, остается открытым: Гриша может и застрелиться, и стать толстовцем, и пережить временное разочарование, но потом вернуться к обычной жизни богатого молодого человека.

Итак, рассказ «На даче» впитал те положительные впечатления, которые вынес Бунин из своего толстовского «послушания». Противопоставление умного и дельного Каменского пустой и пошлой дачной публике, вероятно, имеет корни в личном опыте автора — можно предположить, что в тех полтавских квартирах, которые Ю.А. Бунин называл в воспоминаниях своеобразными клубами, могли происходить похожие споры. В ощущениях Гриши, приобщающемся высоких мыслей, наверное, присутствует и опыт Бунина.

---

111 Там же. С. 82–83.

112 *Бунин И.А.* Перевал и другие рассказы. С. 195.

113 *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. С. 83.

114 *Бунин И.А.* Перевал и другие рассказы. С. 195. См. также: *ПСС* 2, 138.

При всем этом отметим, что рассказ далек от апологетики. Каменский имеет много положительных качеств, но вряд ли может быть сочтен пророком или даже учителем жизни. Позиция Гриши хоть и склоняется в сторону Каменского, но до конца остается «между». Дачную публику вряд ли можно назвать «уродами», как это сделал Скабичевский, но она проигрывает в сравнении с Каменским, потому что не имеет никаких жизненных целей. Семья Примо проигрывает еще существеннее, потому что у нее когда-то были жизненные цели, но теперь они полностью утеряны.

Толстовец оказывается двигателем жизни, глотком живой воды, подлинным отцом Гриши — духовным, заменяющим кровного отца. Фигурой (нельзя забывать, что рассказ писался для народнического журнала), приносящей безусловную пользу обществу. И особым бунинским оттенком звучит в рассказе природная тема: интеллигенция живет на даче, толстовец — на природе. Животворящую силу природной стихии особо чувствует Гриша, наиболее открытый подлинным человеческим интересам герой.

Кроме того, этот рассказ стал для Бунина (наряду с рассказами «Тарантелла», и «Без роду-племени») одним из переходных текстов от ученической прозы к прозе зрелой. Во всех этих переходных произведениях появляется не двоетрое, а много тщательно выписанных действующих лиц, активно взаимодействующих друг с другом; все они имеют не одну, а несколько побочных сюжетных линий (часть — сознательно оставленных неразвитыми); в отличие от первых прозаических произведений, в этих рассказах начинает ощущаться объемность изображения. Бунин пытается достичь этой объемности разными путями. Создавая портрет обобщенного толстовца (составленный, как мы видели, из биографических черт нескольких полтавских знакомых), он стремится к энциклопедичности: собирает воедино те художественные смыслы, которые, с его точки зрения, характеризуют это движение.

Таким образом, рассказ о толстовце не может считаться проходным, как принято было думать раньше. Это один из центральных рассказов первого периода творчества Бунина.

5. Жизнь и литература. Письмо 1896 года

21 марта 1896 г. Бунин пишет самое важное письмо Толстому, которое (возможно, по причине исключительно личного характера его содержания) так и не было отправлено[115]:

[115] Впервые опубликовано В.Г. Лидиным: *Бунин И.А.* Неотправленное письмо Бунина Толстому // *Лидин В.Г.* Друзья мои — книги. Заметки книголюба. М.: Искусство, 1962. С. 113–114.

> Завтра я уезжаю в Орловскую губернию, в деревню, и вот сейчас собирал свои пожитки в походную корзиночку и, как всегда перед отъездом, при перемене места, при собирании своих бумажек, книг и разных писем, которые вожу с собой, и невольно перечитываю в такие минуты, то чувство, которое глухо мучит меня очень, очень часто, обострилось, и мне захотелось написать Вам, потому что мне решительно больше некому сказать этого, а тяжело мне невыносимо! Вы же когда-то приняли участие во мне. Это было уже давно, и с тех пор я многое пережил, но, кажется, не пришел ни к каким выводам. Да и жизнь моя сложилась так, что ни к чему не придешь (*П 1*, 216–217).

Начало этого письма практически совпадает с эпизодом сбора чемодана из рассказа «Без роду-племени» (авторская дата: 1897; первая публикация: 1899), таким же исповедально-ностальгическим:

> Я открыл корзину, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами — и опустил руки.
>
> Тут все мои воспоминания. Этот чемодан — мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», т. е. ехал на юг, в университетский город.
>
> <…>
>
> Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скарб, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана… И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате, — дни, полные моих неопределенных надежд и мечтаний, и кажется, что было в них что-то молодое и хорошее. Вспоминаются и далекие дни, те, что рисуются мне словно в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике… Вот письма первой любви, первых товарищей... И при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце…[116]

Бунин написал это письмо Толстому, уезжая в марте 1896 г. из Полтавы, в которой он прожил в тот раз более двух месяцев, начиная с середины января (*Летопись 1*, 214–218). В принципе, это самая обычная его поездка; он редко жил долго на одном месте. Уезжал он в Огневку, в имение брата Евгения,

[116] *Бунин И.А.* Без роду-племени // Мир Божий. 1899. № 4. С. 29–30.

которое на некоторое время заменило ему родной дом: там жила его семья. Вероятно, ностальгические настроения письма Толстому связаны не столько с самим отъездом, сколько с воспоминаниями о Пащенко, их совместной жизни в этом городе. Интересно, что только что вошедший в круг известных столичных литераторов и делающий в нем заметные успехи 25-летний молодой человек полагает, что жизнь его не сложилась и никакие «выводы» из нее сделать нельзя. Либо это написано под влиянием минуты, либо речь идет именно о толстовских «выводах», так как начинающаяся литературная известность уводит его прочь от толстовства, а писательская профессия толстовцами не признается полезной. Не исключено, что само пребывание в Полтаве и общение с остающимися там толстовцами навеяли Бунину какие-то прежние толстовские мысли. Одним словом, молодой писатель обращается к Толстому как к духовному отцу за поддержкой и обсуждает общие вопросы жизни, как принято было среди толстовцев между учителем и учеником. Продолжаем читать это длинное неотправленное письмо:

> Начать с того, что я теперь вполне бродяга: с тех пор, как уехала жена, я ведь не прожил ни на одном месте больше 2 месяцев. И когда этому будет конец, и где я задержусь и зачем, — не знаю. Главное — зачем? (*П 1*, 217)

Странно слышать от Бунина жалобы на отсутствие в его жизни постоянного места: он ведь и живя еще с Пащенко в Полтаве, довольно много странствовал. На одном месте ему было трудно усидеть. Упоминание «жены», про которую он когда-то рассказывал Толстому, подтверждает нашу догадку — само пребывание в Полтаве всколыхнуло прежние мысли и отчасти вернуло настроение, какое было у Бунина после побега Пащенко. Впрочем, есть и иное объяснение: можно воспринять этот пассаж как литературную рисовку, наподобие той, которую молодой писатель применил в «Без роду-племени». Там герой рассуждает о потере родины и семьи, тоже объявляя себя бродягой, и этот отрывок рассказа звучит почти реминисценцией из письма, но еще более усиленной[117].

[117] Ср. текст письма с текстом рассказа «Без роду-племени»: «Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. <…> Ведь у меня нет даже и этой связи с родиной — своего угла, своего пристанища... И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба; а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти... Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость» (*Бунин И.А.* Без роду-племени // Мир Божий. 1899. № 4. С. 29–30). Здесь «беспочвенность» и «бродяжничество» усилены еще больше, чем в письме, но родственность двух текстов бросается в глаза.

Вопрос «зачем?», вполне толстовский вопрос, влечет целую серию ассоциаций: чтение и образование — это собирание знаний, которые все равно оказываются «отрывочными». «А ведь до боли хочется что-то узнать с самого начала, с самой сути!» (*П 1*, 217). Подход вполне толстовский, использованы соответствующие слова (свидетельство того, что Бунин в эти годы хорошо владел языком толстовцев и в определенных контекстах умело использовал нужную лексику и фразеологию[118]) но мы знаем, что у Толстого «самая суть» понималась, скорее, как прагматически «нужное», необходимое для жизни. Бунина же интересует загадка бытия, без всякого этического или прагматического применения. Отношения с людьми столь же отрывочны, продолжает Бунин, сойтись ни с кем по-настоящему невозможно. И совместная жизнь с Пащенко, читается между строк, была скорее иллюзией, чем счастливой реальностью.

Здесь логика письма (вполне органичная для бунинского мироощущения, в эти годы приближающегося к символистскому варианту субъективного идеализма: все наши встречи — отражение нашего же сознания) далеко уходит от толстовского учения, в котором единственной правдой социального мира объявлено общение единомышленников, число которых должно все более увеличиваться, ибо все мыслящие добрые люди приходят примерно к одним и тем же выводам. Здесь текст письма сближается с сюжетом рассказа «Без роду-племени», в подтексте которого тоже звучит субъективно-идеалистическое отношение к миру: обеих девушек, и любимую и нелюбимую, герой-повествователь придумал себе; его представления о них не имеют ничего общего с реальными людьми. А также и вся жизнь в провинциальном малороссийском городе (очень напоминающим Полтаву) становится мелькнувшим эпизодом, не более.

От этих мыслей письмо переходит к глобальным обобщениям:

> И при всем этом ничтожном, при жажде жизни и мучениях от нее, еще знать, что и конец вот-вот: ведь в лучшем случае могу прожить 25 лет еще, а из них 10 на сон пойдет. Смешной и злобный вывод! Много раз я убеждал себя, что смерти нет, да нет, должно быть, есть, по крайней мере, я не то буду, чем так хочу быть. И не пройдет 100 лет, как на земле ведь не останется ни одного живого существа, которое так же, как и я, хочет жить и *живет* — ни одной собаки, ни одного зверька и ни одного человека — все новое! А во что я верю? И ни в то, что от меня ничего не останется, как от сгоревшей свечи, и ни в то, что я буду блуждать где-то бесконечные века — радоваться или печалиться. А о Боге? Что же я могу сообразить, когда достаточно спросить себя: где я? Где эта наша земля маленькая, даже весь мир с бесчисленными мирами? (*П 1*, 217)

[118] См. подробнее об этом главу 1.

Скоротечность человеческой жизни, как видим, беспокоит не только бунинских героев, но и их автора. Убедительная иллюстрация жизненного круговорота (через сто лет не останется ни одного живого существа из тех, что живут вместе со мной на планете) воспринимается в том же контексте субъективного идеализма, но теперь эти субъективные рассуждения — при помощи конкретного примера — обретают объективность. Веры в вечную жизнь у Бунина нет, но не по той причине, по которой ее отрицает Толстой: для Толстого будущая жизнь слишком нелогична, очень похожа на «глупость»; Бунин же не приемлет абстрактность вечной жизни: ему нужна конкретность, созерцаемая и осязаемая. Вопрос о Боге моментально сводится к уже знакомому нам вопросу «где я?» — и на этом философский разбег мысли останавливается.

Еще один абзац посвящен литературе, однако значение любого творчества умаляется Буниным в соответствии с духом толстовства: «суть души», рассказывает он о своем опыте, выливается в ничтожность маленьких «рассказиков». Этот тезис, с одной стороны, звучит самоуничижением перед лицом великого писателя; с другой — отзвуком характерных философско-литературных штампов: из В.А. Жуковского («Невыразимое подвластно ль выраженью?») и Ф.И. Тютчева («Мысль изреченная есть ложь»).

Таким образом, все письмо представляет собой серию вопросов, которые задаются в связи с острым ощущением жизненной пустоты и ничтожества. Но не оставляет ощущение, что и жизненная пустота и (особенно) ощущение собственной ничтожности как писателя — отчасти литературная игра. Завершает же письмо традиционное обращение к Толстому как к Учителю — с надеждой на утешение, которое Учитель может дать: «Ведь вы один из тех людей, слова которых возвышают душу и делают слезы даже высокими, и у которых хочется в минуту горя заплакать и горячо поцеловать руку, как у родного отца!» (*П 1*, 218). Иными словами, автор письма надеется услышать от Толстого, что его рассказы не ничтожны, а жизнь имеет высокий смысл. В этом, вероятно, и просвечивает цель написания этого большого письма, если на каком-то этапе Бунин планировал отправить его.

В любом случае, письмо это может быть рассмотрено, с одной стороны, как последняя попытка (самая откровенная из всех, но пресеченная самим Буниным) утвердиться в толстовском миросозерцании и наладить прямой и откровенный диалог с основателем учения, а также, с другой стороны, как специальное «жизненное» приложение к одной из сложившихся в этот момент у Бунина литературных тем (звучащей в рассказе «Без роду-племени» в первую голову). Это письмо — одна из первых точек на жизненном пути Бунина, когда он делает попытку радикально соединить жизнь и литературу («писание», как выражался он сам в более поздних текстах). В дальнейшем таких попыток в жизни Бунина будет немало.

6. Переосмысление толстовского наследия: творчество второй половины 1890-х годов

С началом литературной известности в новых произведениях Бунина все меньше проявляются прямые следы тех или иных идеологических доктрин: менее очевидным становится народнический колорит (наиболее ярко проявившийся в рассказе-очерке «На край света», самом популярном произведении писателя этой поры), пропадает и апология толстовства. При этом отдельные мотивы, характерные для толстовских писаний, постоянно встречаются в разного рода прозаических произведениях. Собственно, толстовские детали, мысли, коннотации теперь не формируют структурные элементы текста, а усложняют его дополнительными смыслами.

Например, в небольшом рассказе «В деревне. Из детских воспоминаний» (авторская дата: 1897; первая публикация: 1898)[119] соединяется несколько тем: близость весны и зимы в восприятии подростка, любовь к отцу и деревенский быт (как мелкопоместной усадьбы, так и деревенских дворов), юношеское счастье бытия. При этом уже в начале произведения, в описании предрождественского городского изобилия, звучит в качестве коннотации мотив, заимствованный из толстовского неприятия городской жизни: город истребляет живую природу, деревня же находится в центре ее.

> Когда в конце декабря я бегал по утрам в гимназию, видел в магазинах сотни блестящих игрушек и украшений, приготовленных для елок, видел на базаре целые обозы с этими зелеными, загубленными для праздника елочками, а в мясных рядах — целые горы мерзлых свиных туш, поросят и битой, ощипанной птицы, я с радостью говорил себе:
>
> — Ну, теперь уж близко праздник! Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые две недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны[120].

Основное настроение этого пассажа — напряженное ожидание Рождественских праздников и рождественских каникул. Но рядом с этим радостным настроением — антонимической коннотацией — поставлены «загубленные» елочки и горы мертвой плоти, которые (сам процесс остается за скобками, но ощущается) пожирает город на Рождество, по окончании поста. Неумеренное «жранье» во многих текстах Толстого используется для обличения греховности богатой жизни. Антонимическая коннотация, ощутимая в этом пассаже, но далее никак не проявляющая себя, создает интересный стилистический эксперимент.

---

[119] Полный текст первого варианта рассказа см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

[120] *Бунин И.А.* В деревне: из детских воспоминаний // Детское чтение. 1898. № 1. С. 87–88.

Центральная тема рассказа — преображение деревенской природы: весна проступает посреди зимы, побеждает зиму как в душе героя, так и в деревенских пейзажах. Рядом с этим (по сути, осторожно-модернистским, преображающим реальность: система метафор переворачивает привычное представление о зиме и как бы растопляет зиму, превращая ее в весну) ходом появляются рассудительные наставления отца, выполненные в духе близких Бунину страниц трактата «В чем моя вера?»:

> Когда ты вырастешь, ты поймешь, что человек должен жить поближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо... Это неправда, будто в деревне скучно. Бедности в деревне много, — вот это правда, и, значит, надо делать так, чтобы было поменьше этой бедности, — помогать деревенским людям, трудиться с ними и для них... И хорошо можно жить в деревне![121]

А чуть далее появляется мотив, предваряющий идею «Антоновских яблок»: «Хорошо быть мужиком!». Этот мотив тоже имеет черты «преображения», сродни тому, которое позволяет разглядеть весну в самый разгар зимы: бедные грязные избы, когда сугробы растают, «станут чистенькими и веселыми»[122], а кирпичные избы зажиточных семей уже и сейчас, зимой, веселые. В них спорится работа, за работой рассказывают разные истории, и само по себе крестьянское хозяйство, как и большая крестьянская семья, вызывает чувство уюта и стабильности. Этот исключительный порядок большой крестьянской семьи и крестьянской избы — мотив, тоже повторенный в «Антоновских яблоках», — имеет толстовскую природу. Здесь, как и у Толстого, крестьянское становится основой творения и мерилом всех вещей.

Но это все сопровождающие главную тему мотивы. Сама же она решается совсем не в толстовском духе. Толстовское преображение должно быть социально-нравственным. Преображение же в этом тексте (зимы — в весну, скучных и грязных селений — в чистенькие и веселые, бедности — в зажиточность) ориентировано, скорее, на природный круговорот и цикличность деревенского бытия. Онтологический, а не этический дискурс. Онтология, которой не знает философия Толстого, для Бунина изначально важна.

Интересно, как решается «преображение»[123] в другом рассказе середины 1890-х гг. «Святая ночь» (авторская дата: 1893; первая публикация: 1895;

---

121 Там же. С. 94.

122 Там же.

123 В 1920-е гг. Бунин так назовет один из наиболее модернистских по духу рассказов. Знаменательно, что центральный эпизод этого рассказа, осязаемо рисующий воскрешение мертвых при помощи реализованной метафоры, будет взят из факультативных мотивов рассказа «Байбаки», написанного в ранний период.

начиная со второй публикации в 1897 г. заглавие «На чужой стороне»). Этот рассказ, тематически рифмующийся и с народническим «На край света» (смена заглавия во второй публикации усилит эту рифмовку), использует праздничный код (актуализирован в первоначальном заглавии), который был впервые испробован Буниным в рассказе «Нефедка»[124]. В «Святой ночи» группа мужиков, едущих на заработки, застряла на вокзале. Мужики который день ждут поезд, и в этом ожидании наступает Пасхальная ночь. Герои расположились в конце одной из платформ: зайти в здание вокзала они стесняются. Мужики как бы выброшены из жизни (из-за нужды они покинули родные места; на этом вокзале они тоже смотрятся чужеродной массой). Они полны грусти от воспоминаний о родной деревне и оттого, что встречают праздник не так, как всегда. Но в зале третьего класса начинается церковная служба, и происходит преображение мужицких душ. Лица у них делаются «просветленными»[125], некоторые герои плачут. Чужое пространство становится для них своим, необычность обстановки усиливает впечатление от праздника, воскресающий Христос заслоняет все жизненные невзгоды.

Религиозное откровение, снисходящее на героев, существенно отличается от идейных «переломов», описанных в толстовской литературе. Оно чувственное, а не рассудочное. Преображение вокзальной залы в храмовое молельное пространство (сродни тому, как зимний пейзаж трансформируется в весенний в рассказе «В деревне») мужики ощущают особенно глубоко, поскольку сам городской вокзал видят впервые: «Мужики стояли на коленях и торопливо крестились, подолгу припадая головами к каменному полу»[126]. Вокзальный пол в этой ситуации воспринимается ими как церковный пол; можно предположить, что и все остальное (в тексте сказано, что все для них видится как в тумане) они воспринимают в духе церковного преображения. Значимой деталью в этом контексте становится и то, что ждут они службы под открытым небом — как бы в храме Божьего мира. Религиозный пасхальный сюжет обретает пантеистические коннотации.

Похожий мотивный ход хорошо ощутим и в ранней поэзии Бунина. В стихотворении 1889 г. «В костеле» (вторая редакция 1901) «дивный» мир противопоставлен мертвому храму:

Гимн природы животворный
Льется к небесам...

---

124 См. главу 1.

125 *Бунин И.А.* Святая ночь // Мир Божий. 1895. № 4. С. 8.

126 Там же. С. 7.

В ней Твой храм нерукотворный,
Твой великий храм![127]

Тот же мотив — в стихотворении «Христос воскрес! Опять с зарею...» (1896). Заря пасхального утра приобретает вселенское значение, как церковная пасхальная служба. «Лучи огнистые зари» — предвестники Христа:

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес! (*Стих.*, 1, 173)

Близки этому сравнения природных явлений с элементами богослужения (последняя строфа стихотворения «Неуловимый свет разлился над землею», 1894, вторая редакция 1898), а также описание «неземного» чувства, вызванного созерцанием Южного Креста («Поздний час. Корабль и тих и темен», 1895).

Ощущение присутствия Бога в природной жизни, как и поиск истинной веры вне (и независимо) от церкви напоминает в этих текстах уже не столько о толстовстве, сколько об общих тенденциях эпохи предсимволизма и раннего символизма. В конце 1890-х гг. Бунин ненадолго сближается с символистами и принимает некоторые (близкие ему) элементы их теории[128]. Можно предположить, что практики внецерковной религиозности, полученные им среди полтавских толстовцев, наложились на поиски внецерковной религиозности у символистов. Показательно, что, как и с толстовством, Бунин не разделяет символистскую теорию целиком. Самостоятельность его мышления определяется чувственным характером познания мира: он совершенно не приемлет чистых спекуляций, ему нужны лишь философские объяснения того, что он сам чувствует и ощущает. Те части философских теорий, которые кажутся ему далекими от собственной жизни, он попросту отбрасывает как «ненужные». В этой «фильтрации» философских теорий можно усмотреть типологическую близость с мышлением Толстого, однако, как мы уже видели, «нужное» и «ненужное» эти два писателя понимают по-разному.

Новые герои Бунина (Мелитон, Митрофан и др. — Ю.В. Мальцев практически соединяет «Скит» и «Сосны» с идейно-тематической стороны[129].

---

[127] *Бунин И.А.* Стихотворения: в 2 т. / вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Т.М. Двинятиной. СПб: Изд-во Пушкинского дома, «Вита Нова», 2014. Т. 1. С. 123. В дальнейшем ссылки на это издание: *Стих.* с указанием тома и страницы.

[128] Подробнее см.: *Мальцев Ю.В.* Иван Бунин. С. 134–151; *Аверин Б.В.* Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 176–230.

[129] *Мальцев Ю.В.* Указ. соч. С. 93.

Продолжая его мысль, можно назвать эти два рассказа первым прозаическим «минициклом», каковых в дальнейшем творчестве Бунина будет немало) заимствуют некоторые свойства мышления от Кастрюка и Капитона Иваныча из рассказов «Русского богатства», но, в отличие от тех, теряют все «слишком человеческое», превращаясь почти в святых. «Кастрюк, Мелитон, Митрофан — почти агиографические портреты, живые воплощения концепции Бунина психологической гармонии человека и природы»[130], — точно отметил английский исследователь Дж. Вудвард, не разделив, правда, крестьянских героев начала и конца этого бунинского десятилетия. Если Кастрюк заискивает перед сыном, боится невестки, упрашивает сторожа на железной дороге покурить и поболтать, чтобы заполнить пустоту свободного времени, то Мелитон и Митрофан уже не отвлекаются на сиюминутное перед лицом вечного. Образы этих «гармоничных детей природы», вторит Мальцев, — вовсе не отголоски толстовства (сравнивать Мелитона с Каратаевым или Поликушкой неправомерно), а «вымирающие пращуры», к которым Бунин испытывает исключительный интерес. При точности замечания Мальцева, нельзя не усомниться в его категоричности. Поразительная черта русского крестьянина: спокойное и простое отношение к смерти — традиционная тема русской литературы XIX столетия. Есть она и в творчестве Толстого — с характерными толстовскими мотивами («Три смерти», 1859). Немаловажную роль играет этот мотив и в толстовстве: в «Исповеди» подробно рассказывается о том, что простой народ не боится смерти, так как живет по Божьим заповедям. Таким образом, сама тема имеет толстовские коннотации, и Бунин никак не мог полностью их избегнуть. С другой стороны, тема, действительно, приобретает у Бунина совсем иное звучание, отсылая к теме «древнего человека».

Целый ряд природно-религиозных мотивов в рассказах Бунина второй половины 1890-х гг. имеет толстовские корни, но при этом легко вписывается и в некий общий модернистско-символистский код. Караулка Мелитона метафорически преображается в скит, а сам ее житель — в монаха-отшельника («Скит», 1900). Эти смыслы поддерживают и дополнительные детали вроде вечной грусти в глазах героя, которую он скрывает от посторонних: «Как и всегда, он мгновенно замкнулся, принял бесстрастно-серьезное выражение и так глубоко затаил свою постоянную печаль, что, казалось, никогда не узнаешь ее причины»[131]. Как отшельник, он постоянно готов к смерти — даже его постоянная опрятность вызвана ожиданием смерти: он знает, что «прибрать» его будет некому[132]. Смирение и вечная дума о себе и мире, аскетическая жизнь в

[130] *Woodward J.* Ivan Bunin: A Study of His Fiction. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1980. P. 45. Цитаты из англоязычных работ здесь и далее даны в нашем переводе. — *Е.П.*

[131] *Бунин И.А.* Скит // Журнал для всех. 1901. № 7. Стб. 819.

[132] Там же.

миру — все это добродетели, почитаемые толстовством. Но Мелитон прожил долгую и тяжелую жизнь, потерял жену и детей — и его бытовая святость кажется современным отражением истории ветхозаветного Иова. Это совсем не толстовский ход — ход, напоминающий о модернистской культуре, находящий следы мифа в обыденности.

Митрофан в рассказе «Сосны» (авторская дата и первая публикация: 1901) живет в сказочном бору, звание «сотский» тоже отдает чем-то сказочным, а смерть как бы окончательно растворяет его в этом сказочном мире:

> Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, молча лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным, — думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, — тайну ненужности и в то же время значительности всего земного.
>
> — Митрофан! — сказал я громко, подходя к могиле.
>
> Могила молчала…[133]

Афористическая сентенция, как и сама тема смерти, звучит почти по-толстовски (впрочем, лексема «ненужность» обычно используется Толстым в иных контекстах: человек часто всю жизнь делает то, что совершенно не нужно). Но целый ряд коннотаций, последовательно проведенных через весь текст и добавляющих подтексту идею несбывшегося воскресения, как бы предчувствует появившуюся через несколько лет «Жизнь Василия Фивейского», целиком выдержанную Л.Н. Андреевым в модернистской поэтике.

Впрочем, думающий и чувствующий бугор могилы весьма близок и размышлениям позднего Толстого. По свидетельству А.Б. Гольденвейзера, в 1903 г., одновременно с работой над «Хаджи-Муратом», Толстой задумал работу «О сознании духовного начала» и изложил некоторые мысли по этому поводу: «На свете — все живое. Все, что нам кажется мертвым, кажется таким только потому, что оно слишком велико или слишком мало. Мы инфузорий не видим, а небесные тела нам потому кажутся мертвыми, почему мы кажемся мертвыми муравью. Земля несомненно живая, и какой-нибудь камень на земле то же, что ноготь на нашем теле»[134]. Бунин, вероятнее всего, не знал об этих размышлениях Толстого. Это одно из ярких доказательств общности мироощущений двух писателей. Нельзя сбрасывать со счетов и общие идеи эпохи. «Модернистскость» мышления, как видим, порой свойственна и позднему Толстому.

В рассказе «Туман» (авторская дата и первая публикация: 1901) целый ряд модернистских проекций морского путешествия по Черному морю (воз-

---

133 *Бунин И.А.* Сосны // Мир Божий. 1901. № 11. С. 109.

134 *Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого (Записки за пятнадцать лет). М., 1922. Т. 1. С. 105.

душный корабль; движение через сон; иной мир; месяц, смотрящий в лицо; корабль-привидение; тайна за пределами познаваемого), заслоняющих страх от опасности столкновения с другим судном и потенциальной гибели всех пассажиров, завершается картиной «роевой жизни» человечества (играющей важную роль не только в философских рассуждениях «Войны и мира», но и в бытовой практике толстовства) и толстовской идеей спокойного принятия собственной смерти, когда она — как месяц в середине рассказа — заглядывает человеку в лицо[135].

Рядом с природно-религиозными мотивами, постепенно теряющими свой толстовский генезис — становясь элементами уже бунинского мировоззрения, встречаются и реминисценции из художественных текстов Толстого. Например, в «Соснах» речь охотника Митрофана, еще при жизни растворенного в темных пространствах леса, звучит характерными интонациями дяди Ерошки из повести «Казаки» — тоже охотника и следопыта, как Митрофан:

> — А хорошо у нас, Миколай Палыч! — говорил он мне часто. — Главное дело — лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает, али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда: есть лес — в лесу зарабатывай. <…> Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился... Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной — и больше ничего. <…> была бы шея — хомут найдется! Говорят — живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить — не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано — и шабаш[136].

Помимо отношения к жизни, почти заимствованного у дяди Ерошки, появляется здесь и аллюзия на толстовскую метафору «Хозяин и работник». Характерна и сама постановка вопроса «как надо жить», и мужицко-толстовское приятие всего данного от Бога. Включая смерть, к которой, по Толстому, мужики относятся стоически спокойно. Перед смертью Митрофан произносит еще одну фразу дяди Ерошки:

> — За траву не удержишься! — говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу[137].

---

[135] Ср. у Ю.В. Мальцева: «Это не “реалистическое” описание месяца, а сообщение о восприятии его художником. Поначалу он даже отказывается от общепринятого слова “месяц”, а именует его как “нечто”. И не субъект смотрит на месяц, а объект-месяц смотрит в лицо “с грустным и бесстрастным выражением” (*Мальцев Ю.В.* Иван Бунин. С. 111–112). См. подробный анализ рассказа в главе 3 настоящей монографии.

[136] *Бунин И.А.* Сосны // Мир Божий. 1901. № 11. С. 103–104.

[137] Там же.

Эта пословица, бытовавшая в Орловской губернии, означает «Чему быть, того не миновать». Вместе с тем, слова Митрофана, воспринятые в прямом смысле, создают образ сходящего в могилу человека, пытающегося удержаться за растущую вверху траву. В этом прямом смысле они вполне созвучны фразе Ерошки, ставшей важнейшей для юнкера Оленина в его понимании смерти. Сидя за столом с Олениным, Ерошка рассказывает о войсковом старшине — своем кунаке, убитом в Чечне: «Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и все» (*Т* 6, 56). Оленин вычленяет из этого рассказа афоризм: «Так, как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин» (*Т* 6, 56). И использует его в дальнейших размышлениях о смысле жизни и смерти:

> И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».
>
> «Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше: — всё надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастия. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого Божества — все-таки надо жить наилучшим образом. <…>» (*Т* 6, 77).

Этот отрывок из XX главы «Казаков» Бунин в дальнейшем процитирует в IV главе «Освобождения Толстого» (*ОТ*, 41–42) в важнейшем эпизоде — вспоминая, о чем думал в 1910 г., переживая смерть великого писателя. Резонно предположить, что эти рассуждения Оленина, как и афоризм дяди Ерошки, представлялись ему чрезвычайно глубокими и на рубеже XIX–XX вв., когда писались «Сосны».

Другой пример реминисценции (не такой явной, но легко прочитывающейся) находим в начале рассказа «Новая дорога» (авторская дата и первая публикация: 1901). Наблюдения повествователя на петербургском вокзале в начале рассказа овеяны мотивами из «Анны Карениной»:

> <…> Около моего вагона остаются только высокий, красивый офицер с продолговатым, нагло-серьезным лицом в полубачках, и дама в трауре. Дама кутается в ротонду и тоскливо смотрит на офицера заплаканными черными глазами, а он, в знак своей печали, строго косится на кондуктора… Потом с неловкой поспешностью очень сытого человека проходит большой рыжеусый помещик с ружьем в чехле и в оленьей дохе поверх

> серого охотничьего костюма, а за ним — приземистый, но очень широкий в плечах генерал… <…> И тотчас же на всю платформу звонит гулкий вокзальный колокол, раздаются гремучие свистки обер-кондуктора, мощные взревывания паровоза — и плавно трогается поезд.
>
> Офицер быстро идет но платформе, раскланиваясь, ускоряя шаги и все более и более отставая от вагонов; поезд все отрывистее и резче кидает из-под цилиндров горячим паром... Но вот мелькнул последний фонарь платформы, офицера точно сдернуло — и поезд очутился в темноте[138].

Этот взгляд на платформу из окна отъезжающего вагона может быть воспринят как увертюра, составленная из тем толстовского романа: офицер и дама в трауре — как Вронский и Анна (надевшая траур сама по себе), помещик в охотничьем костюме равно напоминает и Стиву Облонского и Константина Левина (охотничье ружье тут становится важной деталью — из него Левин мог бы застрелиться от незнания смысла своей жизни). Впечатление от офицера, которого «точно сдернуло» с платформы, усиливает эффект «Анны Карениной».

Увертюрность этого начала оказывается тем значимей, что «Новая дорога» противопоставляет Петербург всей остальной, первозданной и первобытной России. Европеизированная столица видится повествователю «далеким оазисом на окраине огромной снежной пустыни»[139], зимний сезон в нем — бесконечным праздником, утомляющим душу[140]. А финальные размышления интеллигента (снятые в дальнейших редакциях) звучат оленинско-левинскими поисками смысла собственного существования внутри «роевой жизни» огромной страны:

> «Какой стране принадлежу я, — думается мне, — я, русский интеллигент, одиноко скитающийся по родным краям? Что общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, и мне ли помочь им? Моя собственная маленькая жизнь проходит беспорядочно в мелкой погоне за минутами счастья, на которое я тоже имею право, но где же оно в этих снежных пустынях? И как страшно одиноки мы, беспомощно ищущие красоты, правды и внешних радостей для себя и для других в этой исполинской лесной стране! <…>»[141]

---

138 *Бунин И.А.* Новая дорога // Жизнь. 1901. № 4. С. 163.

139 Там же. С. 169.

140 Там же. С. 162.

141 Там же. С. 170–171.

Несмотря на очень важный для Бунина этого периода (но совсем не толстовский) мотив погони за счастьем, общий тон пассажа можно назвать толстовским. Но при подробном рассмотрении видно, как само развертывание текста последних абзацев преодолевает — идейно и стилистически — традиционные культурные парадигмы XIX в. Псевдоградация «красоты, правды и внешних радостей» заканчивается неожиданным элементом, который занимает место традиционной народнической «справедливости». Красота в этой системе смыслов поставлена первой, но в народнической, как и в толстовской, парадигме она должна идти после «правды и справедливости», представляющихся безусловно более важными (если вообще не быть вычеркнутой как факультативная). Поиск «внешних радостей» уточняется: «для себя и других»; это дополнение кажется поклоном в сторону народничества-толстовства, извинением за излишнюю эгоистичность жизненной цели. «Красота» и «внешние радости» оказываются контекстуальными синонимами, соединение которых разбивает традиционные представления о жизни (правду) — как новая железнодорожная колея, пробивающая «бесконечный туннель»[142] в темной массе первозданного леса. В финале рассказа остается лишь сказочность леса и всей огромной страны, а также поезд, уподобляемый гигантскому дракону. Линейность железнодорожной колеи, имеющая начало на петербургском вокзале, не получает конца и тонет в бесконечной дали.

Модернистские мотивы почти полностью вытеснили мотивы народнической и толстовской литературы. Это характерно для всего творчества Бунина начала 1900-х гг.

7. Модернизм и неореализм

Вопрос о бунинском модернизме сложен и имеет длительную историю. В.А. Келдыш в монографии «Русский реализм XX века» (1975) говорил о соперничестве «разных подходов к миру»[143], которые проявляются в творчестве молодых авторов первого десятилетия XX века: Л.Н. Андреева, Бунина, М. Горького и других. Многие явления пограничной художественной природы (на границе традиционного реализма и модернизма), встречающиеся в их произведениях, он называл неореалистическими. В более поздних работах Келдыш пересмотрел свою точку зрения и предложил называть неореализмом «*особое* течение *внутри* реалистического направления»[144], развивавшееся в

142 Там же. С. 171.

143 *Келдыш В.А.* Русский реализм начала XX века. М.: Наука, 1975. С. 229.

144 *Келдыш В.А.* О «серебряном веке» русской литературы: проблемы прозы. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 171.

1900–1910 гг. и соприкасавшееся с символизмом[145]. Творчество Бунина Келдыш считал вершиной неореалистического искусства Серебряного века, отмечая при этом, что неореализм и модернизм не имели «глухих перегородок»: так, «у Бунина — например, в его сочинениях второй половины 1910-х гг. — явственны собственно символистские аллюзии»[146]. Однако основой концепции Келдыша стало указание на укорененность Бунина в традиции русского реализма XIX в.

Другую тенденцию в осмыслении стилистического новаторства Бунина наметила монография Ю.В. Мальцева «Иван Бунин. 1870–1953» (1994), автор которой полагал: «Бунин, при всей своей кажущейся традиционности, выразил все (или почти все) мотивы, присущие новому искусству. Но только у него, в отличие от авангардистов, поиски художественной формы и приема никогда не становились самоцелью»[147]. Исследователь, опираясь на анализ поэтики бунинской прозы, приводит целый ряд примеров, в которых бунинский текст звучит, как проза символизма или даже более поздних авангардистских течений. В целом же Мальцев утверждает: Бунин, как и модернисты, выработал новую манеру письма, соответствующую «всей новизне усложнившегося самосознания нового человека и тонкости его ощущений»[148]. Уже раннее его творчество характеризует «новое понимание взаимоотношения “объективного” и “субъективного”»[149], а также «принципиальное отличие <…> от прогрессистской эстетики, от эстетики реализма, в которой центральным является понятие “типического”, тогда как для Бунина очевидна уникальность и неповторимость жизненных проявлений»[150]. К этому следует добавить острое ощущение катастрофичности бытия, не свойственное реалистам, но являющееся краеугольным камнем модернистской эстетики. Бунину очень близки, считает Мальцев, многие тезисы, высказанные в ранних символистских манифестах — например, в работе Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» или в статьях Андрея Белого. Психологизм Бунина, по мнению ученого, в корне отличается от реалистического[151]: это ярко доказывает его исключительный интерес к онейрическим состояниям и стремление выйти за пределы возможностей, лимитированных человеческим «я». Наконец, Бунина роднят с модернизмом очень многие черты нарратива: «образы, темы и настроения, способы выражения и даже, в самом поверхностном

145 Там же. С. 201.

146 Там же. С. 204.

147 *Мальцев Ю.В.* Иван Бунин… С. 102.

148 Там же. С. 115.

149 Там же.

150 Там же. С. 116.

151 Там же. С. 119.

слое, — фразеология»[152]. Тот факт, что Бунин надолго оказался в группе «знаньевцев», представляется Мальцеву одним из парадоксов его биографии, а не сознательным художественным выбором.

Продолжением и значительным расширением этого подхода стали исследования Б.В. Аверина и О.В. Сливицкой. Б.В. Аверин, полемизируя с Мальцевым в сфере осмысления феномена Памяти в творчестве Бунина, оставался в рамках понимания модернистской природы бунинских текстов. Это частично отразилось как в монографии «Дар Мнемозины» (2003)[153], так еще больше — в лекциях, которые Аверин читал в Санкт-Петербургском государственном университете в 1990-е гг.[154] Идея о том, что В.В. Набоков соединил в своем творчестве художественные достижения основных модернистских направлений: символизма, акмеизма и футуризма — проецировалась им и на творчество Бунина. Бунин оказывался, с одной стороны, связующим звеном между эпохой Толстого и эпохой Набокова, с другой стороны — писателем, радикально переосмыслившим и перестроившим (с модернистских позиций) традиции автобиографической прозы XIX века.

О.В. Сливицкая в монографии «“Повышенное чувство жизни”: мир Ивана Бунина»[155] (2004) вписала мировидение Бунина в систему философских учений XIX–XX вв., отчего Бунин-писатель оказался одновременно и Буниным-мыслителем. Но при этом, исходя из совершенно самостоятельных посылок, исследователь развивала две идеи, промелькнувшие ранее в книге Мальцева. Это идея об исчезновении антропоцентризма в бунинской картине мира (при сохранении гуманистического отношения к бытию)[156] и идея о сущностной близости Бунина новейшим (для начала XX столетия) философам модернистского периода[157]. На широком философском фоне, нарисованном Сливицкой, Бунин безусловно становится писателем новой эпохи и нового мировидения.

В.А. Келдыш полемизировал и с точкой зрения Мальцева и с точкой зрения Сливицкой[158]. Но нам кажется, что точки зрения В.А. Келдыша, с одной стороны, и Ю.В. Мальцева и О.В. Сливицкой (при всей их разности между собой), с другой, не так далеки друг от друга, как может показаться на пер-

---

152 Там же. С. 134.

153 *Аверин Б.В.* Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 176–230.

154 Автор настоящей монографии в качестве студента и аспиранта СПбГУ прослушал в 1990-е гг. несколько курсов лекций Б.В. Аверина — как общих («Русская литература Серебряного века»), так и специальных.

155 *Сливицкая О.В.* «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004.

156 *Мальцев Ю.В.* Иван Бунин… С. 124.

157 Там же. С. 116.

158 *Келдыш В.А.* О «серебряном веке» русской литературы: проблемы прозы. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 206–214.

вый взгляд. Все перечисленные исследователи отмечают и описывают одни и те же явления ранней прозы Бунина, расходясь в фокусировке взгляда (для Келдыша важнее реалистический генезис творчества Бунина, кровная связь его искусства с художественными исканиями второй половины XIX века; для Мальцева, напротив, важнее новаторский характер бунинских произведений 1890–1900 гг., движение в сторону авангарда, которое ранее не замечали или редуцировали у Бунина; широта сопоставлений Сливицкой выводит Бунина за пределы строгой истории литературы, отчего «новые» черты тоже становятся много рельефнее, чем «традиционные») и понимании термина «модернизм» (для Келдыша это в строгом смысле слова символисты и идущие за ними направления; для Мальцева — значительно более многочисленные группы и объединения, с программами и без, в том числе и одиночки, не входившие в группы; для него это общие тенденции эпохи, когда искусство перестает реалистически «отражать», начинает ставить сложные бытийные вопросы и пытаться преображать мир).

В русле этой традиции в 2019 г. попытался осветить эмигрантское творчество Бунина и автор настоящей монографии. В книге «Преодолевший модернизм: Творчество И.А. Бунина эмигрантского периода» мы пытались показать, что писатель, не переносивший слова «модернизм» и всю его теорию, по иронии судьбы на два с половиной послереволюционных десятилетия оказался главным писателем позднего модернизма[159].

В данном исследовании мы будем придерживаться самого широкого термина «модернизм», которое встречается у Мальцева и наших петербургских учителей, принимая во внимание при этом, что практически все отмеченное нами в иной системе координат может быть описано и при помощи термина «новый реализм».

Отметим, что в обеих системах значений важность Льва Толстого в художественном мире раннего Бунина не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений и постепенное освобождение тридцатилетнего Бунина от власти Толстого и постулатов реалистического искусства в понимании XIX в.

[159] *Пономарев Е.Р.* Преодолевший модернизм: Творчество И.А. Бунина эмигрантского периода. М.: Литфакт, 2019. С. 238.

Глава третья

БУНИН-НОВАТОР НА ФОНЕ ПОЗДНЕГО ТОЛСТОГО: 1900-е годы

1. Освобождение от толстовства. Расхождение с Толстым

Несмотря на то, что Бунин уже во второй половине 1890-х гг. формально отошел от толстовства, толстовский шлейф еще некоторое время тянулся за ним. Важным в этом плане оказывается письмо А.М. Федорова к Бунину, написанное 21 января 1897 г. Федоров сообщал другу о своих петербургских встречах — в том числе с Л.С. Елпатьевской, дочерью известного писателя-народника, в которую в определенный момент были немного влюблены и Бунин и многие другие молодые писатели его круга:

> Но тут она обрушилась на Вас за толстовство. Этакого тонкого человека, как Вы, да Толстым попрекать! Но в ответ на ее полудетское бормотанье <…> я искренно заявил ей, что она говорит не свои слова. <…> представьте себе, после десяти минут такого откровения, она согласилась, что говорит не свое и что одному поэту она еще могла не верить, а целым двум не верить не может (*Летопись 1*, 235).

Впрочем, Л.С. Елпатьевская[1] была не так уж не права. В жизни и поведении Бунина второй половины 1890-х гг. еще заметны некоторые отблески толстовства. Так, подруга упомянутой Л.С. Елпатьевской — М.К. Давыдова, приемная дочь издательницы журнала «Мир Божий» (вскоре она выйдет замуж за А.И. Куприна; а во втором браке будет носить фамилию Иорданская), вспоминала, что познакомилась с Буниным в конце ноября 1896 г. в Петербурге, куда тот приехал с Кавказа из толстовской колонии[2]. Об этой поездке к кавказским

---

[1] Дружба с Людмилой Сергеевной (для домашних и друзей Лёдей) Елпатьевской (в первом браке Кулаковой, во втором браке баронессой Врангель; 1881–1969) станет для Бунина, а затем и для В.Н. Буниной, дружбой на всю жизнь. В России до эмиграции и особенно в эмиграции в Париже Л.С. Врангель станет для Буниных близким другом семьи. Л.С. Врангель присутствовала и на похоронах Бунина.

[2] *Куприна-Иорданская М.К.* Годы молодости. М.: Худож. лит., 1966. С. 19 (см. также *Летопись 1*, 231).

толстовцам нам практически ничего не известно. Косвенное доказательство теоретической возможности такой поездки можно усмотреть во фразе из письма Бунина С.Н. Кривенко от 1 июня 1896 г. (к письму был приложен рассказ «Сутки на даче» для журнала «Новое слово»; в дальнейшем рассказ будет напечатан под заглавием «На даче»[3]):

> <…> между другими, я в нем хотел нарисовать тип «толстовца»; «толстовцев», замечу при этом, я знаю очень хорошо — давно знаком почти со всеми ими; они почему-то особенно полюбили Полтаву; кроме того, знаю всю редакцию «Посредника», знаю тех, что на Кавказе и тех, что в Харьковской и Воронежской губ<ерниях> (*П 1*, 220).

Помимо толстовцев Полтавы, Харьковской и Воронежской губерний (Полтава и Харьковская губерния совершенно понятны здесь в свете биографии Бунина; появление в этом списке Воронежской губернии не так ясно, но она, по крайней мере, входит в круг бунинских мест), названы толстовцы на Кавказе. Не исключено, конечно, что здесь имеется в виду «знание», полученное от знакомых: М.В. Алехин в 1894 г. был выслан на Кавказ и сам мог считаться кавказским толстовцем. Кроме того, М.В. Алехин, вероятно, писал брату Аркадию, оставшемуся в Полтаве[4]. Можно предположить, что какие-то части его писем, описывающие быт кавказских толстовцев (известна переписка М.В. Алехина с Толстым на ту же тему), могли читаться в широком толстовском кругу и обсуждаться с участием Бунина. В этом случае, Бунин знал кавказских толстовцев лишь по письмам и рассказам.

С другой стороны, в списке есть и Харьковская губерния (не Харьков!), что отсылает нас к непосредственному опыту Бунина: мы знаем, что в конце 1893 г., по пути к Толстому, Бунин и Волкенштейн гостили в селе Хилково Харьковской губернии, «укрепляя» себя и местных «братьев» на пути истинной веры. Таким образом, можно предположить и то, что Бунин в этом письме Кривенко перечислил все толстовские колонии, в которых побывал.

Как бы там ни было, приведенная фраза из воспоминаний М.К. Куприной-Иорданской, а также письмо А.М. Федорова подтверждают, что в 1896–1897 гг. в петербургских литературных кругах Бунина еще считали толстовцем. Рассказ «На даче», рукопись которого передавалась из редакции в редакцию, из Петербурга в Москву (забрав ее из петербургского журнала «Новое слово», Бунин отослал рукопись в московскую «Русскую мысль») тоже способствовал этому имиджу.

---

[3] Подробнее см. в настоящей монографии раздел 4 главы второй.

[4] Подробнее о братьях Алехиных см. разделы 3 и 4 главы 1 настоящей монографии.

В январе 1898 г. Бунин совершает еще один поступок, вполне укладывающийся в рамки толстовского поведения. Вместе с близко знавшей Толстого Е.М. Лопатиной[5] (личные воспоминания которой о Толстом и его семье в дальнейшем будут использованы в «Освобождении Толстого») Бунин ходит по ночлежным домам в московском Проточном переулке — как бы следуя примеру Толстого времен писания статьи «О переписи в Москве» (1882). Однако поступки такого рода остаются эпизодическими и могут объясняться не столько собственными порывами, сколько влюбленностью в Лопатину и желанием сопровождать ее. Дневник Лопатиной, в котором зафиксированы эти прогулки, передает именно эту атмосферу[6]. Единственный разговор о Толстом, который начинает Бунин с Лопатиной, вызван созерцанием солдат: «В этой прогулке было что-то очень литературное. Иногда он меня очень огорчал, рассуждая о Толстом, о солдатах. Мы начинали тотчас спорить, но он очень быстро говорил: “Ну, да это все вздор. Ведь все в сущности пустяки”»[7]. Судя по не совсем четкому контексту, речь шла то ли о солдатчине и мыслях Толстого об отказе от военной службы, то ли о давней военной службе самого Толстого и произведениях, написанных о ней.

С середины 1898 г., расставшись с Лопатиной и сделав предложение А.Н. Цакни, Бунин на некоторое время превращается в одесского жителя и окончательно порывает с толстовскими кругами. Он периодически посещает

---

[5] Екатерина Михайловна Лопатина (1865–1935), представительница знаменитой московской семьи Лопатиных, сыграла в жизни Бунина значительную роль. Знакомство с ней состоялось 10 января 1897 г. на вечере в редакции «Нового слова» в Петербурге. Бунин пережил краткую влюбленность в нее (которая завершилась летом 1898 г.): в это время писатель постоянно бывал в доме Лопатиных, помогал Екатерине Михайловне в редактировании ее текстов, а летом 1898 г. ради нее поселился на даче в Царицыно под Москвой, где Лопатины проводили лето ежегодно. С окончанием влюбленности знакомство с Лопатиной не прервалось. В.Н. Муромцева, с которой Бунин связал свою жизнь через несколько лет, тоже хорошо знала Е.М. Лопатину с ранней юности (их семьи познакомились в Царицыно, где ежегодно снимали дачи). В эмиграции Е.М. Лопатина оставалась другом семьи Буниных: она нередко гостила у Буниных в Грассе, Бунины бывали в организованном ею детском превенториуме в Клозоне (Приморские Альпы). С семьей Толстых Лопатины состояли в дальнем родстве, кроме того, они были хорошо знакомы. Поэтому Бунин считал мнение Лопатиной о Толстом чрезвычайно важным. После смерти Лопатиной в 1935 г. ее воспоминания о Толстом (написанные для «Современных записок», но так и не опубликованные в этом журнале) остались в распоряжении Бунина и были использованы в тексте книги «Освобождение Толстого». Подробнее о Бунине и Лопатиной см.: *Двинятина Т.М.* И.А. Бунин и Е.М. Лопатина (по материалам Рукописного отдела Пушкинского Дома и Русского архива в Лидсе) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2018–2019 годы. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2019. С. 7–43; *Двинятина Т.М.* И.А. и В.Н. Бунины в переписке с Е.М. Лопатиной (1923–1935 гг.) // Emigrantica et cetera: К 60-летию О. Коростелева / ред.-сост. Е.Р. Пономарев, М. Шруба. М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2019. С. 710–752.

[6] РО ИРЛИ. РІ, оп. 15, № 137 (3), Л. 186 об–188 об.

[7] Там же. Л. 188.

Одесское литературно-артистическое общество, а 10 октября 1898 г. выступает на заседании этого общества, посвященном 70-летнему юбилею Толстого, с рассказом о своих встречах со знаменитым писателем[8]. Это первый случай, когда Бунин пытается рефлексировать по поводу своего отношения к Толстому.

Об этой рефлексии отчасти можно судить по коллективному интервью под заглавием «Наши гости», которое Бунин, С.А. Найденов и А.М. Федоров дали К. Чуковскому[9] в самом конце 1902 г. для газеты «Одесские новости» (Бунин к этому моменту уже расстался с Цакни и бывал в Одессе именно «гостем»). В одном из развернутых высказываний Бунин говорит о Толстом и делится своими впечатлениями от последней личной встречи (эта встреча[10] стала последней и в историческом смысле: больше Бунин живого Толстого не увидит; в дальнейшем этот эпизод будет включен в эмигрантские воспоминания о Толстом, которые затем станут частью книги «Освобождение Толстого»):

> — А каково ваше личное мнение о Толстом? — спросил я.
>
> — Я не люблю бывать у Толстого, — ответил И.А. Я не понял ответа. Мне почудился в нем оттенок неприязни, той самой, которая была так характерна для отношений Тургенева к Толстому, которая изредка проявляется теперь в литературе, например, в книге Шестова «Добро в учении Толстого и Ницше», в книге Мережковского «Толстой и Достоевский» и др.
>
> — Нет, я вовсе не в этом смысле говорю. Мне жутко бывать у Толстого, потому что он такой громадный, такой требовательный к человеку. Смотрит на него и будто чего-то требует. И в каждом слове у него заметна эта давящая сторона характера. Как-то в прошлом году прохожу я по Арбату, смотрю — в темноте Толстой. — Здравствуйте, Иван Алексеевич. Почему вас не видать? — Я растерялся как школьник.

---

[8] См. объявления о вечере: Южное обозрение. 10 октября. № 609. С. 2; 12 октября. № 611. С. 3 (см. также *Летопись 1*, 289).

[9] Ср. со значительно более поздними оценками К. Чуковского. В официальной записке для «Литературного наследства» он писал: «Конечно, и “Митина любовь” и трактат о Толстом <«Освобождение Толстого» — *Е.П.*> — вещи, глубоко осердеченные, — свидетельствуют, что в глубине души у него теплеет и нежность и любовь <...>» (*ЛН–84*. Кн. 2. С. 374). В дневнике же (запись от 6 апреля 1968 г.) высказывается иначе: «Читаю Бунина “Освобождение Толстого”. Один злой человек, догадавшийся, что доброта высшее благо, пишет о другом злом человеке, безумно жаждавшем источать из себя доброту. Толстой был до помрачения вспыльчив, честолюбив, самолюбив, заносчив, Бунин — завистлив, обидчив, злопамятен» (*Чуковский К.И.* Дневник 1930–1969. М., 1994. С. 411).

[10] Эта встреча датирована в первом томе «Летописи» периодом между 6 и 16 декабря 1901 г. (*Летопись 1*, 443). Во втором томе датировка исправлена на 20 ноября — около 10 декабря 1900 г. (*Летопись 2*, 1070).

> Просто не знаю, куда шапку свою девать. — Боюсь я бывать у вас, — признаюсь ему чистосердечно… — Нельзя людей бояться, нельзя, — повторил настойчиво и убежденно Л.Н. и торопливо исчез в потемках, оставив во мне подавленное и робкое ощущение[11].

Можно видеть, что бунинское отношение к писателю-мэтру, по сравнению с ранним периодом, несколько изменилось. С одной стороны, он весьма горд своим знакомством с ним. С другой стороны, пытается объяснить публике, почему, несмотря на его восхищение искусством Толстого, они лично не близки. Из прежнего времени сохраняется поведенческая схема «школьника», которой Бунин не стыдится: Толстой — признанный мэтр, человек не от мира сего. Многие, говоря о встрече с Толстым, пользуются этой схемой (см. главу 1 настоящей монографии). Но есть и новый момент — завуалированная критика Толстого, неприятных свойств его натуры (тяжкая для обычного человека требовательность, «давящая сторона характера», педантизм), которая, впрочем, подается предельно вежливо: он слишком велик.

Похожее отношение к Толстому (отношение школьника, ученика, подмастерья к взрослому мастеру) Бунин подчеркивает и у Чехова (в более поздних воспоминаниях). Близко сойдясь с Чеховым в начале 1900-х гг., Бунин много говорил с ним о Толстом. Интересно, что во время длительного пребывания Толстого в Крыму в 1901–1902 гг. Чехов посещал его, а Бунин, регулярно наезжавший в Крым, не побывал у Толстого ни разу. В этом контексте особо выделяется день 12 сентября 1901 г., когда Чехов уговорился встретиться с Буниным, но накануне известил его запиской о том, что увидеться не сможет, так как приглашен к Толстому в Гаспру. Вечером того же дня Бунин посетил Чехова, чтобы послушать о визите к Толстому (*Летопись 1*, 431). Вся эта череда событий изложена в воспоминаниях Бунина о Чехове.

Что же касается критики Толстого, то тут, возможно, следует обратить внимание на само строение интервью. Интервьюер говорит об оттенке неприязни в голосе Бунина и предполагает, что эта неприязнь сродни мнениям, выраженным в новейших книгах о Толстом: Д.С. Мережковского («Лев Толстой и Достоевский», выходила в 1900–1902 гг.) и Льва Шестова («Добро в учении гр. Толстого и Ницше (философия и проповедь)», 1900 г.). Сам Бунин опровергает это предположение, предлагая более нейтральное толкование своих слов. Однако книги названы, читателям «Одесских новостей» они хорошо известны. И слова о «требовательности» Толстого, которые говорит Бунин, коррелируют с этими книгами.

---

[11] *Чуковский К.И.* Наши гости // Одесские новости. 1902. 28 декабря. № 5843. С. 3 (перепечатано: *ЛН–84*. Кн. 1. С. 360–361).

«Требует» и «давящая сторона характера» (как и неприязненный тон) хорошо ложатся на схему рассуждений Льва Шестова[12], который утверждает: «Уже теперь, не дочитывая статьи о переписи, можно предсказать, чем она окончится. Человек, которому так *нужно* быть добродетельным — так или иначе окажется правым перед собою и пред всеми. Добро уже придет к нему, он *приведет* его к себе, хотя бы для этого пришлось лишить добра всех людей»[13]. Эти фразы завершают предпоследний абзац третьей главы, которую философ посвящает обсуждению «Мыслей, вызванных переписью в Москве» (под таким заглавием статья «О переписи в Москве» была напечатана в 12-томном собрании сочинений Толстого). Как помним, за несколько лет до этого Бунин вместе с Е.М. Лопатиной пытался повторить маршрут Толстого по московским трущобам.

Интересно, что возвращающееся к Бунину критическое отношение к Толстому[14] распространяется не только на морально-общественные, но и на собственно литературные темы. Показателен его ответ на вопрос газеты «Новости дня», приуроченный к 25-летию со дня смерти Н.А. Некрасова:

> Я очень люблю Некрасова и часто перечитываю его с большим удовольствием. Это большой и яркий талант: возьмите хотя бы некрасовский «Мороз, Красный нос» — какое это ослепительное великолепие! Как хороши в нем картины русской природы, как пленительны образы русской женщины. Я положительно удивляюсь, как Толстой, этот великий художник, почти со сладострастьем изображающий картины пластичного мира — вспомните, например, его описание царскосельских скачек, — не оценил поэтического дарования Некрасова. После Пушкина и Лермонтова, Некрасов не пошел за ними, а создал свою собственную поэзию, свои

---

[12] Бунин еще не знает, что через пять лет, женившись на В.Н. Муромцевой, он станет дальним родственником философа со стороны жены: Лев Шестов (Л.И. Шварцман; 1866–1938) в 1896 г. женился на Анне Елеазаровне Березовской (1870–1962), двоюродной сестре Н.А. Муромцева, отца Веры Николаевны. В дальнейшем, особенно в парижской эмиграции, между семьями Буниных и Шестовых сложатся приятельские отношения. В эти годы Бунин питал серьезный интерес к сочинениям Льва Шестова. Тесное общение Бунина с Мережковским тоже начнется только в эмиграции. И Шестов и Мережковский цитируются в «Освобождении Толстого».

[13] *Шестов Л.* Добро в учении Л. Толстого и Ницше (Философия и проповедь) СПб: Шиповник, [1911]. С. 45–46 (*Шестов Л.* Собр. соч. Т. 2). Выделено автором.

[14] В юные годы (недолгий период народнических «убеждений») Бунин позволял себе критически высказываться о Толстом, однако в период толстовского «послушания» критическое отношение сменилось безусловным пиететом. В толстовском кругу личность и творчество Толстого воспринимаются как величины абсолютные, о Толстом можно было говорить исключительно с восхищением (подробнее об этом см. главу 1). Бунин усвоил такое отношение к Толстому и в течение нескольких лет ему следовал. В начале 1900-х гг. его высказывания о Толстом, как видим, приобретают более свободное звучание.

> ритмы, свои созвучия, свой тон — между тем, как и Ал. Толстой, и Майков, и Полонский творили под влиянием Пушкина. По моему мнению, Некрасов далеко еще не отжил своего времени; и не скоро еще потеряет интерес, так как это был искренний и настоящий художник[15].

Говоря о том, что Толстой просмотрел в Некрасове, Бунин отвечал на вопрос редакции газеты, который был вызван предисловием Толстого к роману Вильгельма фон Поленца «Крестьянин» (издательство «Посредник» выпустило русский перевод романа в начале 1902 г.):

> На моей памяти, за 50 лет, совершилось это поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики. Проследить можно это понижение по всем отраслям литературы, но укажу только на некоторые, более заметные и мне знакомые примеры. В русской поэзии, например, после Пушкина, Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается) поэтическая слава переходит сначала к весьма сомнительным поэтам Майкову, Полонскому, Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину, а потом уже все мешается, и являются стихотворцы, им же имя легион, которые даже не знают, что такое поэзия и что значит то, что они пишут и зачем они пишут (*Т* 34, 274–275).

Отметим, что Бунин спорит не только с несправедливой оценкой Некрасова, но вступается и за поэтов-современников А.К. Толстого, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского (неудивительно, что он пропускает в этом списке С.Я. Надсона, которым увлекался в ранней юности, а затем стеснялся этого увлечения; промолчал Бунин и об А.А. Фете, к которому, по-видимому, в эти годы питал разнородные чувства).

Эти два развернутых высказывания (интервью и ответ на анкету), датированные самым концом декабря 1902 г., весьма значимы, поскольку свидетельствуют о самостоятельности литературных суждений Бунина. У него появляются собственные критерии историко-литературной значимости тех или иных авторов, на основании которых он публично вступает в полемику с самыми авторитетными мнениями, включая толстовские.

Эти высказывания многое объясняют и в том странном отношении, которое можно отметить у Бунина к новейшему творчеству Толстого рубежа XIX–XX веков. Так, с марта 1899 г., когда в журнале «Нива» начали публиковать

---

[15] *Бунин И.А.* [Ответ анкету «Отжил ли Некрасов?»] // Новости дня. 1902. 27 декабря. № 7023 (перепечатано: *ЛН–84*. Кн. 1. С. 359).

новый роман Толстого «Воскресение», вся читающая Россия обсуждала его с большим энтузиазмом. Друг Бунина писатель Н.Д. Телешов дважды пытался в своих письмах обсудить с Буниным новое произведение. Роман начали печатать 13 марта, уже 14 марта 1899 г. Телешов писал другу: «Вчера вышла “Нива” с романом Толстого. Прошу тебя, обрати внимание на начало. Весна описана изумительно, и переход к острогу великолепен»[16]. Бунин ответил Телешову 18 марта, но эту тему не поддержал: в письме нет ни слова о новом романе Толстого. Вторую попытку поговорить о «Воскресении» Телешов предпринял в письме от 11 августа. Призывая Бунина писать и писать, он приводит в пример Толстого: «Взгляни на толстовский роман: гнет свою линию, а все умники-публицисты с их претензиями — отходи к стороне и помалкивай, потому что — великан идет!»[17]. Ответ Бунина не известен. По-видимому, Бунин либо вовсе не прочитал в 1899 г. «Воскресение», будучи занят другими делами, либо — что вероятнее — был неприятно поражен его содержанием. Молчание в ответ на реплики Телешова весьма показательно[18].

В этом контексте представляет особый интерес и тот факт, что нам совершенно неизвестно, как реагировал Бунин в феврале 1901 г. на «Определение и послание святейшего Синода о графе Льве Толстом». Единственное свидетельство на сей счет принадлежит В.Н. Муромцевой-Буниной в написанной более чем полвека спустя «Жизни Бунина». Автор ограничивается общими словами о том, что для Бунина, как и для всей России, это стало «большим потрясением»[19].

Возможно, именно в этом контексте (как еще одну иллюстрацию возможного критического отношения к Толстому) следует понимать и письмо Бунина С.П. Боголюбову от 3 января 1909 г. В нем Бунин просит вычеркнуть некий эпиграф из Толстого[20] во втором томе собрания его сочинений, находящийся на 118 странице верстки: «пусть 118 стр. будет чистая» (*П 2*, 98). Речь идет о вто-

---

[16] Переписка [И.А. Бунина] с Н.Д. Телешовым. 1897–1947 / предисл. и публ. А.Н. Дубовикова // *ЛН–84*. Кн. 1. С. 484.

[17] Там же. С. 496.

[18] Интересно, что еще один корреспондент Бунина — Н.П. Эспозито, писавшая Бунину в 1902–1903 гг., в последнем своем письме упоминала новый роман Толстого в ином контексте, противопоставляя новейшее модернистское искусство Бунина позднему Толстому: «Прочла “Манфреда” и “Каина” и мне было приятно их читать, и во мне опять проснулась любовь к демонам, и я и лермонтовского прочла... Нравится ли вам “Воскресение” Толстого? Меня оно очень интересует, но Толстой пишет не для меня» (цит. по публикации: *Афонин Л.Н.* О происхождении рассказа «Неизвестный друг» // *ЛН–84*. Кн. 2. С. 418; см. также: *Летопись 1*, 509). Ответы Бунина на письма Эспозито не сохранились.

[19] *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина… С. 194.

[20] Не до конца ясно, из творчества какого именно Толстого был взят эпиграф. Теоретически возможен был эпиграф из произведения А.К. Толстого, но, вероятнее, речь все-таки шла о Л.Н. Толстом.

ром издании второго тома собрания сочинений Бунина (включающем «Листопад» и стихотворения 1889–1902 гг.), которое вышло в товариществе «Знание» в 1909 г.[21] Со 117 страницы этого издания начинается раздел «Новые стихотворения. 1901 г.» (во многом повторяющий книгу «Новые стихотворения», изданную в 1902 г.). Страница 117 — шмуцтитул, его оборот, страница 118, оставлена пустой, на 119-й странице напечатано первое стихотворение раздела «Ночь и день». Какую цитату в качестве эпиграфа предполагалось поместить на странице 118, нам неизвестно. Ясно лишь, что это был эпиграф ко всему разделу тома «Новые стихотворения» (если бы он был предпослан стихотворению «Ночь и день», то располагался бы в верстке на той же странице, что и стихотворение, то есть на странице 119). В отдельном издании «Новых стихотворений» (1902) никакого эпиграфа не было, сборник сразу открывался стихотворением «Ночь и день»[22]. В первом издании второго тома собрания сочинений (1903) не было деления стихотворений на разделы, не было и шмуцтитулов[23]; после стихотворения «Мать» (замыкающего предыдущий сборник Бунина «Листопад», 1901) сразу следовало стихотворение «Ночь и день», изначально открывавшее сборник «Новые стихотворения»[24]. Таким образом, позволительно предположить, что во втором издании Бунин сначала предложил какой-то эпиграф к «Новым стихотворениям», который, по зрелом размышлении, был им снят на этапе чтения верстки. У нас крайне мало информации для любых серьезных суждений по этому поводу. Пока не обнаружено никаких дополнительных сведений (например, верстки этого тома), исследователю остаются лишь догадки. Вставка эпиграфа из Толстого и последующий отказ от него могли быть связаны с какими-то сиюминутными соображениями, но могли быть вызваны и особым отношением Бунина к творчеству Толстого. Стихотворение «Ночь и день» — один из важных текстов Бунина, раскрывающих личное бунинское восприятие толстовских тем на рубеже веков (см. об этом ниже в настоящей главе).

Почтовые контакты Бунина с Толстым в этот период остаются крайне редкими и вновь, как и в ранний период бунинского творчества, носят односторонний характер: об ответах Толстого на письма Бунина ничего не известно. В начале марта 1897 г. Бунин сообщал С.Т. Семенову, что отправил Толстому свой первый прозаический сборник «“На край света” и другие рассказы» (*П 1*, 236). Следов этой книги в библиотеке Толстого не зафиксировано (*Летопись 1*, 243). Точно так же в первые годы литературной работы Бунин отправил Толстому «Деревенский эскиз» — не слишком надеясь на прочтение и на ответ. В 1899 г. он отправляет Толстому только что вышедший перевод «Песни

---

[21] *Бунин И.А.* Стихотворения. Том II. 1889–1902 г. 2-е изд. СПб: Т-во «Знание», 1909.

[22] *Бунин И.А.* Новые стихотворения. М.: О.О. Гербек, 1902. С. 6–7.

[23] При этом во 2-м издании автором было изъято 10 стихотворений, которые входили в 1-е издание.

[24] *Бунин И.А.* Стихотворения. Том II. СПб: Т-во «Знание», 1903. С. 148–149.

о Гайавате» с надписью: «Льву Николаевичу Толстому с чувством искренней любви и глубокого уважения»[25]. 14 марта 1901 г. Бунин написал свое последнее письмо Толстому. Это текст исключительно делового содержания. От имени редакции «Одесских новостей» Бунин самым вежливым образом («<…> были бы счастливы, если бы хоть страничку прислали нам»; *П 1*, 365) просил Толстого принять участие в сборнике в пользу голодающих на юге. Толстой не отозвался, да и сам сборник не был выпущен. Наконец, 28 августа 1908 г., в 80-летний юбилей Толстого, Бунин отправил приветственную телеграмму: «Бесконечнолюбивый <вероятно, опечатка. — *Е.П.*> Лев Николаевич, приветствую Вас всей душой моей. Иван Бунин» (*П 2*, 84).

Кое-что из творчества Бунина Толстому было знакомо. В воспоминаниях А.Б. Гольденвейзера приведено мнение Толстого о рассказе «Свиданье» (авторская дата и первая публикация: 1902; начиная со второго издания в 1907 г. печатался под заглавием «Счастье», в эмигрантской редакции 1926 г. — под заглавием «Заря всю ночь»):

> — Сначала превосходное описание природы, — идет дождик, — и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего. А потом девица — мечтает о нем <…>, и все это: и глупое чувство девицы и дождик, все нужно только для того, чтобы Б<унин> написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели: когда писать нечего, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну шел дождик, мог бы и не идти с таким же успехом»[26].

Этот отзыв, относящийся к июлю 1902 г.[27], свидетельствует о принципиальном непонимании Толстым художественной идеи Бунина[28], как и самих принципов модернистского искусства[29]. Во-первых, это рассказ о чем угодно, только не о погоде. Во-вторых, девица совсем не «мечтает о нем»: весь сюжет рассказа построен на том, как героиня, уже свыкшаяся с мыслью о соседе-женихе, теряет к нему всякий интерес.

---

[25] *Бабореко А.К.* Бунин. Жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 46.

[26] *Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого (Записки за пятнадцать лет). М., 1922. Т. 1. С. 89.

[27] См.: *Летопись 1*, 471 (точная датировка события: 25 июля).

[28] Как ни странно, в 1907 г. рецензент Б.Г. в отзыве на сборник «Корабли» (М., 1907), в котором во второй раз был опубликован этот рассказ (под новым заглавием «Счастье»), отнес его к чеховской и толстовской традициям: «Особняком стоит рассказ Бунина “Счастье”. Большой художник с определившейся индивидуальностью, он корнями своими уходит к Чехову и даже к Толстому» (*Б.Г.* [Рец. на сб.: Корабли. М., 1907] // Перевал. 1907. № 5. С. 52–53).

[29] Ю.В. Мальцев упоминает этот рассказ в числе наиболее модернистских текстов Бунина, трактующих об онтологической невозможности счастья и трагизме как основе человеческой жизни (*Мальцев Ю.В.* Иван Бунин… С. 118).

Героиня переживает ночное свидание[30] (как бы замещающее возможное, но не состоявшееся свидание с женихом) с природным миром, развернутым вокруг нее. Ее спальня соседствует с гостиной, полной звуков сада и летнего ночного света: «Это не разлучало меня с соловьями и зарей»[31]. Размывание грамматической точности (слово «это» как бы повисает в воздухе, не будучи связанным ни с одним словом из предшествующих предложений) размыкает причинно-следственные связи и впускает в текст мистику ночи. В некий таинственный момент, когда время останавливается и наступает полная тишина, насыщенная только соловьиным пением (предвосхищение оксюморона Блока, который появится лишь в следующем десятилетии), героиня выходит в сад, полный невидимой жизнью:

> В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, с которой я не спускала глаз <здесь логико-грамматическое смещение возникает вторично и усиливает мистические смыслы: фигуры «чудятся», то есть в реальности их нет, но девушка не спускает с них глаз — по воле грамматики фигуры материализуются. — *Е.П.*>, сердце у меня замирало от нервного волнения, и, когда я наконец вошла с бьющимся сердцем и расширенными глазами в темноту сиреневой беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко возьмет меня в объятья![32]

И происходит подлинное свидание — без жениха, но со слезами и поцелуями. Некая сила (мистической любви, подлинной жизни, полноты бытия) касается героини, и ни один мужчина на земле не может заменить этого чувства:

> И еще долго близкое и неуловимое веяние счастия чувствовалось вокруг меня, — то нечто страшное и большое, что в тот или иной момент встречает почти всех нас на пороге жизни. Оно вдруг раскрылось предо мной и коснулось меня и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, впрочем, что все те нежные и сладкие слова, которые раздавались в моей душе и к которым я прислушивалась сама, вызвали наконец на мои глаза слезы. Прижавшись к стволу тополя, я тихо целовала мокрую ветку сирени, ловила, как чье-то нежное утешение, слабо возникающий и замирающий лепет осины и была почти счастлива сознанием своей молодости и одиночества и своими медленными, беззвучными слезами...[33]

---

30 Полный текст рассказа в первой его редакции см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

31 *Бунин Ив.* Свиданье // Русская мысль. 1902. № 7. С. 164.

32 Там же. С. 166.

33 Там же. С. 167.

По одному намеку в самом начале сцены ночного свидания, можно судить о том, что девушка не просто наутро отказала жениху, которого в начале ночи не без приятности представляла уже своим мужем, — она потеряла интерес к замужеству и земной любви; стала не то чтобы Христовой невестой, а невестой разлитой в мире красоты. Намек этот звучит следующим образом: «<…> как странно, что за всю молодость я пережила только одно вымышленное свидание!»[34]. Слово «одно» связано со словом «свидание», а не со словом «вымышленное», как может показаться при невнимательном чтении. Это единственное свидание, которое было в ее жизни: до этой ночи ничего такого не было, после этой ночи ничего такого уже не нужно.

Вот этот смысл, связанный с идеями нового романтизма и «новой мистикой», которую В.М. Жирмунский через десятилетие определит как «живое чувство присутствия бесконечности в конечном»[35], и не был прочитан Толстым. В своей книге Жирмунский дает и другой важный комментарий к чтению мистической литературы: «Мир явлений полон тайны, и, классифицируя эти явления в общих понятиях, соединяя и разделяя их по законам логики и освещая светом разума, мы слишком часто теряем в них самое важное, индивидуальное, невыразимое на языке нашего мышления»[36]. Именно так, по законам логики и освещая светом разума, прочитал новое произведение Бунина Толстой. Не увидев самого важного.

Мистическое миросозерцание вообще не было свойственно Толстому. Но здесь проявляется и более значительная мировоззренческая разность между Буниным и Толстым, на которую указывала О.В. Сливицкая. Бунин, полагает она, реализует тенденцию, едва намеченную у Толстого, — разрушает традиционную для всей предшествующей литературы антропоцентрическую модель: «Если Толстой расширил единичную ситуацию до “срезов общей жизни”, то Бунин вывел ее за пределы сугубо человеческих проблем — на просторы Универсума»[37]. В данном случае (как и во многих других последовавших за этим произведениях) Бунин позволил героине прозреть в летней ночи божественный смысл, ощутить (на чувственном уровне) философскую идею (очень близкую В.С. Соловьеву): любовь к тому, что выше всякой человеческой любви. Иными словами, освободить собственную душу от антропологической приземленности, от клетки трех измерений, от первородного греха. Широта возможных объяснений определяется спецификой бунинского модернизма: в отличие, например, от символистов, он многого не договаривает; не отсылает

[34] Там же. С. 166.

[35] *Жирмунский В.М.* Немецкий романтизм и современная мистика. СПб: А.С. Суворин, 1914. С. 12.

[36] Там же. С. 8.

[37] *Сливицкая О.В.* Сюжетное и описательное в новеллистике И.А. Бунина // Русская литература. 1999. № 1. С. 97.

к конкретной философской традиции или мифу, а ограничивается традиционным словом, лишь слегка меняющим значение в силу необычности грамматической конструкции, и не превращающимся, в конечном счете, в символ[38].

Оценка Толстого, данная этому рассказу, касается не столько Бунина, сколько всего нового искусства. В другом месте своих воспоминаний Гольденвейзер записывает еще одно суждение Толстого о современной литературе вообще:

> — Теперь пишут книги люди, которым нечего сказать. Читаешь и не видишь того, кто писал. Всегда они стараются сказать какое-то «последнее слово». Они закрывают собой настоящих писателей и говорят, что те устарели. Это какое-то нелепое понятие — устареть. <…> Такие писатели последних слов приносят огромный вред, отучая от самостоятельного мышления[39].

Возможно, Толстой увидел в рассказе Бунина это ненавистное ему «последнее слово». Или, скорее, решил, что писателю просто «нечего сказать». Собственно, суждение это (за исключением высочайшей оценки первого абзаца, пейзажного) мало отличается от многочисленных уничижительных оценок, которые Толстой давал очень многим писателям, особенно не понятным ему модернистам.

Важнее те редкие похвалы Толстого, когда ему нравится точность бунинского слова. М. Горький приводит слова, сказанные о стихотворении Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет…» (авторская дата и первая публикация: 1898). Толстой не вспомнил первой строчки, но выделил два стиха:

> — Недавно прочитал где-то стихи:
> Грибы сошли, но крепко пахнет
> В овраге сыростью грибной….
> — очень хорошо, очень верно![40]

Известен и резкий отзыв Толстого о поэзии Бунина. Д.П. Маковицкий зафиксировал в дневнике чтение Толстым газеты «Утро России» за 25 декабря 1909 г.:

---

[38] Здесь наша точка зрения близка идеям В.А. Келдыша, называющего такую стилистику неореалистической (*Келдыш В.А.* О «серебряном веке» русской литературы… С. 202).

[39] *Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого. Т. 1. С. 164.

[40] *Горький М.* Лев Толстой // *Горький М.* Полн. собр. соч. Худож. произведения: в 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 304. «Летопись жизни и творчества И.А. Бунина» датирует этот отзыв 8 октября 1900 г. (*Летопись 1*, 370–371). Стихотворение было впервые опубликовано в журнале «Мир Божий» (1898. № 10), до 1900 г. перепечатывалось в газете «Южное обозрение» (1899. 21 ноября) и в сборнике Бунина «Стихи и рассказы» (М., 1900) под заглавием «На охоте».

Л.Н. просил Александру Львовну принести из его комнаты газету «Утро России» от 25 декабря.

— Вся газета нынешняя просто дом сумасшедших, ложь такая, этот язык ужасный. <…> <следует отзыв о рассказе Ф. Сологуба «Красногубая гостья» — *Е.П.*>. И Л.Н. прочел еще стихотворение «Разлука». Его нельзя понять!

Л.Н.: В кабаке пьяные мужики, ругающиеся матерщиной, говорят, несомненно, лучше этого[41].

Мемуарист спутал название: речь идет о стихотворении «Прощание» («Поблекший дол под старыми платанами…»; датируется 1903 или 1907 г.; впервые опубликовано в упомянутой газете без названия). Оно, действительно, стилизовано под модернистскую поэзию с ее условной лексикой и экзотическими эпитетами. Толстой, разумеется, не знал, что это не характерный для Бунина текст.

Собственно, Толстой не выделяет Бунина из молодого поколения современной литературы. Для того, чтобы увидеть специфику Бунина, аккуратную своеобычность его модернистских интенций и укорененность его искусства в изобразительности, ориентированной на XIX в., нужно смотреть на литературный процесс в деталях. Точка зрения Толстого была слишком общей.

Бунин, напротив, смотрит на Толстого профессиональным взглядом. Толстой для него по-прежнему — великий мастер, искусство которого так велико, что не всегда можно понять, как это «сделано».

Отметим, что эпоха рубежа веков предложила новое восприятие русской классики. Манифест русского символизма «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», написанный Д.С. Мережковским в самом начале 1890-х гг., был, по сути, радикально новой версией истории русской литературы XIX в. Приступив к переосмыслению (еще далеко не завершенного) творчества Л.Н. Толстого уже в начале этой работы, Мережковский закончил его десять лет спустя большим сочинением «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902). Показательно, что в цитировавшемся выше интервью к этой книге Мережковского Корней Чуковский (в те годы начинающий критик и журналист) добавил книгу совершенно другого метода — «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше: Философия и проповедь» (1900) Льва Шестова. В ней личность и творчество Толстого разбирались с точки зрения еще только нарождающегося экзистенциализма. Для Чуковского эти книги стоят рядом: они знаменуют собой новое отношение к Толстому[42].

---

[41] *Маковицкий Д.П.* У Толстого. 1904–1910: Яснополянские записки. Кн. 4. М.: Наука, 1979. С. 142–143. (Литературное наследство; т. 90).

[42] Символистское (и шире — модернистское) перечитывание Толстого в начале XX в. — очень сложный процесс. Оно занимает не менее двух десятилетий и требует специального рассмотре-

При перечитывании речь идет не столько о критике толстовского учения, сколько о месте классика в новой парадигме. Мережковский объявляет Толстого «тайновидцем плоти», не признавая, в общем и целом, как мыслителя и проповедника. Толстой, с точки зрения Мережковского, имел возможность, но не стал настоящим Учителем. Помешала ему «неповоротливая тяжесть, грузность ума»[43]. Этот тезис звучит в унисон (или, по крайней мере, может восприниматься в одной системе значений) словам о «требовательности» Толстого и его давящей манере, которые произнес Бунин, отвечая на вопрос К. Чуковского, в интервью 1902 г. Впрочем, отмечая одно и то же качество толстовской натуры (стремление к упрощению, помноженное на педантизм), писатели упрекают Толстого в разном. Мережковскому (как и Тенеромо, который предлагал сделать из толстовства мощное общественное движение[44]) хотелось бы видеть Толстого-пророка, каковым Толстой быть не желал. Бунину же, вероятно, напротив, хотелось, чтобы Толстой стал более человечным, более открытым и менее педантичным. Именно на отсутствии педантизма в исполнении сформулированных им же заповедей будет наставить Бунин в книге «Освобождение Толстого», рисуя духовный портрет великого писателя.

В религиозных рассуждениях Толстого Мережковский местами видит откровенную пошлость, местами — попытку созидания особой версии христианства, в которой отсутствует Бог (критики Толстого из XIX в. таких формулировок не допускали: обычно говорили о неверном понимании христианской традиции, не православном исповедании веры, но в безбожии и пошлости не упрекали практически никогда). Система человеческой нравственности, на которой сосредоточен Толстой, продолжает Мережковский — это лишь сфера применения веры и божественной мудрости. Пытаясь отождествить религию и нравственность, Толстой подменяет понятия, переворачивая причину и следствие: «Не человеческая нравственность освящается Богом, а Бог освящается человеческою нравственностью; не добро для Бога, а Бог для добра»[45].

Здесь пафос Мережковского смыкается с пафосом Льва Шестова, который строит свое рассуждение на том, что Толстой подменяет поиск Бога поиском добра, а поиск добра — поиском собственного успокоения перед лицом греха, несчастья и смерти.

ния. Здесь речь идет лишь о двух точках зрения (представляющих разные философские позиции), которые маркировали самое начало этого процесса. Кроме того, эти две книги, безусловно, попали в поле зрения Бунина. Если даже он не читал их до 1902 г., то обязательно ознакомился с их содержанием после выхода в свет интервью К. Чуковского.

[43] *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский (Религия) // *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч.: [в 24 т.]. М.: И.Д. Сытин, 1914. Т. 11. С. 5.

[44] См. об этом в главе 1 настоящей монографии.

[45] *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский (Религия) // *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч.: [в 24 т.]. М.: И.Д. Сытин, 1914. Т. 11. С. 207.

Эту центральную идею Мережковский и Шестов транспонируют с проповеднических текстов на тексты художественные. Умаление христианства до прагматического употребления, считает Мережковский, не может привести ни к утешению, ни к подлинной нравственности, поэтому Толстому приходится убивать Анну Каренину и выкручиваться в случае с весьма неубедительным воскресением Дмитрия Нехлюдова (обратим внимание, что идейный пафос романа «Воскресение», по нашему предположению, и для Бунина в те годы оставался довольно сомнительным[46]). Толстой более всего приближается к Богу живому, продолжает Мережковский, когда дает героям высказать свои предсмертные мысли (эта идея потом отразится и в «Освобождении Толстого»), в них моральный педантизм обращается диалектизмом подлинной веры. Что-то важное открывается и Андрею Болконскому и Анне Карениной в предсмертные минуты, но осознать эти откровения Толстой не может. Его бог — бог языческий:

> И добро есть зло, и любовь есть ненависть, и сладострастие есть жестокость. Нет Бога, нет Отца: Бог не «Он», а Оно — то «огромное, неумолимое», что «толкнуло ее в голову и потащило за спину» под колеса железной «машины». У такого Бога нет милосердия, а есть только железный закон правосудия, закон необходимости: «Мне отмщение, Аз воздам»[47].

Бога без милосердия, Бога железного закона Мережковский в эти годы считал одним из исторических искажений христианства. В романе «Смерть богов (Юлиан Отступник)» (журнальная публикация в 1895 г. под названием «Отверженный»; первое полное книжное издание: 1902) жестокий Бог, последовательно карающий за все совершенные грехи, присутствует в арианской ереси — государственной версии христианской веры времен действия романа (ему противопоставлен Пастырь Добрый из традиции раннего христианства). Таков же, по Мережковскому, и Бог Толстого.

В этом выводе он вновь совпадает с мнением Льва Шестова, формулирующим общий принцип, применяемый Толстым сначала к своим персонажам, а потом, в годы создания учения, и к жизни — своей и чужой. Шестов указывает на поразительную несправедливость, с какой Наташа Ростова и княжна Марья рассуждают о Соне (Наташиной подруге детства, у которой княжна Марья отняла жениха):

---

[46] По поводу «Воскресения» Бунин несколько раз высказался в частных записях эмигрантского периода. Наиболее определенно — в дневнике от 1 октября 1933 г.: «Прочел ⅔ «Воскресения» (вероятно, в десятый раз). Никогда так не ценил его достоинства (просто сверхъестественные в общем, несмотря на множество каких-то ожесточенных — парадоксов, что ли)» (*ЛН–110*, 2, 213). Отметим, что и Телешов в 1899 г. восхищался художественной стороной текста, умалчивая об идейных моментах.

[47] *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский (Религия) // *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч.: [в 24 т.]. М.: И.Д. Сытин, 1914. Т. 12. С. 235.

— Знаешь что, — сказала Наташа, — вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.

— Что? — с удивлением спросила графиня Мария.

— «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она — неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, — я не знаю; но у нее отнимется и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она *пустоцвет* (курсив гр. Толстого), как на клубнике.

Едва ли нужно говорить, что подчеркнутый «пустоцвет» и его объяснение <…> не только мнение Наташи и княжны Марьи <…>, но все же <…> всякому очевидно, что это мнение <…> есть и мнение самого автора «Войны и мира»[48].

Соня, комментирует философ, осуждена Толстым не потому, что она отступила от законов добра. Она не Анна Каренина, она не отступала. В этике Толстого, по мнению Шестова, есть некий «закон судьбы», который довольно жестоко распределяет меж людьми людское счастье. Такую же «беспощадную суровость к слабым и несчастным»[49] Шестов находит и в «Анне Карениной», и в «Мыслях, вызванных перепиской». Именно эта суровость и позволяет ему сблизить этику Толстого с этикой Ф. Ницше, хотя во многих других моментах эти мыслители совершенно расходятся.

Нам особенно интересно это наблюдение Шестова, поскольку Бунин, по всей видимости, если не разделял его полностью, то тоже задумывался над ним. Ницшеанская этика в эти годы становится очень модной. Сопоставление двух этических систем у Шестова кажется парадоксальным, но убедительным. В некоторых текстах Бунина, как увидим ниже, ставятся похожие вопросы.

Что же касается «тайновидца плоти», Бунин, вероятно, с таким суждением бы не согласился. Он мог бы, вместе с Мережковским, назвать писателя «тайновидцем», но не «плоти», а «живой жизни» (как в 1910 г. сформулировал в своей книге В.В. Вересаев[50]). Бунин ценит лишь такое искусство, в котором есть «письмо с натуры», живописная картина[51]. И в искусстве такого рода Толстой остается для него единственным высочайшим авторитетом. Если пафос книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» заключается в предчув-

---

48 *Шестов Л.* Указ. соч. С. 24–25.

49 Там же. С. 32.

50 *Вересаев В.В.* “Да здравствует весь мир!” (О Льве Толстом) // *Вересаев В.В.* Живая жизнь. М.: ИПЛ, 1991. С. 59–189.

51 Живописность и (глубинную) автобиографичность можно рассматривать как основополагающие моменты всего творчества Бунина. См. об этом: *Пономарев Е.Р.* «Письмо с натуры»… С. 148–167. В этом он типологически близок Толстому.

ствии появления писателя, который будет выше Толстого (примирит правду Толстого с правдой Достоевского), то для Бунина лучше Толстого писать невозможно.

Но Толстой-человек остался для Бунина закрытым. Периодом максимального сближением с Толстым стал для Бунина краткий толстовский период его жизни (во-первых, 1894 г. — год знакомства с Толстым и полтавский год «толстовского послушания», во-вторых, первая половина 1895 г., когда Бунин, по всей видимости, нередко заходил в «Посредник»). В дальнейшем, как мы видели, Толстой и Бунин почти не встречались: Толстой специально не приглашал Бунина, а Бунин, по-видимому, тоже не искал общества Толстого. Последний разговор между ними (как и все предшествовавшие разговоры — случайные, на ходу, поверхностно-вежливые) произошел почти за десять лет до смерти Толстого — в декабре 1900 г. они случайно встретились на Арбате.

Все прочие контакты можно назвать «непрямыми». 5 ноября 1902 г. Бунин в числе других известных литераторов присутствовал на премьере «Власти тьмы» в МХТ. Можно предположить, что пьеса Толстого была ему интересна (в рассказе «Астма» обнаруживается реминисценция из нее).

Показательно, что с 1902 по 1908 г. даже «непрямых» биографических пересечений с Толстым мы практически не находим. Лишь в последние годы жизни Толстого «непрямые» связи усиливаются.

В 1908 г. Бунин был избран членом московской группы «Комитета почина по организации чествования Толстого» по случаю его восьмидесятилетия. Приглашение на заседание по вопросу об образовании в Москве юбилейного комитета, которое состоялось 27 февраля 1908 г. на квартире А.И. Сумбатова-Южина, содержится в его письме Бунину от 25 февраля[52]; предварительное организационное собрание комитета состоялось в Московском Литературно-художественном кружке 9 марта (типографское приглашение отправлено Бунину 29 февраля[53]), на нем Бунин был избран членом временного бюро по организации чествования[54]; организационное собрание комитета прошло 15 марта в Московском Литературно-художественном кружке (Бунина на нем не было, ему отправили уведомление об избрании[55]), первое собрание комитета состоялось 19 марта в Литературно-художественном кружке (был ли на нем Бунин, точно не известно, но в этот день он был в Москве, *Летопись 1*, 729); второе собрание было назначено на 27 марта (Бунину отправлено извещение об этом[56]). Однако это собрание не состоялось, поскольку Толстой попросил

[52] РГАЛИ, Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 1 (см. также: *Летопись 1*, 724).

[53] РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 349. Л. 1 (см. также: *Летопись 1*, 725–726).

[54] К чествованию 80-летия гр. Л.Н. Толстого // Русские ведомости. 1908. 11 марта. № 59. С. 4. (см. также: *Летопись 1*, 727).

[55] РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 349. Л. 2 (см. также: *Летопись 1*, 729).

[56] ОГЛМТ. Ф. 14. № 2939 оф. (см. также: *Летопись 1*, 731).

не устраивать никаких торжеств в его честь, и Комитет известил о прекращении деятельности (*Летопись 1*, 731). На последнем заседании Комитета было предложено организовать Общество имени Л.Н. Толстого. Известно приглашение Бунину участвовать в работе Общества, присланное М.А. Стаховичем. Известен и ответ Бунина, в котором он соглашается работать в Обществе «с величайшим удовольствием» (хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого[57], впервые опубликован в статье А.С. Мелковой[58]). Все это трудно назвать чем-то особым. Такие биографические моменты совершенно обычны для любого крупного писателя этого периода.

Отметим также историю подготовки сборника «Друкарь» (1910), который редактировал друг Бунина Н.Д. Телешов. В письме от 1 августа 1909 г. Бунин настоятельно советовал ему обратиться к Толстому: «<…> *горячее же всего советую* и прошу *съездить* к Толстому: цель сборника хорошая, не возьмет гонорар — пожертвуйте его на еще более хорошее дело, — убежден, что что-нибудь да даст!» (*П 2*, 121; выделено автором. — *Е.П.*). Бунин оказался прав: сборник «Друкарь» открывался публикацией Толстого «О жизни и смерти». И здесь ситуация очень похожа: Бунин не берет на себя обращение к Толстому (как мог бы сделать человек близко знакомый), он лишь советует редактору официально обратиться к Толстому.

1 ноября 1909 г. Бунин был избран почетным академиком по разряду изящной словесности (*Летопись 1*, 837). Толстой получил это звание ранее, в 1900 г. Таким образом, Бунин около года (до смерти Толстого) состоял в Академии вместе с ним. Этот факт в дальнейшем (в эмиграции) Бунин будет использовать в символическом значении[59].

В целом, Бунину так и не удалось стать для Толстого духовно близким человеком. Это особенно бросается в глаза на фоне тесного общения Бунина с другим кумиром юности — А.П. Чеховым. С Чеховым Бунин сошелся легко и быстро стал близким другом; его как родного любили мать и сестра писателя. По-видимому, психологическая разность между Буниным и Толстым, разное понимание обоими целей и смысла творчества (не случайно Бунин в эти годы молчит и о написанной в 1897 г. работе Толстого «Что такое искусство?», в эмиграции же он не раз весьма резко выскажется о ней[60]), а также самостоя-

---

[57] ОР ГМТ. Ф. 302. Оп. 3. Ед. хр. 121.

[58] *Мелкова А.С.* Толстой и Бунин (По материалам архива Л.Н. Толстого) // Бунинский сборник. Орел: Курский ГПИ и Орловский ГПИ, 1974. С. 266.

[59] См., напр., интервью, данное Буниным в Брюсселе в 1935 г. (после получения Нобелевской премии писатель ездил по европейским странам с лекциями и чтением своих произведений): *Dupierreux R.* Vieille Russie à Bruxelles. — Avec Ivan Bounine, prix Nobel 1933 // Le Soir. Bruxelles, 1935. 13 janvier. No. 13. P. 1–2.

[60] См., напр., дневниковую запись Бунина от 17 марта 1940 г.: «[Прочитал] Перечитал “Что такое искусство” Толст<ого>. Скучно, — кроме нескольких страниц, — неубедительно. Давно

тельность суждений Бунина (по-настоящему близкими Толстому людьми в эти годы были почти исключительно толстовцы-единомышленники) помешали духовной близости с Толстым. При том, что Бунин в дореволюционную эпоху легко сближался с совершенно разными людьми — и по характеру, и по литературным взглядам, и по идеологическим предпочтениям.

2. Системная перестройка бунинской поэтики: растворение идеологического, исчезновение толстовских сентенций[61]

К началу 1900-х гг. Бунин ощутил зрелость и самобытность. Он выработал собственный голос и перестал пародировать — в тыняновском значении термина — чужие стилистические системы[62]. В идейном плане этому соответствует процесс освобождения от чужих идеологических оценок (включая узнаваемые идеологемы народничества и толстовства), а в конечном счете — от идеологических оценок как таковых. За несколько лет творчество Бунина освобождается и от моралистического подтекста (еще ощущаемого в текстах второй половины 1890-х гг. — например, в «Тарантелле» или в «Без роду-племени»), и от любых общественно-значимых интенций. В.Я. Лакшин считал, что это связано с влиянием Чехова[63]. Нам кажется, что речь должна идти о более сложном процессе, связанном с общими тенденциями литературного творчества конца 1890-х — начала 1900-х гг., хотя чеховское отношение к литературе, безусловно, оказало на Бунина самое серьезное влияние.

Прозу Бунина начала 1900-х гг. характеризуют ослабление сюжетного повествования и появление рассказов-зарисовок, ограничивающихся одним ярким эпизодом: «Над городом» — рассказ о том, как здорово было в детстве взбежать на колокольню и насладиться громким колокольным звоном; «Надежда» — рассказ о впечатлении от вида большого парусного корабля в море; рассказы «Поздней ночью» или «Новый год» — о счастливой ночи, проведенной обычно ссорящимися супругами (любовниками) в необычном месте. Значительно сложнее, но структурно близко (чередование картин за окном железнодорож-

---

не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, — сколько прочел, какой труд проделал! — все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но и сам не сказал ничего путного» (*ЛН–110*, 2, 230).

[61] Материал этого раздела первоначально опубликован в виде журнальной статьи: *Пономарев Е.Р.* Системная перестройка поэтики И.А. Бунина в начале 1900-х годов. Трансформация идейного в философическое // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2025. Т. 24, № 2: Филология. С. 123–133. DOI 10.25205/1818-7919-2025-24-2-123-133.

[62] См. подробнее главу 2 настоящей монографии.

[63] *Лакшин В.Я.* Пять великих имен. С. 427.

ного вагона или чередование разных воспоминаний-впечатлений в сознании повествователя) построены «Новая дорога» и «Антоновские яблоки».

Новизна тематико-композиционных решений определяет постепенное освобождение текстов от общественно-значимых сентенций. Процесс перехода к «чистой художественности» занимает около трех лет (1900–1902) и протекает поэтапно. Поначалу морально-общественные оценки сохранялись дозированно и фрагментарно — как одно из возможных символических обобщений рассказанного жизненного эпизода. Затем они остались потенциальными намеками в отдельных мотивах. И после этого пропали совсем. При этом следует отметить, что от народнических сентенций Бунин отказался значительно быстрее, чем от толстовских.

На первом этапе системной перестройки бунинской поэтики сентенции еще сохраняются в тексте, но уходят в концовку рассказа — в качестве некоего структурно-обобщающего элемента (наподобие морали в басне). Этот процесс ярко виден в рассказе «Над городом» (авторская дата: 1900; первая публикация: 1902). Рассказ-зарисовка завершается прямой речью повествователя, жалеющего (в духе народнических мыслей дворянина Волкова из рассказа «Неожиданность» / «Вести с родины») друзей своего детства, не имевших возможности саморазвития и не принесших по этой причине пользы обществу: «Товарищи моих детских дней — где они? Видели ли хоть что-нибудь, кроме Епифани и Задонска? Принесли ли они людям хоть крупицу счастья? Пережили ли хоть несколько мгновений сильных и высоких дум и чувств?»[64]. Этот пассаж придавал пейзажному рассказу социальный оттенок, кажущийся инородным по отношению к остальному тексту, но сообщающий финалу некое «положительное значение» — в понимании критики того времени. Не случайно в 1915 г., готовя рассказ для Полного собрания сочинений, Бунин снял этот пассаж почти полностью, сохранив лишь риторический вопрос: «Товарищи моих детских дней, те, которым детство сулило так много, — где они?» (*ПСС* 2, 186). Рассказ приобрел тематическую однородность.

Вероятно, сознавая тематическую неровность финала, Бунин уже в первом варианте текста использовал интересный прием, как бы сглаживающий эту неровность. Проповедническая интенция появлялась не только в конце рассказа, но до того еще и в середине повествования; впрочем, там она скрыта метонимией, игрой словесных значений: «Теперь детство кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем <…>»[65]. С одной стороны, взбегая на колокольню, дети поднимаются над мещанским захолустьем в прямом смысле слова; с другой — действует и переносный смысл: они хоть на мгновение становятся выше

[64] *Бунин И.А.* Над городом // Журнал для всех. 1902. № 11. Стб. 1287.

[65] Там же. Стб. 1285.

обычных мещанских интересов. Эту сентенцию о мещанском захолустье (без финального пассажа меняющую функцию на создание семантической объемности) Бунин сохранил во всех вариантах рассказа.

Помимо социального, финал рассказа «Над городом» использует и религиозный подтекст. Рассказ завершается евангельской цитатой (Мф. 22: 32; Мк. 12: 27; Лк. 20: 37–38), придающей всему рассказанному загадочную многозначность: «<…> и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что “Бог не есть Бог мертвых, но живых”!»[66]. Оказывается, колокольный звон, вызывавший восхищение мальчишек, благовествует о живой душе, которая есть у каждого, даже если он в жизни своей не видел ничего, «кроме Епифани и Задонска». Если же вспомнить о евангельском контексте этой фразы, который был определенно известен большинству бунинских современников, то речь идет о воскресении мертвых и жизни вечной.

Евангельские цитаты не часто обнаруживаются в ранней прозе Бунина. Как правило, их появление связано со смыслами, близкими толстовству. В Евангелии фразе Иисуса о Боге живых предшествует ехидный вопрос, заданный саддукеями: чьей женой будет в вечной жизни женщина, побывавшая в земной жизни женой нескольких мужчин? Интересно, что эти вопрос и ответ особо выделены Толстым в трактате «В чем моя вера?»:

> «Что же касается того, что есть восстановление мертвых», говорит Он, возражая саддукеям, признающим одну земную жизнь и ничего, кроме плотской земной жизни, «то разве вы не читали того, что сказано вам Богом? В писании сказано, что Бог при купине сказал Моисею: «Я — Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Если Бог сказал Моисею, что Он Бог Иакова, то Иаков не умер для Бога, потому что Бог есть Бог только живых, а не мертвых. *Для Бога все живы.* И потому если есть живой Бог, то и жив тот человек, который стал в общение с вечно живым Богом.
>
> Против фарисеев Христос говорит, что восстановление жизни не может быть плотское и личное. Против саддукеев Он говорит, что, кроме личной и временной жизни, есть еще жизнь в общении с Богом (*Т* 23, 392. Выделено автором. — *Е.П.*).

Толстовское толкование этого евангельского эпизода было, вероятнее всего, хорошо известно Бунину. Можно предположить, что эту цитату он воспринял, в том числе, именно через толстовское ее толкование. Ведь беседы в кругу толстовцев (в 1893 и 1894 гг.) были едва ли не единственным религиозно-философским опытом в жизни молодого писателя[67].

---

[66] Там же. Стб. 1288; *ПСС* 2, 187.

[67] Можно было бы предположить, что Бунин каким-то образом воспринял и «соловьевство» через близкое знакомство с Е.М. Лопатиной (которая была хорошо знакома с семьей

Благодаря всем перечисленным ассоциациям финал рассказа звучит мощным аккордом, в котором соединяются, во-первых, тема долга интеллигенции перед народом и надежда на улучшение народной жизни; во-вторых, по-толстовски окрашенная идея «для Бога все живы»; в-третьих, общехристианское чувство «Бога живаго»; наконец, общелитературная метафора духовной жизни. В данном случае Бунин пытается силой пуанта искупить непривычную бессюжетность основного текста.

Но пуанты-сентенции быстро редуцируются в новой «импрессионистической» поэтике писателя. При этом первым делом из текстов уходят мотивы народнического происхождения и социальные смыслы, а смыслы обобщенно-религиозные, имеющие толстовское звучание, временно остаются.

Например, финал чуть более раннего рассказа «Поздней ночью» (авторская дата: 1899; первая публикация: 1901) — проблематика которого весьма далека от общественной:

> Она хотела взять всю вину на себя одну, старалась во всем оправдать меня, а я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Я говорил ей, что мы оба должны прощать друг друга, потому что злоба никогда не приносила радости. И, на мгновение возвратившись к искренности и нежности детства, мы вместе провели остаток этой ночи. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, которые вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье и радость и говорил нам о правде Вечной Тишины и Вечной Ночи, перед лицом которой, может быть, простятся все наши прегрешения: вольные и невольные[68].

Возвращение первоначальной силы любви после покаяния мужа и жены[69] друг перед другом — очень толстовский сюжет, нередко встречающийся как в творчестве (прежде всего, Левин и Кити), так и в жизни (отношения с женой)

Вл.С. Соловьева), а также через общение с символистами (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт), однако в его текстах это практически не отразилось. Едва ли не единственным текстом Бунина, звучащим (в унисон эпохе) по-соловьевски, остался рассказ «Свиданье». Однако посвящение этого рассказа (в первом издании) М.П.Ч. — Марии Павловне Чеховой — заставляет усомниться в том, что сам Бунин видел в тексте рассказа это «соловьевское» начало: в семье Чехова к филофствованию такого рода относились весьма скептически.

[68] *Бунин И.А.* Поздней ночью // Северные цветы. М.: Скорпион, 1901. С. 45.

[69] Начиная со второго издания рассказа Бунин снял все указания на то, что героиня — жена героя (возможно, под влиянием письма к нему издателя «Журнала для всех» В.С. Миролюбова, увидевшего в рассказе эпизод семейной жизни Бунина; подробнее см.: *Щавлинский М.С.* Рассказ

Л.Н. Толстого. Собственно, сам сюжет бунинского рассказа может восприниматься как иллюстрация заповеди о недопустимости разводов, которая казалась Толстому одной из важнейших (соблюдение душевного целомудрия). Выражение «заповедь радости»[70] (сохраняющееся во всех вариантах текста, хотя финал будет в дальнейшем существенно переработан) можно посчитать близким Толстому, хотя сам Толстой (см., напр., трактат «Царство Божие внутри вас», 1890–1893) обычно использует эти лексемы в ином порядке и говорит о радости, которая приходит с исполнением заповедей Христа. Впрочем, мотивы, близкие бунинской трактовке «радости», легко обнаруживаются у раннего Толстого — см., напр., слова дяди Ерошки из «Казаков»: «Все Бог сделал на радость человеку» (*Т* 6, 56)[71].

«Правда Вечной Тишины и Вечной Ночи» звучит совсем не народнической «правдой-справедливостью» (народнические значения слова «правда» уже забыты), а характерной для раннего символизма и всего Серебряного века семантикой «правды-красоты» (и кажется синонимом «тайны ненужности и в то же время значительности всего земного» из рассказа «Сосны»)[72]. Наконец, последнее предложение цитирует православную молитву, объединяя все предшествующие мотивы в религиозном дискурсе, в котором вновь слышны отдельные нотки толстовского понимания христианства.

Похожую (но значительно менее концентрированную) сентенцию находим в финале рассказа «Новый год» (авторская дата: 1901; первая публикация: 1902), который общим абрисом сюжета повторяет рассказ «Поздней ночью». В нем тоже можно увидеть иллюстрацию к толстовской заповеди о ненужности развода, ибо семейная гармония представляет собой одну из жизненных тайн:

И.А. Бунина «Поздней ночью»: поэтика памяти сквозь призму текстологии // Раннее творчество И.А. Бунина (1883–1902 гг.): поэтика, текстология, комментарий / отв. ред. С.Н. Морозов; ред. А.В. Бакунцев, Т.М. Двинятина, Е.Р. Пономарев. М.: ИМЛИ РАН, 2024. С. 124–135. (Академический Бунин; 4). DOI: 10.22455/978-5-9208-0761-8-124-135).

[70] Отметим, что синонимичное выражение появляется и в рассказе «Над городом» (с опорой на текст церковной службы в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы: «Благовествуй, земле, радость велию!»), в рассуждении о назначении колокола. Интересно, что в этой фразе Бунин прочитывает церковнославянское обращение как форму косвенного падежа: «<…> благовествовать земле радость» (*Бунин И.А*. Над городом. Стб. 1286).

[71] Мотивы такого рода Бунин соберет и процитирует в книге «Освобождение Толстого».

[72] Собственно, Вечная Тишина и Вечная Ночь (все слова с заглавной буквы) восходят к той самой немецкой романтике, в которой В.М. Жирмунский видел корни «современной мистики» в литературе, но совсем не к «соловьевству», к которому так или иначе отсылает вся культура русского символизма. Эта разность источников (благожелательное принятие одного — и незнание / неприятие другого) во многом заложила основу дальнейшего расхождения Бунина и символизма. К этому можно добавить, что основным приемом бунинского модернизма стали не метафора и оксюморон, формирующие символ, а восходящая к метонимии субъектизация абстрактных понятий.

> — Да, все-таки ты единственный близкий мне человек!.. Ты чувствуешь, что я люблю тебя?
>
> Я пожал ее руку.
>
> — Как это случилось? — спросила она, открывая глаза. — Выходила я не любя, живем мы с тобой дурно, ты сам говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование... И однако все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты?..[73]

«Пошлое и тяжелое существование» звучит узнаваемым перифразом из Толстого, напоминая о проблематике «Крейцеровой сонаты» или еще не прочитанного в эти годы Буниным «Живого трупа» (пьеса будет опубликована и поставлена на сцене только после смерти Толстого — в 1911 г.). Оно же, в иной лексической парадигме, более близкой публицистическим работам Толстого, повторяется и в финале:

> А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов вдоль железной дороги, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...[74]

Отметим тот же прием, что и в рассказе «Над городом»: дважды повторенное в последнем предложении «впереди» (в начале и конце пассажа) соединяет прямой план с метонимическим. Бессмысленность жизни здесь решена уже не по-толстовски, а скорее по-чеховски: жизнь бессмысленна не тогда, когда живешь неправильно, она бессмысленна сама по себе. Бессмысленность порождается бессвязностью, то есть отрывочностью, ибо жизнь нельзя описать как последовательное, упорядоченное движение по прямой, организованное логическими умозаключениями (Толстой в описываемые годы полагал, что можно. Хотя, в определенном смысле, Толстой, думается, мог бы принять и бунинскую метафору жизненных «перевалов» из одноименного рассказа).

В конечном счете, метафоры или метонимии общего плана («Перевал», «Надежда», «Тишина», «Антоновские яблоки»), поставленные в центр повествования, окончательно вытеснят из бунинских текстов общественно-идеологические коннотации, морализм и проповедничество. В том числе и толстовской закваски.

Так, в рассказе «“Надежда”» (авторская дата и первая публикация: 1902) финальная сентенция строится таким же способом, как и в разобранных выше

---

[73] *Бунин И.А.* Новый год // Русская мысль. 1902. № 1. С. 100.

[74] Там же. С. 105.

концовках, — на метонимической игре между двумя значениями слова: надеждой как таковой и названием корабля (что ярко проявляется при чтении, когда кавычки не передаются голосом):

> Поздно ночью, когда набегающий ветер беспокойно и осторожно, точно ища чего-то, шелестел сухими ветвями плюща на нашем балконе и доносил полусонный шум волн, я все еще провожал «Надежду» на ее пути в темном море. Утром мы снова возвратились в город, и весь день прошел среди будничных забот и дел, но весь день казалось, что я видел ночью какой-то печальный, поэтичный сон. «Надежда» была теперь уже далеко… Но как отрадно было хотя мысленно следить за нею в этой таинственной морской дали![75]

«Будничные заботы и дела» сродни «бессвязной и бессмысленной жизни», но, в отличие от последних, не несут никаких морализаторских коннотаций. В центре же мотивной структуры — характерное для раннего символизма противопоставление мечты и реальности; прочие смыслы более не актуальны. В этой концовке, показательно освобожденной от каких бы то ни было общественных и моральных смыслов, совершенно пропадает и толстовская семантика. Она — плоть от плоти интеллигентского мудрствования, от которого Бунин стремительно уходит.

Процесс освобождения нарратива от общественных или моральных интенций протекает и на сюжетном уровне. Проследим его на примере важного в данном контексте рассказа «В августе». Реалии рассказа автобиографичны[76]: они взяты из полтавских впечатлений Бунина 1894 г. — года толстовского «послушания». В ряде деталей (возраст и портрет героини, время действия и т. д.) — если сравнить рассказ с реальной жизнью Бунина — сознательно допущены неточности. Это уже не слепок с натуры, это перечитанная, передуманная, литературно переработанная собственная жизнь[77]. Сюжетостроение, по сравнению с рассказами 1890-х гг. (будем сравнивать этот текст прежде всего с «толстовским» рассказом «На даче»), радикально меняется: сюжет осно-

---

[75] *Бунин И.А.* «Надежда» // Одесские новости. 1902. № 5571. С. 1. (Опечатка «в земном море» — вместо правильного «в темном море» — исправлена по второму изданию рассказа: *Бунин И.А.* Рассказы. Т. 1. СПб: тип. Н.Н. Клобукова, 1902. С. 290).

[76] См. подробнее главу 1, в которой этот рассказ проанализирован с точки зрения возможных прототипов и (авто)биографических данных.

[77] В такого рода (отчасти) «автобиографических» текстах уже видны подступы к радикальному перечитыванию собственной жизни, которое будет реализовано в романе «Жизнь Арсеньева». Толстовский подход к описанию «юности» (весьма точный в плане пересказа реальных событий, почти дневникового характера) у Бунина превращается в туманное воспоминание, словесно-сюжетную игру (все происходит так и не так, но как могло бы быть), реализацию не реализованных тогда возможностей (см. подробнее: *Пономарев Е.Р.* Преодолевший символизм. С. 83–120).

вательно размыт, дан самыми общими штрихами («Уехала девушка, которую я любил <…>»[78] — герой идет по городу — выходит за город — приходит на хутор братьев-толстовцев — встречает жену старшего брата — садится рядом с ней и ведет разговор, незначительность которого лишь на один момент нарушает вопрос героя: «Зачем вы насилуете себя?»[79] — герой остается один в степи на закате). Если «На даче» был написан для того, чтобы разобраться в правоте толстовских идей, то «В августе» — это не рассказ идей, это рассказ настроения. Все мотивы этого небольшого текста либо передают меланхолическое состояние героя (меланхолическое же со-чувствие он находит в душе героини), либо создают противоположное настроение — счастья и радости бытия: «заповедь радости» разлита в окружающем мире. Этот контраст еще более подчеркивает меланхолическую оркестровку текста. Собственно, в ней самой и состоит, если пользоваться современной Бунину литературоведческой терминологией, основная идея рассказа.

При этом основная антитеза (меланхолия — «заповедь радости»), выраженная в начале рассказа вербально, кажется излишней и совсем не приковывает читательского внимания. На ней останавливаешься только в случае медленного внимательного чтения: «Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем я толковал тогда именно о воздержании в жизни, бывал у молокан и духоборов, и даже подумывал навсегда уйти в деревню, — пахать, — а пока что — учился бондарному ремеслу»[80]. Важнее и интереснее красочные эпизоды из быта малороссийского города, которые эту фразу окружают.

Толстовский хутор тоже показан исключительно с точки зрения сельскохозяйственного быта. Центральная деталь описания, возвращающая к основной антитезе рассказа, тоже бытовая — это босые ноги героини:

> Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жнивью, и даже стыдился смотреть на эти ноги. Можно смело глядеть на ноги бабы, но когда я вспоминал, что она жена бывшего чиновника, мне делалось неловко. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые[81].

---

[78] *Бунин И.А.* В августе. С. 146.

[79] Там же. С. 149. В 1910-е гг. (начиная с издания 1912 г.) к этой реплике добавится еще более провокационное утверждение: «Вы любите меня» (*ПСС* 2, 224).

[80] Там же. С. 147. Начиная с варианта 1912 г. этот пассаж будет сокращен, конкретику заменят в нем более общие фразы: «Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу» (*ПСС* 2, 223).

[81] *Бунин И.А.* В августе. С. 149.

Босые ноги как знак обретения толстовской естественности вдруг превращаются в собственную противоположность: герой воспринимает их как нечто крайне неестественное. Красивые, холеные, некрестьянские ноги не приспособлены к хождению по навозу и жнивью, ногти у молодой женщины сбиты. Эта деталь, как нередко у Бунина, обретает элементы символической, воплощающей глубокие внутренние смыслы.

Не ответив прямо на вопрос героя «Зачем вы насилуете себя?», молодая женщина рассказывает, что ей очень нравится жить на хуторе и что мужа она все-таки любит, но как брата. Эта длинная реплика кажется попыткой убедить не столько собеседника, сколько саму себя. Однако центральным моментом в создании образа героини остаются босые ноги. Развернутая реплика лишь дополняет его.

Концовка рассказа совершенно свободна от сентенций: она лишь усиливает меланхолические переживания героя. Возвращение к толстовской теме спустя семь лет после окончания «толстовского послушания» полностью освобождено от толстовской идейности. Пересказан случайный эпизод, центром которого становится необычная деталь.

Второй этап системной перестройки бунинской поэтики можно характеризовать появлением новой философической манеры, заместившей прежнюю идейность. Лирические зарисовки начинают наполняться лирическими раздумьями, как правило, приводящими повествователя к философскому изумлению пред тайнами бытия. Эта тенденция сближает Бунина с философскими поисками символизма (конкретный жизненный эпизод, неслучайно ставший сюжетом краткого рассказа, влечет за собой некое прозрение повествователя — возможный выход в ноуменальное), но вместе с тем, в отличие от символистской практики, никогда не прерывает связь образной системы с миром феноменальным. Настойчивое предпочтение «внешней изобразительности»[82] разным способам ассоциативного письма, все более захватывавшим символистов в этот период, можно предполагать, во многом поддерживалось примером Толстого и Чехова (обоих символизм уважал как «предшественников» — см. литературные исследования Д.С. Мережковского). Кроме того, следует заметить, что появившаяся в этот период творчества Бунина манера философствовать во многом близка произведениям Толстого, в которых как герои, так и повествователь движутся к обобщающим мыслям от «земли» и быта, от очевидного, и рассуждают принципиально просто, безыскусно.

Рассмотрим с этой точки зрения рассказ «Туман» (авторская дата и первая публикация: 1901). Это лирическое раздумье во время морского путешествия о тайнах жизни и смерти.

---

[82] См.: *Сливицкая О.В.* О природе бунинской «внешней изобразительности» // Русская литература. 1994. № 1. С. 72–80.

Лексема «туман» (в прямом значении) первоначально используется для введения морского пейзажа. В первом же абзаце слово «туман» окаймлено «одушевленными» глаголами, формирующими развернутое олицетворение: «мы встретили то, что можно было предвидеть: <…> туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас <…>»[83]. К концу абзаца последовательность олицетворений разрешается сравнением: «<…> серые космы тумана, как живые, медленно ползли по пароходу»[84]. Олицетворение позволяет провести несколько семантических линий от прямого значения центральной лексемы к ее разного рода символическим значениям: туман уподобляется морскому чудовищу, поглощающему пароход (последний, в свою очередь, метафорически превращается в воздушный корабль и корабль-призрак); туман воспринимается как модель пространства, выпавшего из мира; туманом оказывается банальность человеческого разума: с одной стороны, веселье пассажиров, не сознающих прямой опасности, которой они подвергаются, с другой, размышления повествователя по этому поводу.

Во втором абзаце добавляется еще одно прямое значение тумана, которое, в свою очередь, создает новый ряд переносных значений. Густой туман в море — это потенциальная опасность; следовательно, туман — неизвестность, одиночество, смерть. Звон колокола, который (во избежание возможного столкновения с другим судном) постоянно раздается с корабля, тоже работает на эти смыслы.

Показательно, что в этот период своего сближения с символистами Бунин пользуется похожей, но все-таки иной литературной техникой. Заглавия этого периода нередко обретают символическое значение[85], вокруг него выстраивается характерный для символа «шлейф ассоциаций» (выражение Б.В. Томашевского), но, в отличие от обычной практики писателей-символистов, Бунин не отпускает изначальные прямые значения, на основе которых сформировался символ. Образный строй текста балансирует на грани прямых и переносных значений, не отрываясь при этом от земного мира, сохраняя его актуальность.

Это специфически-бунинское символистское мировидение, в котором постижение ноуменального мира не отменяет ни одного из проявлений феноменального, ярко ощущается во время видений в предрассветный час лунной ночи. Во-первых, эта ночь как бы выпала из течения времени: «<…> воцарилась глубокая полночь... совершенно такая же, как, вероятно, пять, десять тысяч лет тому назад...»[86] — как и пароход, войдя в туман, выпал из пространственного мира. Во-вторых, месяц, который «<…> замер на бледной и прозрачной завесе

---

[83] *Бунин И.А.* Туман // Жизнь. 1901. № 4. С. 1.

[84] Там же.

[85] Дж. Вудвард считал, что заглавия рассказов «Туман» и «Перевал» — «<…> вне всякого сомнения, символические <…>» (*Woodward J.* Ibid. P. 71).

[86] *Бунин И.А.* Туман. С. 3.

тумана и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца», обретает «что-то апокалиптическое» и «что-то неземное»[87]. Месяц «<…> прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением…»[88] — оживая, как и туман. Отметим, что у месяца тоже есть выражение лица, то ли совпадающее, то ли не совпадающее с выражением лица повествователя.

Попытка осмыслить происходящее по-бунински характерно упирается в понятие «тайна»: «<…> эта тишина — тайна, часть того, что за пределами познаваемого...»[89]. Следует привычный вопрос «Где мы?» соединяющий феноменальное значение (местоположение парохода; «<…> в этих местах на Черном море я никогда не бывал…») с ноуменальным «Где буду я?», которое уже искал Капитон Иваныч в рассказе «На хуторе» и будут искать многие герои Бунина. Ответ, как обычно у Бунина, — изумленное непонимание ноуменального, которое скрывается за феноменальным:

> Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, но ведь я и вообще ничего не понимаю. Я оглядывался кругом, чего-то ждал и во что-то хотел вдуматься, но чувствовал только одно — что я совершенно одинок и что я не знаю, где я и зачем существую. И зачем эта странная ночь, и зачем стоит этот сонный корабль в сонном море? А главное — зачем все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения?[90]

Вопросы «зачем?» и «где?» звучат по-толстовски прямолинейно (напоминая пафос неотправленного письма 1896 г.[91]). Прямолинейные же толстовские ответы на них Бунина не устраивают, поэтому его герои предпочитают от ответов уходить. Месяц связывает повествователя со всеми когда-либо жившими на земле (он видел их всех — видел в прямом смысле, ибо у него есть лицо), но теперь древность кажется герою — выпавшему из времени — столь же незначительной, как и настоящее. Апокалиптическая тайна, которую познал герой в сиянии месяца, выше древних тайн:

---

87 Там же.

88 Там же.

89 Там же. С. 4.

90 Там же. С. 4–5. Ночь станет для Бунина постоянной метафорой непонятного и таинственного, основополагающих тайн бытия. Так, в рассказе «Осенью» (1901) тайна ночи отождествлена с тайной любви. Герой и героиня едут за город: «Мне все сильнее хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее» (*ПСС* 2, 229). В эмигрантском творчестве ночь станет символическим приближением к Божьему замыслу (см., напр., рассказ «Цикады», авторская дата и первая публикация: 1925). Мотив парохода, таинственно замершего в ночи (на сей раз — на реке), будет использован в той же функции, что и здесь, для передачи тайны бытия, в начале рассказа «Поздний час» (авторская дата и первая публикация: 1938).

91 Подробнее см. главу 2.

> И впервые мне пришло в голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно называют *смертью*, заглянуло мне в эту ночь в лицо, и что я впервые встретил ее спокойно и понял так, как должно человеку[92].

Смерть заглядывает в лицо повествователю вместе с месяцем, видевшим всех умерших ранее. Это бунинский вариант «Записок сумасшедшего». Но, в отличие от произведения Толстого, смерть оказывается не страшной, а таинственной и гармоничной, полной глубокого значения. Такой, какой должна быть, по Толстому, смерть человека, прошедшего свою жизнь правильно, в соответствии с заповедями Отца. Все эти мотивы, взятые по отдельности, напоминают о толстовстве. Но сгруппированные вместе, они начинают звучать совершенно по-иному. Можно сказать, что если размышление о смерти становится у Толстого гармоничным лишь при достижении принципиальной ясности, что необходимо сделать для спасения, то для Бунина это вовсе не важно. Он достигает гармонии постоянными переходами из одного плана повествования в другой. Бытие не делится у него на две взаимоисключающие сферы жизни и смерти: смерть присутствует в жизни и наоборот. Принципиальна для него непознаваемость смерти. Если Толстой постоянно хочет заглянуть в смерть (чтобы понять, как от нее избавиться), то для Бунина в непознаваемости и заложена гармония — а следовательно, и преодоление смерти. Характерно, что в финале рассказа речь идет о благодарности к неопределенному «кому-то». Перифразы, замещающие лексему «Бог», стали характерной чертой поздних произведений Толстого (см. «Хозяин и работник» и др.).

Тишина как символ вечности и ее тайны (символический ряд, сопоставимый с системой младшего символизма, складывающейся в те же годы[93]) переходит и в рассказ «На Женевском озере» (авторская дата и первая публикация: 1901; с 1902 г. печатался под заглавием «Тишина»).

Начало этого рассказа наполнено мотивами Божьего благоволения: «Славное утро послал нам Бог!»; «<…> первый день нашего приезда куда-нибудь — непременно погожий?»[94] Последующий вполне толстовский пассаж о здоровой жизни, уже цитировавшийся в первой главе, соединяет различные бытовые элементы этой жизни (воздержание от курения, диета, режим дня) неожиданным обобщением: «А главное — как весело!»[95] Это вновь «заповедь радости», характерная для многих бунинских текстов этого периода. «Радость» в разных

---

92 Там же. С. 5–6. Выделено Буниным.

93 См. многочисленные упоминания «тишины» в цикле стихотворений А.А. Блока «Стихи о Прекрасной даме». Ср. оксюморонные контексты употребления символа «тишина» у Блока с характерно оксюморонной первой строчкой стихотворения Бунина «Таинственно шумит ночная тишина…» (авторская дата: 1898; первая публикация: 1900 под заглавием «Осень»).

94 *Бунин И.А.* На Женевском озере // Мир Божий. 1901. № 7. С. 34.

95 Там же.

грамматических формах становится лейтмотивом рассказа. Одновременно с этим грамматические объекты — озеро и утро — получают субъектное значение, оживают и как бы растворяют в себе повествователя и его товарища, как туман в рассмотренном выше рассказе: «Ни о чем будничном не хотелось думать в это праздничное утро, и оно приняло нас так приветливо и радостно»[96]; «<…> озеро все шире обнимало нас»[97].

«Давно уже не испытанная нами тишина» наступает посреди озера, вдалеке от берега — почти так же, как в рассказе «Туман» тишина нисходила на героя посреди Черного моря. Далекий звук колокола, долетающий до путешественников в лодке, рифмуется с корабельным колоколом в «Тумане». По-символистски оксюморонно (но не отрываясь от своего предметного значения) звон не мешает полной тишине: «Где-то в горах, — думал я, — приютилась маленькая кирка и одна славит своим звонким голосом мир и тишину воскресного утра <…>»[98].

Горы, возвышающиеся над Женевским озером, становятся воротами в царство тишины — и одновременно стеной, отделяющей суетный мир от мира предвечного. Тишина, как и у символистов, получает возможность звучать (ее можно слушать), и олицетворяет предвечный мир: «Все теперь так далеко от нас, жизнь всей Европы осталась где-то там, за этими горами, а мы как будто вступаем в благословенную страну вечной горной тишины, которой нет имени на нашем языке»[99].

Жизни всех когда-либо живших на этом фоне оказываются несущественными, как и в рассказе «Туман». Они тоже относятся к миру суеты, они протекли перед горами. Суетной оказывается и вся мировая литература — этот тезис звучит легким отзвуком Толстого. В души героев входит нечто бесконечно большее, чем людская жизнь. И концепт «радость/веселье», оркестровавший весь рассказ, в точке кульминации трансформируется в более значительный концепт «счастье». Для обретения счастья нужно войти в тишину и остаться в ней навсегда. Смерть, как и в «Тумане», перестает вызывать страх, оказывается желанной и приносит исключительное блаженство: «<…> мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия которой мы стоим, и что счастье в ней»[100].

Таким образом, перестройка бунинской поэтики захватывает и основную тематическую структуру. Если в рассказах этого же периода, еще тяготеющих к раннему этапу творчества (см., напр., «Скит» и «Сосны»), «тайна ненужно-

[96] Там же. С. 35.

[97] Там же. С. 37.

[98] Там же.

[99] Там же.

[100] Там же. С. 38.

сти и в то же время значительности всего земного»[101] воплощалась древними старцами, которые приблизились к вечности, растворившись в дико-древнем лесном мире, то в рассказах «Туман» и «Тишина» (отметим парные рассказы с близкой тематикой как характерную черту творчества Бунина этого периода), повествователь более не нуждается в специальных персонажах — их сменяет нарратор, наделенный целым рядом автобиографических черт[102]. Кроме того, погружение в вечность теперь случается ненадолго, на короткое время; символы вечности становятся более подвижными и менее осязаемыми: теперь это не древний лес и снега, а туман и тишина (не горы, окружающие Женевское озеро, как было бы раньше, а тишина этих гор). И самое главное: новые рассказы о тайне бытия меняют основное настроение. Если в рассказах прежнего строя тайна была погружена в трагическую скорбь старости и смерти, требовала отрешения от обычных земных дел, то теперь тайны бытия, сохраняя в редуцированном виде трагическое, соединяются с «заповедью радости».

Соединение тайн бытия и радости жизни близко Толстому, но речь должна идти не о влиянии, а о мировоззренческом сходстве. В устойчивом настроении бунинского творчества соединяются пантеизм и радость жизни (от раннего Толстого времен «Казаков») с ощущением Божественного присутствия в повседневности (времен «Войны и мира»), а также некой отчужденностью человека от Бога и ощущением благости смерти (от позднего Толстого). Бунинский герой постигает «заповедь радости» и «счастье бытия» совершенно без тех усилий и переломов, которых требует толстовство. Постигая жизнь и радуясь всем ее проявлениям, бунинский герой обретает непосредственное ощущение Бога.

3. «Заповедь радости» в поэзии Бунина

Еще ярче, чем в рассказах начала 1900-х гг., это проявляется в поэзии Бунина этого же времени. Характерно стихотворение «Ночь и день» (авторская дата и первая публикация: 1901), открывающее раздел «Новые стихотворения» (1901). В 1909 г. Бунин предпослал этому разделу тома (на странице, предшествующей этому стихотворению) эпиграф из Толстого, но снял его на стадии верстки[103]. В стихотворении противопоставлены «старая книга», в которой говорится о мимолетности всего земного и вечности одного лишь Бога, и ясное утро, когда горы (как в рассказе «На Женевском озере») зовут оставить книгу

[101] *Бунин И.А.* Сосны // Мир Божий. 1901. № 11. С. 109.

[102] Эта черта была свойственна поэтике начинающего Бунина (см.: *Пономарев Е.Р.* «Письмо с натуры»… С. 148–167). Она вернулась на новом этапе, поскольку была очень созвучна жизнестроению символистов.

[103] См. подробнее раздел 1 настоящей главы.

и постигать Бога через природную жизнь. Ключевым становится финальный стих: «Птицы о радости вечного Бога поют!» (*Стих.* 1, 214).

О том же говорит стихотворение «Оттепель» (авторская дата: 1901; первая публикация: 1902; в дальнейшем публиковалось без заглавия и было сокращено), в котором «радость бытия» разлита (как и присутствие Бога) во всем живом мире, включающем как фауну, так и флору, и равнозначна красоте:

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

Она повсюду разлита —
В лазури неба, в птичьем пенье,
В снегах и вешнем дуновенье, —
Она везде, где красота.

И упиваясь красотой, —
Лишь в ней дыша полней и шире,
Я знаю, — все живое в мире
Живет в одной любви со мной (*Стих.* 1, 215).

Значение пейзажной лирики в поэзии Бунина существенно возрастает: она рассказывает о присутствии Бога в мире и творении[104]. Отметим также исключительную близость прозы и поэзии в творчестве Бунина этого периода: рассказы, построенные как лирические стихотворения, легко вступают в интертекстовые отношения со стихотворениями, нередко выстроенными как литературные манифесты или мировоззренческие декларации.

Природные явления (морской туман или горная тишина) оживают у Бунина именно в силу Божьего присутствия. Тот же процесс проявления (божественной?) эмоции в природном явлении проступает в стихотворении («Полями пахнет, — свежих трав…» (авторская дата и первая публикация: 1901; в дальнейшем печаталось под заглавием «Под тучей»)

Как ты таинственна, гроза!
Как я люблю твое молчанье,
Твое внезапное блистанье, —
Твои безумные глаза! (*Стих.* 1, 228).

[104] В этом лирика Бунина становится близкой творчеству его родственника В.А. Жуковского, а также творчеству А.А. Фета, в зрелые годы выделенного Буниным из всех прочих поэтов конца XIX в.

Созерцание природных красот оказывается разговором с Богом:

За все тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали. <...>
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с Тобой! (*Стих.* 1, 225)

Сама идея прямого личного диалога с Создателем отсылает к протестантскому пониманию Бога. В российской религиозной традиции, не знавшей протестантизма, эта идея ярко проявляется в религиозном учении Толстого[105]. Нельзя исключить толстовского происхождения этого важного мотива, который у Бунина, разумеется, существенно переосмыслен.

Смерть, теперь приходящая в жизнь как тайна — не как ее окончание, а как продление «радости» в вечность (впрочем, отметим близкое «природное» разрешение темы смерти еще в рассказе «На хуторе») — пока не приобретает того трагического колорита, который появится в 1910-е гг. и будет усиливаться в эмигрантском творчестве. Она тесно связана с мотивами радости бытия и символистской темой иного мира. Однако, в отличие от творчества символистов, в текстах Бунина миры не противопоставлены друг другу рядом взаимоисключающих признаков[106], они легко переходят один в другой. Иной мир всегда оказывается рядом, и его можно ощущать материально — через материю нашего мира. Смерть становится свободным переходом из одного мира в другой, следствием гармонии миров, воплощением которой и является природа. Именно в этом смысле можно понять финальные строки из стихотворения «На распутье» (авторская дата и первая публикация: 1900):

И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит… (*Стих.* 1, 194).

---

[105] См. об этом в главе 1.

[106] Ср. у А.А. Блока в «Стихах о Прекрасной Даме» (стихотворение датировано январем 1902 г.):

И нам недолго любоваться
На эти, здешние, пиры:
Пред нами тайны обнажатся,
Возблещут дальные миры (*Блок А.А.* Полн. собр. соч.: в 20 т. Т. 1. М., 1997. С. 92).

Они во многом предваряют тематику рассказа «Астма» (см. о нем ниже). Точно так же мир феноменальный и мир ноуменальный потенциально близки друг другу в стихотворении «Вечное» («Не устану воспевать вас, звезды!»; авторская дата и первая публикация: 1901; в дальнейшем печаталось под заглавием «Звезды» с изменением начала на «Не устанем…»):

И мечта, быть может, воплотится,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться! (*Стих.* 1, 239).

В стихотворении с важным для бунинской символики заглавием «Ночь» (авторская дата: 1901; первая публикация 1902) появляется еще одна творческая декларация. На первый взгляд, перед нами две характеристики творчества, противопоставленные друг другу как феноменальное и ноуменальное[107]:

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного (*Стих.* 1, 239).

Однако каждый из этих концептов, как в начальном, так и в трансформированном в финале варианте (эти два стиха повторяются в начале последней строфы с заменой «вечного» на «тайного») могут равным образом характеризовать и ноуменальное, и феноменальное. Встреча земного с небесным (и жизни со смертью), о которых грезят лирические герои цитированных выше стихотворений, становится возможной в объединенном пространстве тайны, вечности и красоты. Лексемы «сочетание», «слияние» чрезвычайно употребительны в поэзии этого периода. Именно в это пространство попадают герои лирической прозы Бунина — в рассказах «Туман» и «На Женевском озере» / «Тишина». В стихотворении «Ночь» в это пространство попадает и концепт «Любовь», которая тоже обладает свойством соединять все со всем: любящего — с человечеством, влюбленных — со всеми любившими в прошлом, настоящем и будущем.

Жизнь и смерть за счет этого единения соседствуют и легко перетекают друг в друга. Толстовская метафора «смерть есть пробуждение от жизни» вполне вписывается в этот контекст. Вместе с тем Бунин широко использует оксюмороны (в характерно символистских функциях) и близкие к ним по семантике фигуры речи. Например, в стихотворении «Курган (Любил он ночи темные в шатре)» (авторская дата и первая публикация: 1901):

[107] Это ощущение укрепляет и лермонтовская аллюзия: тематика первых строк, пятистопный ямб и характерный enjambement связывают это стихотворение с «1831-го июня 11 дня (Моя душа, я помню с детских лет…)». В лермонтовском стихотворении противопоставлены бытовое и чудесное, которого везде ищет поэтическая душа.

Прошли века, но слава древней были
Жила в веках… **Нет смерти для того,**
Кто любит жизнь, и песни сохранили
Далекое наследие его (*Стих.* 1, 232; Выделено нами)[108].

Столь же оксюморонно смешиваются в стихотворениях этого периода атрибуты жизни и смерти. Например, стихотворение «На кладбище (Сонет)» (авторская дата и первая публикация: 1902; в дальнейшем печаталось под заглавием «Эпитафия»), лирическая героиня которого — умершая девушка. Рассказ умершей от первого лица есть сам по себе оксюморон, от чего оксюморонным (и отрицающим смерть) становится весь лирический сюжет. Оксюморонными оказываются и детали:

Здесь, в тишине кладбищенской аллеи,
Где только ветер веет в полусне,
Все говорит о счастье и весне (*Стих.* 1, 246).

На похожем оксюмороне строится и стихотворение «Смерть», (авторская дата и первая публикация: 1902). Слова «Но вот наш склеп…» (*Стих.* 1, 247) воспринимаются двупланово: с одной стороны, это склеп «нашей» семьи, с другой стороны — это одновременно и «мой» склеп, дом лирического героя, в котором «я» буду (или уже был?) похоронен. Настоящее и прошедшее оказываются взаимопроницаемы, и появляющаяся во втором четверостишии тень лирического героя — с необычным словоупотреблением: «мой двойник могильный» (*Стих.* 1, 247) — соединяет тень, падающую от человека, и тень, остающуюся от человека после смерти. Эта двуплановость сохраняется до самого конца. Помимо смерти, проникающей в жизнь, здесь появляется и характерный для символистской поэзии мотив двойника.

Как видим, миры ноуменальный и феноменальный часто заменяются у Бунина более привычными миром жизни и миром смерти. Если символистские миры разделены (не)проницаемой границей, то бунинские миры соприсутствуют, находятся один в другом, — именно этим достигается характерно бунинская полнота бытия. См., напр., в стихотворении «Лесная дорога» (авторская дата и первая публикация: 1902), где общая атмосфера напоминает рассказ «Скит». Стихотворение начинается рассказом о древнем ските, уже не

[108] Ср. со стихотворением «Угасшие звезды» (первая публикация: 1904; в дальнейшем печаталось под заглавием «Огни небес»):

Без возврата
Сгорим и мы, свершая в свой черед
Обычный путь, но долго не умрет
Жизнь, что горела в нас когда-то (*Стих.* 1, 283).

существующем, когда-то окруженном дремучим бором. Теперь от бора остались только елочки, а от обитательниц скита — могильные холмики (как от Митрофана из рассказа «Сосны», тематически парном рассказу «Скит»). Однако вторая половина стихотворения звучит «заповедью радости»:

Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет <…> (*Стих.* 1, 246)[109].

Вновь перед нами, по сути, оксюморонная конструкция, в которой сила жизни (присущая человечеству вообще, его роевой жизни) побеждает смерть каждой отдельной личности. Этот подход, свойственный тридцатилетнему поэту, во многом вырастает из толстовских размышлений эпохи «Войны и мира».

А стихотворение «Портрет» (авторские даты: 1903 или 1905; первая публикация: 1906), как ранее стихотворение «На кладбище (Сонет)», разворачивает оксюморон на весь лирический сюжет. Кладбищенская обстановка совершенно не подходит ясным глазам на портрете в склепе. Этот (эта) «незримый кто-то» тоже имеет возможность говорить и молча (выражением глаз портрета?) задает вопрос: «Зачем я в склепе, в полдень, летом?» (*Стих.* 1, 256). Из этого мотива в будущем вырастет новелла «Легкое дыхание», пока же ситуация разрешается в изумление умершей тому, что происходит вокруг нее:

И только этот милый взор
Глядит с веселым изумленьем
На этот погребальный вздор (*Стих.* 1, 257).

Итак, имеющая толстовские корни «тайна ненужности и в то же время значительности всего земного», впервые осмысленная в рассказе «Сосны»[110], раскрывается в поэзии и прозе Бунина начала 1900-х гг. Бунин, в эти годы испытывающий некоторое влияние символистов, применяет свойственные символистской поэзии оксюмороны для формулирования той «заповеди радости», которая, как ему кажется, одна в состоянии победить смерть. Собственно, тема

[109] Ср. тот же мотив в стихотворении «Канун Купалы» (авторская дата: 1903; первая публикация 1904), соединяющем языческие верования с христианской быличкой:

И земное семя не иссякнет.
Скосит Смерть — Любовь опять посеет (*Стих.* 1, 265).

Здесь «заповедь радости» связана с концептом «Любовь», объединяющим человеческую купальскую любовь и любовь божественную (мотивы такого рода восходят к сочинению В.С. Соловьева «Смысл любви» и постоянно встречаются у поэтов-символистов).

[110] Дж. Вудвард считает, что новый этап творчества Бунина начинается с появления в его творчестве нового типа повествователей — «<...> одиноких скитальцев или наблюдателей, занятых поиском сохранившихся следов прежней жизни среди руин» (*Woodward J.* Ibid. P. 43).

смерти, напрямую связанная с размышлениями о тайнах бытия, заставляет писателя «перечитать» Толстого и найти новые ответы на основной толстовский вопрос.

4. Переписать Толстого: «Поликушка» и «Кукушка»

Творческое использование толстовских аллюзий — широко распространенное проявление толстовского «бэкграунда» в литературе конца XIX — начала XX вв. Но в творчестве Бунина этого периода мы впервые замечаем принципиально новое использование толстовских тематических парадигм. В центре ряда рассказов Бунина, а затем и повестей обнаруживается важный мотив (или несколько мотивов), имеющий более или менее очевидные толстовские корни. Этот мотив погружается совсем в иной, чем у Толстого, художественный контекст, благодаря чему он развивается иначе и формирует серию новых художественных значений. Это первые попытки «переписать» Толстого в своей художественной манере. Современники не заметили этих попыток, о «переписывании» Толстого Буниным заговорят значительно позднее.

При этом следует отметить, что Бунин в этом плане следует общим веяньям эпохи. Серебряный век русской литературы, как уже говорилось, начнется радикальным переосмыслением классической традиции. Перечитывание в модернистском ключе текстов русской классики, а также переписывание узнаваемых сюжетов в новой системе значений характерно для многих писателей начинающегося нового века[111].

Начнем с самого первого толстовского сюжета, «переписанного» Буниным. Таковым представляется нам рассказ «Кукушка» (авторская дата: 1898; первая публикация: 1899), напечатанный всего дважды (второй раз в 1900 г.).[112] По созвучию названий, по типологической близости героев, по морфологии сюжетов этот рассказ близок повести Толстого «Поликушка» (по свидетельству В.Н. Буниной, одному из самых любимых толстовских произведений Бунина[113]).

В центре того и другого произведения — фигура непутевого крестьянина. Несмотря на многочисленные различия главных героев, в их характерах можно

---

[111] См. работы Д.М. Магомедовой о «переписывании» классических сюжетов XIX века (прежде всего романов Ф.М. Достоевского) в литературе Серебряного века: *Магомедова Д.М.* «Переписывание классики» на рубеже веков: сфера автора и сфера героя // Литературный текст: Проблемы и методы исследования. М.: РГГУ, 2000. Т. 6. С. 212–218; *Магомедова Д.М.* Переписывание сюжета о «новых людях» в русской прозе конца XIX — начала XX вв. (В.В. Вересаев и З.Н. Гиппиус) // Новый филологический вестник. 2018. № 2 (45). С. 118–127.

[112] Полный текст рассказа в первой его редакции см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

[113] *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина… С. 415.

увидеть много совпадений. Кукушка у Бунина — приемыш, и Поликей у Толстого — сирота. Бунинский Кукушка толком ничего не умеет и, с точки зрения барина, мало на что годен; толстовский Поликушка — плохой коновал, а также пьяница и вор — и потому, с точки зрения окружающих, тоже ни на что не годен. Кукушка в молодости был отдан в солдаты, над Поликушкой тоже сгущались тучи: приказчик хотел отдать его «в набор». Барин нанимает Кукушку лесным сторожем, барыня поручает раскаявшемуся и обещавшему больше не пить и не воровать Поликушке важное дело — забрать в городе у купца полторы тысячи рублей и привезти ей. Оба, несмотря на приложенные старания, не справляются с возложенной задачей: из-под носа Кукушки мужики срезают деревья, Поликушка теряет барские деньги. Кукушку за его беспечность выгоняют и он, бездомный, следующей зимой замерзнет насмерть, а Поликушка, в ужасе от того, что не оправдал доверие барыни, вешается. Все это позволяет говорить о типологической соотнесенности персонажей, подкрепленной их социальным статусом и общественной ролью «непутевого малого»[114]. Толстой характеризовал своего Поликея похожим образом: «<…> человек незначительный и замаранный <…>» (*Т* 7, 7).

«Замаранность» Толстой объясняет влиянием среды и плохого «учителя»:

> Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать — не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало (*Т* 7, 8. Выделено автором. — *Е.П.*).

Бунин, посвящая большой абзац никчемности Кукушки, делает упор на общественное мнение, которое влияет на самоуничижение героя:

> — Шатается, как волк, — говорили про него мужики. — Непутевый малый!
>
> И вот в том, что почти все отзывались о Кукушке таким образом, и заключалась одна из главных причин его непригодности к службе и работе. В кличках, которыми награждали Кукушку («шалава», «неудельный», «лодырь», «с дурью»), была большая доля правды. Он действительно не отличался умом; но от кого ему было научиться разуму? Он был не «серьезный», не «хозяйственный» человек, но ведь он с детства слышал эти клички, с детства привык смотреть на себя как на «неудельного», обездоленного человека и невольно стал таким. Он был, наконец, ленив,

[114] *Бунин И.А.* Кукушка // Всходы. 1899. № 1. С. 29.

раздражителен, любил выпить, жить спустя рукава; но все эти качества естественно вытекали из его участи…[115]

Никчемность, как объясняется в обоих случаях, — не столько вина каждого из героев, сколько следствие обстоятельств жизни и людского мнения. Она во многом случайна. В этой принципиальной «незавершенности» персонажей в некотором роде проявляется характерная толстовская идея о том, что каждый человек способен к исправлению и должен стремится исправиться в соответствии со своим представлением о должном. Показательно и авторское отношение к героям: их обоих очень жаль. И тот и другой в целом — хорошие люди, но не приспособленные к жизни.

В толстовском рассказе важную роль играет изначальная антитеза: Поликушка — молодой Дутлов. Между ними выбирают: кого отдать в солдаты. Дочитывая рассказ до конца, читатель невольно выстраивает альтернативный сюжет: если бы Поликея отдали в рекруты, семья его была бы несчастна, но все вышло бы не так ужасно, как получилось, а сам герой, вероятно, остался бы жив. Однако сход решает, что рекрутом будет Дутлов: поначалу именно он познает «беспощадную суровость» судьбы, по выражению Льва Шестова. Несчастье Дутлова оборачивается удачей для Поликушки. Когда же Поликушка не справляется с выпавшим ему на долю счастьем, то его смерть (и трагедия всей его семьи) как бы выкупает у судьбы молодого Дутлова (и наставляет на истинный путь Дутлова-старшего). Вот этот толстовский дидактизм, пронизывающий все повороты судеб, Бунину не свойственен.

В истории Кукушки важна другая антитеза, восходящая к природному миру: герой, поселившийся в лесу, — поселившаяся рядом волчица. Эта антитеза последовательно выстраивает всю первую половину рассказа[116]. Примерно с середины рассказа она пропадает. Но из нее вырастает другое противопостав-

---

[115] Там же.

[116] Она впервые появляется в последнем абзаце первой главы: «А в лесу в это время важно и ровно усиливался гул метели по вершинам, побелевшим от снега, и волчица, сверкая огоньками своих зеленоватых глаз, таинственно пробиралась по лугу мимо караулки. Она утопала в холодных пушистых сугробах, но шла все глубже в чащу леса, намереваясь надолго поселиться по соседству с Кукушкой в одном из глухих и потайных оврагов» (Там же. С. 27). Волчица селится «по соседству с Кукушкой», но еще про это не знает, как не знает и герой. Соседство это окажется роковым и трагическим для обоих. Противопоставление продолжено в начале третьей главы: «Огромная волчица стояла там и, насторожившись, неловко согнув свою лобастую голову с чутко торчащими ушами, исподлобья и пристально смотрела на него» (Там же. С. 30). А затем разворачивается в середине ее, когда жизнь Кукушки и жизнь волчицы на некоторое время формируют две параллельных сюжетных линии: «<…> он каждую ночь стал выходить перед рассветом к северной опушке леса и так увлекся, что иногда по целым часам стоял на одном месте, прислушиваясь, не раздастся ли где-нибудь визг или подвывание, которым обыкновенно

ление: жизнь Кукушки напоминает жизнь волка. Эта новая (или трансформированная старая) антитеза несколько раз вербализована[117]: Кукушка живет и умирает, как зверь, по инстинкту. Этот момент — начало новой народной темы в творчестве Бунина, которая развернется в «Деревне» и крестьянских рассказах 1910-х гг.

Наряду с типологической близостью, у Кукушки с Поликушкой есть ряд существенных различий. Во-первых, Кукушка стар, доживает жизнь, искренне молит Бога о скорой кончине. У него никого нет, он совершенно одинок. Поликушка еще не стар, у него большая семья. Его самоубийство становится катастрофой и для его жены и для детей. Во-вторых, Кукушка — современный Бунину персонаж, предоставленный сам себе: у него нет ни денег, ни собственного дома. Он замерзает зимой на лугу, потому что ему некуда пойти[118]. В социальном плане это горе посткрепостничества: будь Кукушка барским крестьянином, барин нашел бы для него угол. Поликушка живет во времена крепостного права. Он дворовый и помещается с семьей при барском доме именно «в углу». При этом он намного больше зависит от барыни, чем освобожденный в свое время Кукушка. Поэтому самоубийство Поликея становится закономерным шагом. Важен тут, пожалуй, и моральный аспект. Поликей не брал барских денег, но, зная свою репутацию, уверен: все подумают, что это он украл полторы тысячи рублей.

Здесь начинаются сюжетные расхождения двух текстов. Повесть Толстого имеет характерный морализаторский подтекст. Если Поликушка наказан судьбой за собственное прошлое, то другой ее персонаж, молодой крестьянин Илюшка Дутлов, спасен от рекрутчины благодаря непутевости Поликушки: потерянные деньги нашел Семен Дутлов, глава крестьянской семьи; барыня

обмениваются волченята с матерью. Он не был еще уверен, точно ли волчица поселилась в его лесу. / Волченята между тем росли. Они прозрели и часто выползали теперь из норы. Они весело ползали и визжали, как щенята; а волчица сидела и ласково лизала их. Она холила, растила их и каждую ночь приносила к рассвету какую-нибудь добычу, — преимущественно дохлых птиц. Но они приветствовали ее таким слабым визгом, что Кукушке он совсем не был слышен» (Там же. С. 31). Такая сюжетная параллель: протекающие рядом жизнь человека и животного — представляется очень толстовской формой сюжетосложения. Но примерно с середины рассказа она обрывается: во время охоты на волченят Кукушка постоянно ждет появления волчицы; она не выскакивает на героя, он спокойно забирает волчат. Все дальнейшее повествование обходится без нее.

[117] Во-первых, Кукушка сравнивается с волком в речи мужиков; во-вторых, он дважды повторяет поговорку «Ах, волк те съешь!» (Там же. С. 26, 31); наконец, прямо отождествляет себя с волчонком: «Ведь, я, барчуки, тоже вроде волчонка» (Там же. С. 35).

[118] Кукушка — один из череды замерзающих героев Бунина, начинающейся еще в ранних рассказах («Божьи люди / Два странника», «Дементевна / Федосевна»). Причина смерти Кукушки такова же, как и причина смерти Дементевны (Федосевны): абсолютная ненужность одинокого старика, у которого нет даже куска хлеба. Эта социальная проблема очень волновала Бунина в ранний период творчества. Здесь, на рубеже нового периода, эта тема сохраняет актуальность.

не хочет видеть этих «страшных денег» и отдает все полторы тысячи ему; тот покупает на часть этих денег рекрута вместо Илюшки. Семен Дутлов, богатый мужик, тоже получает нравственный урок — понимает то, чего раньше не понимал: племянник важнее денег. Такие уроки судьбы, связанные с глубоким нравственным переживанием, характерны для творчества Толстого 1860-х гг.; творчеству Бунина подтекст такого рода совершенно не свойственен.

Бунин артикулирует иной подтекст, связанный с иронией судьбы. Кукушка, приметив в лесу волчицу, которая вывела двух волчат, обещает барчукам поймать волчат и подарить им. Мальчики очень довольны, доволен и барин. Герой надеется, что ему удалось потрафить господам и его проживание в лесной сторожке упрочится, несмотря на порубки. Он не знает, что барин сказал после его ухода: «В детство впал старик. Только до лета и держу… У меня не богадельня»[119]. Пока он готовился к походу и (едва ли не геройски) добывал волчат, в лесу совершили еще одну порубку, шесть березок. Триумф оборачивается бытовой несостоятельностью.

Если у Толстого за трагической историей ощутима воля провидения (так же ощутим подтекст судеб и в написанной чуть позднее «Войне и мире»), то у Бунина источником трагизма выступает сама череда жизненных событий. Тут Бунин много ближе Чехову, чем Толстому.

Барыня в «Поликушке» и барин в «Кукушке» тоже типологически близки. Они добрые люди и готовы многое прощать. Кукушку не выгоняют из сторожки, барин разрешает ему и дальше доживать в ней «так». Но общее изменение жизни, по сравнению с крепостной эпохой, а также «волчий» характер Кукушки, который он сам признает в себе, заставляют его бродить по земле.

По сути, история Кукушки — это история Поликушки, если бы тот остался в живых и дожил до конца XIX столетия.

Завершим типологическое сопоставление двух текстов указанием на избыточность изобразительного материала, в равной степени характерную для написавшего «Поликушку» раннего Толстого и завершающего свой первый период творчества Бунина. О «Поликушке» в этом плане высказался И.С. Тургенев в письме А.А. Фету от 25 января 1864 г.: «Прочел я после Вашего отъезда “Поликушку” Толстого, и удивился силе этого крупного таланта. Только материалу уж больно много потрачено…»[120]. Опытный писатель, Тургенев прежде всего говорит о дополнительных сюжетных линиях, но, вместе с тем, и об излишней выписанности эпизодов, обилии эпизодических персонажей, некой (пере)насыщенности поэтики. Очень похоже звучит много раз цитировавшееся письмо А.П. Чехова Бунину от 15 января 1902 г., в котором он передает свое впечат-

[119] *Бунин И.А.* Кукушка. С. 29. Отметим, что последняя часть высказывания очень важна. Барин мыслит в новой «деловой» парадигме. В парадигме патриархальной такое высказывание было бы невозможно.

[120] *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1988. Т. 5. С. 263.

ление от рассказа «Сосны», написанного практически в тот же период (сам рассказ «Кукушка» остался почти незамеченным современниками — в силу того, что Бунин почему-то почти не перепечатывал его): «<…> “Сосны” — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона»[121]. Это суждение Чехова легко можно применить и к «Кукушке». И здесь Чехов, как Тургенев Толстого, судит Бунина с позиций опыта и писательского профессионализма, отмечая ту самую насыщенность поэтики, которую Тургенев увидел в Толстом.

5. Толстовская идея в модернистском контексте: рассказ «Астма»

Иным опытом художественной перестройки характерных толстовских мотивов стал рассказ «Астма»[122] (первоначальное заглавие «Белая смерть»; авторская дата и первая публикация: 1907, однако работа над рассказом была начата еще в 1900 г. — см. об этом ниже; в эмиграции Бунин перепечатал два значительных отрывка из этого рассказа под заглавием «Белая лошадь», причем первая публикация имела подзаголовок «Рассказ», вторая — «Из повести»). Если «Кукушка» — попытка перенести толстовский сюжет в современность, при сохранении общего гуманистического мироощущения XIX в., то «Астма» — перенос толстовских тем в контекст новой этики и эстетики века двадцатого.

«Астма» очень важна в творческой эволюции Бунина 1900-х гг. Замысел этого рассказа относится к самому началу второго этапа творчества — радикальной перестройке поэтики, вызванной ощущением зрелости и самобытности. Впервые рассказ «Белая смерть» (первоначальное название) упоминает М. Горький в письме к Бунину от 25 ноября 1900 г.: «Где “Белая смерть”? Иван Алексеевич — ее надо в “Жизнь” дать, непременно!»[123] Сам Бунин сообщает о сложностях работы над рассказом в письме Ю.А. Бунину от 12 января 1901 г.: «А надо писать не скороспелое что-нибудь, а путное. Дилемма! Бьюсь над стервой “Белой смертью”, — когда кончу, — кажется, — много и быстро напишу» (*П 1*, 346). Практически одновременно с работой над этим текстом писатель пишет «Сосны» и «Туман» (первоначальное название «Туман на море») (см. письмо Ю.А. Бунину от 21 января 1901 г. — *П 1*, 350). Затем, вероятно, «Белая смерть» была надолго отложена. В следующий раз сведения о ней появляются в июле 1905 г.: в газете «Полтавские губернские ведомости» (25 янв. № 25. С. 7) помещено объявление о подписке на журнал «Правда».

---

121 *Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Письма: в 12 т. М.: Наука, 1981. Т. 10. С. 169.

122 Полный текст рассказа в первой его редакции см. в Приложении 1 к настоящей монографии.

123 *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: в 24 т. М.: Наука, 1997. Т. 2. Письма 1900–1901. С. 72.

В частности, указывается, что в ближайших номерах журнала будет напечатан рассказ Бунина «Белая смерть» (*Летопись 1*, 564). Судя по этому упоминанию, Бунин время от времени возвращается к рассказу — по крайней мере, думает о дальнейшей работе над ним. Наконец, к 7 июля 1907 г. рассказ будет завершен (*Летопись 1*, 680) и напечатан в том же 1907 г. в альманахе «Шиповник». Автограф рассказа не сохранился, по этой причине мы не знаем точно, был ли рассказ в целом написан в 1900–1902 гг. или только начат. В сохранившихся автографах других больших рассказов Бунин довольно часто ставил промежуточные даты в тексте, по которым можно проследить ход работы автора, по отношению к этому рассказу таких сведений нет.

Этот рассказ принципиально важен для нашей темы, поскольку в нем тема смерти, интересовавшая Бунина с молодых лет и обсуждавшаяся им в период «толстовского послушания» в толстовском ключе, получает новый контекст и начинает играть новыми красками. Мотив неизбежности смерти и необходимость противопоставить смерти нечто, что бы отрицало ее всемогущество, заимствованные из толстовского дискурса, в этом рассказе помещены в раннемодернистский (раннесимволистский) контекст радости бытия (поскольку в каждом проявлении бытия ощутимо присутствие Бога / дыхание иного мира) и красоты Божьего творения.

Стремительный бег нарратива, характерный для этого текста (различные картины сменяют друг друга с большой скоростью), отталкивается от толстовских размышлений о смерти, хорошо знакомых нам по неотправленному письму к Толстому 1896 г. и некоторым текстам первого периода творчества, где старость и ожидание смерти уже выходили на уровень основных тем. Эти размышления немного удалены от начала рассказа. Эффект увертюры создают фраза «А и глухая же сторона наша!»[124], произнесенная главным героем землемером (его имя Егор Гаврилыч, появляющееся лишь к концу экспозиции, употребляется весьма редко, не запоминается; в большинстве случаев герой именуется землемером), грусть, разлитая в осеннем пейзаже, и сообщение об астме, которой страдает главный герой, с превращением болезни в живое существо: «Но астма не душила давно…»[125]. Землемер, таким образом, живет в мире, чуждом и враждебном ему, но к которому он постепенно привык и странную красоту которого научился прозревать.

Функцию оркестровки выполняет и постоянная восторженность землемера, которая обычно приходит после мучений от астмы, но в этот день она необычна: приступов не было давно. Включается механизм Vorgeschichte: в финале рассказа герою предстоит умереть (герой и сам знает, что жить ему не долго) — и восторженное восприятие мира, пришедшее невовремя, оказы-

[124] *Бунин И.А.* Астма // Шиповник. [Кн. 3. 1907]. С. 71.

[125] Там же.

вается первым предвестием смерти, предсмертным умилением. Далее предвестия-намеки пойдут чередой: в ответ на незначительный разговорный оборот «Живы ли еще будем <…>» землемер отвечает шуточно-серьезно: «Да ни за что не умру!»[126], на прощание — подчеркнуто суеверно: «Не прощайте, а до свидания!»[127]. Фразеологизм, использованный в описании двух лошадей, запряженных в тележку, соединяет с предстоящей смертью лошадиную тему: «час езды до неба!»[128]. Сама профессия героя (звучащая отдаленной аллюзией на рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?», 1886) попадает в эту череду намеков. Слово «землемер» обретает символический оттенок: человек до поры до времени меряет (шагами) землю, потом же землю отмеряют для него — чтобы опустить в землю его мертвое тело.

В усиливающийся поток Vorgeschichte включается и содержание (неожиданного возникшего в момент отъезда и прощания) разговора землемера с помещиком Стоцким — это разговор о смерти, разных ее формах и образах, приятии и неприятии неизбежности (внезапно наступающего) конца. С одной стороны, в разговор введены толстовские ноты: человек боится смерти, привыкнуть к мысли о ней не может и все свои поступки как бы поверяет мыслью о смерти. Толстовские ноты усилены речевой пародией в одной из реплик землемера («А без спросу — это уж не тае… не годится»[129]) — узнаваемое междометие «тае» отсылает к Акиму, герою пьесы Толстого «Власть тьмы»[130]. С другой стороны, толстовские ноты постоянного ожидания смерти разрешаются совершенно не по-толстовски. Восторженное состояние землемера местами превращается в некое удальство, борьбу со смертью, переведенную на бытовой язык песню Вальсингама. Так, восклицание героя «Да ни за что не умру!» стоит на грани бытовой шутки и брошенного вызова.

В разговоре со Стоцким рождается несколько ярких метафорических картин смерти. Это, во-первых, смерть, наступающая ногой на грудь: переосмысляется сам по себе очень странный, совершенно не канонический образ, написанный на алтарной двери церкви в селе Долгом: архангел Гавриил (не Михаил, как следовало бы ожидать) наступил на коричневого рогатого черта и пронзает его копьем; комментарий землемера вновь предполагает вызов и борьбу: «Так вот и смерть: наступит, а ты вывертывайся!»[131]. Во-вторых, это покойник, «весь гнилой, лиловый…»[132], лежащий в земле на погосте в одном

[126] Там же. С. 72–73.

[127] Там же. С. 75.

[128] Там же. С. 72.

[129] Там же. С. 73.

[130] Пьеса была хорошо знакома Бунину: он присутствовал на ее премьере в МХТ в 1902 г. (см. раздел 1 настоящей главы).

[131] *Бунин И.А.* Астма // Шиповник. [Кн. 3. 1907]. С. 73.

[132] Там же.

сюртучке и без шапки (характерное бунинское чувство продолжение жизни мертвого тела — ему как бы холодно и после смерти). В-третьих, смерть зверя или птицы, которая в силу фигуры умолчания (она не описана и по этой причине лишена физиологичности) становится как бы бесплотной, полным исчезновением из мира. В дальнейшем именно о такой смерти пойдет речь в «Освобождении Толстого». Здесь же ей противостоит комментарий Стоцкого: «И звери тут ни при чем. Зверь издох — и дело с концом»[133]. В-четвертых, сказка о Чувиле и Бабе-яге, которая непременно хочет с ним поиграть перед тем, как зажарить: «Я, Чувиль, веселая…»[134]. Последний образ как бы подчеркнут (выделен) длинным пересказом сказки. Облик веселой Бабы-яги соответствует радостному состоянию «бездны мрачной на краю», которое испытывает землемер. Отметим, что игровой момент входит и в предыдущие картины смерти («вывертывайся!»). Наконец, завершает картины смерти жизненный анекдот (заставляющий вспомнить и о чеховском влиянии на творчество Бунина), который землемер рассказывает Стоцкому: в его селе Долгом живет Иван Павлов, лавочник и ростовщик. В прошлом году у их попа умер сын. Иван Павлов явился к попу и заявил: «Имею честь, батюшка, поздравить с новопредставленным!»[135]. Землемер завершает анекдот, переводя шутку на себя: «…мне все и лезет в голову: задохнешься ночью, а Иван Павлов войдет этак вежливо, поздоровается со всеми за ручку — и радостно поздравит…»[136].

Анекдот в данном случае и смешон (просторечная форма церковнославянского субстантивированного причастия с «д» в середине подчеркивает неграмотность Ивана Павлова) и философичен. Он заставляет ощутить смерть как подлинный трагизм — соединяющий непоправимо-страшное с грандиозно-радостным. Восприятие смерти как праздника характерно как для языческой (тризны древних русичей), так и для древней христианской традиции, а также всех христианских верований, проповедующих возвращение к подлинному Христу. В какой-то мере это восприятие живо и в толстовской традиции. Толстой, как мы видели, ощущает смерть как важнейшее событие жизни, к которому следует постоянно готовиться. Странно-радостное состояние землемера, с которого начинается рассказ, объединяет толстовское отношение к смерти — и отношение трагическое, которое остро ощутимо в раннем символизме: например, в «Стихах о Прекрасной Даме» А.А. Блока. Смерть у символистов — событие яркое и радостное, поскольку она позволяет душе освободиться от оков бренного мира и перейти в мир истинный[137].

---

133 Там же.

134 Там же. С. 74.

135 Там же. С. 75.

136 Там же.

137 См. раздел 3 настоящей главы, анализирующий похожие мотивы в поэзии Бунина начала 1900-х гг.

На этом завершается первая часть (экспозиция) рассказа. В ней соединяются два мотивных блока (или, скорее, мощных мотивных потока, интенсивностью и однонаправленностью похожих на шлейф ассоциаций символа): многочисленные предвестия скорой смерти землемера, которых сам герой пока не замечает, и осязаемые картины смерти, заимствованные из разных культурных традиций и придающие образам смерти многообразие, неоднозначность и — в духе символистских оксюморонов — динамику и жизнь. Различие в том, что ассоциативный ряд (как нередко и оксюморонность) в символистской культуре лаконично свернут (апеллирует к культурному сознанию читателя и требует читательского со-мыслия), в бунинском же тексте он вербализован и развернут, от чего вновь — как заметил Чехов о рассказе «Сосны» — возникает впечатление «сгущенного бульона»[138]. В данном случае это оправданно: во-первых, восторженное состояние землемера переходит и на читателя, во-вторых, в этом состоянии ощутимо соединены философическое и героическое отношение к смерти. Философическое во многом вырастает из размышлений о смерти, характерных для толстовского периода в жизни Бунина, героическое ориентировано на хорошо знакомую Бунину культуру символизма. Отметим, что если для истории символизма характерен (весьма ощутимый в первые годы) народнический генезис, то в бунинском «символистском повороте» народничество совершенно не актуально, а толстовский «бэкграунд» играет важную роль.

Вторая глава начинается вечерним степным пейзажем и мыслями о том, что вскоре надо «<…> начинать новый скучный год»[139]. Первое видение белой лошади — «белой смерти» (как бы предваряющее основное) случается вскоре после выезда, в самом начале ночи, у линии чугунки. На землемера прет, едва не сбивая его, белая лошадь, запряженная в телегу, в которой лежит то ли пьяный, то ли мертвый мужик. Лошадь стара, а ее голова напоминает череп: «Череп ее был огромен; похож на те лошадиные черепа, что валяются среди бурьяна в южных степях <…>»[140]. Воспоминание о лошадиных черепах, которыми усеяна степь, вводит легкую аллюзию на «Руслана и Людмилу» и, вместе с тем, становится новым, взятым из самой жизни олицетворением смерти, дополняющим предыдущие, спекулятивные. Герой практически «вывертывается» из-под телеги, ему везет.

За пережитым видением идет центральное рассуждение героя, актуализирующее прежние толстовские мотивы:

> Хотелось петь, рассказывать свою жизнь... Спросить кого-нибудь: что же, наконец, будет на том свете что-нибудь или нет? Райские яблочки и

[138] Подробнее см. в разделе 4 настоящей главы.

[139] *Бунин И.А.* Астма // Шиповник. [Кн. 3. 1907]. С. 76.

[140] Там же. С. 77.

черти в неугасимом пламени, конечно, вздор... Но ведь вздор и полное исчезновение. Зачем родился? Зачем рос, любил, страдал, восхищался? Зачем так жадно думал о Боге, о смерти, о жизни?

— Зачем, позвольте вас спросить? — сказал землемер вслух.

Существовать на том свете в теперешнем виде он, конечно, не будет. Ибо, если он будет существовать, значит, и эти лошади будут существовать... и мириады мириад всех прочих лошадей, зверей, птиц, жучков, несметных мошек... Но и бесследно исчезнуть он не может. Он этому никогда не верил. Истомлен заботами, работой, частыми припадками удушья, а жить, сохранить себя хочет жадно. И поминутно трепещет за свою жизнь, во всем чует злобу, тайну, враждебность...[141]

Рассуждения такого рода, по-видимому, были свойственны самому Бунину: слишком часто они будут потом повторяться в художественных и нехудожественных текстах. В отличие от Толстого, он верит в бессмертие. Но, когда хочет представить его возможные формы, по выражению Николеньки Иртеньева, ум заходит за разум.

Ряд мотивов этого пассажа повторяет неотправленное письмо Толстому 1896 г. Во-первых, это иная форма существования после смерти: «<…> по крайней мере, я не то буду, чем так хочу быть» (*П 1*, 217). Во-вторых, вопрос «зачем», касающийся всех проявлений жизни. В-третьих, тесная связь бессмертия с животным миром — в рассказе этот мотив реализован иначе, чем в письме. Толстому Бунин писал о том, что все живые существа и все звери, живущие вместе с ним, через 100 лет точно перестанут существовать: смерть превращалась в общий закон животного мира. Здесь говорится о плотском бессмертии, которое маловероятно, потому что тогда должна быть бессмертной и вся прочая плоть, включая лошадей. Однако в обоих мотивах есть общее зерно: сущностное родство человека с животным. В зрелости и старости Бунин будет говорить о том, что именно теплоты плоти не хватает ему в традиционных представлениях о бессмертии души. В «Астме» землемер видит мир животных равноценным или даже более восхитительным, чем мир людей. От «чудесного пса» Стоцкого, понесшегося за телегой («Боже, что за чудесный пес! — подумал он с нежностью»[142]), до «великолепного» быка[143] Ивана Павлова, названного «верхом путей» Божиих[144], звери в этом рассказе таинственным образом связаны с тайнами Божьего мира.

---

141 Там же. С. 78.

142 Там же. С. 76.

143 Там же. С. 93.

144 Там же. С. 106.

Звериная тема, постепенно выходящая в рассказе на первый план, тоже связана с наследием Толстого. От нервности, гениальной скачки и прекрасных глаз Фру-Фру до размышлений Холстомера, от растворения Оленина в кавказском лесу во время охоты на оленя до соединения человеческой и природной жизни в еще не прочитанном тогда Буниным «Хаджи-Мурате»[145], Толстому хорошо знакомо ощущение единения с животным, восхищение его силой и ловкостью. Однако в толстовском мироощущении нет чувства древней мистической красоты звериной жизни, эстетики убийства зверя зверем. Землемер же глубоко ощущает тайну ночной жизни[146] степи, когда на охоту выходят хищники.

Начинается ночь в степи еще одной толстовской аллюзией:

> — Пи-пи-пи! — тонко и хищно зазвучало вдруг где-то вверху, в рассеянном лунном свете.
>
> Землемер оглянулся, увидал поле, телеграфные столбы, тусклый блеск, бегущий навстречу ему по рельсам, — и на душе у него стало еще тревожнее. Этот писк, писк кобчика или совки, затерявшийся в лунном свете, напомнил ему, что безмолвный вечер кончился и в полях начинается таинственная ночная жизнь[147].

Писк ночного хищника звукорядом напоминает откровение умирающего Андрея Болконского: «услыхал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: “И пити-пити-пити” потом “и ти-ти” опять “и пити-пити-пити” опять “и ти-ти”» (*Т* 11, 386). Но развитие мотива уводит далеко от Толстого[148]. Ночные хищники противопоставлены «кротким» жаворонкам,

---

[145] См., напр., психологически близкий герою «Астмы» эпизод погони за горцами георгиевского кавалера Назарова, который завершится гибелью героя: «Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему» (*Т* 35, 112).

[146] Мистика ночи напоминает о рассказе «Свиданье», не понятом Толстым. Но, в отличие от садово-усадебной мистики «Свиданья», здесь мистика обретает космическое измерение; она пропитана жестокой красотой — красотой силы, убийства, смерти.

[147] *Бунин И.А.* Астма. С. 79.

[148] Ср. в четвертом томе «Войны и мира»: «Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его: то, что̀ есть он сам — сущность его, в его глазах очевидно уничтожается — перестает быть. Но когда умирающее есть человек и человек любимый, тогда кроме ужаса, ощущаемого перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая так же, как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения. / После смерти князя Андрея, Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними, облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений» (*Т* 12, 171). Ни ужаса при виде умираю-

сытые хищники в их довольстве и красоте — хищникам голодным и некрасивым, венцом творения оказываются ночные волчьи глаза: «И, представив себе красоту этих глаз, землемер почувствовал приступ жуткого восторга перед звериной жизнью»[149]. Завершает картину всеобщего ночного состязания в жизни и смерти повтор ключевой фразы смерти — Бабы яги: «Я, Чувиль, веселая!».

Восторг землемера принципиально отличен от охотничьего восторга, который хорошо знаком Толстому. Большая охота в «Войне и мире» четко разделяет мир людей (с их охотничьими собаками) и мир диких зверей. Здесь у Бунина герой переживает восторг приобщения к животному ощущению охоты: состязание со смертью, с которого начиналась сказка про Чувиля, превращается в состязание в жизни и смерти, когда только от твоей силы и ловкости зависит, кто сейчас умрет, а кто выйдет победителем из смертельной схватки. Восторг землемера — полная противоположность толстовской заповеди ненасилия.

За панорамой ночной жизни следует разговор с дочкой будочника. Символика (железнодорожного) переезда в свете размышлений о смерти становится предельно значимой. У предыдущей будки землемеру не удалось переехать линию: там и будка казалась нежилой, и помешала белая лошадь. Здесь в будке горит свет и топится печь — кажется, что она полна жизни. Но это обманчивое ощущение, как будто разлитая в мире смерть играет с землемером, заманивая его к себе. Из разговора с будочниковой дочкой становится ясно: печь топится, чтобы обмыть только что умершего младенца.

> — Да нам его не жалко, — просто ответила девочка. — У нас их пятеро. Да еще одного недавно зарезало.
>
> — Машиной, что ли?
>
> — Машиной. Мать валяла пироги, а он выполз из будки и заснул... Нас судили за него, из могилы его откапывали, думали, что мы его нарочно положили[150].

Землемер тянется к миру людей — тому, который в романах Толстого противопоставлен звериной жизни. Но смерть ожидает его и в людском обществе, где вновь все решает состязание: кому-то суждено выжить, кому-то нет. Здесь мы вновь вспоминаем о «беспощадной суровости к слабым и несчастным»[151]. Если в «Кукушке» этот момент кроется в подтексте, то здесь он выходит на первый план и скоро займет центральное место в рассуждениях землемера.

щего животного (мысли о нем), ни «облака смерти» не чувствует бунинский землемер. Все эти мотивы переключаются в иную тональность.

149 Там же. Ср. с «большими стеклянными глазами» схваченного загнанного волка из «Войны и мира», который «<…> дико и вместе с тем просто смотрел на всех» (*Т* 10, 255).

150 *Бунин И.А.* Астма. С. 81.

151 *Шестов Л.* Указ. соч. С. 32.

Простота отношения к смерти, которую Толстой все время отмечал у мужиков, здесь, в устах мужицкой девочки, оборачивается полным безразличием (мотивы такого рода будут значительно развиты Буниным в следующий период творчества). А за переездом землемера вновь ждет хищная ночь.

Чем дальше, тем больше героя охватывают беспокойство и страх. Волк, в силуэт которого герой вглядывается издалека, вблизи оказывается теленком, приобщающимся дикой степной жизни:

> Есть что-то глухое, дикое в этих осенних беспризорных скитаниях телят. Как только начинают прорастать озими, они надолго и далеко уходят в опустевшую степь. И по целым неделям бродят в ней, дичают, приобщаются к таинственной жизни зверей и хищных птиц[152].

Землемер вспоминает и о домашних боровах, по осени надолго уходящих в степь и дичающих настолько, что в состоянии защититься от волков. Это погружение в тайны дикой жизни, которая таинственным образом манит и затягивает все домашнее зверье, испытывает и сам землемер: «Волнуясь все более и более при мысли о том диком, сильном, беспощадном и красивом, что окружало его со всех сторон и точно вызывало его на состязание, он все беспокойнее ждал чего-то»[153]. Интересно, что в будущем, в «Освобождении Толстого», эта мистика звериного приобщения к дикой природе, впервые проявившаяся в этом рассказе, станет основной для осмысления толстовского предсмертного ухода.

Землемер предчувствует что-то нехорошее, страх усиливается, а героическая бодрость постепенно уходит. И это предчувствие воплощается второй белой лошадью, выбегающей из ночной рощи, — на сей раз молодой и красивой, свободно-дикой, без телеги. Этой лошади, как наваждения, пугаются кони землемера, а самого его охватывает «сладострастный трепет ужаса»[154]. Герой «близко видел» (будто она по-гоголевски заглянула ему в очи) ее «прекрасные блестящие глаза»[155] — такие же, как у толстовской Фру-Фру или воображаемого им степного волка; выражение ее морды «было спокойно, весело и ласково-вызывающе»[156] — совершенно неожиданные антропоморфные эпитеты в этом контексте. Вместе с характеристикой ее бега («весело побежала

---

152 *Бунин И.А.* Астма. С. 82.

153 Там же. С. 83.

154 Там же. С. 84. Это практически лейтмотив. Вторая глава, наполненная как бы предварительным созерцанием степи, поздним вечером и до переезда, завершается словосочетанием: «содрогнулся от беспричинной сладострастной жути» (Там же. С. 80).

155 Там же. С. 85.

156 Там же.

следом»[157]) все это работает на повторяющуюся семантику противоборства со смертью («Я, Чувиль, веселая»).

Поведение землемера в этом эпизоде сильно отличается от его полувосторженного-полугероического самоощущения в начале рассказа. Посещающий его новый приступ ужаса уже не подразумевает прежнего восторга; это ужас холодный и безнадежный. В исследовании этапов вечного человеческого проигрыша смерти Бунин меняет литературный ориентир. Появляется несколько аллюзий на гоголевского «Вия», например:

> — Глянуть или нет? — подумал землемер на середине <речки. — *Е.П.*>. — Нет, не надо!
>
> И тотчас же оглянулся.
>
> Белая лошадь опять была в двух шагах от него![158]

Мистику «Вия» напоминает и появление на дрогах тележки (после исчезновения прекрасной белой лошади с человечьими глазами) беззубой нищенки с мертвым лицом[159]. Окончание мистического отрывка маркировано возвращением толстовского присвиста «Пи-пи-пи-пи!», интерпретированного здесь в контексте «дикой свободы» как «тонкий, радостно-хищный смех какой-то ночной птицы»[160]. Этот присвист берет в кольцо мистические картины степной ночи. Герой медленно возвращается обратно — в привычную жизнь, но в ней уже не все так привычно, как было раньше.

Возвращение в мир людей переключает аллюзивность назад: от Гоголя к Толстому. Под утро землемер чувствует только «страшную слабость» и «жажду сна»[161]. На него постепенно нисходит состояние князя Андрея после смертельного ранения. Аллюзии на «Войну и мир» сопровождают и его возвращение домой. Оказывается, что жена его — «толстая небольшая женщина лет сорока, похожая лицом на Фонвизина»[162] — напоминает маленькую кня-

---

157 Там же.

158 Там же. С. 86.

159 Типологически, помимо «Вия» (кнут, от взмаха которого исчезает старуха, сродни полену, которым Хома Брут колотил ведьму), этот эпизод напоминает рассказ мальчика Ильюши из рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»: «Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: “Бяша, бяша!” А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: “Бяша, бяша...”» (*Тургенев И.С.* Бежин луг // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. М.: Наука, 1979. Т. 3. С. 96).

160 *Бунин И.А.* Астма. С. 87.

161 Там же. С. 88.

162 Там же. С. 90.

гиню, жену Болконского. Это открытие землемер делает как бы одновременно с читателем — как будто он впервые так смотрит на жену. Крепкий дом и его «зала» (с пошлыми картинками на стенах) вдруг кажутся землемеру «нестерпимо тесными», как Болконскому его дом и весь мир в моменты высоких порывов прочь из земной юдоли. Основное отличие от героя Толстого: свое приключение он вспоминает «с болезненным наслаждением»[163], которое отчасти возвращает восторг, обуревавший его предыдущей ночью.

Он идет к сельскому священнику, рассказывает о своем видении, но на отца Нифонта история не производит впечатления. Священник включен в общий круг пошлой обыденной жизни (не случайно посреди разговора с ним землемер вспоминает однообразие сельских дней, и ему становится неприятно). Скрытое желание получить поддержку духовного лица натыкается на равнодушие недалекого попа. Это вполне толстовский ход — не столь резкий, как у Толстого, но имеющий ту же внутреннюю логику.

Зато сам землемер, раздраженный непониманием, в этом разговоре переживает поэтический порыв. Он начинает с издохшего быка Ивана Павлова, которого превращает в некое сказочное существо, наподобие сказочной Сивки-бурки (возникает еще одна ассоциация с белой лошадью): «Великолепный был бык! Бывало, бежит — земля дрожит… Глаза огненной кровью налиты… Не нам чета!»[164]. Последняя фраза удивляет отца Нифонта, который готов уже сказать землемеру, что человек — венец творения и сравнивать его с животным нельзя. Но землемер объясняет: «Сила!»[165]. И рассказывает о льве из зверинца, один рык которого преображает провинциальную жизнь. Рассказ завершается самоуничижением: «<…> нет ничего на свете хуже бессилия!»[166].

На этом землемер вдруг ляскает зубами, прерывает разговор, спешно идет домой и сваливается в постель с воспалением легких. В бреду его посещают разные видения (оркеструемые по-толстовски: например, бытовой вопрос, который вертится в голове и никак не может разрешиться: «почему дети так любят игру в войну, в охоту и в какие-то поездки?»[167]), и белая лошадь (временами этот символ смерти кажется землемеру нелепым, иногда — органичным воплощением красоты, силы и беспощадности жизни) постоянно присутствует среди них. Постоянный музыкальный фон бреда — механические звуки краковяка (которые землемер слышал накануне, а звучат они, «как всегда в хороший вечер», из окон сидельца винной лавки: у него есть аристон[168]) во

163 Там же. С. 91.

164 Там же. С. 93.

165 Там же.

166 Там же.

167 Там же. С. 92.

168 Отметим, что перед самой болезнью именно под эти звуки землемер обдумывает свое видение: «И как всегда в хороший вечер, с площади, из окон сидельца винной лавки, неслись рез-

мраке — напоминает цыганские скрипки и лиловый сумрак Блока, используемые в той же функции: так звучит глубинная пошлость жизни. Важным образом бреда оказываются и лошадиные черепа, сыплющиеся на землемера, — это напоминание о первой белой лошади, старой, увиденной у переезда. Львиный рев, сопровождающий падение черепов, из символа «силы жизни» превращается в символ «силы смерти». И сама логика тяжелых размышлений землемера за дни болезни и бреда постепенно переключается от «силы жизни» к «силе смерти», как у князя Болконского, которого посетила смерть. Не случайно роковая ночь землемера начиналась и закончилась толстовским лейтмотивом «И пити-пити-пити» (в бунинском варианте: «Пи-пи-пи-пи!») из «Войны и мира».

Как выясняется в VI главе рассказа, воспаление легких землемер переживает во второй раз: «И землемер вспомнил, как, много лет тому назад, когда у него было первое воспаление, он вот так же пришел в себя поздней ночью в темной комнате…»[169]. Это один из первых, характерных уже для зрелого Бунина (большей частью эмигрантского периода), подходов к формированию поэтики воспоминаний. Здесь воспоминание еще не является структурно значимым элементом, оно единично и практически не развито, но сам прием наложения друг на друга двух чрезвычайно похожих моментов жизни главного героя («сейчас как тогда» или «тогда как сейчас») весьма важен. Это наложение вызывает у героя невыразимую тоску, поскольку тогда он был очень молод, а сейчас остро почувствовал близость конца.

В болезни землемер преображается, будто озаренный новым знанием — или от близости смерти, наподобие преображения в гробу: «Лицо стало чище, красивее, утонченнее»[170]. Выздоровление ощущается им самим лишь как временное, недолгое возвращение к жизни: «Но он уже твердо знал: это его последняя осень»[171]. Его мысли об астме, с которыми он жил всю жизнь, интересно трансформируются. Если раньше он лишь использовал глагольные олицетворения для астмы[172], то теперь сравнение перешло в отождествление: астма теперь для

кие, ухабистые басы и альты аристона — звуки краковяка. / Землемер слушал, весь наполняясь этими вызывающими и бьющими по нервам звуками, и тщетно заставлял себя обдумать что-то. / Ну, привидение так привидение, — тупо говорил он себе, с болезненным наслаждением вспоминая под краковяк только одно, — была ловка, сильна, красива <…> (Там же. С. 91–92).

169 Там же. С. 95.

170 Там же. С. 96. Собственно, погребальные мотивы сопровождают землемера с момента возвращения домой: только он заходит в дом, из зала пахнет ладаном, «как всегда по воскресным дням утром» (Там же. С. 89). Когда он впервые приходит в себя, его ощущения похожи на ощущения тесноты лежащего в гробу: «Но бока были острыми, нестерпимо режущими при каждом вздохе железными обручами, глазные яблоки так ломило <…>» (Там же. С. 95). А чуть позднее он увидит в зеркале «<…> свою чистую гробовую седину» (Там же. С. 97).

171 Там же. С. 96.

172 См. в начале рассказа: «Но астма не душила давно <…>» (Там же. С. 71).

него — часть звериного мира, она охотится и убивает: «<…> мысль о звериной хитрости астмы: неспроста дала она ему такой долгий отдых»[173]. И далее:

> Жизнь истощила его, сделала его рабом нужды, забот, мещанства. Астма воплотила в себе всю тяготу и духоту этой жизни. Она всегда казалась ему злым существом, беспощадным, злым, внимательным. Малейший упадок сил, малейшее расстройство их, малейшая слабость — и астма уже спешит обвиться вокруг его шеи и радостно начинает сдавливать ее…
>
> — Живая, живая! — подумал землемер, волнуясь и бродя по залу <…>[174]

Первые строки этого пассажа звучат рудиментом народнической литературы. Такие же рудименты мы видели в некоторых рассказах первой половины 1900-х гг. («Над городом», «Новая дорога» и др.). Но далее следует модернистский ход: астма приобретает звериные качества и мифологизируется (уподобляется змее или зверю), а жизнь землемера становится вечным «вывертыванием» из ее колец. Теперь он сам себя ощущает «бессильным»[175] (ср. разговор с о. Нифонтом перед болезнью — о жизненной силе в животном мире), а белая лошадь «с прекрасными человеческими глазами»[176] «<…> всем существом своим сказала ему о красоте и беспощадности жизни…»[177]. Вот эта «беспощадность жизни» читается как изящная вставка рассуждений Шестова о Толстом в толстовскую тему Ивана Ильича.

Землемер черпает откровение в книге Иова, которая отчасти близка толстовскому мироощущению (см. своеобразное переложение книги Иова на башкирские реалии, сделанное Толстым в первые годы после духовного перелома в жанре народного рассказа, — «Ильяс»; авторская дата: 1885, первая публикация: 1886), но читает ее без счастливого финала, останавливаясь на полном уничижении героя (в жизни толстовского Ильяса и его жены тоже нет возвращения к прежнему богатству: по мысли Толстого, человек, потерявший все имущество, обретает духовное освобождение). В отличие от Толстого, делающего упор на утрате богатства, бунинский герой ищет в истории Иова ответы на свои вопросы, чему способствует и строение развернутой цитаты из священного текста. Вся приведенная цитата — сложная контаминация, которая лишь примерно передает суть сетований Иова. Первая фраза взята из

---

173 Там же. С. 97

174 Там же.

175 Там же. С. 98

176 Там же. С. 97.

177 Там же. С. 98.

начала книги Иова: «И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!» (Иов 3: 2–3). Слова «Дыхание мое ослабело», созвучные теме астмы, звучат в середине книги (которую, согласно тексту рассказа, землемер просмотрел лишь потом) и лишены точного контекста: «Дыхание мое ослабело; дни мои угасают; гробы предо мною» (Иов 17: 1). Следующая фраза взята из другого ответа Иова своим утешителям: «Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя» (Иов 30: 17). Следом наложена фраза из середины уже цитировавшейся 17 главы: «Дни мои прошли; думы мои — достояние сердца моего — разбиты» (Иов 17: 11). И наконец звучат слова из главы, предшествующей ей: «Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный» (Иов 16: 22).

Благодаря этой контаминации меняется сам смысл плачей Иова (сюда же, в семантику плачей, включаются стихи из ответов Иова утешителям). Библейский патриарх вопрошает Господа, отчего Тот не лишил его жизни, которая ему опротивела (Иов 8: 16), а также отчего Он борется с ним, если Иов ни в чем не виноват пред Господом (Иов 10: 3–7). Землемер же слышит в возгласах Иова лишь покорность высшей воле, которая отнимает у него одно за другим наслаждения жизни, включая самую жизнь. Раздавленный Иов не считает свою жизнь ценностью, для землемера же его собственная жизнь — основная и единственная ценность. Он борется за жизнь — не за правду перед Господом, как Иов. Последние фразы цитаты почти точно взяты из 10 главы: «Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня и чудным являешься во мне» (Иов 10: 16). «Во мне» Бунин изменяет на «во сне» (это не опечатка первого издания, а сознательное решение автора, так как последующие издания сохраняют ту же форму — см., напр., *ПСС* 4, 69), чтобы приблизить слова Иова к бредовым видениям землемера.

Свободное использование и/или конструирование новых смыслов из библейских цитат — в зависимости от авторских интенций — в дальнейшем станет постоянным приемом творчества Бунина (так же писатель поступает при цитировании и всех других источников, менее известных читателю и не входящих в круг сакральных текстов). Рассказ «Астма» представляет один из первых случаев «переписывания» библейского текста. Не исключено, что сам настрой на переосмысление Библии вынесен Буниным из толстовской практики. При этом в данном случае имеется убедительная мотивировка неточного и даже неверного цитирования (в дальнейшем во многих случаях такого рода Бунин перестанет прибегать к мотивировкам): так читает книгу Иова не повествователь, а бунинский герой, выделяя нужные ему смыслы, опуская ненужные, изменяя саму идею священной книги для ответов на свои вопросы.

Совет Сафара (Софара Наамитянина) передается в сокращении, но абсолютно точно: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, — что можешь сделать?

глубже преисподней, — что можешь узнать?» (Иов 11: 7–8); «Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку» (Иов 11: 12). Продолжение речи Сафара не приводится (эта фраза в измененном виде будет использована много позже в рассказе «Темные аллеи»: «Тогда забудешь горе: как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем» (Иов 11: 16) — потому что землемер уже получил ответ на свой вопрос. Ему нужно не забвение горя, а некое философское утешение в ожидании смерти.

В его прочтении книга Иова повествует о силе жизни, постепенно покидающей всякое живое существо[178] (впрочем, уподобление человека «дикому осленку»[179] несколько смещает акцент: «бессильным» оказывается не столько отживший землемер, сколько люди вообще — именно это герой имел в виду, говоря о. Нифонту обобщенно: «Не нам чета!»). Едва ли не впервые в творчестве Бунина звучит максима, напоминающая буддийскую мудрость и впоследствии очень важная для его миросозерцания: «Где же спасение? Только в нерождении — или в могиле…»[180]. Эту же максиму — значительно более развернутую, — Бунин использует в будущем в «Освобождении Толстого» для объяснения сложной личности великого писателя.

Таким образом, для героя рассказа рождение и прекращение жизни, «кровавое состязание»[181] за собственную жизнь, сознательное и радостное движение к ее окончанию (неизбежному проигрышу сражения) становятся следованием загадочной и неведомой Божьей воле. Мысль вполне толстовская — за исключением самой идеи постоянного состязания за собственную жизнь. Это существенное бунинское дополнение переворачивает всю толстовскую парадигму. Видение белой лошади означает конец состязания, и герой покоряется Божьей воле, говоря: «Ей, Господи, приди и возьми»[182].

Отрешение от жизни усиливается, и герой Бунина напоминает уже не Болконского, а Ивана Ильича. Его раздражают и жена, и собственные дети (смотрит на них «<…> почти с ненавистью»[183]), и дом, которым раньше он был доволен и считал полной чашей («<…> почувствовал отвращение ко всему

---

178 Этот смысл присутствует в другой части книги Иова. Близкую этой идее мудрость изрекает Елифаз Феманитянин, один из друзей Иова: «Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются; могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются» (Иов 4: 10–11). Отметим сходство мотива (рев льва) с другим местом рассказа (беседа с о. Нифонтом).

179 *Бунин И.А.* Астма. С. 99.

180 Там же.

181 Там же. С. 105.

182 Там же. С. 99. Эта фраза созвучна молитве отца Сергия из одноименной повести Толстого (1890–1898; опубликована в 1911 г. в составе «Посмертных произведений»): «Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня», и ему не только легко, но радостно умиленно стало» (*Т* 31, 20).

183 *Бунин И.А.* Астма. С. 100.

своему дому <…>»[184]). Болезнь не отступает до конца. Подробно описываемые симптомы астмы напоминают о столь же подробно выписанных Толстым симптомах «блуждающей почки».

При этом интересно, как даны внешние перемены героя у Толстого и Бунина. Иван Ильич, например, понимает, как он изменился, по взгляду, который бросил на него приехавший в гости шурин. Внешность землемера дается как бы со стороны в тот момент, когда он заперся в комнате и его никто не видит:

> И затворился в кабинете.
>
> Там он бросил папиросу на пол, сел в кресло и долго сидел без движения, согнувшись и крепко, с цепкостью сумасшедшего стиснув ледяными пальцами ручки кресла. Рот его изредка раскрывался, со свистом ловя воздух, блестящие глаза были расширены и с диким изумлением устремлены на свечку. Лицо посинело от натуги — и поседевшая борода казалась белой, страшной, гробовою[185].

В этот момент некому видеть дикие глаза землемера. Не ясно, кому именно борода землемера «казалась… гробовою». Это внешний взгляд на героя, который не принадлежит никому из живущих. Так смотрит на него астма или смерть (чуть позднее герой сам сочинит новое видение: белая лошадь вошла в его зал и с интересом слушает звуки краковяка), и этот прием, возможно, тоже навеян рецепцией творчества Толстого. Вспоминая свои разговоры с Чеховым, Бунин запишет чеховскую фразу о Толстом: «Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь этой боязни»[186]. Здесь Бунин сам пытается сделать нечто подобное.

Измученного землемера охватывает «<…> страстная жажда смерти, нечеловеческого вздоха, от которого сразу лопнуло бы сердце…»[187]. В этой экспрессионистской детали ощутима память о финале «Смерти Ивана Ильича»: «Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер» (*Т* 26, 113). Созвучны «Смерти Ивана Ильича» и воспоминания землемера о детстве, от которых сразу становится больно: «Он представил себе свое детство, младенчество и почувствовал невыразимую жалость к этому бедному маленькому осленку, неизвестно зачем пришедшему в мир и осмелившемуся мудрствовать»[188]. «Осленок» возвращает читателя к уже цитиро-

---

184 Там же. С. 104.

185 Там же. С. 101.

186 *Бунин И.А.* О Чехове. Неоконченная рукопись. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 84.

187 *Бунин И.А.* Астма. С. 104.

188 Там же. С. 105.

вавшейся книге Иова, но функция ввода детских воспоминаний совершенно толстовская[189].

Новое упоминание «осленка» влечет за собой новую цитату из концовки книги Иова: обращение Господа к усомнившемуся праведнику «в шуме бури». Начало его цитируется точно (Иов 38: 2–3), далее идут выдержки из главы 39, которые прерываются на стихе: «он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен;» (Иов 39: 16), причем в конце предыдущего стиха у Бунина поставлена точка, по этой причине слово «Он» в начале приведенного стиха пишется с заглавной буквы, что создает двусмысленность: местоимение «он» теперь не столько замещает страуса, как в тексте Библии, сколько относится к Господу. Получается, что именно Господь жесток к детям своим, в том числе к землемеру. Чтобы сохранить этот смысл, цитирование обрывается перед самым выводом, в котором продолжено о страусе: «потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла;» (Иов 39: 17).

Описание коня из книги Иова имеет для героя особое значение. По этой причине конь выделен землемером из ряда прочих зверей, воплощения мудрости Божией и тайны творения. Кроме того, Библия говорит о коне, землемер же читает о лошади, поэтому во всех цитируемых стихах о коне (они тоже даны в сокращении; полностью см.: Иов 39: 20–21, 24–25) в некоторых случаях местоимение «его» меняет род и превращается в «ее», большей же частью местоимения такого рода опущены. Впрочем, завершает ряд зверей бегемот, названный в Библии «верхом путей Божиих», его описание занимает две главы (40 и 41), в тексте Бунина с незначительными изменениями цитируется самое начало (Иов 40: 10–14); цитата обрывается словами: «это — верх путей Божиих»; при этом опущено логическое продолжение фразы: «только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой» (Иов 40: 14). В сознании землемера библейского бегемота замещает бык Ивана Павлова (умерший глупой смертью: объелся картошки), тем самым смысл пассажа профанируется.

Транспонирование героем библейских символов на свою собственную жизнь может показаться причудливым, но и само видение белой лошади (землемер пытается заставить себя думать о «нелепости этого призрака»[190]) представляется ему странным, требующим специального толкования. Серая

---

189 Ср. со «Смертью Ивана Ильича»: «Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. “Не надо об этом... слишком больно”, — говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее» (*Т* 26, 108).

190 *Бунин И.А.* Астма. С. 97.

крыса — видение, предвещающее скорую смерть, — замыкает сложную цепь нелепых видений-предзнаменований: старая, почти мертвая белая лошадь — грациозная белая лошадь с человечьими глазами — старуха-нищенка на телеге. В этот же ряд попадает и бык Ивана Павлова, которого землемер уже не застал по возвращении домой, но о гибели которого узнал сразу. А также «живая» астма, похожая то ли на удава, то ли на бесшумно набрасывающегося и хватающего за горло хищника. Все эти видения совершенно трансформируют первоначальный ряд образов смерти, данный в главе-экспозиции. В экспозиции все образы смерти антропоморфны, все видения основной части рассказа (за исключением старухи-нищенки, в которую как бы превратилась прекрасная лошадь) взяты из животного мира. Получается, что в последние дни своей жизни главный герой — как и умирающие на глазах читателя персонажи Толстого — обретает некое новое, подлинное знание о смерти. Но, в отличие от Толстого, это знание не выводит феномен смерти за пределы физиологии умирания и вообще материи, как у Андрея Болконского и Ивана Ильича, а напротив, делает физиологию умирания основой феномена смерти.

С одной стороны, умирание человека сознается как малая часть грандиозного процесса обновления животного мира и природы в целом; животный мир воспринимается как божественный космос, в котором рано или поздно суждено раствориться любому существу. И в этом плане смерть не отменяет физиологичность, а напротив, максимально усиливает физиологический аспект; смерть сознается как максимальное напряжение всей человеческой физиологии. Если у Толстого физиология умирания имеет основной функцией демонстрацию «ненужности» материи как таковой, то этот же прием у Бунина обретает совершенно иную функцию: это гимн материи, которая выполнила волю Господа и покорно перестает существовать (перерабатывается в иные формы).

С другой стороны, весь животный мир, окружающий бунинского героя, насыщен высшей энергией. Материя у Бунина духовна и божественна. Волчьи глаза, увиденные землемером в ночи, как бык Ивана Павлова, как белая лошадь, могут быть названы, вслед за цитатами из книги Иова, «верхом путей Божиих». Таким образом, растворение умирающего в природном мире мыслится как снятие с себя изношенной одежды тела, преображение, приобщение к природной красоте. Такое растворение человека в животном мире вскоре станет одной из излюбленных тем Бунина и одним из способов осмысления философии Толстого. В «Освобождении Толстого» он именно так объяснит уход Толстого и укажет на связь этого растворения с пантеизмом в творчестве великого писателя. В повести «Казаки» Бунин выделит фразу из раздумий Дмитрия Оленина, поджидающего оленя в лесу и облепленного комарами: «“<…> каждый из них <комаров. — *Е.П.*> такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам”. <…> И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой

же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него» (*Т* 6, 77; *ОТ*, 41; в тексте ОТ небольшое сокращение цитаты). Землемер видит в себе глупого осленка, Дмитрий Оленин — комара, фазана, оленя (фамилия Оленин в этом плане символична; столь же показательно, что все свое имя герой Толстого отдает комару). Это явления одного порядка.

Предсмертный сон землемера (офицер-кавалерист, обещающий герою скорый приезд куда-то) может прочитываться как аллюзия на железнодорожные мотивы «Анны Карениной» (прием, уже использовавшийся в иной функции в рассказе «Новая дорога»[191]) — с добавлением отдельных намеков на «Крейцерову сонату» (слова спутника-офицера «А надо вам сказать, что я безумно люблю свою жену…»[192]). При этом род войск офицера — кавалерист — добавляет к сценам умирания лошадиный мотив. А смерть землемера — центральное в раннем творчестве Бунина[193] изображение самого момента умирания, с последними судорогами, превращающими человека в мертвое тело[194] (как будет указано в «Освобождении Толстого», такая галерея умираний характерна для Толстого; такую же галерею создаст и Бунин после «Астмы») — оказывается освобождением от телесного груза, который метафорически воплощает собой астма: «Он крикнул и сделал нечеловеческое усилие освободиться…»[195]. Понимание смерти как освобождения от жизни чрезвычайно характерно для философии позднего Толстого[196].

При этом толстовские приемы финала соединены с чеховскими. Так, реализованная последней фразой неприятная шутка («поздравить с новопредставленным»), анонсированная еще в начале рассказанной истории, напоминает об архитектонике «Анны на шее», где рассказанный в начале произведения анекдот реализуется в финале. Впрочем, толстовских приемов (как аллюзий, так и в функции полемического «переписывания») в тексте неизмеримо больше.

Итак, рассказ «Астма» предлагает новый способ «переписывания Толстого», более объемный и сложный, чем первый опыт такого рода, обнаруженный нами в «Кукушке». В «Астме» в сферу «перечитывания-переписывания» вовлечен не конкретный сюжет Толстого, а органическая сумма мотивов, объединяющая Толстого «классического периода» с поздним Толстым. Эта сум-

---

191 См. главу 2 настоящей монографии.

192 *Бунин И.А.* Астма. С. 107.

193 Уже в самом первом напечатанном прозаическом произведении Бунина «Божьи люди» (1887) показан процесс умирания.

194 См.: «<…> и так и остался на месте с закинутой назад головой, выкатившимися из орбит белками и раскрытыми посиневшими губами…» (Там же. С. 108).

195 Там же.

196 См., напр., дневниковую запись Толстого от 20 ноября 1899 г. (*Т* 53, 231) или очень характерную запись в «Круге чтения»: «Жизнь есть освобождение души (духовной, самобытно живущей сущности) от тех условий телесной личности, в которые она поставлена» (*Т* 41, 546).

ма мотивов формирует мощный аллюзивный подтекст, который развивается параллельно основному (оригинальному бунинскому) сюжету, существенно влияя на его динамику. Взаимодействие бунинского сюжета (имеющего народнические корни: землемер, межевание, упорядоченная деревенская жизнь) с группой толстовских мотивов подтекста формирует совершенно новую систему идей — более связанную с буддизмом или древними христианскими ересями, чем с толстовским христианством; роднит ее с Толстым лишь местами проявляющийся пантеизм. Яркость художественной картины в этом рассказе близка, скорее, раннему символизму, а не стилистической «простоте» поздних текстов Толстого. Точнее было бы сказать, что в этом тексте бунинский импрессионизм (о котором заговорила критика в связи с такими рассказами, как «Туман» или «Тишина») переходит в экспрессионизм.

Одним словом, «Астма» — это творческая переработка всего толстовского дискурса. Собственное сочинение на толстовские темы, добавляющее к ним широкий модернистский контекст и основные элементы собственного мировосприятия[197]. Если юный Бунин в некоторых своих сюжетах предвосхищал Толстого, а затем, прочитав произведение Толстого на ту же тему, поражался блестящему исполнению[198], то повзрослевшему Бунину многого в Толстом не достает. Он стремится дополнить важные, с его точки зрения, мотивы Толстого собственными ощущениями и мыслями, собственным мировидением. С этого момента писатель ощущает себя если не конгениальным Толстому (преклонение перед художественным талантом Льва Николаевича он сохранит на всю жизнь), то способным развивать темы Толстого в ином, совершенно оригинальном ключе. Вскоре это ощущение приведет его к художественной полемике с Толстым на социально-политические темы.

«Астма» стала одной из важных вех, одним из краеугольных камней творчества Бунина — показательно, что он работал над ней много лет: начинал, бросал, продолжал, а в эмиграции существенно переделал. В этом рассказе, по размеру приближающемуся к повести, писателю удалось расширить жанр впечатления-зарисовки, найденный им на рубеже веков и успешно развиваемый в течение нескольких лет, до крупной сюжетной формы. Новеллы 1910-х гг., повести «Деревня» и «Суходол» будут следующим этапом творческой эволюции Бунина.

---

197 Ю.В. Мальцев считает, что в «Астме» соединились сразу несколько важных элементов бунинского модернизма: необычная цветовая гамма, характерная для модернистской живописи (*Мальцев Ю.В.* Иван Бунин… С. 113–114), система символов, начатая уже первоначальным заглавием (Там же. С. 135), «интереснейшие изображения» предсмертных видений землемера (Там же. С. 128).

198 Подробнее см. главу 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, тема «И.А. Бунин и Л.Н. Толстой» проливает совершенно новый свет на раннее творчество Бунина.

Лев Толстой, выбранный им в самом начале своего творческого пути в качестве образцового прозаика и писателя-ориентира, во многом определил все дальнейшее развитие бунинского литературного таланта. Проза Толстого предельно сложна и разнообразна: она может быть лаконичной, а может разворачиваться в огромные словесные пассажи; она умеет соединять кажущуюся простоту в прорисовке характеров с «диалектикой души»; она может использовать лубочные «народные» жанры, близкие фольклору, а может выстраиваться в сложнейшие романные конструкции и т. д. Вот эта толстовская сложность нарративных форм с первых же лет определила широкий горизонт стремлений Бунина.

При этом отметим: восприятие творчества Толстого, которое было свойственно читающей публике при жизни великого писателя, не акцентировало так называемый толстовский «перелом». Творчество Толстого при жизни рассматривалось в цельности, без деления на «до» и «после». В творчестве Бунина заметна та же изменчивость, что и в творчестве Толстого, но при этом Бунину не свойственны ни толстовское морализаторство, ни толстовская декларативность. Изменения поэтики творчества Бунина, случавшиеся примерно раз в десятилетие, протекают тихо — без каких-либо анонсов и сломов. По этой причине творчество Бунина тоже едино для современников, несмотря на разнообразие и изменчивость.

Во-вторых, следует отметить сходство писательских типов Бунина и Толстого: близость их мировосприятий и художественного видения (стремление к созданию видимых, обоняемых, осязаемых словесных картин, связанных с ними специфических форм философствования внутри литературного текста и пр.). Мировоззренческая близость Бунина и Толстого не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений их общность в плане чувственного постижения мира («повышенного чувства жизни», как это назвала О.В. Сливицкая). Инструментарий для анализа писательских типов не развит, обычно вопросы такого рода поднимаются философами и психологами, изучающими литературное творчество (см., например, некоторые

статьи К.Г. Юнга[1] или «Книгу художественной критики» И.А. Ильина[2], часть которой посвящена творчеству Бунина, — в ней философ оперирует понятием «художественный акт», но это только часть типологии творчества). Автор настоящей работы пытался однажды посмотреть на это явление глазами историка литературы[3], но эта попытка пока не имела продолжения.

В-третьих, так и не сложившиеся, в конечном счете, личные отношения между Буниным и Толстым (несмотря на многозначительные намеки на некую духовную близость, сделанные Буниным-эмигрантом в кратких воспоминаниях о Толстом; воспоминания опубликованы трижды в разных форматах: отдельной статей в журнале «Современные записки» в 1927 г., в качестве VI главы книги «Освобождение Толстого» в 1937 г. и в качестве отдельной главки книги «Воспоминания» в 1950 г.; эти намеки часто определяли и отношение литературоведов к личным контактам писателей) кажутся очень типичной чертой эпохи. Толстому были не интересны молодые писатели; Толстому были совсем не интересны писатели, благосклонно относившиеся к модным модернистским веяниям; Толстому были не интересны молодые люди, принимавшие его учение лишь в самых общих моментах, но не готовые следовать основному пафосу его проповеди. Вероятно, Бунина не могло не задевать определенного рода невнимание Толстого: тот не ответил, даже формальной благодарностью, ни на одну присылку Буниным собственных книг. Большинство писем Бунина тоже осталось без ответа. Впрочем, мы не обнаруживаем ни одной жалобы на Толстого и его невнимание ни в одном из сохранившихся бунинских документов. Не исключено, что в какой-то момент Бунин принял такой тип общения как норму.

Редкие похвалы Толстого отдельным произведениям Бунина (точнее, отдельным фрагментам этих произведений) на этом фоне дорогого стоят. В этих случаях отношение Толстого к Бунину похоже на отношение Бунина к Толстому: основой оценки становится степень писательского мастерства.

В-четвертых, толстовство в жизни Бунина (как можно утверждать с опорой на значительный корпус биографических документов, недавно введенных в научный оборот; надеемся, что количество документов такого рода будет расти, и мы еще заполним остающиеся белые пятна в биографии юного Бунина)

---

[1] Напр., «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству» или «Об архетипах коллективного бессознательного».

[2] *Ильин И.А.* О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев // *Ильин И.А*. Собр. соч.: в 10 т. Т. 6. Кн. 1 / сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 1996. С. 183–406.

[3] *Пономарев Е.Р.* Записные книжки и дневники И.А. Бунина в свете антропологии литературы: Бунин, Чехов, Л. Толстой как писательские типы // Труды СПбГИК. Художественная антропология серебряного века. Материалы международной научной конференции «Литературные чтения». 20–21 октября 2016 года. Том 215. 2017. С. 62–68.

сыграло значительно более важную роль, чем это представлялось ранее. Так, в повседневной жизни харьковской и полтавской интеллигенции не было никакого конфликта между народнической и толстовской идеологиями: они развивались в одной и той же среде; многие земцы меняли одну на другую вполне органически, в процессе развития собственных «убеждений». Молодой Бунин столь же органически предпочел толстовские взгляды народническим и начал освоение толстовских практик. Именно толстовское «послушание» позволило ему, наконец, лично познакомиться с Толстым. Пробыв в толстовской среде год с небольшим, Бунин постепенно освободился и от толстовской среды и от толстовской идеологии. При этом некоторые толстовские взгляды, а также особый способ ведения философских споров и продуцирования философских рассуждений остались с ним на долгие годы. Что же касается творчества, то — в противовес прежним устоявшимся мнениям — можно утверждать: текстов, испытавших исключительное влияние Толстого в творчестве Бунина практически нет. Четыре рассказа из «Русского богатства», объявленные «толстовскими» некоторыми исследователями прошлого века, на самом деле комбинируют народнические и толстовские идеологемы с характерно бунинским мировидением. Особое место в раннем творчестве Бунина занимает рассказ «На даче», в центр которого поставлен герой-толстовец. Но и в этом рассказе толстовская идеология помещена в широкий контекст интеллигентского спора и соседствует с разными прочими «убеждениями» той поры.

Наконец, говорить о прямом влиянии Толстого на творчество Бунина практически невозможно. Бунин был очень самостоятелен, начиная с самых первых своих произведений. В некоторых ранних рассказах он «опережает Толстого» — затрагивает мотивы и темы, которые сам Толстой раскроет лишь через несколько лет. Во многих других случаях Бунин использует идеи и образы Толстого лишь в тех контекстах и тех значениях, которые принципиальны для него самого. Иными словами, узнаваемые толстовские аллюзии поддерживают те смыслы, которые важны для Бунина. Так продолжается до 1900 г.

В 1900–1902 гг., в процессе формирования новой поэтики, сближающей творчество Бунина с общими исканиями модернистской эпохи, толстовские сентенции и формулировки постепенно пропадают из бунинских текстов. Рассказы-зарисовки, на несколько лет ставшие центральным жанром творчества Бунина, растворяют сентенциозность в созерцании и непосредственных чувствах, которыми делится герой. Толстовские аллюзии могут появиться в творчестве Бунина этого десятилетия, но они имеют уже совсем иную природу: они оторваны от своих корней и работают не на основной, а на дополнительные смыслы, усложняя повествование, делая его многослойным.

Кроме того, уже на рубеже веков Бунин делает первые попытки «переписать Толстого», то есть переработать тот или иной толстовский сюжет согласно собственному видению проблемы или (более сложный вариант) поместить

толстовскую тему в совершенно несвойственный Толстому контекст и по-новому разрешить ее. Свобода обращения с толстовскими темами свидетельствует, с одной стороны, о писательской зрелости Бунина, с другой же — о важности для Бунина постоянного творческого диалога с Толстым. Рассказ «Астма» может считаться вершиной толстовского дискурса в бунинском творчестве в период до смерти Толстого.

Диалог этот продолжится в следующее десятилетие. Вторую половину 1900-х гг. (точнее, начиная с 1907 г., практически сразу после окончания рассказа «Астма») Бунин увлечется новой для себя темой: он станет создавать книгу путевых очерков «Храм Солнца», посвященную поездке по Средиземному морю в Палестину и Баальбек. Диалог с Толстым внутри этой темы на некоторое время прервется (в силу отсутствия у Толстого какого-либо интереса к экзотическим травелогам). Но начиная с 1910 г. он возникнет с новой силой: теперь уже не как «переписывание», а как полемика с Толстым. Кроме того, смерть Толстого в ноябре 1910 г. существенно меняет сами конфигурации темы «Бунин и Толстой». Изменится отношение к Толстому как в писательской среде, так и в общекультурной сфере. Изменится позиционирование Бунина по отношению к Толстому. Структурно изменится и творческий диалог, который Бунин будет вести с Толстым вплоть до конца собственной жизни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рассказы И.А. Бунина (тексты первых публикаций)

Подготовка текста и комментарии Е.Р. Пономарева

Рассказы И.А. Бунина печатаются по текстам первых публикаций (рассказ «День за день» по единственной прижизненной публикации) согласно современным нормам орфографии и пунктуации. Опечатки и ошибки исправлены без специальных указаний.

Два странника

I

Еремушка вышел из Березовки после обеда. Метель поутихла, и он намеревался благополучно добраться до ближних Выселок, где можно было провесть ночь и затем продолжать путь. Цель его была — сходить к одной из его покровительниц и кормилиц, за которых Еремушка ставил всегда свечку в копеечку и усердно молился Богу. Покровительница эта была старая дева-помещица. Всякие слепые, убогие, странники находили себе приют у ней. Живя одиноко, весь свой век ничего не делая, она развлекалась бессознательно совершаемыми добрыми делами. По ночам нараспев читала псалтырь, выкрикивала молитвы, читала заупокойные прошения и т. д. Естественно, что странники и всякие «рабы Христовы» обманывали ее самым бессовестным образом. Многие соседи считали ее сумасшедшею, но барыня не унывала, может быть, потому, что на самом деле была не из умниц.

Еремушка же считал ее великою угодницею Божией и надеялся пожить у ней примерно до третьей недели великого поста, чтобы с первыми оттепелями, запасшись кое-какою одеженкою, отправиться в Троицкую лавру встречать Воскресение Христово.

Пока было еще холодно и, главное, тулупчик на плечах Еремушки совсем истерся. Это он чувствовал и теперь, шагая по дороге к Выселкам. Правда, метели не было, низкое, облачное небо синело по краям — признак оттепели; но все же дул холодный северо-восточный ветер, изредка начинали падать снежные кристаллы и пушинки, и Еремушка поневоле ежился, закутывался, старался натянуть на порванные коленки голенища сапог, огромных и мокрых от снега, и судорожно прятал рукав в рукав, кое-как прижимая локтями конец пустого мешка, болтавшегося у него за плечами.

— Господи, Спасе милостивый! — лепетали его посиневшие губы из боязни, чтобы не поднялась метель.

Все его изможденное, худое личико озябло, огромный, но дырявый картуз грел плохо. А тут еще замелькал рыхлыми шапками мокрый снег, и зимний короткий день стал переходить постепенно в сумерки. Шагах в пятидесяти уже трудно было различить что-либо от непрерывно валившегося снега и сползающей темноты.

II

Еремушка долго шагал, утомленный, ровными шагами, надеясь скоро различить в тускнеющей дали признаки деревушки. Наконец он устал. Все его плохо прикрытое тело ныло от озноба и изнеможения. Он шагнул еще раза три, засыпал в сапог мокрого и холодного снега и решительно положил сесть, переобуться и немного передохнуть. Но в это время он услышал за собою скрип шагов. Он обернулся и различил человека. Вскоре из-за падающего снега выяснилась фигура широкоплечего и приземистого мужика, одетого в заплатанный халат и монашескую шапочку. Широкий послушнический пояс подпоясывал его. Он шел, попираясь огромною палкою и несколько разваливаясь.

Еремушка стоял, беспомощно опустив мешок. Монах прошел, не останавливаясь, однако зорко оглядывая его и улыбаясь; потом обернулся и крикнул сильным и резким баритоном, крепко выговаривая «о»:

— Здорово, рабе Божий! Что ж не пристаешь? Ведь попутчики, должно?

Еремушка обрадовался и мелкими, торопливыми шагами бросился догонять его.

— Спасибо тебе!.. Здравствуй, — лепетал Еремушка, настигая монаха. — Я уж и так хотел просить тебя о том, чтобы ты позволил дойти с тобой, да не насмелился, братик!

— Аль боялся заблудиться, как овца без пастыря, и погибнуть? — спросил монах, опять улыбаясь одними своими насмешливыми глазками.

— Известно, побоялся, — согласился Еремушка. — Все, знаешь, одному-то жутко… Конечно, Господь Бог всегда с нами невидимо присутствует, но…

— Да уж вижу, что ты мокрая курочка, — опять улыбаясь, перебил монах.

— Что ж, братик, сызмальства я такой. Немощным таким по воле Господней зародился, работать невмочь, Господа-Спаса люблю, ну, и тружусь для Него по силе своей. Странствую, значит, по святым местам. Ну, и милостинку прошу оттого, что наг и беден я… Что же! Господь сказал: неимущему дай, потому что мы все братья… А ты откуда же? — робко докончил Еремушка.

— Издалека, брат.

— Я говорю, где шел, спросил, где шел? — поправился Еремушка.

— Шел, брат, везде: берегами и лугами, рубежами и межами...

— Как же это?

— Да так. Ведь видишь, кто я. Был в монастыре, потом увлечен на мирское торжище «волною морскою». В мире — Гавриил, в постриге был Рафаил.

Он обернулся, взглянул насмешливо на Еремушку и снова зашагал еще быстрее.

— А чтобы отдохнуть нам? — робко заметил Еремушка.

— Отдыхать теперь некогда. Ты ведь в Выселки?

— В Выселки, в Выселки, братик.

— Ну, вот, видишь, значит, скоро и отдохнешь. А теперь не отставать, а то на дворе уж ночь! — сказал мнимый монах и затем быстро прибавил:

— Есть у тебя знакомые мужики там?

— Где? — спросил Еремушка.

— Дурень, — резко обрезал тот, — известно — где: в Выселках!

— Есть, есть, — поспешно и трусливо ответил Еремушка.

Рафаил поправил свою шапочку; Еремушка тоже вздернул свое голенище, и они продолжали путь. Впереди, в вечернем неопределенном сумраке, зачернели лозины.

III

Зимний вечер совершенно закутал небо и землю в темноту, когда пришли в Выселки странники. Из-под нависших крыш по деревне едва-едва мерцали, словно волчьи глаза в ночную пору на лесных опушках, красные огоньки, отражаясь длинными светлыми полосами по снегу.

Выселки была маленькая деревушка. Приютилась она, как и большинство степных деревушек, около лощины, по самой лощине. Теперь она была глубоко погребена снегами. Только чернели стволы корявых, головастых ракит да покривившиеся срубы.

Тихо и мертво было в ней. В последний раз где-то резко и медленно проскрипели ворота, протяжно пролаяла несколько минут собачонка и все смолкло. Мужики, убрав скотину, при слабом свете дымных керосинниц ковыряли лапти. Бабы дремали под монотонное жужжание прялок. Мальчишки спали вповалку на горячих печках.

Странники в это время уже давным-давно сидели в кабаке. Кабак стоял особняком, приблизительно в полуверсте от деревни. Теперь в нем было тихо. Посетителей, кроме двух мужиков да странников, не было. Один мужик был уже совершенно пьян. Он сидел, положив отяжелевшую голову на столик, и резко всхрапывал, изредка просыпаясь, затягивая нестройную песню диким, скрипучим голосом и сейчас же снова начиная всхрапывать. Хозяин, отставной солдат, рыжий и косой, дремал за прилавком.

Только другой мужик кричал, сидя перед Рафаилом, жестикулировал и поминутно выхватывал из кармана кожаный «гоман»[1] с сторублевой бумажкой. Еремушка сладко спал, прислонясь к стене. Рафаил часто косился на него своими покрасневшими глазками и подливал сидящему с ним мужику водки.

— Постой, Божий человек, — говорил тот, отстраняя бутылку, — постой!.. ты не того... Себе-то, значит, нацеди!..

— Эх ты! — вскрикивал укоризненно «Божий человек», — какой же ты после этого мужик есть? Ты смотри, голова садовая: я, странник, где-где ни бывал и писание до тонкостей разумею, а и то — глянь!

Рафаил налил себе стакан водки и быстро поднял ко рту. Мужик и не заметил, как вся водка вылилась в рукав.

— А! коли так, — и я же не отстану; я, брат, сам до тонкостев... Потому полюбил я тебя... да; а для милого дружка и сережку из ушка!

Мужик выпил стакан, сделал кислую гримасу, плюнул и, утираясь рукавом, полез целоваться.

— Стой, стой, все перебьешь! — кричал Рафаил, когда стол под напором отяжелевшего мужика накренился набок. — Стой, укротись! дай я тебе лучше штуку докажу...

— Чего «стой»! — перебил мужик обидчиво, — ты мне что за указчик? а? Ты скажи!.. Скажи ты мне, жеребячья грива; ай мне заплатить, штоль, нечем? Небось у Капитошки хватит… у Капитона Митрева есть… глянь.

Капитон опять выхватил свой кошель и стал неловко развязывать. Рафаил даже глазами засверкал. Пока мужик толстыми пальцами, качаясь, теребил завязку, под монашеской шапочкой поднялись самые нестройные и буйные мысли.

Уж целый вечер он спаивал мужика, надеясь, что тот свалится и таким образом отдаст в чье угодно распоряжение свой кошель. Но мужик был крепок, как бык, и опытный в плутовских делах, Рафаил ничего не мог поделать… Теперь, при взгляде на «гоман», под кожей которого шуршала, словно крахмаленная, радужная бумажка[2], сердце забилось у «Божьего человека» с страшною силой. В разгоряченном вином мозгу складывались соблазнительные картины.

— Да что робеть? — мелькнуло у него в голове, и он стал теребить Еремушку.

— Очнись от сна! Восстань! — кричал он над его ухом. Еремушка быстро вскочил, испуганный, удивленный.

---

[1] Гоман (гаман) — кожаный кошелек для денег (*Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. Т. 1. С. 343). Это слово (вероятно, слышанное писателем в родных местах от крестьян) несколько раз встречается в текстах Бунина включая поздние наброски.

[2] Радужная бумажка (или «радуга») — в просторечии: сторублевая купюра. Получила такое название из-за многоцветной переливающейся печати.

— Куда, куда? Вставать, братик? — бормотал он, шаря вокруг себя руками. — Ах, да, спать… на ночлег! Понимаю. Верно ты говоришь, братик: «да не сном отяготися»[3] говорит Господь.

— Болтай еще! — резко перебил Рафаил: — скорей, идем, — заторопил он, увидав, что мужик направился к двери. Еремушка проворно и молча схватил мешок, нахлобучил картуз и, вздернув голенища, поспешил за Рафаилом.

IV

Непроглядная, темная ночь уже давно лежала на полях. Вдалеке, в деревне, уже потухли огни. В двух шагах ничего не было видно. Сильный ветер бил в лицо мокрым снегом.

Рафаил выбежал торопливо за мужиком и схватил его за рукав.

— Слушай, — быстро говорил он, — слушай! Где твоя изба? а? Мы тебя доведем в деревню… и сами переночуем... Слышишь? — повторил он, как в бреду.

Но мужик шел, сильно раскачиваясь, по направлению Выселок и упорно молчал. Рафаил опять настойчиво повторил свои вопросы. Опять молчание. Мужик, видимо, смекал, что тут начинает играть роль его сторублевая бумажка.

— А, ты вот как! — пробормотал наконец монах и бросился к Еремушке. Тот покорно полусонный брел за ними.

— Слушай, Еремей, — шептал Рафаил, — иди скорей за мной! Я его повалю и буду держать, а ты вытаскивай!..

— Как «вытаскивай»? — удивленно спросил Еремушка, — кого вытаскивать?

— Деньги у него из кармана... кошель... да ну же, ну?

Еремушка даже остановился.

— Господи, Сусе–Христе, Спасе милостивый! Да что ты, кормилец, делать хочешь? — возразил он.

Рафаил озлился.

— Дура проклятая! — вскрикнул он. — Не болтай и слушай, что те говорю! Иначе сейчас нож в бок!

Рафаил выхватил большой, складной нож. Еремушка даже мешок выронил.

— Кормилец, милостивый! — со слезами в голосе взмолился он, — не губи душу его! Куда она должна пойти?.. Ведь в ад… Братик, послушайся, не льстись!..

---

[3] Цитата из церковного песнопения, исполняющегося в первые три дня Страстной седмицы «Се, Жених грядет в полунощи». Полностью звучит так: «Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас».

Но «братик» рявкнул, треснул его кулаком в лицо и бросился вслед за мужиком…

Удар был так силен и ловок, что слабенький Еремушка с окровавленным лицом рухнулся в снег и минут пятнадцать пролежал без сознанья и движенья. Когда же он мог подняться, — даже в кабаке все спали мертвым сном и был потушен огонь.

Еремушка с удивлением вспомнил, какие странные вещи творились в нынешний вечер.

— Господи, Спасе, — бормотал он по обыкновению, — как это приключилось? Где же братик?

Он вспомнил вдруг, что Рафаил бросился с ножом за мужиком и все понял. Ужас оковал его, и он бросился по дороге в поле.

— Дойду, дойду, — думал он, — вот и вешки. Господи, Спасе, прости ему, прости Никола-угодник!..

V

Он вышел в поле, а в поле, как говорится, уж зги не было видно. Едва-едва чернели, заносимые снежными вихрями, вехи. Только слабое соображение Еремушки могло допустить возможность путешествия в такую бурную ночь пешком и полураздетому. Правда, раз или два его застигала по ночам в поле метель и он полуживой добирался до деревни, но теперь едва ли он мог спастись.

Темное поле гудело от снежных ураганов. Ветер резкий и пронзительный налетал на него, поднимал облака холодной пыли, хлестал в лицо и в спину Еремушке и едва не валил с ног. Тулупчик немилосердно распахивался. Все тело онемело от боли. Глаза слипались. За ворот сыпался снег. Шапку уже давно сорвало и укатило ветром. Побежал было за нею Еремушка, да и остановился. Неравно еще потеряешь дорогу. Он остановился и совершенно растерялся.

«Ворочусь», — мелькнуло в его голове, и он повернул и, кутаясь, пошел против ветра. Но скоро исчезла и дорога. Еремушка не знал, куда идти. В беспредельном, кружащемся мраке терялись взоры. Он перестал шептать молитвы и шел теперь в полусознательном состоянии. Резкий холод будто уменьшился. Даже не чувствовалось того, что нога вязла по колено в снегу.

Вот он упал в рыхлую массу и сразу очнулся. Буря по-прежнему с завываньем носилась по полям. Еремушке стало ясно, что смерть вот-вот, еще мгновение — и насядет на его хрупкое тельце. Еремушка дико вскочил и, задыхаясь, словно от какого-то призрака, бросился бежать по полю. Хриплые стоны вырывались из его горла. Он бежал несколько минут, пока куда-то не сорвался и не упал на снег. Теперь тело словно уже не принадлежало ему. Это была какая-то чужая груда. В изнеможении, он впал снова в полусознание и закрыл глаза.

Что-то гудело и шипело над ним. Но он теперь этого не слушал. Перед ним быстро проходила его жизнь, и какой-то отдаленный шум сопровождал суетню воспоминаний.

Вот сразу пронеслось все прожитое; словно вихорь, пронеслось все от самого детства и до самого конца. Перед Еремушкой даже мелькнул иерусалимский храм[4]. И замелькали отдельные картинки, звуки, сцены, слова, лица, огни какие-то.

Предстала перед ним его деревушка… Яркий летний полдень… Все горит и сверкает в знойном солнечном свете… Деревня словно вымерла… А Еремушка сидит на меже у высокой пахучей конопли и смотрит на двух белоголовых девочек, своих сестер. Он сам такой же маленький, с такими же беленькими волосиками… И Еремушке даже слышится запах конопли. Потом пошли зимние и осенние дни… Изба, занесенная снегом… мать, сморщенная, низенькая старушка. Вот, словно колыбельная песня послышалась ему. Звуки ласковые, тихие… У Еремушки подступили горячие слезы. Он встал и, шатаясь, бессознательно побрел вперед. Метель позатихла. Улеглись снежные порывы. Поле необозримою равниною терялось в сумраке, а в вышине, в темном небе, закрывая мелькающие звездочки, быстро мчались тучи.

— Господи, Спасе, дивны дела!.. — шевелилось в голове замерзающего, — дивны дела Твои!..

Еремушка опять упал и ударился обо что-то головою. Слабо раскрыв глаза, он нащупал дерево и силился разглядеть, где он.

Огромные, ветвистые, опушенные снегом, сосны стенами стояли вокруг и таинственно шептались. Словно великан, дремал лес, погребенный оврагами и зимними пеленами… Вон, высоко-высоко, опять мелькнуло звездное небо.

— Боже, — шевельнулось еще раз в голове Еремушки, — дивны дела Твои! Слава Тебе…

Судорожный трепет благоговения сразу приподнял его. Опять горячие, сладостные слезы нахлынули, и Еремушка упал в снег головою… Словно колокольный отдаленный звон широкими волнами наполнял темное пространство… Росли и сдвигались все теснее и теснее великаны дубы, принявшие

[4] Значение словосочетания в данном контексте не имеет однозначной трактовки. Возможно, имеется в виду главный храм иудеев во времена Ветхого завета, располагавшийся в Иерусалиме на Храмовой горе. В этом случае получается, что Еремушке в предсмертном видении удалось увидеть одну из святынь Священной истории. Другое возможное значение — какой-то из региональных храмов, называемых Иерусалимским. Например, в Воронеже был Входо-Иерусалимский храм. Третье возможное значение: учитывая упомянутую в начале текста Троицкую лавру (знаменитый монастырь в Сергиевом Посаде под Москвой), куда Еремушка собирался на Пасху, можно предположить, что однажды он мог побывать и в другом знаменитом подмосковном монастыре — Новоиерусаимском (в Истре). Его главный собор — Воскресенский — был задуман как копия Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

страшные размеры в высоте, а сладкая дремота и трепет разливался по телу замирающего.

«Дивны дела Твои», — чуть-чуть слышалось где-то… Слезы так и замерли на ресницах Еремушки, и сразу зашумевшая буря загудела по лесу и сухими наметами снега стала засыпать окоченевшего Еремушку.

———

В Березовке наутро перед волостью стояли розвальни, а в них тело Капитона Дмитриева с широкою раною на шее. Наехали власти, но убийцу нигде не могли узнать и разыскать.

Неизвестно, где теперь «Божий человек», Рафаил. А труп Еремушки, наверно, унесли весенние потоки и похоронили где-нибудь в глубоком овраге или на дне озера…

Печатается по: ***Родина. 1887. 28 сент. № 39. Стб. 1224–1229.***

День за день
Старая история

Тихон Иванович Кондауров сидел после обеда в своей комнате и играл на немецкой гармонии вальс «Тигренок»[5], подпевая себе самым тоненьким голоском, так что даже брови у него поднялись кверху и все лицо приняло страдальческое выражение. Тихон Иванович, конечно, баловался, а баловался оттого, что был, во-первых, в спокойном расположении духа (впрочем, в скучном или неспокойном духе он, по его словам, никогда не бывал), во-вторых, чувствовал себя в физическом отношении даже больше чем спокойно; в этом отношении он тоже никогда почти жаловаться не мог, и, в-третьих, оттого, что день был — 20 число[6] и в кармане его узких, модных брюк лежало 45 рублей жалованья. Тихон Иванович был человек служащий, полнее сказать, служащий у старшего нотариуса Елецкого окружного суда. Дело свое он знал хорошо, так что иногда брал на себя даже роль поверенного по чьим-нибудь делам, принимал на себя хлопоты по закладу в банки и т. п. От всего этого у него набиралось в месяц почти 70 р., а это было очень недурно, если принять во внимание прежнее положение Тихона Ивановича в юношестве, когда он был библиотекарем в маленькой библиотеке захолустного уездного города и звался Тишкой. Теперь же он нанял себе квартиру в три комнаты с кухней, с отоплением и с мебелью, даже с украшениями в виде олеографий; женился на дочери мелкого помещика, причем взял немного приданого, завел себе «рабочий» кабинет, в котором стоял письменный стол, а на столе — две фигуры белых гипсовых китайцев, прекрасная чернильница и лежала стопка бумаги, на которой было напечатано: «Тихон Иванович Кондауров в Ельце»; купил себе ружье, длинные сапоги, которые постоянно лежали в пыли под кроватью, достал даже громадного, кудрявого водолаза и звал его «Бисмарк».

Что касается самого Тихона Ивановича, то он пополнел, стал солидным мужчиной, стал носить на своих больших ногах модные штиблеты и такие же брюки, куцую визитку и, постоянно, накрахмаленные рубашки с стоячими воротничками. Правда, такой костюм не был очень красив на плотной и здоровой фигуре Тихона Ивановича, но Тихон Иванович не замечал этого. Про

---

[5] Имеется в виду романс-серенада «Тигренок» («Месяц плывет по ночным небесам…»; написан в 1870-е гг.; музыка и слова К.С. Шиловского, 1849–1893). Романс был очень популярен в 1880-е гг. Упоминается в произведениях А.П. Чехова этого десятилетия: «Дачные правила» (1884), «К характеристике народов» (1884). Музыкальный размер этого произведения — 3/8, что придает ему сходство с вальсом.

[6] Чиновникам (государственным служащим) в XIX в. жалованье (за истекший месяц) выплачивалось 20 числа.

себя он вообще думал, что он красив; ему нравилось его полное молодое лицо и смелое (даже, говоря по правде, наглое) выражение его, под гребенку остриженная голова и даже манеры, походка; ходил же он немного подаваясь вперед и постоянно заложив руки в боковые карманы брюк, т. е. вообще небрежно, двигаясь, как на лыжах, в своих низких штиблетах.

———

Итак, он сидел, покачивался, держал папиросу во рту, играл «Тигренка» и подпевал себе то басом, то фальцетом. Он даже не обернулся, когда в кабинет вошла его жена — Надежда Федоровна. Она была совсем не похожа на Тихона Ивановича, — небольшого роста, худая, с бледным, задумчивым лицом. Вошла она, кутаясь в платок, и прилегла на кушетке, стоявшей в углу. Тихон Иванович взглянул на нее, бросил папиросу и, отвернувшись в сторону, заиграл бойко и размашисто «Шуми Марица окровавленна!..»[7]

— Ты пойдешь сегодня куда-нибудь? — спросила Надежда Федоровна.

Тихон Иванович утвердительно кивнул головой и всем корпусом продолжал играть.

— Куда? — продолжала Надежда Федоровна.

— Знаем куда, — ответил Тихон Иванович.

— В цирк что ли? — повторила она.

— Нет.

— К Крутикову?

— Нет.

— Куда же?

— Знаем куда.

Надежда Федоровна вскочила и сразу вспыхнула.

— Что это за «знаем куда»? — закричала она со злобою и уже почти со слезами, — что это за разговор со мною? Неужели ты не можешь сказать, как следует... Вечно так...

Тихон Иванович перестал играть и бросил косой взгляд на жену.

— Нельзя ли потише-с? — спросил он насмешливо.

— Нечего мне «потише-с», — закричала опять Надежда Федоровна, — ты со мною слова путного никогда не скажешь. Я, ей-Богу, разговаривать с тобой никогда не стану... Это...

---

[7] «Шуми Марица окровавленна!..» (Шуми Марица окървавена; пер.: Марица плачет, вся в крови, *болг.*) — национальный гимн (с 1886 г.) Княжества Болгария. Написан на мотив немецкой народной песни «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren» (Когда солдаты идут по городу), очень популярной в Болгарии в середине XIX в. Текст создан в 1879 г. болгарским педагогом Н. Живковым. В тексте газетной публикации опечатка («Шумна Марица окровавленна!..»). Опечатка исправлена в настоящей публикации.

— Дальше? — резко крикнул Тихон Иванович, сразу повертываясь и подпирая руки в бока. Надежда Федоровна хотела тоже что-то крикнуть, но не смогла, махнула рукой, вскочила и с рыданьями выбежала из комнаты.

Тихон Иванович поглядел за нею, встал. Ему стало немного жаль ее.

— Пойти, что ли, — подумал он, стоя. — Нет, ну ее к… чертям, — возразил он себе сейчас же и растянулся на диване.

Полежав, он закрыл глаза и стал уже погружаться в сон; но вдруг вскочил, сбросил с себя визитку и жилет, расстегнул рубашку и снова упал на подушку... Через несколько минут он храпел.

В сумерки он встал, крепко потянулся, сплюнул и стал умываться. Умывшись, он оделся, подрал себе стриженую голову щеткою, надел поддевку на лисьем меху и, напевая «Чудные девы, девы мои!..»[8], вышел.

А Надежда Федоровна все это время лежала в своей спальне и думала невеселые думы. Наплакавшись, она немного успокоилась и погрузилась в какую-то элегическую, тихо сосущую сердце грусть. Заслышав, что муж проснулся, она вскочила и, как только он хлопнул дверью на крыльцо, с лихорадочною поспешностью стала одеваться. Она твердо решилась проследить, куда отправится Тихон Иванович. Но когда ей осталось только надеть калоши, сразу остановилась: во-первых, Тихон Иванович прежде всего отправится в ресторан и будет долго играть там на биллиарде, выпивать с Крутиковым, напевать и скользить на своих лыжах-штиблетах вокруг биллиарда. Потом они выйдут на улицу, крикнут извозчика и, не прерывая веселого, циничного разговора, «закатятся» до полночи куда-то... Все это быстро пришло в голову Надежде Федоровне. Она вдруг почувствовала такое страшное презрение к нему, — что, не расстегивая пуговиц, сорвала с себя дипломат[9], бросила шапочку и подошла к окну. Через некоторое время злоба улеглась и она стала глядеть на темную, грязную улицу и ночное осеннее небо. Она опять задумалась... На глазах у ней стояли тихие, горячие слезы.

Она сама не знала, зачем вышла замуж за Кондаурова. Когда они венчались, она не думала определенно о цели этой свадьбы; венчалась потому, что другие венчаются, выходят замуж, — и она должна была идти. Почему она так поступала? — объяснить это можно только тем, что она почти не получила

[8] Имеется в виду ария Ратмира из оперы «Руслан и Людмила» (1842) М.И. Глинки (1804–1857). Текст арии принадлежит основному либреттисту оперы В.Ф. Ширкову (1805–1856). В финале арии несколько раз повторяется словосочетание «Чудные девы мои».

[9] Дипломат — длинное женское пальто, предназначенное для прогулок или поездок, строгого кроя, часто с приталенным силуэтом.

никакого развития и воспитания, с пятнадцати лет, со времени выхода из гимназии, все время жила дома, у отца, мелкого помещика. Идеалов, стремлений не имела почти никаких, читала мало, больше всего иллюстрированные журналы, — словом, была настоящей уездной барышней даже без городского лоска. Но удивительно то, что она теперь, в сущности нисколько не переменясь, теперь, когда все, так сказать, кончено, начала ощущать страшную пустоту, тяжесть бесцельной, однообразной жизни с Тихоном Ивановичем. Прежде она почему-то вовсе не чувствовала болезненного чувства неудовлетворенности от того, что жила день за днем, однообразно и скучно; теперь же это чувство развилось до громадных размеров.

— Господи! что же будет дальше, — думала она, и болезненная тоска все возрастала; неужели я теперь погребена и на целую, да, на целую жизнь осталась в Ельце?.. Неужто дни будут проходить так же бесцельно. Вот теперь зима, потом весна, лето и опять все сначала. И весна, и зима, и лето — я наперед знаю, как пройдут. Те же дни, тот же обед, сцены после обеда до тусклых сумерек?! Она села на кровать и вздернула плечами... Она боялась даже дальше думать об этом.

———

Какою поэтичною, хорошею казалась ей теперь ее жизнь у отца! В деревне, на воле вовсе нет такой тяжелой и однообразной жизни... Вот теперь зима... Разве прежде зима оставляла на нее такое впечатление?.. Нет, она даже страшно любила ее прежде, любила холодные, серые дни, необъятные пустынные снежные поля, любила долгие вечера... В комнате тихо. Тихо так, что слышишь, как шипит керосин в горящей лампе... Отец сидит на лежанке и наигрывает на гитаре полудремотные, полугрустные мелодии; в сердце поднимается какое-то хорошее, но смутное неопределенное чувство, кажется, что вспоминается что-то далекое и милое, кажется, что сердце со всем примиряется и только просит этого меланхолического сладкого раздумья...

Так, или приблизительно так, думала Надежда Федоровна, и от этого ей становилось еще тяжелее... Как она ненавидела в эти минуты город, свою квартиру и, больше всего, Тихона Ивановича!

Являлось даже смутное желание отомстить ему.

Она вспомнила о соседе, учителе уездного училища, молодом, скромном человеке, который, как она успела заметить, был влюблен в нее... «А ведь он милый», — подумала она и закрыла глаза... Мысли о том, как бы он стал любить ее, ласкать, целовать руки, сидеть с нею по вечерам наедине, пошли бесконечною чередою. Машинально она встала и взяла с окна чернильницу и бумагу с твердым намерением написать ему ласковое письмо с просьбою прийти, посетить ее вечером и т. п.

Но когда она взяла уже перо и села к столу, ей расхотелось писать. Она бросила перо и опять прилегла на кровать.

———

Часа в два ночи она услыхала, что вернулся Тихон Иванович; раздевшись в передней, он зажег лампу и куда-то прошел с нею по комнатам. Потом вошел в спальную, поснимал с себя платье и, что-то бормоча и сопя, лег около нее. Она молчала, как убитая...

В комнате было темно и тихо.

Только слышался шум ветра; на дворе стояла вьюга.

«Господи, завтра все это опять повторится!» — подумала она, уже начиная дремать...

Печатается по: ***Орловский вестник. 1889. 22 ноября. № 156. С. 2.***

Тарантелла
(Из жизни деревенской интеллигенции)

I

Накануне сочельника учитель земской школы в Можаровке Николай Нилыч Турбин занимался очень неохотно. Класс был наполовину пуст, но все-таки Турбин с усилием дотягивал занятия до половины второго. За последнее время во многих неприятностях и в утомительной работе он подкреплял себя, главным образом, напряженным ожиданием праздника и надеждой съездить домой. Но ехать оказалось не на что. Турбин давно уже понял, что никуда не поедет, но сказать себе это определенно — все оттягивал. Теперь больше всего хотелось остаться одному. «Обсудим, обсудим!» — думал он беспокойно, и уже по одному тому, что Николай Нилыч прикрывает глаза, ребята видели, что он или сердит или нездоров. И правда, к концу занятий у него начало ломить в левой стороне головы.

Когда же школа опустела, Турбин со злобой прихлопнул дверь в передней и быстро пошел в свою комнату. Там он сел на сундучок и прислонился спиной к стене.

— Пусть будет так! — сказал он наконец, медленно и, потягиваясь, стащил с себя визитку[10]. Потом лениво встал, повесил ее под простыню на стену и накинул на себя длинный тулуп, крытый казинетом[11]. В тулупе он лег на кровать и закрыл глаза. «Ночной зефир струит эфир»[12]… — напевал он, покачиваясь. В голове стояло одно и то же: пусть будет так! — что, собственно, значило: «Черт побери, не стану и думать… Не ехать, так не ехать… Эка важность!» А в глубине души было смутно и тоскливо. Тащиться к дьячку обедать не хотелось. Левая сторона головы продолжала болеть. Он обмял плечом подушку поудобнее и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту он слышал, как приходил сторож Павел, обивал от снега лапти, крякал с мороза, сморкался и гремел ведрами; видел сквозь полузакрытые веки, что в комнате разливается отсвет заката; чувствовал, что от холода

---

[10] Визитка — официальная одежда (для дневных визитов и пр.): сюртук с незастегивающимися полами, спереди закругленными, сзади доходящими до колен.

[11] Тулуп, крытый казинетом — длинная верхняя одежда из овчины, покрытая сверху хлопчатобумажной или полушерстяной тканью.

[12] «Ночной зефир струит эфир» — первая строка стихотворения А.С. Пушкина (1824). На эти стихи существовало два известных романса: М.И. Глинки (1838) и А.С. Даргомыжского (1830–1840-е гг.); оба были очень известны в конце XIX в.

стынут ноги и кончик носа… И вдруг очнулся и оглянулся бессознательным взглядом: «А? что?» — невнятно спросил он; но тотчас ткнул голову в подушку и заснул…

Турбину шел двадцать четвертый год. Он был сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил; по бедности ему пришлось вернуться домой; дома он все выписывал программы, думая приготовиться то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на сельского учителя[13]. Дьякон этому не противился; энергия его ослабела; он все ждал смерти, так как был болен застарелой грыжей. Жить с ним было тяжело. Матери Николай Нилыч не помнил, а сам дьякон отличался болезненно-угрюмым характером; лицо у него было, как на старинных иконах у схимников — темное и деревянное, фигура суровая — сухая, высокая, сутуловатая; говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже тон его разговора был всегда один — такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши год одиноко, Николай Нилыч стал вспоминать о нем с тоской и нежностью, как о единственном близком человеке, и дни и ночи мечтал о поездке домой. Как это всегда бывает, он все обманывал себя надеждами на будущее: вот, мол, дай только это время пережить, а там… все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондиции — из-за одного содержания[14] — у богатого купца-лесорубщика. Летом Турбин думал отправиться домой в августе, хоть недельки на две. Но нужно было справить к зиме тулуп. Осенью он надеялся на святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой… например, к вечеру… долго будет сидеть с отцом в этот первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, задушевно будет говорить с ним до поздней ночи… А после поедет в большое торговое село к двоюродной сестре; у сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики, будет людно, светло и весело. «Надо будет захватить с собой туда гитару», — думал Николай Нилыч.

---

[13] Под юнкерской школой подразумевается юнкерское училище, готовившее младших офицеров (выпускали подпрапорщиков), в него допускались лица всех званий. Под межевой школой — землемерное училище. Экзамен на сельского учителя держали большей частью выпускники семинарий, принимали экзамен уездные училищные советы. Помимо умения преподавать церковнославянское чтение, чистописание, церковное пение и арифметику, а также Закон Божий, советы обращали внимание на моральный облик будущего учителя.

[14] Учитель на кондиции (от *лат*. conditio — условие) — это домашний учитель или репетитор, работающий в частном доме (обычно нанимался на определенный срок). Из-за одного содержания — т. е. без жалования, только за проживание и питание.

Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дьячку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы предупредить отказ, письмо было строго и властительно. Внизу была приписка: «А последнее мое слово: имей Бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда заработать значительную сумму корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статейки под заглавием «Родные отголоски» за подписью: Ариель. Но из них взяли только пару заметок — о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе.

Турбин сильно захандрил.

Село было небольшое. Школа стояла одиночкой, на горе. Слева была церковь и кладбище, походившее на запущенный сад, справа — расстилался косогор. Дорога по нему шла из полей мимо училища по косой линии под гору. Под горой, ниже кладбища, жили духовные; против них, через дорогу, стояла лавка и кабак Грибакина. На противоположной горе, за речкой, была усадьба Линтварева с белыми хоромами и скучно синеющими рядами елей перед ними. Винокуренный завод вечно дымился в стороне от нее, над речкой. Подле него находились неуклюжие заводские строения — очистные, подвальные — и домики на манер железнодорожных — для служащих. Самое село располагалось от имения влево.

С завода приходили к Грибакину гости — старый барский повар, всеми уважаемый за его поездку в Иерусалим, о которой он постоянно с смиренностью и важностью рассказывал, и за его близкое знакомство с интимной жизнью господ; затем — конторщики, подвальные, дистиллятор и медник. Это был народ лавочнику нужный; по вечерам у него они занимались стуколкой[15] или играли на немецкой гармонике. Турбин избегал попадать на такие вечера, потому что его усаживали за карты, а он не любил проигрывать деньги. К тому же Грибакин обходился с ним учтиво, но холодно. Весной он приметил, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться с учителем какие-то особенные разговоры, хотя, конечно, не подал вида — «давал сперва начала ходу»: такой он был благообразный и вежливый старичок, в опрятном сером тулупчике. И правда, кое-что было. Учитель нравился лавочнице. Первое время его самого при виде ее молодого лица, с раздувающимися ноздрями и смеющимися глазами под завитой челкой, охватывало сильное волнение. Но что-то в ней было неприятно ему. Он старался отделываться семинарскими шуточками. Анна Сергеевна сперва покрикивала на него («это еще что за ново-

[15] Стуколка — карточная игра. Название происходит от стука рукой по столу, элемента игры.

сти?»), а потом начала звать гулять к кладбищу и все чаще напевать сдержанно-страстно и даже глаза прикрывая, как бы в изнеможении:

Вот скоро, скоро я уеду,
Забудь все пылкие мечты,
Забудь, как я тебя любила,
Забудь мой рост, мои черты!..

Тогда Турбин стал пропадать по вечерам в поле. Кроме невольного чувства, восставшего против этой любви, его сдерживала еще боязнь «истории». «Пойдут сплетни, — думал он, — различные неприятности… немыслимо!» Заметив это, Анна Сергеевна стала говорить ему при встречах дерзости и преувеличенно ругать его перед мужем.

— Ага, — думал Грибакин, — перековала язычок!

В гостях на заводской стороне учитель бывал раза три-четыре за всю зиму и весну у дистиллятора Таубкина. Таубкин, молодой еврей, рыжий и золотушный, в золотых очках для близоруких, был человек очень добрый, и у него собиралась большая компания. Но между нею и учителем отношения как-то не завязывались. Учитель дичился, а заводские все были друг с другом запанибрата. И управляющий, и главный конторщик, и контролер, и Таубкин, одевавшиеся с претензией на моду, и подвальные, и медник, и подкурщик, одевавшиеся как железнодорожные рабочие, и жены их, женщины мещанского типа, — все жили между собою дружно, одними интересами. У всех было много дела; и они делали его, но в то же время всегда казались праздными: часто бывали друг у друга в гостях, пили портвейн и закусывали сардинами, танцевали под аристон[16], а после играли в «шестьдесят шесть»[17], не исключая и дам. Старшие рабочие на заводе и в «очистной», здоровые мужики в фартуках, отличались во всем грубой решительностью, циничными разговорами и собственным достоинством. Учитель некоторых из них отчасти побаивался даже — например, посыльного на почту. Когда тот привозил учителю письма, учитель говорил ему «вы», давал на водку, но посыльный все-таки поражал его своим презрительным спокойствием и невнимательностью. В общем же, учитель дичился этой своеобразной жизни, которая казалась ему насквозь проникнутой каким-то особенным духом большого барского имения.

---

[16] Аристон (аристон-орган с диском) — механический музыкальный инструмент, работающий при помощи сменных картонных дисков с отверстиями.

[17] Шестьдесят шесть — карточная игра, пришедшая из Германии, широко распространенная в XIX в.

Осень началась солнечными днями, свежими и веселыми.

По воскресеньям Турбин с утра уходил в поле, туда, где видны были на горизонте станции и один за другим уходящие вдаль очертания телеграфных столбов. Его тянуло туда, потому что в ту сторону поезд должен унести его на родину.

С утра было особенно свежо, светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял реку. Белый дым таял в солнечных лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. В барском парке, прохваченном ночною сыростью, на низах, стояли холодные синие тени и пахло прелым листом и антоновскими яблоками; на полянах, в солнечном блеске сверкали паутины и неподвижно рдели светло-золотые клены. Резкий крик дроздов иногда нарушал эту светлую тишину. Только листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, падали на темные, сырые дорожки. Сад пустел и дичал; далеко был виден в нем полураскрытый, покинутый шалаш садовника.

Не спеша, учитель всходил на гору. Село живописно лежало в широкой котловине. Ровно и медленно тянулся ввысь дым завода; на ясной синеве осеннего неба кружились и сверкали белые голуби. На деревне всюду резко желтела новая солома; крыли крыши; слышался говор; с громом неслись через мост порожние телеги.

А в открытом поле — особенно под солнцем, к югу — все блестело и сверкало, между тем как к северу горизонт был темен и тяжел и резко отделялся грифельным цветом от желтой скатерти жнивья. Далеко можно было различать фигуры женщин, работающих на картофельных полосах, медленно едущего по полю мужика. Золотистыми кострами пылали в лощинах лесочки. Виднелись кирпичного цвета крыши помещичьих хуторов. Учитель напряженно смотрел на них. Им овладевало беспокойство одиночества, тянуло в эту неизвестную ему среду, в новую обстановку, где жизнь проходит свободно, легко и весело. И за думами о помещичьей жизни он совсем не видал красоты, которая была вокруг. Так было просторно и тихо в полях, так был светел ветреный, сухой полдень! Мягко и покойно было на проселочной пыльной дороге. Кругом зеленели озими, желтели жнивья, пахло сухою полынью, картофельной ботвой и почерневшими просяньями[18]. Даже срубленный лес не производил грустного впечатления. Теперь на месте леса белела щепá, стояли «сажни» дров среди обрубленных сучьев и поблекших листьев, да возвышались три длинные, тонкие березки с уцелевшими макушками. Их одинокие очертания гармонировали с открытыми далями.

Турбин, при виде этих березок, всегда вспоминал, что здесь он встретил жену Линтварева. С нею и ее мужем он познакомился и встречался несколько раз на станции. Они держали себя с ним очень просто и даже ласково, особен-

[18] Просянья — стебли прошлогоднего проса, оставшиеся в поле.

но муж; кроме того, про Линтварева было слышно, что он окончил курс в университете, увлечен земскими делами и, главным образом, профессиональным образованием. Все это, с придачей богатства и знатности, внушало Турбину большое уважение к Линтваревым. При встрече с ним около срубленного леса жена Линтварева так ласково улыбнулась ему и показалась ему так изящна и аристократична в своем черном платье и шляпе в виде цилиндра, что учитель покраснел от радости и тут же решил непременно побывать у них в гостях, завязать прочное знакомство. Он долго глядел вслед ее английскому шарабану, запряженному парой небольших темных лошадей, которыми она сама правила, между тем как кучер, тоже весь в черном, сидел сзади нее с длинным бичом в руке. Учитель не видел, куда идет, с наслаждением рисуя себе, как он будет сидеть у Линтварева на балконе, как равный всем остальным гостям, вести интересный, живой разговор, пить прекрасный чай, курить дорогую сигару… и даже, когда-нибудь, в весенний вечер, ехать верхом около молодой, стройной гостьи Линтваревых за деревню, в поле, в темнеющую даль…

К концу сентября все удивительно изменилось. Дожди лили с утра до ночи. Линтваревы уехали. Сад их почернел, стал как будто ниже и незначительнее. Деревня приняла темный, жалкий вид. Холодный ветер затягивал окрестности туманной сеткой дождя. В училище запахло кислым запахом печной сырости, стало холодно, темно и неприятно.

Турбин вставал еще при огне, в ту неприязненную пору, когда после мрачной дождливой ночи над грязными полями, над колеями дорог, полными водою, недовольно начинал дымиться бледный рассвет. С рассветом становилось еще неуютнее и холоднее. Учителя будил стук дверей. Ребята натаскивали на лаптях в переднюю грязи, сморкались, возились, топали и кричали. В отворяющиеся двери несло ледяною сыростью. С дрожью подходил учитель к умывальнику. Потом спешно пил горячий, жидкий чай вприкуску и тушил лампочку. После ее желтого света в комнате синел холодный утренний сумрак. В этом сумраке учитель входил в класс и, завернувшись в тулуп, натягивая его на холодеющие колени, садился за свой стол. Начиналась упорная работа. Сперва он горячился, напрягал все усилия говорить понятнее и сдержаннее; потом только смотрел, как сечет в окна косой дождь и тянутся обозы к заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; от потных, потемневших лошадей валил пар. И все представлял учитель самого себя едущим на вокзал в телеге: телега медленно качается, хлюпает по дороге, залитой грязной водою, сечет дождь и заливается-стонет ветер, гнет в поле одинокую, голую березку…

Оживлялся он при говоре и толкотне уходивших учеников.

— Здорово льет? — спрашивал он Павла, засовывая ноги в старые, большие полуботы.

— Кажись, перестает, — каждый день отвечал на это Павел.

— По морю, яко по суху, — каждый день говорил ему и лавочник, стоя под навесом кабака, и снисходительно смеялся.

Турбин, всегда в этот момент перебиравшийся от лавки на другую, менее грязную сторону дороги, махал с ответным смехом рукой и вдруг делал со всех своих длинных ног гигантский, отчаянный шаг. Шлепнув калошей в лужу и видя, что над этим прыжком покатывается со смеху сидящая за шитьем под окном лавочница, он, с неловкой улыбкой, неловко пробирался под плетнем дальше.

— Писем, Иван Филимонович, нету? — кричал он издалека лавочнику.

— Пишут… Теперя небось уж в конверт запечатывают.

— То-то несуразный-то! — говорила лавочница, как бы с сожалением, раздумчиво качая головою и откусывая нитку. Турбин знал, что за его путешествием все следят с любопытством, и понимал, что именно так и говорят о нем, как о несуразном, и отчасти соглашался с этим. В самом деле, он был высок, неловок; когда смеялся, закрывая рот рукою, то весь изламывался и назад и вбок; ходил с семинарской повадкой…

Дьячок Скрябин был самый убогий человек в селе. Трудно было встретить мужчину более недалекого и некрасивого. Да впрочем, никто и не относился к нему как к мужчине. Лицо его с унылым, поблекшим носом, жидкая коса, слезящиеся глаза — все напоминало старуху. Тяжело было глядеть, как он, весной, в полую воду, или осенью, под дождем, брел по выгону в огромных растрепанных валенках, внутри которых была подложена солома, и в своем стареньком подряснике. На клиросе он читал и подпевал разбитым голосом так, словно он был или выпивши, или бредил. В избе у него, как и у большинства духовных, было довольно чисто и уютно, но толклось человек семь детей. Никто не обращал на них внимания. Несмотря на свое нищенство, как сам Скрябин, так и жена его только и думали, с утра до ночи, об еде. Скрябин ел походя: то лазил в печку за картофелем, то пек себе яйца, то наливал через полчаса после обеда чашку похлебки, то жевал хлеб. Раза три или четыре в день он возился с самоваром, собирал щепочек, раздувал его то губами, то старым голенищем. У жены Скрябина было очень приветливое, открытое и грустное лицо. Но, кажется, в душе ее и в уме что-то было не в порядке. И жалка, и неприятна была ее нежность, с которой она, измученная детьми и заботой по дому, ухаживала за лентяем дьячком и все устраивала ему сюрпризы: до рассвета бегала по деревне, вымаливала у соседей яичек, коровьего масла и тайком мастерила

какое-нибудь замысловатое кушанье. Но сюрприз зачастую не удавался: выходила какая-то галиматья, а не кушанье, и дьячиха с виноватой, жалкой улыбкой убирала его куда-нибудь под лавку.

— Ну, что же это такое… что это такое? — говорил Скрябин дребезжащим злобным голосом. — Что же это такое, ей-Богу…

— Я тебе, Алеша, лучше ветчинки принесу… ну, что ж?

— Я издохну с голоду, — продолжал бормотать дьячок. — Мне, ей-Богу, остается завязать глаза да бежать со двора долой…

Это даже на учителя, привыкшего к бедности и убожеству, производило угнетающее впечатление.

А когда, в октябре, дьячиха умерла перед концом беременности, он долго не мог без содрогания видеть ее несчастной хибарки.

Чаще всего после обеда Турбин бывал в гостях у священника, о. Федора Рокотова. Священник выходил из задней комнаты заспанный, с светлыми, слезящимися от сна глазами и красными полосами на виске и щеке от рубцов подушки. Он улыбался и говорил с благодушным снисхождением к своей слабости:

— А я прилег на минуту да и задремал, как сурок…

Вечером затевалась игра в преферанс на орехи. Иногда учитель играл с поповной на двух гитарах «В глубокой теснине Дарьяла», «Раздумье Вольтера» или, на мотив малороссийского казачка, «Прибежали в избу дети»[19]… Томной меланхолией звучали струны гитар и всех мотивов. Священник острил насчет худобы и роста Турбина. И хотя Турбин всегда при этом смеялся, прикрывая, по своей манере, рот рукою, но остроты батюшки плохо разгоняли скуку. Оживлялись все только тогда, когда приходил кто-нибудь новый; оживлялся и Турбин, потому что был очень любопытен и с особенным вниманием слушал новости про Линтваревых. Его снова охватывало тогда волнение при мысли, что будет же когда-нибудь он их постоянным гостем.

По мере того, как деревня все более утопала в сырых сумерках, зажигались на заводе огни и тянуло дымом самоваров, который веет всегда семейным, долгим вечером, теплым углом, — учитель скользил по липкой грязи, мучился медленным восхождением на гору. Темь, холод, запах угарной печки и одиночество встречали его в безмолвном училище. Но первое время это не смущало

[19] «В глубокой теснине Дарьяла» — первая строка стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тамара» (1841). На эти стихи было написано несколько романсов. Наиболее популярным был романс П.С. Макарова (1862). Какое произведение имеется в виду под названием «Раздумье Вольтера», неизвестно. «Прибежали в избу дети» — начальный стих стихотворения А.С. Пушкина «Утопленник» (1828).

Николая Нилыча. Он даже с удовольствием приступал к своим мечтам в этот одинокий, тихий вечер.

Первый год в школе прошел как-то удивительно быстро. Думать было некогда. Молодым, скрытным семинаром он мечтал о многом — думал стать миссионером, городским священником — словом, выбиться к свободной, лучшей жизни. Удивительно ярко представлял он себя тогда в губернском городе, о. Николаем, в шелковой лиловой рясе, на которую падают выхоленные кудри, даже видел себя почему-то в золотых очках, как протоиерей в Вознесенском соборе, мечтал о жизни с достатком, думал вести хорошее знакомство, быть человеком просвещенным, следящим за наукой, за политикой. Эти мечты погибли окончательно. Едучи в школу, он весь был переполнен рвением поскорее начать работать, сразу сделать свою школу образцовой, стать выдающимся учителем, пописывать статейки по народному образованию, приняться за составление учебников. День за днем тускнели и эти мечты. В Можаровке близость завода наводила его на мысль попасть на службу по акцизу, да так, чтобы годиков через десять получать тысячи три, а то и четыре — бывали примеры. Но это в будущем. Пока же хотелось поскорей хоть как-нибудь обновить, поднять свое житье-бытье, томила горячая, хотя и неопределенная жажда счастья.

— Необходимо прежде всего заняться самообразованием, — решал он, — это прежде всего; завести знакомство, почувствовать себя человеком. Вот только пройдет эта осень. Съезжу домой, а вернусь — буду ходить к Линтвареву, буду, Бог даст, с живыми, настоящими людьми общаться и видеться. У него библиотека, вероятно, дедовская, громадный запас книг, которых, может быть, и не достанешь во всякой библиотеке!

И, покачиваясь, Николай Нилыч расхаживал по своей комнате, взволнованный, весь исполненный думами о лучшем будущем… Потом решительно брал в руки выпрошенную еще в семинарии у одного товарища книжку «Современника»[20] и принимался за статью: «Взгляд на русское судоустройство и судопроизводство». Но статья была невеселая. Осилив страниц 10–15, Турбин опускал книгу, закрывал глаза и опять отдавался думам, самым неопределенным, но захватывающим думам о счастье. То в голове рисовались сцены знакомства с Линтваревым, и в душе подымались и радость и смущение, то поскорей-поскорей хотелось домой, отдохнуть, освежиться. Иногда поздней ночью, растроганный нежностью к отцу, воспоминаниями и надеждами, Турбин долго-долго писал к нему длинные лирические письма, но наутро они казались ему витиеватыми и невыразительными. Он не посылал их.

[20] Речь идет о журнале «Современник» (издавался в Петербурге в 1836–1866 гг., с 1847 г. редактировался Н.А. Некрасовым) самого последнего периода — судя по приведенному заглавию статьи, предваряющего судебную реформу 1864 г. или времени этой реформы.

Когда же обнаружилось, что ехать не на что, вечера изменились. Он стал проводить их в беспокойной тоске и бесплодных придумываниях, как устроить эту поездку. Иногда он решался даже на последнее средство — занять денег. Но тотчас же и отказывался от него. «Немыслимо! Долги — погибель!» В голову шли бесконечной вереницей самые невеселые мысли, но высказать хоть одну из них было совершенно некому. Проклиная в душе и себя, и темноту, и училище, он решительно шагал к дьячку ужинать. Возвратясь, тотчас же завертывался в тулуп и ложился в постель. Вся тоска и холод этих одиноких осенних дней охватывала его тогда. Черная ночь глядела в окна. На деревне во мраке зиял огнями завод; огненными искрами роились его высокие трубы. А когда тяжелым взмахом налетал ветер, чаще и гуще стрекал косой дождь в стекла окон и еще жалобнее завывало в печке.

Словно отдаленными-отдаленными протяжными стонами доносилась с села перекличка петухов на рассвете; медленно-медленно после долгой ночи пробуждалась жизнь. Дождь стихал; холодело; ветер гнал в утреннем холодном небе белесые космы туч. Над деревней, над голыми, пустынными полями занимался новый скучный день.

А потом пошли метели, засыпали снегом избы, слепили окна. Побелевшая деревня еще более опустела и затихла — даже собаки забивались в сенцы. Только с утра до ночи неслась над ней вьюга, и стояли весь день мутные сумерки. В белой пыли тонул и завод, и одинокая церковь; ветер по ночам уныло и жалобно перезванивал на колокольне.

II

Часов около шести Павел зашуршал соломой, протаскивая вязанку в дверь, и с громом уронил на пол вьюшку. Чтобы загладить свою неловкость, он закряхтел и чмокнул губами:

— Ну, и студено же на дворе! Вызвездило — страсть!

— А ты плешивых посчитай, — раздался из темноты спокойный голос учителя.

— Ай проснулись?

— Подремал, — отвечал учитель, зевая.

На душе у него было как-то пусто. Он спустил длинные ноги с кровати и соображал, идти или нет к дьячку. Есть хотелось; надо было идти.

На селе было темно и тихо. Морозило; на черном небе сверкали крупные звезды. Лай собачонки с того боку деревни звонко отдавался в чистом воздухе. Свежесть зимней ночи ободрила Турбина.

— О. Алексею — почтение! — сказал он шутливо громко и с ударением на «о», нагибаясь и входя в избушку дьячка. — С преддверием!

Дьячок чинил хомут, сидя на лавке около коптившей лампочки. Он медленно поднял голову и, приложив большой палец к ноздре, сильно дунул носом в сторону. И опять посмотрел на Турбина сквозь висевшие на кончике носа очки.

— Не на званом ли обеде были? — спросил он, слабо улыбаясь и вытирая нос полою.

— На званом, о. Алексей, на званом.

Разговор не клеился. Старшая дочка дьячка, косенькая, миловидная и тихая девочка лет шести, шлепая босыми ножками по полу, собрала на стол. Турбин молча принялся хлебать щи.

— Попробую и я с вами… — сказал, откладывая хомут, дьячок, подошел к лейке над лоханью, плеснул водой на руки и принялся за щи.

Косенькая девочка молча стояла у печки. Дьячок посмотрел на нее и опустил голову. Но, немного погодя, он опять взялся за ложку и сказал:

— Еже во плоти Рождество Господа нашего Иисуса Христа… да… воспоминание избавления церкви и державы… А там и отдание праздника и новый год…Чтой-то я забыл, когда восход солнца? Заход знаю — 3 ч. 44 м., а восход… кажись, 8 ч.? Вы не помните?

Турбин захохотал, откинувшись к стене и закрыв рот рукою.

— А на что он вам, о. Алексей?

Но девочка подошла к столу и серьезно стала убирать ложки. Турбин смолк и поскорее выбрался на улицу.

— Эхе-хе-хе-хе!.. — говорил он, шагая в гору и грустно качая головой.

На полугоре он остановился, глубоко вдохнул свежим и чистым воздухом… и потом огляделся кругом так, словно попал в село в первый раз в жизни. Бывает, что ум и чувство, долго подчиняясь известному ходу обстоятельств, вдруг как бы отделяются от них и сразу получают возможность взглянуть на протекший период времени критически, почувствовать себя выше их, более взрослыми и просветленными. Иногда этому помогают посторонние причины. Такой причиной была для учителя и эта ночь, и ужин у дьячка. Он невольно сопоставил его жизнь и свою. И настроение поднялось, просветлело. Он теперь мог взглянуть на всю прошлую осень, на свои неприятности спокойнее, холоднее, почувствовать себя по отношению к ним более сильным.

— Какой же собственно смысл в тоске?

Он постоял, прикрывши глаза, и сказал твердо:

— Никакого.

И, улыбаясь этому разговору с самим собою, пошел к училищу.

К удивлению его, в училище светился огонь. Не отец ли приехал? Или кто-нибудь из забытых товарищей? Но нет, тогда бы у крыльца были лошади. «Наверняка, Слепушкин или Кондрат Семеныч». Турбин поморщился и повернул вправо, на дорогу, выходившую, между кладбищем и церковью, в поле. Оба гостя не внушали ему ни уважения, ни симпатии.

Кондрат Семеныч был незаконный сын когда-то богатого, беспутного помещика Кривцова, воспитывался барчуком, был в гимназии, но дотянул только до 5 класса. Этому, впрочем, помогло и то, что на охоте с борзыми он сломал себе ногу. В ту же осень умер Кривцов. У матери Кондрата Семеныча, дворовой женщины, осталось только то, что подарил ей Кривцов при жизни: десятин 30 земли и небольшой флигелек при ней на выезде Можаровки. Говорили, что она немало наворовала у барина. Однако Кондрату Семенычу после нее, кроме земли, достался только сундук, в котором добра было немного: шерстяной чулок с двугривенными и изломанными серебряными ложками, шитье от дворянского мундира, портрет Николая I, два бронзовые шандала и дорожный ларчик красного дерева, из затейливых ящиков которого пахло старинными кислыми духами. Кондрат Семеныч высыпал из чулка двугривенные, сдал исполу[21] мужикам землю и первым делом «залился» на ярмарку — подобрать троечку «киргизов»: верхового мерина донской породы и удивительно неуклюжей худобы подарил ему еще сам Кривцов. Там же нанял он и кучера, записного охотника и пьяницу Ваську («Василий Иваныч Асмолов», как он сам называл себя) и уже не разлучался с ним.

Кондрату Семенычу было лет 25. Он был широкоплеч и небольшого роста, особенно тогда, когда оседал на левый бок, на хромую ногу; черные волосы его кудрявились, а симпатичное, загорелое, кирпичного цвета лицо оживлялось маленькими, веселыми глазками; нижняя челюсть выдавалась у него, но это придавало ему только добродушное выражение; концы черных усиков на короткой верхней губе лихо завивались кверху. Он так добродушно болтал своим хриплым, приятным голосом и так заливался веселым смехом, что даже всегда неловкий при новом человеке Турбин сразу почувствовал себя с ним свободно и просто.

И правда, душа у Кондрата Семеныча была добрая и открытая. Все у него выходило добродушно и непосредственно: он вел очень распущенную жизнь и сквернословил поминутно, но пошляком все-таки не был; пил он и в кабаках, и в гостях, и на охоте, но не потому, что не мог жить без водки; ел чрезвычайно много, но не был и «любителем поесть»; лгал вообще и хвастался относительно женщин отчаянно, но как-то машинально, по веселости нрава, и не скрывал этого: «А я тебе, брат, чертовски брехал вчера», — часто говорил он, захлебываясь смехом; сплетничал без всякой предвзятой цели — просто под влиянием расположения к другу, а друзьями у него на селе были почти все. Он пропадал то на охоте с помещиками, то на заводе, то по «улицам» на деревне,

---

[21] Исполу — т. е. пополам: половину урожая арендатор берет себе, половину отдает владельцу земли.

и все ребята были его близкими приятелями, хотя Кондрат Семеныч не пропускал ни одной драки и дрался с одинаковым удовольствием как за деревенских ребят с заводскими, так и наоборот. Хромота придавала ему только удали и не мешала ему даже вальс танцевать. И с господами, и с мужиками он держался совершенно одинаково. Колтыхая по деревенской улице, он так же дружески встречался и с помещиком, как и ставил ногу на втулок колеса к мужику и из одного кисета завертывал с ним по цигарке махорки. Одевался он, впрочем, как и все мелкопоместные — в длинные сапоги, шаровары, картуз и поддевку, которая, кстати сказать, издавала какой-то особенный запах — запах пороха и лошади; как и они, любил хвастнуть своей рыженькой троечкой, которая, когда неслась по селу, походила на букву «Ж» прописью — так лихо завивались пристяжные в разные стороны.

Турбин был у него на хуторе раза два. Он надеялся через Кондрата Семеныча познакомиться со многими помещиками. Но тот только силился напоить его оба раза. К тому же и обстановка у него была не такая, какую думал встретить Турбин: крыльцо перед домом было разрушено; в «лакейской» пол был как в свиной закуте — так он был унавожен жившими здесь и зиму и лето турманами, которые, при входе людей, поднимались тучей, с шумом и с свистом крыльев и совсем затемняли свет, проникавший в лакейскую сквозь радужные от времени стекла. В углу зала был насыпан ворох овса; тут же, на соломе, повизгивали, ползали и тыкались слепыми мордами гончие щенята; большая красивая сука, спавшая возле них, подняла голову с лап и наполнила весь зал музыкальным лаем. Голые стены кабинета были темны от табаку и мух; широкий турецкий диван стоял развалиной возле стены; над ним висели нагайки, кинжалы и желтые заскорузлые шкурки лисиц. Под окном, на разломанном письменном столе, кучей была насыпана махорка, стояла коробка колесной мази, лежала шлея и куски сырой, кисловонючей кожи, а на обгрызенных кусках сахару черными стаями налипали мухи. Из-под стола зеленела четверть водки. Турбин чувствовал себя неприятно. Не нравилось ему и то, что Кондрат Семеныч так просто стал говорить ему «ты», называть его циркулем, весело хромая, напевая и рассказывая про свои похождения.

Слепушкин сперва был где-то винокуром, потом на заводе у Линтварева подкурщиком; лицо у него было толстое, обрюзглое и темное, как у настоящего алкоголика, голос тяжелый, фигура медвежонка, пиджак из мохнатого драпа и штаны из верблюжьей шерсти. Пил Слепушкин, главным образом, пиво и водку, смешанную с пивом: такой состав назывался «ершом», вероятно, по трудности проглотить его сразу. В гостях у Турбина он засиживался до трех часов ночи и часто просил писать к лавочнику записки, чтобы тот прислал ему «дюжинку».

— Не понимаю, — говорил он сонно и с презрением, облокотясь на стол и глядя на учителя свинцовым взглядом, — не понимаю этих семинарских неж-

ностей: ведь мне он не поверит… а я, надеюсь, в состоянии заплатить вам этот несчастный целковый.

— Само собой, — говорил Турбин, расхаживая по комнате и смущенно вертя в руках бумажку, — я не сомневаюсь, но право же…

— Само собой, само собой! — дразнил Слепушкин, делая еще более мутные глаза, — а что само собой — неизвестно!

— Пусть будет так… — начинал Турбин, — но главная вещь…

Тогда Слепушкин подымался.

— А уж этого «пусть будет так» я совсем не выношу! — говорил он с искренним презрением. — Вероятно, мы теперь не скоро увидимся…

С неудовольствием вспоминая такие подробности, Турбин подошел к училищу и заглянул в окно.

Кондрат Семеныч лежал с сапогами на кровати. Таубкин, выгнув сутулую спину и запустив руку в карман модных узких брюк, молча сверкал очками. Слепушкин сосредоточенно играл на гитаре, опустив голову и покачиваясь. Ему вторил на «ливенской» гармонике один из подвальных, молодой Митька Лызлов, белобрысый и безусый, походивший на приказчика. Турбин видел его только раз у Таубкина. Лызлов поразил его своим певуче-мещанским голоском, количеством сплевываемых подсолнухов и удивительно плоскими остротами. Запьяневши, он раскраснелся, стал «приставать» к барышням, потом плясал, щеголевато перебирая тонкими ногами в расчищенных сапогах, расстегнул поддевку и начал в конце концов изо всей силы шлепать Турбина ладонью по колену. Развернется, треснет, зажмет и потрясет с лениво-сладкой улыбкой. Теперь он играл «страдательную» и с своей блаженной усмешкой тянул фальцетом:

А всем барышням-модисткам
По поклончику по низком!

Но кто-то был еще; какой-то господин сидел задом к окну. Осторожно Турбин пробрался к противоположному окну, и даже руки у него похолодели от злобы: это был Прохор Матвеич, линтваревский лакей. Прохор Матвеич совсем походил на господина, на чиновника: сюртук, благообразное лицо почтенного отца семейства, лысина во всю голову, длинные, черные баки; только подбородок был пробрит, да было еще что-то неуловимое, что портило чиновничий облик Прохора Матвеевича. Он был чрезвычайно простой и добрый человек, покойный семьянин, но почему-то считал нужным водить компанию «с мальчишками», насильно напиваться и со страшным сожалением проигры-

вать деньги в стуколку. Но Турбин не думал теперь о его достоинствах или недостатках. Он волновался, не зная, что предпринять — уклониться от этого знакомства или нет?

— Значит, Линтварев приехал, — думал он: — но какова это будет штука, если я пойду к нему, буду сидеть в зале, и вдруг входит Прохор Матвеевич?..

Вдруг стук двери, и голоса послышались на крыльце. Турбин прижался за угол. По снегу заскрипели шаги, Лызлов звонко заиграл на гармонике. Турбин осторожно пробрался в школу. Дверь на крыльцо осталась открытой, в комнате пахло табаком и свежестью морозного воздуха. Турбин поморщился. Но вдруг взгляд его упал на стол: конверт из плотной английской бумаги! Турбин смешался, покраснел, неловко металлическим гребешком рванул его…

«Многоуважаемый Николай Нилыч, простите за поздний ответ. В тот приезд, как получил ваше письмо, я не успел ответить, а теперь хотелось бы поговорить с вами лично по поводу вашей просьбы, почему надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии видеть вас у себя на второй день праздника вечером.

Преданный вам П. Линтварев».

Это был ответ на просьбу Турбина помочь школе учебниками. Но теперь Турбин ходил по комнате и только бормотал с сияющим лицом:

— Преданный! Гм… Вот, ей-Богу, чудак!.. А внутри у него все дрожало от восторга и радостного смущения…

———

Два последующие дня Турбин провел почти в беспрерывных, беспокойных решениях вопроса: идти или нет? Самые различные ответы на него он давал себе поминутно.

К утру сочельника его комната сильно настудилась. Вода в умывальнике замерзла. Стекла обоих окон были сверху донизу запушены инеем и зарисованы морозом серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками. Но Турбин спал глубоким сном, а проснулся веселым и крепким, с приятным ощущением какой-то хорошей цели. Он вскочил и отдернул примерзшую форточку. Резкий скрип саней стоял над всем выгоном: из-под горы тянулся длинный обоз, весь завеянный ночной подземкой в поле: морды лошадей были в кудрявом инее, мужики шагали белыми фигурами… Картина села поражала белоснежной красотою. Все тонуло в ярких, но удивительно нежных и чистых красках северного утра. Выгоны, лозины и вся деревня казались снеговыми, чистыми изваяниями. И на всем уже сиял огнистый блеск восходящего солнца. Турбин заглянул из форточки влево и увидал его за церковью во всем ослепительном великолепии; морозное кольцо с двумя другими отраженными солнцами еще более увеличивало это великолепие.

— Поразительно! — воскликнул Турбин и, торопливо захлопнув форточку, юркнул под одеяло. Ему было приятно согреваться, задремывать и думать.

— Уши! — сказал он громко и засмеялся, вспомнив, что мужики называют эти отраженные солнца «ушами».

Веселое настроение не покинуло его и тогда, когда он опять проснулся. Передняя, куда он вышел умываться, вся была озарена солнцем. Щурясь заспанными глазами, он улыбался. Самовар застыл и притих. Павла, по обыкновению, не было, но Турбин не обратил на это внимания. Он долго и особенно тщательно мылся борно-тимоловым мылом: к хорошему мылу Турбин всегда имел слабость. Потом он заглянул в классную: и там было теперь весело от солнца и тишины предпраздничного утра. «Не шуми ты, рожь»[22]... — затянул он во все горло… Голос гулко отдался в пустой комнате, и это напомнило ему его одиночество. Он замолк и пошел в переднюю пить чай на окне, при солнце. Сообразивши же, что он опоздал к обедне, он даже немного обрадовался. Его тянуло куда-то идти, обдумать, получше обдумать что-то. Но, подавляя внутреннюю торопливость, он убрал чашки и самовар, а затем уже оделся в свое новое «городское» пальто и вышел.

Щурясь от ослепительного сверканья солнца на парче снега, от блестящих, отшлифованных, как слоновая кость, ухабов дороги, глубоко дыша холодным воздухом, он шел тихо и все любовался деревней, синими, резкими тенями около строений и горизонтом зеленоватого неба над далеким лесочком в снежном поле: туда, к горизонту, небо было особенно нежно и ясно. Иней приятно садился на веки, пар шел от дыхания, а солнце пригревало щеку. Турбин думал, что хорошо теперь полежать на солнце в затишье гумна, пригреться в омете, на пахучей — зимней свежестью — соломе. А еще лучше откинуться в задок саней, полузакрыть глаза и только покачиваться и слышать, как заливается колокольчик над тройкой, запряженной «впротяжку»[23]: сани только постукивают на ухабах, коренник так и сеет иноходью, передние лошади, пофыркивая от снега, несутся вскачь, комья рассыпчатого снега бьют в передок, а около саней неуловимо, змеей вьется длинный кнут кучера, и полоса дороги словно выскальзывает из-под полозьев и бежит назад, в снежное поле… а потом шагом по лугу, под обрывами с нависшими тяжелыми снегами! Огромными раковинами завиваются внутрь гребни снеговых навесов, и как ясно и резко отделяются их чистые, холодные изваяния от фона неба: небо снизу кажется темно-темно-синим! Передние поджарые лошади балуются, на ходу кусают и отбрасывают снег… «Балуй!» — грозно кричит кучер, щелкает кнутом, и

[22] «Не шуми ты, рожь, спелым колосом!» — романс А.Л. Гурилева (1803–1858) на стихи А.В. Кольцова (1809–1842).

[23] Впротяжку — способ упряжки тройки или пары лошадей, когда коренник (основная лошадь) идет в оглоблях, а пристяжная (выносная) лошадь — прикреплена длинными постромками впереди для маневренности. При такой упряжке особенно ощущается скорость движения.

опять, подскакивая, несутся лошади и заливается колокольчик над мерно качающейся дугой…

Мужик с подводой догнал учителя в поле. На розвальнях дымилась бочка, вся облитая пахучей бардой и заткнутая соломой.

— Ты с завода, хлопец? — спросил Турбин.

— С завода.

— Барин-то давно приехал?

— Мы этих делов не знаем. А вы сами-то ай дальние?

— Из тридевятого государства, — засмеялся Турбин. Мужик долго с удивлением оглядывался на его высокую фигуру.

А Турбин уже забыл о нем и старался начать обдумывать.

— Ну, так как же? Иду, значит? Или нет — не стоит.

В душе Турбин еще вчера решил, что пойдет, но чего-то боялся и волновался. «Да, так лучше, — говорил он себе, — пойду на третий день, утром, по делу, ненадолго. Немыслимо сразу в гости прийти… это он для приличия… Поговорю и уйду. А там, на новый год примерно, уже и вечерком можно. Обязательно так, верно, как в аптеке».

Но, незаметно, он уходил в поле все дальше и, говоря одно, повторял в то же время другое: «ну, так как же?..». Он про все забыл и только старался выяснить — ловко или неловко идти, а если идти, то как это выйдет? Представив себе всю неловкость и неприятность этого посещения, он тотчас же начинал разубеждать себя в этом: говорил, что «глупо рисовать все в дурном смысле», что он не хуже других и т. д. В конце концов, эта путаница мысли испортила ему настроение окончательно, утомила его и стала раздражать. Он поспешно пошел обедать.

Вернувшись и увидя свою бедную комнату вымытой и прибранной к празднику, он почувствовал себя совсем одиноким и стал думать спокойнее, серьезнее и грустнее. Он долго сидел, положив на стол под лицо ладони, и когда поднял голову, лицо его было серьезно, но спокойно. Эти думы о посещении Линтварева теперь казались ему жалкими пустяками. «Еще успеется»…

Весь вечер до глубокой ночи он писал письма, читал, и ему было хоть и грустно немного, но покойно.

— Видно, надо жить как живется!.. — думал он тихо и серьезно.

Наступил праздник.

На первый день Турбин чувствовал себя как-то особенно, как привык чувствовать себя с детства в большой праздник, серьезно и напряженно стоял в церкви, чинно разговлялся у батюшки. Дома же, как всегда в праздник, не зная за что приняться, он бесцельно походил по классу, заглянул в окно. В

безлюдье села чувствовалось начало праздника; чувствовалось, что все дождались чего-то, оделись получше и не знают, что делать. Погода изменилась. С утра было серо и ветрено. После полудня воздух прояснился, облачное небо посинело, бледно-желтым пятном обозначилось солнце; снег ярче и желтее; поземка струйками закурилась на гребнях сугробов, подхватываясь и развеваясь белой пылью, криво понеслись по ветру галки. Проезжий мужик повязал уши платком, стал на колени и погнал лошадь. Розвальни бежали, разрывая переносы сухого снега на обмерзлой дороге, постукивая и разбегаясь в стороны.

Скука с новой силой охватила учителя.

Но вечером, когда он пошел на заводскую сторону, он совершенно неожиданно столкнулся с Линтваревым и совершенно потерялся от смущения.

— С праздником! — сказал он не то галантно, не то в шутку, неестественно изгибаясь.

Линтварев был среднего роста, лет 35-ти, с простым, приятным лицом, с русою бородкой и ласковыми глазами. На нем был полушубок и валенки, на голове — недорогая барашковая шапка.

— Ах, Николай Нилыч! — сказал он, встрепенувшись, ласково, как будто даже заискивающе. — Здравствуйте, здравствуйте!.. Благодарю вас… ну, что, как вы, не соскучились?

— Пока еще нет, — ответил Турбин, силясь вложить в каждое слово не то что-то особенное, не то ироническое, с раскрытым от неловкой улыбки ртом.

— Да, да…

Постояли, помялись.

— Ну, так увидимся? До завтра?

Турбин опять не то галантно, не то комически раскланялся.

Домой он шел очень быстро. «Рубашку, рубашку крахмальную где же взять? а? Вот горе!.. В вышитой положительно невозможно!..»[24]

В этот вечер на душе у Николая Нилыча было очень хорошо. Он, подавляя радость, конфузился ее сам перед собою; но лицо его, возбужденное пристальной работой (он до полуночи зашивал с великим трудом и неумением задник сапога нитками и замазывал их чернилами), — лицо его в этот вечер было такое доброе, открытое и веселое. Праздник уже рисовался ему вереницей шумных вечеров, в обществе умных и живых людей, в новой, светлой обстановке…

[24] Под крахмальной рубашкой, вероятно, подразумевается белая сорочка с накрахмаленным воротником, крахмалились также грудь и манжеты. Под вышитой имеется в виду косоворотка с вышитым воротом — такие рубахи были праздничными у крестьян.

Но настало утро, и начались хлопоты, волнения.

Все утро он быстро ходил по комнатам в одном белье, умывался, несколько раз принимался чистить сапоги, пачкал и опять мыл руки и все думал о рубашке.

— Ничего не придумаешь! — говорил он, останавливаясь среди комнаты. — Послать к Слепушкину? Немыслимо! Начнут судить, рядить… дойдет до Линтварева… гадость!

Но нечто подобное случилось.

Около полудня к крыльцу школы подлетела рыженькая тройка Кондрата Семеныча. С мороза его лицо было особенно свежо и темно-красно. Подбородок был выбрит, усы чернели ярко и лихо. На нем была черная пара; в передней он сбросил енотовую шубу. Коренастый, приземистый, — об дорогу не расшибешь, что называется, — бойко прихрамывая, он быстро вошел к Турбину, крепко и искренно поцеловался с ним, причем на Турбина пахнуло морозной свежестью и запахом закуски, и тотчас принял живейшее участие в заботах о его наряде.

— Валяй, брат, валяй смелей!

Турбин, хотя и относился к Кондрату Семенычу как к человеку пустому, однако знал, что Кондрат Семеныч «бывал в обществе» и может подать много советов.

— Как валять-то? — говорил он, сдерживая улыбку. — Тут такая неприятная история! Рубашки крахмальной нет!

Кондрат Семеныч качнул головой:

— Это, брат, скверно. В вышитой заляпаться в первый раз в дом — нахальство. За это можно и по лестнице турманом слететь.

Глазки его сверкнули, и, не выдержав, он залился самым заразительным смехом.

— Ну, так как же? — говорил Турбин растерянно.

— Ни черта́, — сказал Кондрат Семеныч. — Не робей!

И, отворив форточку, он своим хриплым, охотничьим голосом гаркнул:

— Васька! Домой валяй! Духом доставь рубашку крахмальную… в сундуке, под летней поддевкой…

Пока Василий ездил за рубашкой, Кондрат Семеныч рассказывал, где он успел уже побывать, и с улыбкой сатира вытащил из рукава шубы бутылку водки.

— Хвати для храбрости, ей-Богу! Хочешь? — говорил он, обивая сургуч с горлышка.

— Ну, уж нет!

— Что? — думаешь, пахнуть будет? Ни капельки. Только чаем зажуй. А впрочем — черт с тобой. Нет ли чашечки?

Выпивши и закусивши, Кондрат Семеныч заговорил совершенно серьезно:

— Ты, брат, себя поразвязней держи, посвободнее. А то ведь будешь сидеть, как кнут проглотил.

— А как брюки — ничего? — спрашивал Турбин.

Кондрат Семеныч оглядел их с полной добросовестностью и подумал.

— Сойдет! — сказал он решительно, — за милую душу сойдет. Только вот — складка вперед выдается.

— Какая?

— Да вот эта-то.

— Да это оттого, что новые. Как были разглажены и свернуты… это всякие новые брюки так.

Кондрат Семеныч хмыкнул и сверкнул глазками.

— Ну, брат, не всякие. Базарные — это правда. Снимай, давай разгладим.

— Нет, нет, пустяк, — бормотал Турбин, густо краснея.

— Ну, как знаешь.

Кондрат Семеныч лег на постель и вполголоса запел:

Вода — для рыбы, раков,
Вино — для женщин и мужчин,
А мы, герои, водку пьем!

— Знаешь, — прибавил он, ухмыляясь, — это произведение Васьки.

В это время Васька внес рубашку. Но едва Турбин надел ее, Кондрат Семеныч так и покатился со смеху.

— Нет… Не срамись! — хрипел он, задирая ее на голову Турбина, — не годится!

Правда, рубашка не годилась. Накрахмалена она была отвратительно — вся была какая-то грязно-синяя, и ворот был слишком широк для Турбина.

— Декольте! — повторял Кондрат Семеныч сквозь смех.

Турбин снова покраснел и даже запотел от злобы.

— Я вам не шут гороховый! — крикнул он бешено.

Тогда, в свою очередь, почувствовал себя неловко Кондрат Семеныч.

— Да за что ж серчаешь-то? — заговорил он растерянно. — Сам тонок, как шест… хоть грачей доставать, а на меня серчает… Да я, наконец, ей-Богу, от души сказал… Ну, хочешь — достану?

— Не понимаю — где? — глядя в сторону, пробормотал Турбин.

— Да уж это мое дело. Ну, хочешь?

И, не дожидаясь ответа, хлопнул дверью, накинул шубу и выскочил на крыльцо.

— Пошел!

Рыженькая троечка подхватила под гору. Турбин бросился к дверям.

— Кондрат Семеныч! Кондрат Семеныч! — вопил он отчаянно.

Кондрат Семеныч только рукой махнул.

— Это Бог знает что такое! — сказал Турбин, входя в комнату. — Это значит, всему заводу будет известно!.. Ах ты Господи! Что тут делать прикажете?..

Однако когда Кондрат Семеныч через десять минут явился обратно и привез с собой Таубкина и его крахмальную рубашку, когда Таубкин самым задушевным тоном стал просить «не беспокоиться» и когда рубашка оказалась как раз впору, Турбин, весь красный от волнения, начал успокаиваться.

— Что вы беспокоитесь? — говорил Таубкин. — Зачем? Что такое? Разве я не понимаю? Конечно, это останется между нами. Хотите мои часы?

Турбин отказывался. Кондрат Семеныч преувеличенно расхваливал костюм его. Однако все трое почему-то ни слова не говорили о Линтвареве.

Уже в сумерки Турбин был готов. Он повеселел, хотя и чувствовал себя наряженным и точно связанным. В ожидании он садился то на один, то на другой стул.

— Вы к самому Линтвареву? — вдруг спросил Таубкин, как будто вскользь.

— Да, то есть так… по делу отчасти.

— Так вам, пожалуй, пора.

Турбин уже давно думал про это. «Пожалуй, что и правда пора, соображал он, — что ж, к шапочному разбору-то прийти? Только хозяев в неловкое положение поставишь…

— А который час?

— Четверть седьмого.

— Ну, брат, вали! — подхватил и Кондрат Семеныч.

— Ну, пожалуй, — согласился Турбин, медленно подымаясь.

Напевая, Кондрат Семеныч накинул на себя свою енотовую шубу и осмотрел пальто Турбина.

— Молодец! — сказал он, смеясь одними глазами. — Хочешь, подвезу?

Турбин заторопился отказаться.

— Ну, черт с тобой! Едем.

Он сунулся лицом к лицу Турбина для поцелуя (между мелкопоместными и теперь еще живет этот обычай), ввалился в сани рядом с Таубкиным и уже вслед Турбину закричал:

— Смотри, к хозяйке не сразу подлобонивайся! Хороша анафема!

III

Уже подходя к аллее перед Линтваревским домом, Николай Нилыч вдруг оробел, оглянулся и поспешно зашагал опять под гору. «Рано, рано, немыслимо так рано… А, может, не рано?»

Волнуясь, он поспешно, словно по нужному делу, дошел до моста и опять оглянулся. Вот будет скверно, если видели, что он приходил! Узнать бы хоть, приехал кто-нибудь или нет? В окна заглянуть? Глупо, — увидят, может быть, уже видели… Но никого не было кругом. Только на деревне горланили на «улице» девки. Из дома через аллею загадочно светились окна. Что там, в доме? Начался вечер или нет? И кто там, и что делают? А обстановка? «Небось, люстры, паркет, бархат, фамильные портреты... — думал Николай Нилыч, прикрывая глаза и делая важное лицо, — на столах безделушки разные»… И в то же время в голове его мелькало: «Вот отсчитаю сто… нет, двести, и тогда пойду».

Вдруг по мосту послышался скрип шагов. Турбин быстро перевернулся и, не оглядываясь, почти побежал по аллее. Не думая, он быстро растворил дверь, шагнул через все три ступеньки в сенях и стал шарить по притолке звонка. Но в дверях щелкнул замок, и горничная, красивая и нарядная, появилась на пороге.

— Павел Андреевич?.. — спросил учитель, снимая шапку.

— Пожалуйте-с.

Горничная помогла ему снять пальто и торопливо пошла по комнатам. Как в тумане Турбин увидал большой светлый зал, открытый, блестящий черным деревом рояль, тонкие, тоже черного дерева, стулья, тропические растения… Поразили его только ширмочки около них из матового стекла, расписанные странной, китайской живописью; все остальное показалось ему чересчур просто. Зал выглядывал вовсе не парадной, торжественной комнатой; царил в нем даже беспорядок жилой комнаты: стулья стояли вразброс, на одном столике лежала какая-то женская работа. Цапаясь когтями по паркету, выбежала щеголевато-тонкая собачка и звонко залаяла.

Перед Турбиным стоял Линтварев.

— Имею честь поздравить! — сказал Турбин и в смущении вынул носовой платок.

Предупредительно-ласково Линтварев пожал ему руку.

— Милости просим, милости просим!..

И, пропуская Турбина вперед, он торопливо-вежливо повел его в столовую.

— А, Николай Нилыч! — сказала Надежда Константиновна так, словно давно ждала его. Турбин расшаркался, оглянулся; произошло мгновенное замешательство.

— Николай Нилыч Турбин… Г-н Турбин… — поспешно говорил хозяин. Турбин машинально жал руки барышням. Дойдя до мужчин, Линтварев улыбнулся.

— Ну, господа, знакомьтесь сами…

Произошло опять замешательство.

Молодой, свежий и красивый флотский офицер встал быстро и поклонился с преувеличенной вежливостью. Невысокий, худощаво-широкоплечий, с об-

ветренным, инородческого типа лицом доктор пожал ему руку просто и без улыбки. Пожилой солидный господин, не вставая, сдержанно-вежливо наклонил голову.

— Присаживайтесь-ка! — сказала хозяйка опять так, словно хотела сказать: «Ну, наконец-то! вот теперь все пойдет прекрасно».

Турбин сел, вытер платком лоб и руки, все еще глядя словно через воду. То, что один из гостей не подал ему руки, заставило его ощутить почти физическую боль в сердце. Теперь он выглядывал человеком, который пробежался под горячим, удушливым зноем и только что опустился на стул.

— Николай Нилыч, вам сколько кусков сахару? — обратилась к нему хозяйка снова с предупредительной улыбкой. Турбин встрепенулся:

— Сколько вам угодно.

Но опять с улыбкой и мягко хозяйка ответила шуткой:

— Сколько *вам* угодно?

— Я бы попросил без сахару.

И он взял стакан, замирая от страха повалить его на скатерть или прикоснуться руками к рукам Надежды Константиновны. Так как общий разговор на минуту прервался, то она продолжала:

— Ну что, как ваша школа?

— Ничего, прекрасно, — ответил Турбин, и голос ему показался чужим и слишком громким.

— А в Можаровке вы на все святки остались? — заботливо прибавил хозяин.

— Да, уж нынешний год, думаю… решил так, что не ездить лучше.

— Да?

Линтварев наклонил голову, словно приятно изумился. Затем торопливо, с виноватой улыбкой — по необходимости, мол — обернулся к соседу:

— И вы в Вене пробыли, значит, только дней десять.

И опять, обратясь к учителю, пояснил:

— Константин Павлович делится с нами своими заграничными впечатлениями.

И улыбкой пригласил его к общему разговору.

Разговор оживился. Стараясь держаться свободнее, Турбин стал осматриваться.

У Линтварева всегда бывала очень разнохарактерная компания.

Тот, что не подал руки Турбину, Константин Павлович Беклемишев, был богатый помещик, член правления одного частного банка. Линтварев, либерал, человек увлекающийся, имел с ним мало общего. За глаза он даже подшучи-

вал над Беклемишевым, как и над всеми знакомыми, но все-таки чувствовал к нему уважение — и по традициям, как к видному человеку, и по тому, что Беклемишев был очень влиятельным гласным в земстве. Одна наружность Беклемишева уже производила впечатление. Он был невысокого роста, плотен, но изящен, родовит, с матовым цветом моложавого лица. Держался он всегда с удивительным хладнокровием. В собраниях, пока остальные гласные, как перепела, перебивали друг друга, одни стараясь говорить чрезвычайно просто, по-домашнему, «практически-с», а другие с претензиями на литературную речь в приподнятом тоне, — Беклемишев спокойно курил, держа в барской ручке толстый янтарный мундштук с дорогой сигарой. А когда говорил, — всегда после всех, — то говорил очень сдержанно, дельно и серьезно, и эта деловитость всех побеждала. И теперь так же просто и спокойно он сидел у Линтварева и, покуривая, рассказывал… Турбин старался не глядеть на него.

Земский доктор держался тоже с достоинством и просто, но его черемисское лицо и взгляды сквозь очки между быстрыми глотками чая не страшили учителя. Он искоса оглядывал барышень.

Одна из них была девица, каких много, и молча сидела около матери, жены члена земской управы, благородно-глупой дамы. Две другие, напротив, часто вставляли свои замечания в рассказ Беклемишева лениво-красивым тоном. Это были родственницы хозяйки и приехали к ней на все святки. Их Турбин уже видел несколько раз осенью, когда они амазонками проезжали по селу кататься. И у священника, и у лавочника заводились тогда бесконечные разговоры о них. От старого повара все знали, что родственницы Линтваревой, княжны Трипольские, очень богаты, живут то в Петербурге, то в своем имении, то гостят у Линтварева, а больше всего — за границей.

— Что ж им? Кататься в свое удовольствие, да и только! — говорил про них лавочник почти с умилением.

Но, кажется, удовольствия княжны особенно не испытывали. Старшая, изящная, но некрасивая, поблекшая, жила на свете почти машинально, хотя и без скуки: жизнь наполнялась переездами. Младшая была молода, красива, но скучала и грациозничала своей скукой, улыбалась она так, как будто гримасничала, но гримаса выходила красивой и милой. Обе уже побывали на курсах — старшая даже получила за границею степень доктора химии — и держали себя не как княжны. В Петербурге у них бывали молодые профессора, художники, литераторы и студенты. Там у них бывало весело. Самим княжнам было так себе — не то, что весело, но и не скучно. Они любили поговорить и о музыке, и о политике, и о Гейне, и Бодлере, и о статистике; говорили они без жара и без особенного ума, но с интересом и искренно…

Когда о Турбине забыли, он успокоился и только чувствовал себя как-то странно хорошо в этой новой обстановке среди легко развивающегося разговора, сидя около хозяйки, похожей на красивую английскую леди. Таких

изящных черт лица, такой чистоты и нежности матовой кожи рук и лба он еще никогда не видывал. Когда же многие встали из-за стола и учитель встал и прошелся по столовой, он почувствовал себя удивительно легко и приятно: так было легко отодвигать тонкий красивый стул, ходить по паркету, чувствовать себя в этой просторной столовой, ярко-светлой, озаренной большой лампой над столом, видеть блеск серебряного самовара и посуды из тончайшего стекла. Было одно обстоятельство, которое заставило Николая Нилыча пережить в высшей степени неприятную минуту: во время рассказа Беклемишева Николай Нилыч, не зная, что делать, наклонился и поймал английскую собаку; но та, как стальная, выскочила из рук и при этом так пронзительно взвизгнула, что хозяйка схватилась за висок и все встрепенулись, обратили на него глаза, и учитель готов был провалиться сквозь землю от смущенья… Но сама же хозяйка и сумела замять эту историю и так непринужденно, словно ничего и не было, обратилась к нему: «Николай Нилыч, вы позволите еще чаю?» — что он ободрился и смог очень ловко ответить: «Нет, merci[25]… достаточно уже!»

Он выпил два стакана, наслаждаясь ароматом рома, который с тихой лаской подливал ему в чай хозяин, и от рому оживился, почувствовал смелость и верную упругость в ногах. Он даже не смутился, когда приехало еще несколько человек гостей: красивая, полная вдова-помещица с завитой головой, с горящими от мороза ушками, старик-помещик, который немножко рисовался простотой, но которого все любили за эту простоту и добрый ясный взгляд и тотчас окружили с веселыми улыбками, еврей-инженер, сухой, черненький, подвижной, вроде той собачки, которую поймал Турбин, и, наконец, член суда, такой чистый, как все судейские, свободный и веселый остряк, делавший умные, насмешливые глаза. Он, как дома, прошел по всем комнатам и, севши за рояль, начал брать бурные аккорды между разговором.

Говорили о малорусском театре. Трипольские с восторгом рассказывали об игре Заньковецкой в Петербурге[26], об опере «Кармен», ругали Мазини, хвалили Фигнера[27]… Потом Трипольские стали рассказывать про своих пи-

---

[25] Спасибо (*фр.*).

[26] Мария Константиновна Заньковецкая (наст. фамилия Адасовская, 1854–1934) — знаменитая украинская актриса. Она произвела исключительное впечатление на молодого Бунина в Орле в декабре 1890 г.: он посетил несколько спектаклей гастролировавшей там труппы русско-малорусских артистов под управлением Н.К. Садовского. Так, 15 декабря 1890 г. Бунин писал брату Юлию: «Ну, брат, Заньковецкая! Три раза плакал от нее!..» (*II 1*, 57).

[27] Опера Жоржа Бизе (1838–1875) «Кармен» (1875) была впервые представлена в России в 1878 г. (Санкт-Петербург, Большой Каменный театр, в исполнении итальянской труппы), с 1885 г. вошла в репертуар Мариинского театра. Анджело Мазини (1844–1926) — знаменитый тенор второй половины XIX века, выступал на лучших оперных сценах мира, включая Россию. Регулярно выступал в Петербурге начиная с сезона 1877/1878 гг., был кумиром петербургской публики. Николай Николаевич Фигнер (1857–1918) — выдающийся русский тенор конца XIX — начала XX вв. В 1887–1907 гг. солист Императорских театров. Был чрезвычайно популярен

терских знакомых, про Толстого, которого встретили в Москве на улице, про поэта Надсона. Как будто желая описать, какой он милый и больной человек, княжны рассказали, что он у них был в гостях, а потом они его навестили в Ницце. Член суда рассказывал пародии Буренина на надсоновские стихи[28]. Потом разговор разбился — в одном месте слышались имена знакомых, в другом все еще Мазини и Фигнера. Учитель, изгибаясь и покачиваясь, подходил то к одной, то к другой группе и все время был в напряженном состоянии от желания хоть что-нибудь сказать. Но все разговор шел о неизвестном, и он молчал или смеялся сдержанно и неискренно, когда смеялись другие.

— А вы все о своем профессиональном образовании? — сказал он, наконец, подходя к разговаривавшим в столовой Линтвареву и Беклемишеву.

Беклемишев тихо поднял на него глаза. Линтвареву, по-видимому, стало неловко.

— Нет, почему же… — сказал он, смущенно улыбаясь.

Турбин, тоже улыбаясь, поднялся на носки, отчего стал еще выше, опустился и продолжал:

— Вы хотите, как я слышал, так серьезно им заняться?

От неловкости Турбин подчеркивал слова, и их можно было принять за насмешку. Но он хотел сказать хозяину приятное и сам чувствовал, что все выходит не так. Особенно нехорошо ему было от пристального и спокойного взгляда Беклемишева. Но все-таки он присел к столу, предварительно посмотрев на стул и раздвинув полы сюртука, расставил острыми углами свои тонкие ноги и, поставив локоть на колено, стал пощипывать кончики своих жидких белесых усов.

— Меня, по правде сказать, очень интересует этот вопрос, — сказал он, помолчав, как-то внезапно. — Я, конечно, говорю искренно…

— С какой же именно стороны вас интересует? — спросил Беклемишев.

— Т. е. как с какой стороны? Вообще… в применении его в жизни.

Беклемишев поставил руки на стол и, соединяя ладони, смотрел, ровно ли приходятся пальцы один к другому. Линтварев старательно набивал машинкой папиросы.

в России. Вероятно, Трипольские сравнивают Мазини и Фигнера в роли Дона Хозе в «Кармен»; оба знаменитых певца исполняли эту партию.

[28] Семен Яковлевич Надсон (1862–1887) — знаменитый в 1880-е гг. молодой поэт, его невероятной популярности способствовала быстро развивавшаяся чахотка и ранняя смерть. Юный Бунин отдал дань модному увлечению поэзией Надсона. В Ниццу Надсон уехал в 1884 г. (там ему была сделана неудачная операция), затем отправился в Берн, где его также оперировали, в середине 1885 г. вернулся в Россию. Скончался в Ялте. В.П. Буренин (1841–1926), известный критик, сотрудник петербургской газеты «Новое время», в целом ряде своих фельетонов устроил травлю поэта в последний год его жизни, что возмущало читающую публику.

— Я читал, — продолжал Турбин уже с усилием, — недавно в одной газетке про книжицу какого-то Весселя о профессиональном образовании[29].

— Весселя? Ах, да, да, знаю… — подхватил Линтварев.

— Меня, собственно, удивило, что к его мыслям, очевидно, многие относятся враждебно: напр., директор ремесленного училища Цесаревича Николая…[30]

— Да, да…

— Мне кажется, что тут есть несправедливость… Он говорит, например, что школа, собственно, несовместима с мастерской…

— Т. е. это, — мягко перебил Линтварев, — Песталлоци мнение, а Вессель, хотя и…

— Ну да, и Песталлоци, — перебил в свою очередь Турбин, и уже в нем загорелось желание спора, — только, по моему мнению, это и понятно… Позвольте… Когда мне, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальца мастерить разные безделушки, когда он сам, в своем быту, так сказать…

— Зачем же непременно безделушки?

Турбин весело и ласково улыбнулся.

— Мне, собственно, это все представляется как бы игрушками… Мне трудно это объяснить, но все эти затеи… говорят, подспорье хозяйству… но ведь смешно подпирать то, что разваливается окончательно… да и не соответствует это все духу нашего народа, истого земледельца… А учить его, напр., делать плетушку…

— Ну да, ученого учить только портить, — резонерски насмешливо и отчетливо сказал Беклемишев.

Турбин взглянул на него, вытер платком лоб и хотел продолжать, чтобы сказать, что он думает, более ясно и связно. Но Беклемишев, как бы забыв о его присутствии, тихо и спокойно промолвил к Линтвареву:

— Да, так я думаю, что еще гадательно: князь слишком глуп для этого, а Горницкий — юн.

Линтварев виновато посмотрел на Турбина. Турбин смолк. Теперь ему хотелось одного — поскорее уйти из столовой. Но встать сразу было неловко.

— А я все хотел попросить у вас какой-либо книги из вашей библиотеки, — сказал он, наконец, подымаясь.

— С величайшим удовольствием, — поспешил ответить Линтварев.

---

[29] Николай Христианович Вессель (1837–1906) — российский педагог и публицист, выступавший за интеграцию общего и профессионального образования. Речь, вероятно, о его брошюре «Профессиональные школы и обучение ремеслам» (СПб: Журн. «Семья и школа», 1881).

[30] Ремесленное училище цесаревича Николая было основано в 1875 г. в Петербурге с целью подготовки мастеров-слесарей, токарей, резчиков по дереву и пр. для развивающейся промышленности. С 1880 по 1892 гг. директором училища был известный педагог Иван Алексеевич Анопов (1846–1907), регулярно выступавший в печати.

Турбин встал и медленно прошелся по столовой. Он долго стоял перед камином, а потом рассматривал большой портрет Толстого, писанный масляными красками. Но ему уже было не по себе. Музыка в зале ударила ему по сердцу как-то болезненно. И, пользуясь предлогом, что он идет слушать, он поспешно вышел в залу.

———

Взволнованный он долго сидел, не понимая, что играют. Играл член суда.

— Что это? — спросил сидевший около него старик-помещик, обращаясь к хозяйке.

— Соната Грига[31]. Вы не знаете?..

— Десять лет не играл, — сказал помещик со вздохом, — а хорошо.

— Чудно! — подтвердила хозяйка.

Музыка Грига решительно не нравилась Турбину. Звуки лились вычурно, быстро и не трогали его сердца. Он чувствовал, что она также холодна и чужда ему, как все общество, окружавшее его. С начала вечера он все ждал чего-то, напряженно ждал, что будет что-то хорошее. Теперь это чувство ослабело и упало. Он думал, что надо идти домой, что все ему чужды и никому он не нужен. Никто даже и не поинтересовался им, не поговорил, чтобы узнать, что он за человек. Он видел, что барин виляет в разговоре с ним. С другими он и шутит и разговаривает серьезно, с ним же только предупредительно, беспокойно вежлив. И по мере того, как переливались и возрастали звуки сонаты Грига, на душе у него становилось все скучнее и холоднее.

Но музыка смолкла. «Посижу еще, послушаю немного и уйду», — решил Турбин. Но поднялся разговор о Григе. Старик-помещик добродушно-насмешливо покачивал головой. «Хорошо, а не забирючивает», — говорил он. Член суда горячился, доказывая, что «Григ великолепен».

— А его симфония? — кричал он в восхищении, — а Peer Gynt[32]? Это чудо искусства!

— Кто такой этот Peer Gynt? а? — спросил старик.

— Полноте, Сергей Львович, — сказал член суда, — будто не знаете?

— Что? Грига-то? Бог свидетель, слыхал только. В наше время он не был в авантаже.

— Я что-то тоже ясно не рисую себе его музыкальной физиономии, — сказал флотский офицер фатовато-вспоминающим тоном.

---

[31] Единственная фортепианная соната Эдварда Грига (1843–1907) — соната ми минор, соч. 7 (1865). Написана в романтической традиции с использованием норвежских народных мотивов.

[32] Перечисляются произведения Э. Грига: единственная завершенная симфония — до минор (1863–1864); симфоническая сюита к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1875).

— Но ведь вы, конечно, знаете, что Edward[33] Grieg — норвежский композитор, что особенно знамениты его сонаты, баллады, Lieder[34] для альта и музыка к драматической поэме Ибсена Peer Gynt?

— А что это за штука Peer Gynt-то? — повторил Сергей Львович.

Член суда смутился.

— Имя героя, — сказал он и сейчас же поспешил заиграть.

— Голубчик, — обратилась старшая княжна к хозяйке, — пожалуйста, Danse macabre![35]

— Ах, нет, не могу сегодня… уволь!

— Вот к ночи чертовщину вспоминать охота! — сказал Сергей Львович весело.

Все засмеялись с особенной лаской в лице.

Член суда, раздумчиво улыбаясь, тихо начал «Белые ночи» Чайковского:

Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной, полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как чист и свеж твой вылетает май![36]

Турбин не знал ни этих слов, ни Чайковского; но при первых же чистых, поэтичных звуках мелодии у него дрогнуло сердце; что-то нежно-призывающее было в них; а когда эти зовущие звуки определились в томительно-грустные, когда послышалась в них эта неопределенная, светлая грусть, Турбину захотелось заплакать от сладкой боли в душе. Мысленно он сидел теперь одиноко, в своей комнате, и что-то воскрешало все лучшие его воспоминания, раскрывало и призывало его сердце к чему-то давно забытому и хорошему, как первая любовь. Так жалко ему стало самого себя, таким просветленным и грустным чувствовал он себя в эти минуты.

Когда рояль стих, все помолчали. Турбин встал и подошел к нему. Ему хотелось еще музыки, но он не знал, что назвать. Он подумал о «Молитве девы»[37]… но это было как-то неловко сказать.

— Будьте добры, сыграйте еще что-нибудь, — сказал он мягко члену суда.

---

[33] Правильное написание имени Грига в норвежском языке — Edvard.

[34] Песни (*нем.*). Написание имени Грига с буквой w, вероятно, тоже свидетельствует о немецком языковом посредничестве.

[35] Пляска смерти (*фр.*). Речь идет о симфонической поэме К. Сен-Санса (1835–1921) с этим названием (1874).

[36] Пьеса П.И. Чайковского (1840–1893) «Май. Белые ночи» из фортепианного цикла «Времена года» (1875–1876) имеет приведенный в тексте эпиграф (каждой из двенадцати пьес цикла предпослан тот или иной поэтический эпиграф) из стихотворения А.А. Фета «Еще майская ночь» (1857). Последняя строка у Фета звучит так: «Как свеж и чист твой вылетает май!».

[37] «Молитва девы» — фортепианная пьеса польского композитора Т. Бондаржевской-Барановской (?–1861), написанная в 1851 г. Произведение обрело мировую славу после публикации в Париже в 1858 г.

— Что же? — спросил тот, перебирая ноты.

— Что-нибудь Бетховена.

— А Григ вам не нравится?

— Нет.

Член суда посмотрел на него внимательно и сделал умные, насмешливые глаза.

— Сонату? — спросил он.

Турбин в смущении качнул станом.

— Да, сонату…

— Какую же?[38]

— Все равно… — пробормотал Турбин, чувствуя, что над ним смеются.

— Можно!

Член суда быстро порылся в нотах, поставил одну тетрадь на пюпитр и смело заиграл: «Не искушай меня без нужды»[39]… Турбин вспыхнул… а наклонившись, прочел: «Neuvième symphonie»[40].

— Вы… — едва выговорил он как можно громче и почувствовал, что вся голова его похолодела от волнения, — вы… не у судейского швейцара учились… нотам?

— Что такое? — медленно спросил член суда, опуская руки.

Все встрепенулись и задвигались.

— В чем дело?.. — послышались голоса.

— Ну, к чему же это, Василий Ананьевич? — сказал хозяин среди наступившей тишины громко и как бы с сожалением.

Но член суда прежде всех сообразил, что поступил неосторожно.

— Я ей-Богу, господа… — заговорил он быстро и растерянно: — я только сейчас сам понял, в чем дело. Честное слово, я не хотел шутить над ними… Я так рассеян, что забыл их просьбу и то, что я развернул… В таком случае, я вполне извиняюсь…

— И я… — пробормотал Турбин, отходя от рояля.

— Вот странное недоразумение! — воскликнул член суда и огляделся кругом притворно-удивленными и добрыми глазами.

— Ну, да эту материю можно оставить! — сказал старик-помещик и, немного погодя, подсевши к Турбину, так просто и мягко начал разговор, что учитель повеселел и отвечал уже без всякого стеснения. Шепотом, улыбаясь своими добрыми серыми глазами, Сергей Львович говорил про все с удивительно своеобразным и милым юмором и очень заинтересовался, узнав, что

---

[38] Людвиг ван Бетховен (1770–1827) — автор 32 фортепианных сонат, созданных в 1795–1822 гг., отражающих эволюцию творчества композитора.

[39] «Не искушай меня без нужды» — романс М.И. Глинки (написан около 1825 г.) на стихи Е.А. Баратынского («Разуверение», 1821).

[40] Девятая симфония (*фр.*). Вероятно, девятая симфония Бетховена.

Турбин играет на гитаре. Уединясь в столовую, где уже шли приготовления к ужину, Турбин долго играл для Сергея Львовича русские песни.

— Вы, пожалуйста, ко мне приезжайте, — сказал под конец Сергей Львович, — я за вами лошадей пришлю под новый год. Идет?

— Идет, — отвечал Турбин весело.

Услыхав гитару, пришел хозяин и стал звать его в зал, сыграть для всех. Многие присоединились к этой просьбе и, освеженный разговором с Сергеем Львовичем, Турбин не отнекивался. Но тут скоро позвали к закуске. Турбин настроил себя чинно и шел столовую медленнее всех.

Хозяин особенно хвалил и предлагал селедку. Член суда, с видом знатока, попробовал ее и нашел «гениальной». Сергей Львович переглянулся с Турбиным. И от этого Турбину стало еще веселее.

— Николай Нилыч! Водки? — сказал хозяин.

— Можно.

— Хинной или доморощенной? Хинную рекомендую смело.

— Хинной, так хинной.

— Так будьте добры — распоряжайтесь сами.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, пожалуйста.

Около стола теснились, оживленно переговаривались. С тарелкой в руках Турбин долго стоял в конце всех. Он не обедал и поэтому с удовольствием выпил рюмку водки, погонялся вилкой за ускользающим грибком и ограничился на первое время пирогом. После первой же рюмки он почувствовал легкий хмель, очень захотел есть и долго, поглядывая искоса и стараясь не торопиться, ел одних омаров. Член суда уже дружески предлагал ему выпить с ним, и учитель выпил еще рюмку простой водки и по рюмке красного и белого вина. И водка, и дружеский тон члена суда совсем размягчили его.

Первые минуты опьянения он чувствовал себя так же, как в самом начале вечера: как сквозь воду видел блеск огней и посуды, лица гостей, слышал говор и смех, чувствовал, что теряет способность управлять словами и движениями тела, хотя сознавал еще все ясно. Раскрасневшееся, потное лицо затягивало словно паутиной; в голове шумело, сердце билось с замираниями. Но все-таки он старался оглядываться смело и весело своими томными, захмелевшими глазами. Вместе с тем, ему было невыносимо жарко. Когда же Линтварев (Турбину казалось, что и Линтварев запьянел) взял его под руку и повел к столу ужинать, собственное его тело показалось ему совсем большим и неловким.

— Не выпьем ли еще по единой перед сигом? — сказал ему член суда.

— Блаженный Теодорит велит повторить, — отвечал Турбин со смехом.

— Repeticio est mater studiorum[41]. Не так ли? — промолвил с другого конца стола флотский офицер, явно подделываясь под семинарскую речь.

---

[41] Повторение — мать учения (*лат.*).

Турбин понял это и вызывающе-весело поглядел на офицера. Ну, и черт с тобой! — подумал он и, усмехаясь, крикнул:

— Optime[42].

Член суда поспешил налить. Хозяйка как будто вскользь, но значительно поглядела на него. И это Турбин заметил, но никак не мог обидеться: так просторно и тепло стало у него на душе.

— Да и последняя! — сказал он, выпивая рюмку и махая рукой. — Я и так мокрый, как мышь.

Удерживаясь от смеха, младшая княжна зажала рот платком. Турбин поглядел на тонкий профиль ее молодого личика, на приподнятую верхнюю губку и смеющиеся глаза, и сердце его так и запрыгало. Такою молодостью веяло от нее, так были хороши темные кудри над ее матовым, нежным лбом!

Ужин, как показалось Турбину, прошел чрезвычайно быстро. Он запомнил только, что ел горячий ростбиф, причем сои огнем охватили ему рот, съел кусок тетерки, пил мадеру и лафит и плохо соображал, о чем идет говор. На его счастье Беклемишев куда-то скрылся. «Верно, в карты дуется», — думал Турбин.

За маседуаном[43] подали шампанское (был день рождения хозяйки), и, дождавшись своего бокала, Турбин быстро встал и оглушительно крикнул «ура!» Но за оживлением на это не обратили особенного внимания. Все столпились в кучу, поздравляя хозяйку и самого Линтварева. Линтварев, с бокалом в одной руке, прижимал другую к сердцу, и старался казаться и тронутым и шутливым.

— Ура! — крикнул еще раз Турбин, но уже потише, и улыбнулся слабой, жалкой улыбкой.

— Не стоит! — шепнул доктор, сжимая ему локоть.

— Ну, не надо…

Медленно, улыбаясь, Турбин, пошел в залу. Теперь он уже освоился с тем, что не может управлять собою.

После ужина оживились все. Лакей разносил чай, предложенный хозяином. «Люблю, грешный человек! — говорил он: — Господа, кто желает китайского зелья?». Все приняли это предложение с шумными одобрениями, как на земских собраниях: «Просим, просим!..»

— Отклонить! — крикнул Сергей Львович среди общего смеха.

— Сергея Львовича сыграть просим! — крикнул хозяин.

— Благодарю, господа, я чувствую себя слишком утомленным, — отнекивался Сергей Львович, продолжая пародировать гласных. Но тут поднялся такой шум и крик, что отказываться было невозможно.

---

42 Очень хорошо (*лат.*).

43 Маседуан (*фр. macédoine*) — десерт французской кухни, смесь свежих и слегка отваренных в сахарном сиропе фруктов или ягод. Часто подается в желе.

— Просим! — крикнул Турбин уже после всех.

Ему самому хотелось схватить гитару и залиться какой-нибудь удалой песней.

— Давненько я не брал в руки шашек! — кряхтя, говорил Сергей Львович, усаживаясь за рояль.

Когда же он заиграл, все затаили дыхание. Он играл сильно, чисто и чрезвычайно мягко, всей душою. Лицо его стало молодо, задумчиво и прекрасно в этой задумчивости. Играя Шопена, он опустил голову и только по той порывистой нежности и силе, с которой он брал каждую ноту, можно было видеть, что он взволнован.

— Сергей Львович! Вебера! — сказал член суда во время перерыва.

Сергей Львович поднял брови и подумал.

— Нет, — сказал он с улыбкой, — попробуем блеснуть техникой. — Нука… нет… вот! Да, да, так…

— Тарантелла… — шепнул флотский офицер, — Николая Рубинштейна?[44]

Член суда утвердительно кивнул головой.

Из медленных, в которых сказалась хитрая, сдержанная удаль, звуки уже превратились в шумные, быстрые и затрепетали в каком-то диком восторге. Все так и насторожились, а знатоки замерли от боязни, что Сергей Львович сорвется где-нибудь в самом решительном месте. Но он уже разошелся: не думая, не глядя на руки, он шел все дальше и дальше, и звуки уже неслись, все росли в бешеном вихре.

— Что это такое, что? — шептал Турбин, хватая доктора за руку…

Тот только зубами скрипнул…

Возгласы одобрения заглушили последние аккорды «Тарантеллы». Казалось, что если бы танец не кончился, можно было бы задохнуться от напряжения… Турбин хохотал нервным смехом.

— Вот это, вот это так — так! — бормотал он в восторге.

— А теперь — угодно кадриль? — крикнул Сергей Львович.

— Нет, нет, — подхватил Линтварев, — гросфатер!

Под церемонные звуки старинной музыки дамы во главе с хозяином и членом суда начали комически двигаться, раскланиваться, но спутались, перемешались и со смехом остановились.

— Ну, лянсье! — взывал хозяин.

— Не выйдет!

— Выйдет!

— Кадриль![45]

---

[44] Тарантелла соль минор (1861) — одно из фортепианных произведений Н.Г. Рубинштейна (1835–1881), рассчитанных на исполнение пианиста-виртуоза. Н. Рубинштейн был известен как один самых ярких пианистов своего времени.

[45] Гроссфатер — немецкий танец XVII века, привезен Петром Первым в Россию, в XVIII — начале XIX в. бальный танец. Кадриль — более поздний бальный танец (французского

Турбин тоже порывался танцевать и, сверкая веселыми глазами, быстро оглядывался кругом, ища дамы. Когда же раздались звуки кадрили и флотский офицер устремился к старшей княжне (впрочем, как-то полушутя), Турбин расшаркался перед полной вдовой-помещицей, которая весь вечер сидела молча. Она поглядела на него, и покачала головой. «Ну, не надо… все равно!» — подумал Турбин отчаянно и, повернувшись, лихо поклонился младшей княжне.

— А визави?

— К вашим услугам, — сказал член суда под руку с хозяйкой.

Торопясь и наталкиваясь на танцующих, Турбин почти побежал вперед с княжной. Музыка становилась все веселее; пары шаркали по полу; запотевший, улыбающийся флотский офицер кричал сдержанно-бойко и торопливо:

— Chaine de dames… chaine de messieurs… en avant…[46]

И, увлекая за собой дам и сам растянутый ими за руки в разные стороны, едва успевал движениями головы командовать танцующими. Но все-таки в третьей фигуре все перемешались и спутались, как в гросфатере. От этого Турбину стало еще веселее. Звуки четвертой фигуры раздались вдруг так вызывающе, что он уже, не слушая криков офицера, понесся вперед с отчаянной решимостью. Старшая княжна пугливо сторонилась от его неловко размахивающейся фигуры. А он уже не мог удержаться: музыка, потребность движенья, веселья, блеск глаз княжны, вся ее фигурка в его больших руках — пьянили его все более и более.

— Пятую! — возгласил флотский офицер и захлопал в ладоши.

— Русскую! — крикнул член суда.

Сергей Львович обернулся, весело кивнул головой и ударил по клавишам.

— Русскую! — повторил член суда и Турбину.

Турбин тотчас же бросил свою даму, отбежал назад, постоял мгновение и вдруг так рванулся вперед, что кругом послышался хохот. Это ударило ему в голову горячими парами.

— Сергей Львович! — завопил он, — пожалуйста!.. ту, веселую.

— Тарантеллу?

— Да, да!..

И, уже не слушая музыки, без всякого такта, Турбин зашаркал ногами вперед, потом все быстрее, быстрее пошел мелкой дробью и вдруг треснул ногами в паркет, взвился кверху и пустил руки между ногами, словно разрубил что-то со всего размаха.

— Еще! — крикнул кто-то насмешливо.

происхождения), был весьма популярен вплоть до конца XIX в. Лансье — популярный в конце XIX в. танец, разновидность кадрили.

[46] Шен де дам <дословно: цепь дам>… Шен де месье <дословно: цепь кавалеров>… (пары) сходятся <дословно: вперед> (*фр.*). (названия фигур кадрили).

Под разрастающиеся звуки «Тарантеллы» Турбин охотно понесся назад, заплетая и размахивая ногами, как веслами.

Но — о, ужас! — вскинув голову, он увидал в двух шагах от себя отца Линтварева: шаркая старческими ногами и подаваясь вперед, он поторопился из маленькой гостиной, где играл в карты, на шум в зале. Увидав пляску, он в изумлении поднял свою седую, барскую голову и, приложив к переносице пенсне, глядел прямо в лицо Турбину удивленными, остановившимися глазами.

Турбин качнулся в сторону и с жалкой улыбкой махнул рукой. Доктор быстро подошел к нему.

— Поедемте, батенька, домой, — сказал он ему почти строго.

— Нет, чего же?.. Я ведь все отлично понял… — слабо и с горькой улыбкой ответил Турбин.

Лицо его было бледно, холодный пот крупными каплями покрывал лоб.

— Ну что это, Павел Андреевич! — воскликнула хозяйка громко, когда все стихло и учитель уже скрылся.

— Ну что случилось? — ответил Павел Андреевич. — Волноваться-то чего же из-за пустяков?

———

Месяц заливал белоснежное село своим блеском и светом. Турбин, без шапки, весь потный, но в расстегнутом пальто, лежал на льду реки и, махая рукой, выкрикивал какую-то отчаянную песню…

IV

Трудно было определить — спал или не спал он, добравшись домой: до того живы и беспокойны были сновидения. Казалось, что он все еще в гостях: вся обстановка, все лица гостей окружали его; люди двигались, перетасовывались, проходили перед ним как в пантомиме, и он сам во всем участвовал и чувствовал, что все выходит хорошо и ловко, хотя и беспокоит что-то, спутывает все. Турбин старался вспомнить, что же это мешает и никак не мог, и сновидения возобновлялись, картины, как в панораме, появлялись снова. Утомленный этим беспокойным сном до последней степени, Турбин был рад, когда, наконец, открыл глаза. Дневной свет совершенно отрезвил его, и первое ощущение, испытанное Турбиным, было удивление перед всем совершившимся вчера. Да, ведь он на самом деле был, этот вечер! То, что так долго ожидалось, уже сбылось и кончилось… А подробности этого вечера…

Стыд, жгучий стыд до слез, до боли пронял всю душу Турбина. Он стиснул зубы, крепко прижал голову к подушке. Все внутри трепетало у него от возрастающего горького чувства.

Вдруг он вскочил. Он решился переломить себя, задавить все эти воспоминания. Он поспешно одевался, убирал комнату. В ногах была слабость, но голова не болела. Он старался делать все как можно правильнее и серьезнее. И в то же время беспокойно выискивал оправдания прошлому вечеру.

— Да что, в самом деле? — сказал он, наконец, громко, — что случилось особенного-то?.. Да и не увижу я, может быть, больше никогда этого барина…

Отворилась дверь. Увидав Павла, Турбин сделал серьезное и будничное лицо.

— Самовар-то ставить, что ль? — спросил Павел.

— А почему же не ставить?

— Да то-то, мол, надо ли… успроситься…

Турбин отвернулся и старательно расстилал одеяло. Павел помолчал; потом вдруг лукаво заглянул Турбину в глаза и, с просиявшим лицом, быстрым шепотом спросил:

— Ай слетать к Ивану Филимонычу?

— Это зачем?

— За похмелочкой… а?

— Убирайся ты от меня к шуту с своими бессмысленными глупостями! — закричал вдруг Турбин, багровея от злобы.

После чая он лежал на кровати. В голове машинально проходили разные успокоительные мысли; иногда мгновенное яркое воспоминание о пляске острой болью отзывалось в сердце. Тогда он почти с яростью начинал придумывать самые оскорбительные фразы, которые, вероятно, посыпались по его адресу, как только он вышел, в доме Линтварева. А на селе!.. С какими глазами показаться теперь на село?!

Однако он заставил себя одеться и, как ни в чем не бывало, идти к дьячку обедать. «Знают или нет?» — думал он, боязливо глядя на заводскую сторону.

Около лавки он постарался идти как можно медленнее.

— С праздником, Иван Филимоныч! — сказал он, увидя лавочника, стоявшего около телеги с ящиками водки.

Лавочник считал бутылки, передавая их в лавку мальчику, но ответил Турбину учтиво и поспешно.

— И вас также! Милости просим.

— Постараюсь.

— Николай Нилыч теперь загордел, — вдруг раздался голос лавочницы с крыльца.

Она стояла в шубе, накинутой на плечи, и смотрела на Турбина насмешливо-пристально. Лавочник вдруг обернулся к ней с строгим взглядом, и по одному этому взгляду Турбин понял, что все известно, все… и с замирающим сердцем поспешил скрыться в избе дьячка.

Обед прошел спокойно. Но когда Турбин уже поднялся из-за стола, дьячок, глядя в сторону, сказал так, словно продолжал начатый разговор:

— И совсем не стоило туда ходить. И батюшка тоже говорит, и Иван Филимоныч.

Турбина словно ударили чем-нибудь по голове.

— Куда это? — через силу спросил он.

— Если, гырт, — продолжал дьячок уныло-невозмутимым тоном, — если, гырт, съесть-спить, так и у меня был бы сыт, не попрекнул бы куском… Да и правда: не нам с вами бывать у таких персон. Что в само́м деле?..

— Ну, да я… я, о. Алексей, кажется, сам не маленький…

Дьячок только вздохнул. Дрожащими руками Турбин нашел скобку и хлопнул дверью.

— И прекрасно! И прекрасно! — с злобной радостью похохатывал он, почти бегом взбираясь в гору.

— Дома? — раздался в передней голос Слепушкина уже в сумерки.

Павел отвечал что-то торопливым шепотом.

— Ну, ну, не надо, не буди… Бог с ним.

Дверь хлопнула, все стихло. Турбин лежал без движения.

———

— Очнись! — кричал через полчаса Кондрат Семеныч, со смехом вваливаясь в комнату. — Ты, говорят, черт тебя знает каких штук там натворил? Какой это ты танец своего изобретения плясал?

— Оставьте, пожалуйста, меня в покое!

— Да нет, как же, брат, — говорят, вдребезги насадился?

Ухмыляясь, Кондрат Семеныч присел на кровать и продолжал уже с искренним участием, но обращаясь к Турбину как к заведомому пьянице:

— Гм, брат, пожалуй, неловко; свинство! Ты бы хоть на первый-то раз поудержался немного… Надо сходить извиниться. Еще, пожалуй, с места попрут… да наверняка даже попрут!

———

А еще через полчаса на столе стояла бутылка водки. Турбин, уже захмелевший, облокотившись на стол и положив голову на руки, сидел молча.

— Черт знает что! — говорил Кондрат Семеныч, — говорят, тебя за крыльцо выкинули?

— Кто это?

— Что?

— Говорит-то?

— Слепушкин.

Турбин злорадно засмеялся.

А Кондрат Семеныч с серьезным лицом грустно продолжал:

— Он, брат, Линтварев-то этот, глумился над тобой, сукин сын. Я бы на твоем месте ему морду разбил. Оплевать, воспользоваться твоей необразованностью!.. Подло, брат! Мне тебя от души жаль.

Турбин вдруг сморщился, захлюпал, хотел что-то сказать, но захлебнулся слезами и только зубами скрипнул.

— Ну вот и опять готов! — сказал Кондрат Семеныч с сожалением. — Тебе, брат, стоит бросить пить.

— Да не пьян я! — закричал Турбин бешено, с красными, полными слез глазами и треснул кулаком по столу…

— Передушу! — крикнул Васька, когда рыженькая троечка что есть духу разнеслась в темноте под гору, и толпа ребят и девок, как стадо овец, шарахнулась в стороны.

Взрыв хохота и криков на время покрыл звон колокольчиков; мелькнули огни кабака, раздались песни… Турбина охватило отчаянное чувство смелости и веселья.

— Пошел! — крикнул он кучеру.

На полугоре сани налетели на водовозку, сбили ее в сторону. Около завода какая-то фигура вынырнула из темноты и ввалилась в сани, на ноги Турбина.

— Митька? Ты? — крикнул Кондрат Семеныч.

— Ребята гнались, — молчи!

И, на повороте в село, фигура выпрыгнула из саней и опять скрылась в темноте.

Село все больше и больше оживлялось. В избах везде мелькали огни, попадались кучки народа на улице, слышался гам, горластые песни и толкотня пляски. Там и тут в разные тоны «драли» гармоники, и звуки с бешенством перебивали друг друга. Стоном стояла и разливалась протяжная «страдательная», и вдруг ее покрывал азартный трепак, топот ног и взвизгивания…

Турбин сидел как во сне.

Сперва попали в какую-то избу, битком набитую народом. С непривычки Турбину показалось даже страшно в ней: так было жарко, низко и людно. Шла оживленная игра в «короли»[47]. Неиграющие, ложась друг другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытого от черной топки словно черным густым лаком, теснились к столу. За столом тоже теснились ребята в

[47] Короли (или кинг) — популярная карточная игра.

расстегнутых полушубках и чистых рубахах, девки в красных ситцах, сильно пахнущих краскою. У всех были в руках сжатые корабликом карты и напряженно-веселые лица. Ребятишки шмыгали по ногам, лезли из сенец в избу.

«Выстудили избу, окаянные!» — кричала на них хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:

— А это чей же будет?

— Свой, тетка! — ответил Турбин с хохотом и, севши на лавку, не удержался, завалился за сидящих и задрал ноги. Гогот по этому поводу не прекращался более минуты.

А Кондрат Семеныч что-то суетился и поминутно исчезал в сенцах. Выбравшись из душной избы, Турбин вдруг услыхал, что в углу кто-то шепчет:

— Да ко мне-то нельзя.

— Ну, куда же?

— К печнику. Ну, что ж?

— Едем.

И через минуту Турбин был в санях, а Кондрат Семеныч втащил в них хохочущую солдатку (с ней-то и велись переговоры) и, стоя, закричал на Ваську:

— Делай!

— Поехали! — закричал Турбин тонким голосом.

— Попала шлея под хвост, когда такое дело, — подхватил и Кондрат Семеныч отчаянно.

Дальнейшие события еще более тонули в хаотическом беспорядке…

От посещения печника более всего осталось в памяти его пение. И сам печник, волосатый, пожилой мужик, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свете любили водку и песни. Гости за посещение их избы напаивали их, и беспутные супруги бывали всегда довольны такими вечерами. И теперь, тотчас же в печке запылал огонь, зашипела и затрещала яичница с ветчиной, загудела труба на самоваре. Запьяневшая, раскрасневшаяся хозяйка весело поддувала пламя под таганчиком и с ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина… Затем начался пир. За каждым куском следовала водка; ошалевший Турбин не отставал от других, хотя уже чувствовал, что с великим трудом слышит говор и песни вокруг себя. Песни начал печник… и дикое же впечатление осталось от этих песен! Положив голову на волосатую руку, печник что ни есть мочи разливался таким неистовым криком, что на шее у него вздувались синие жилы.

— Ешьте, что ль, ветчину-то! — кричала в то же время хозяйка.

Турбин машинально кусок за куском ел страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило от бесплодных усилий разжевать эти жареные брусочки.

— Не урвешь! — кричал и Кондрат Семеныч. — Хряковину, подлец, отпустил!

На печника уже не обращал никто внимания. Перебивая его песни, Кондрат Семеныч с Васькой тихо играли на двух гармониях барыню, а бабы, т. е. печничиха и солдатка, обе раскрасневшиеся, с полчаса, с прибаутками, но с серьезными, неподвижными лицами выхаживали друг перед другом, постукивая каблуками:

Посылала меня мать
Караулить гусака,
А я вышла за ворота —
Задавала плясака!

— вычитывала хозяйка.

Уж я ее кнутом,
И кнутом, и прутом…

— бойко покрикивала в ответ солдатка, то прихлопывая в ладони, то упирая руки в боки.

— Делай! Ощипись! — повторял Васька, потрясая гармоньей над головою и пускаясь в самые отчаянные варьяции «барыни». В чаду беспричинной, напряженной веселости сознание учителя иногда прояснялось. «Где это я? что такое?» — спрашивал он себя, но тотчас начинал хлопать в ладоши и в такт, «барыни» стучать сапогами в пол.

А за окном, которое завесили попоной, галдел народ, порываясь в избу. Горький пьяница, рабочий с завода под названием «барин», огромный, худой мужик, с лошадиным лицом, с растрепанными пьяными губами, особенно долго упорствовал в этом отношении.

— Не пускай, ну его к черту! — говорил Кондрат Семеныч.

— Ну что ты? кого тебе? — спрашивала хозяйка, загораживая порог.

Улыбаясь и качаясь, «барин» придерживался за притолку и говорил:

— Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.

— Никого тут нетути. Иди.

— Буде, буде толковать-то!

— Вот домовой-то, как носом учуял!

Кондрат Семеныч решительно подошел к двери.

— Да кто это там?

— Это я, Кондрат Семеныч, — сдергивая шапку и улыбаясь пьяной, мутной улыбкой, отвечал «барин». — Я ничего плохого… Закурить только…

— Ну, ну… с Богом!

У Турбина уже нестерпимо ломило в темени от жары и водки. Но он все еще не отставал от других и, когда раздались крики, что с лошадей сняли вожжи и чересседельник, он даже выскочил вместе с Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. Но никого уже не было… На морозе водка еще более разобрала его, и с этого момента воспоминания его совершенно путаются…

Запомнил он только, что он долго бродил по сенцам, а когда Кондрат Семеныч выпихнул к нему бабу, он вытащил ее на скотный двор, а она вырывалась и торопливо шептала:

— Что ты, что ты? Ай подеялось?.. ай очумел?.. Ох, батюшки, пусти, пусти-и!.. тут погребица!..

И, взволнованный этой борьбой, Турбин с трудом отыскал дверь в избу и очутился в полном мраке, и эта темнота, и шепот, и возня на соломе еще более взбудоражили его кровь. Он долго шарил по соломе трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидел на полу и бормотал что-то, повалил кочергу… потом потерял всякое представление о том, где он и что было дальше.

Чувствовал только во сне, что откуда-то по ногам несло холодом. Он тщетно прятал их под солому. Потом началась страшная жажда. Все внутри у него горело, и он чувствовал это через сон, и никак не мог проснуться, и все шептал горячечным шепотом:

— Пить… Бога ради пить!

Казалось еще, что какая-то толпа растет вокруг него, а он пляшет под «Тарантеллу», пляшет-пляшет без конца и вдруг слышит над самой своей головой рукоплескания и крики, отчаянный крик. Он вскочил: петух еще раз крикнул на всю избу и затрепетал крыльями.

Холод плыл по ногам. Еле-еле рассветало. В смутном сумраке было видно несколько человек, спящих на соломе. Шатаясь, Турбин начал шарить по печуркам спичек: в печурках были только какие-то сырые, теплые перья; на групке[48] лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбин задыхался от жажды.

— Бога ради напиться! — сказал он громко.

— Ох, чтоб тебе совсем! Вот напужал-то!

Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и завертывать под платок сбитые волосы.

— Пить нет ли? Душа запеклась!

— Посмотри в угле, в щербатом чугунчике.

Турбин с жадностью припал к чугунчику. Но квас был так кисел и холоден, что Турбина с первых глотков подхватила лихорадка и, не попадая зуб на зуб, он бросился по нарам, через Кондрата Семеныча, на печку; Кондрат Семеныч только замычал и заскрипел во сне зубами.

---

[48] Групка (грубка) — лежанка на печи.

Какой-то тяжелый запах и тепло охватили Турбина на печке, и он заснул, как убитый. Но и этот сон продолжался как будто мгновение. Затопили печку «по-черному», и дым, пеленой потянувшийся под потолком в дверь, завешенную попоной, буквально стал душить Турбина. Он зарывал голову в солому и сор, который всегда бывает на печках, но ничто не помогало. Тогда он спустил голову с печки, кое-как приладил ее к кирпичам и так и проспал до самых завтраков.

В завтраки Кондрат Семеныч с опухшим лицом, но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника, похмелялся и, вертя цигарку, поглядывал на спущенное с печки сонное лицо Турбина. Оно было как мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.

— Вот те и педагог, — сказал Кондрат Семенович с сожалением. — Пропал малый!

— Сирота небось! — задумчиво произнес печник.

Печатается по: ***Новое слово. 1896. № 7. Апрель. С. 45–93.***

На даче

I

Окна в сад были открыты всю ночь. А деревья раскидывались густой листвой около самых окон, и на заре, когда в саду стало совсем светло, птицы так чисто и ясно щебетали в кустах, что звонко отдавалось в комнатах. Но еще воздух и молодая майская зелень в росе были холодны и матовы, а спальни дышали глубоким сном, теплом и покоем.

Дом не походил на дачный; это был обыкновенный деревенский дом, небольшой, но удобный и покойный. Петр Алексеевич Примо, известный архитектор, занимал его уже пятое лето. Сам он, впрочем, больше бывал в разъездах или в городе. На даче жила его жена, Наталья Борисовна, и младший сын, Гриша. Старший, Игнатий, весь последний год путешествовал (он только что окончил курс в Горном институте) и так же, как отец, появлялся на даче гостем.

День начался с того, что в столовую пришла горничная. Сладко зевая, она лениво переставляла мебель и мягко шаркала половой щеткой. Осторожно постукивали круглые часы на стене.

Ровно в четыре она прошла через гостиную в комнату Гриши и поставила у кровати большие штиблеты на широкой подошве без каблука. В ту же минуту молодой человек открыл глаза. Он был гигиенист[49] и подымался в определенное время очень точно; спал же всегда на спине, под одной простыней и до глубокой осени — с открытыми окнами.

— Гарпина! — сказал он баритоном.

Гарпина остановилась в дверях.

— Чого́? — спросила она шепотом.

— Платок.

— Який платок?

— Носовой; посмотри, кажется, на столике…

— Та на столику.

— Ну, подай.

Гарпина нерешительно подошла к ночному столику и в одно мгновение очутилась в руках Гриши. Началась отчаянная возня.

— Та пустить, панычу!.. — раздавался сердитый шепот Гарпины. — Панычу!.. закрычу…ий-же Богу, закрычу!..

— Не закричи-ишь!

---

[49] Гигиенист (здесь) — поклонник модного в конце XIX в. течения, связывающего задачи гигиены (влияние воздуха, воды, почвы на человеческий организм) с идеей здорового образа жизни.

Гарпина рванулась изо всей силы и выскочила в гостиную.
— Гарпина!
— Та чого вам?
— Поди сюда.
— Ни, не пиду.
— А я тебе говорю, поди. Я не буду.
— Не пиду, хоч зарижте!
Гриша улыбнулся, презрительно спокойно и крепко потянулся.
— Ну, пошва вон! — сказал он, не выговаривая буквы «л».
— Бариня загадалы вчора поспытать вас, чи поидете у город?
— А дальше?
— Казалы, щоб не издылы, бо барин сьогодни прыидуть.
— Что ж из этого следует?
— Казалы, щоб не издылы.
Гриша, не отвечая, одевался.
— Полотенце? — спросил он громко.
— Та на столи — óн! Не збудить бариню.
— Убирайся!

Он вышел заспанный, но свежий и здоровый, в сером шелковом картузе à la жокей, в широком костюме из легкой материи, без жилета, перекинул через плечо мохнатое полотенце, захватив в гостиной крокетный молоток и, пройдя в переднюю, отворил дверь на улицу.

Собственно, это была не улица, а дорога, так как дачи в садах тянулись по горе и направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную низменность. Теперь он был особенно хорош. Все сверкало чистыми, яркими красками чудного раннего утра. Синеватые леса и рощи картинно раскидывались по долине; светлой, местами алой сталью блестела река в камышах и высокой луговой зелени; кое-где с зеркальной воды снимались и таяли полосы серебряного пара. А вдали широко и ясно разливался по небу оранжевый свет зари. Солнце приближалось…

Легко и сильно шагая, Гриша спустился с горы и пошел по мокрой, глянцевитой и резко пахнущей сыростью луговой траве к купальне. Сегодня он чувствовал себя веселым. За последнее время его почти не покидало ленивое, апатичное настроение. Он уже целый год решал, какое избрать высшее учебное заведение. Сначала было приятно ходить в статском платье и ничего не делать; потом платье перестало занимать: нужно было думать, на какое переменить его. Но Гриша все откладывал, благо никто не понукал его. Он привык жить свободно и покойно, в хорошей обстановке и с барским столом, но делать себе карьеру, думать о том, как прожить всегда так, как он жил с детства, ему не хотелось, было даже неприятно. В молодой его душе было уже много скептицизма, иронии и ко многому — холодного презренья.

Однако здоровьем и красотой Гриша был очень занят и в дощатом номере купальни, странно озаренном матовым отсветом воды, долго оглядывал свое тело. Атлетически сложенный, он походил на статую с красивой гордой головой, которая, впрочем, была подстрижена, с небольшим ежом на темени. Черты лица были правильны и симпатичны, цвет его — здоровый, с легким юношеским загаром. Блеск своих серых глаз Гриша нарочно сокращал, слегка раздувая ноздри. В этой манере сказывался характер Петра Алексеевича.

Посвистывая, Гриша спокойно вошел в свежую воду, выплыл из купальни и сильно взмахнул руками, увидав, что на горизонте чуть-чуть показавшееся солнце задрожало тонкой, огнистой полоской расплавленного золота. Белые гуси с металлически-звонкими криками, распустив крылья и шумно бороздя воду, тяжело шарахнулись в тростники. Широкие круги, плавно перекатываясь, закачались и пошли по реке… Грише стало еще веселее; в несколько взмахов он был уже далеко от купальни, сразу перевернулся на спину и, захватив в рот воды, запустил ее кверху фонтаном, загоревшимся на солнце всеми цветами радуги.

— Григорий Петрович! — крикнул чей-то мужской голос.

Гриша перевернулся и увидал на берегу высокого мужика с русою бородою, с смелым, простым и открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз навыкате. Это был Каменский, «толстовец», как его называли на дачах.

— Вы придете сегодня? — добавил он, снимая картуз и вытирая лоб рукавом белой замашной рубахи[50].

— Здравствуйте!.. Приду, — отозвался Гриша. — А вы куда, если не секрет?

Каменский с улыбкой взглянул исподлобья.

— Ведь вот люди!.. — сказал он важно и задумчиво, как бы про себя. — Все у них секреты, везде тайны!

Гриша подплыл к берегу и, стоя и качаясь по горло в воде, небрежно прибавил:

— Ну, если хотите, не секрет. Я просто полюбопытствовал, почему вы меня спросили?

— А мне нужно побывать у знакомых и в городе.

— Да, так вы в город едете!

— Разве в город только ездят?

Гриша смутился.

— А разве я это говорю? — пробормотал он, криво улыбаясь.

— Да как же? Вы уже забыли?

— Нисколько… Это даже странно!

Каменский пожал плечами.

---

[50] Замашная рубаха — рубаха, сшитая из грубого, домотканого конопляного полотна (замашки). Повседневная крестьянская одежда.

— Конечно, странно. Сами говорите не то, что хочется, и сами же сердитесь.

— Одним словом, — хотел докончить Гриша, — вы задержитесь у знакомых в городе, так что мне прийти попозднее?

— Да разве знакомые только в городе? — снова перебил Каменский с ласковой улыбкой.

— Ну, так я совсем не понимаю!

— Вот это верно. Я сказал, что буду и в городе, и у знакомых.

— А знакомые где?

— А вот тут недалеко — на огородах.

— Так попоздней прийти?

— Да, попозднее.

— Значит, до свиданья! — крикнул Гриша и подумал: «правду говорит Игнатий — психопаты!». Но, отплывши, он опять обернулся и посмотрел на высокую фигуру в мужицкой одежде, уходившую по тропинке около реки к огородам. «Что за человек!» — пробормотал он наконец с искренним удивлением…

На реке еще было прохладно и тихо. Вдалеке в синеющей роще куковала кукушка. Слушая ее, Гриша представлял себе раннее утро в лесу, и, вспомнив опять Каменского, подумал:

— А впрочем, разве плохо и на огородах?..

Зашуршали камыши, и медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, а лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде.

— Здравствуйте, господин, — сказал он ласково.

В другое время Гриша только кивнул бы ему с достоинством, но теперь ответил очень приветливо:

— Помогай Бог! Хорошо клюет?

Старичок, сосредоточенно завязывая нитку, добродушно ответил:

— Клюет-то прекрасно-с; да вот два удилища сломали господа дачники и изорвали все. Я, признаться, задремал, а они ехали очень уж в нетрезвом виде…

— И ему не плохо, — думал Гриша, возвращаясь к купальне.

Там слышались крики, плеск и хохот. По гнущимся доскам бежали с берега, стуча сапогами, гимназисты, шли студенты в белых кителях, чиновники в парусинных рубашках[51]…

Грише не хотелось возвращаться в эту компанию, и он стал нырять, раскрывать глаза в темно-зеленой воде, и его тело казалось ему там чужим и стран-

[51] Парусинная (парусиновая) рубашка — рубашка из парусины, легкой, но прочной ткани (лен, хлопок, конопля). В конце XIX в. одежда как простолюдинов, так и среднего класса.

ным, словно он глядел сквозь стекло; караси и гольцы с удивленными глазками останавливались против него и вдруг таинственно юркали куда-то в темную и холодную глубину. Вода мягко, но упруго сжимала и качала тело, и приятно было чувствовать под ногами жесткий песок и раковины.

А наверху солнце уже припекало голову и плечи. Теплая, неподвижная вода блестела кругом, как зеркало. С зеленых прибрежных лозин в серых сережках тихо плыл над нею белый пух и тянуло запахом тины и рыбы.

II

Ровно час после купанья был посвящен гимнастике. Сперва Гриша подтягивался по канату и висел на трапеции в саду, а потом в своей комнате, рисуясь сам перед собою, становился в львиные позы силача, играющего двухпудовыми гирями.

Со двора звонко и весело раздавалось кудахтанье кур. А в доме еще царила тишина светлого летнего утра. Гостиная соединялась с столовой аркой, а к столовой примыкала небольшая домашняя теплица. Вся стеклянная, вся наполненная чащей высоких тропических растений, она была ярко озарена янтарным солнечным светом. Никто не обращал внимания на нее, забывали даже открывать окна, и от солнца и цветов в теплице было очень душно; пышные цветы задыхались от собственного аромата. Канарейка возилась среди них в покачивающейся клетке, и слышно было, как иногда сыпались и четко падали на пол зерна канареечного семени. В большом трюмо, перед которым Гриша ворочал тяжестями, вся картина теплицы отражалась как-то сказочно — в китайском желтоватом освещении, с неестественно-прозрачной и нежной зеленью широкой цветочной листвы.

Когда же Гриша вышел на балкон, сел за накрытый стол и, покачиваясь на передних ножках стула, стал, слегка расширяя ноздри, медленно пить молоко, в тишине дома раздался томный голос Натальи Борисовны:

— Гарпина!

— Какая скука! — подумал Гриша. — Каждый день начинается одним и тем же воззванием!

— Гарпина! — повторила Наталья Борисовна нетерпеливее.

Гриша отдулся, взял всей своей сильной рукой холодный кувшин молока и нарочно, как можно спокойнее стал наливать еще стакан.

— Гри-иша! — крикнула Наталья Борисовна, изменяя тон голоса в высокий и ласковый.

Гриша молчал.

— Ну, что тебе? — сухо сказал он, входя в спальню уже минут через пять.

Наталья Борисовна, красивая и полная женщина лет сорока, сидела на постели в белоснежной кофточке и, подняв руки, подкалывала темные густые

волосы. Увидав сына, она недовольно дернула плечом, но тотчас же обратила свое раздражение в шутку.

— Ах, какой ты, брат, невежа! — сказала она с улыбкой.

Гриша молча ждал. В комнате с опущенными шторами стоял полусумрак, напоенный душистым теплом женской спальни. На ночном столике возле свечки тикали часики и лежала развернутая на «Внутреннем обозрении» книжка «Вестника Европы»[52].

— Да как же, право! — добавила Наталья Борисовна еще ласковее. — Зову, зову!..

И она попросила достать из столика деньги, посмотреть, где записочка, что взять в библиотеке, собрать журналы и позвать Гарпину.

— Гарпина сейчас едет в город, — сказала она в заключенье, — не нужно ли тебе чего?.. Нынче приедет отец и, вероятно, с ним Игнатий.

— Будь добра, поскорее! — перебил Гриша. — Ты ведь знаешь, что сейчас я должен заснуть полчаса, а затем идти к Каменскому.

— Ну, ты невозможен, наконец! — воскликнула Наталья Борисовна. — Я же тебе и хотела про это сказать… Ты, например, даже ничего не сообщил мне о нем…

— Ты сама его видела.

— Что же я могла видеть в десять минут, когда человек брал заказ? Кроме как о шкафе мы двух слов не сказали.

— Но ведь и я хожу к нему только третий день.

— Но все-таки?

— Обыкновенный толстовец.

— Ну, словом, позови его, пожалуйста, к нам сегодня вечером. Ты знаешь, это будет интересно Игнатию. Только позови, голубчик, как-нибудь потоньше, а то ведь откажется!..

Гриша молча вышел.

III

— Опять день, опять долгий день! — шевельнулось где-то в глубине души Натальи Борисовны, когда она, после чаю и переговоров с кухаркой, взяла зонтик, книжку журнала и, покачиваясь, слегка щурясь от яркого утреннего света и придерживая левой рукой подол широкого чесунчового платья[53], медленно

[52] «Вестник Европы» — крупнейший российский журнал либерального направления, издавался в Петербурге в 1866–1918 гг. С основания до 1909 г. главным редактором был М.М. Стасюлевич. В литературе второй половины XIX в. журнал считался образцовым чтением либерально мыслящей публики. Книжками журнала назывались отдельные номера. «Внутреннее обозрение» — регулярная рубрика журнала, освещавшая текущие события в Российской империи (изменения законодательства, экономика, общественная жизнь).

[53] Чесуча (чесунча) — плотная шелковая (производилась из нитей дикого дубового шелкопряда) ткань, из которой изготавливались повседневные платья, костюмы для путешествий и прогулок.

сошла с балкона и через сад направилась в общий дачный парк. А день был веселый; в солнечном блеске, на яблонях в белых нарядных цветах гудели пчелы и медвяный аромат стоял в тенистых аллеях; в чащах журчали горлинки…

— Как трогательно! — подумала Наталья Борисовна с ленивой улыбкой, отворив калитку и увидав невдалеке профессора Камарницкого под руку с женою. И тотчас же ласково крикнула им слабым голосом:

— Откуда Бог несет?

Профессор, грубоватый на вид, рыжий и курносый, двигался не спеша, и его толстые очки блестели очень строго; можно было подумать, что он идет сделать кому-нибудь выговор, но в петличке у него краснел цветок, а в руках была корзина. Профессорша, почти карлица-еврейка, похожая фигурой на гитару, устало приклоняла свою маленькую головку с черными буколькими к его плечу.

— Здрасьте! — сказала она небрежно, сквозь зубы. Как всегда, в ее меланхолических глазах и во всем изящном птичьем личике было что-то надменное и брезгливое: никто не должен был забывать, что профессорша — человек европейский, жила в Париже, была знакома с знаменитыми эмигрантами, а теперь — убежденная социал-демократка[54]. Петр Алексеевич, который всех наделял кличками, прозвал ее «эквивалентом». «Карл Маркс, Карл Маркс!» — дразнил он ее даже в глаза.

— Где это вы так рано путешествовали? — спросила Наталья Борисовна.

— По грибы, — ответила профессорша, а профессор, силясь улыбнуться, прибавил:

— Дачей нужно пользоваться.

— Какие скучные! — думала Наталья Борисовна, глядя им вслед. — А она-то!.. Вот уж правда — эквивалент!

Но это недовольство на всех и скуку Наталья Борисовна почувствовала только на мгновение. Весною, перед переездом на дачу, и осенью, при возвращении в город, скука усиливалась и переходила почти в хандру. Но вообще Наталья Борисовна редко скучала. Петр Алексеевич зарабатывал очень много и, хотя много и тратил на вино и карты, но все-таки семье оставалось до десяти тысяч в год, которые и проедались до копейки. И эта еда четыре-пять раз в день, покой и комфорт в доме, знакомые, оперы, симфонические собрания — удивительно умели располагать к ровному и приятному времяпрепровожде-

[54] Знаменитыми политическими эмигрантами были в те годы, в большинстве своем, лидеры народников. Вероятнее всего, героиня в прошлом симпатизировала народническому движению (тогда она и была знакома с политической эмиграцией из России), а в описываемые годы вслед за модой стала увлекаться социал-демократическими идеями. Социал-демократическое движение зародилось в Европе в 1870-е гг., к 1890-м гг. структурно оформилось (в 1889 г. появился II Интернационал). Идеи К. Маркса легли в основу европейской социал-демократии. Социал-демократы существенно расходились с народниками и полемизировали с ними.

нию. Прошлое казалось Наталье Борисовне только далеким сном. Тогда и она была экзальтированной курсисткой, горячо готовилась «идти в народ», так что ко времени встречи с Петром Алексеевичем была уже уволена с курсов. Тогда и Петр Алексеевич был на виду во многих партиях[55], но он, как человек выдающегося ума и прирожденный барин, скоро, нисколько о том не заботясь, сделал себе хорошую карьеру. И первоклассные купе в вагонах, дорогое вино, отели, весь этот ароматично-сигарный запах веселого общества «дельцов» и «деятелей» мало-помалу, но властно и далеко уводили его от всяких дум о «работе для общества» и о «благе народном». К тому же, Петр Алексеевич обладал натурой крупной, широкой, и деятельность в мелких размерах, исподтишка озлобляла его. В Женеве, куда Петр Алексеевич поехал за Натальей Борисовной, он начал было серьезно изучать политическую экономию, думал остаться за границей и посвятить себя науке, но дело как-то, по русскому обычаю, не вышло. Молодые все откладывали серьезные думы и работы на будущее, наслаждаясь, пока что, всеми благами европейской цивилизации. А в России жизнь день за день пошла еще спокойнее. Убеждения супругов не изменились, но жили они уже давно не по убеждениям. Наталья Борисовна сперва ссылалась на «обстоятельства», потом стала равнодушна почти ко всему на свете; а Петр Алексеевич мучительные пробуждения совести начал заглушать усиленной игрой в карты, пьянством и преднамеренным цинизмом слов и поступков. К тому же, Примо были очень самоуверенны и думали, что все, что бы они ни делали, делается ими, а не какими-либо «жалкими людишками», делается и сознается опять-таки ими лучше, чем другими, и потому не любили себя стеснять…

На обширной поляне парка стояли одни темнозеленые и широковетвистые дубы. Тут обыкновенно собирались дачники. Теперь большинство их, чиновники, шли по дороге, пролегающей между дубами, к железнодорожной станции. Барышни в пестрых легких платьях и мужчины в чесунче, в мягкой обуви, размытые так, как умеют размываться люди только на дачах, проходили мимо Натальи Борисовны и углублялись по узкой дороге в лес, где от листвы орешника стоял зеленоватый полусвет, сверкали в тени золотые лучи солнца, а воздух был еще легкий и чистый, напоенный резким запахом грибов и молодой лесной поросли.

И Наталья Борисовна снова почувствовала себя хорошо и покойно на этой дачной поляне, раскланиваясь с знакомыми и садясь на скамейку под свой любимый дуб. Она откинулась на ее спинку, уселась поудобнее, развернула книгу и, еще раз оправив складки платья, принялась за чтение. Иногда она тихо подымала голову, улыбалась и переговаривалась с дачницами, располо-

[55] Был на виду во многих партиях — эвфемизм, намекающий на народническое прошлое героя. Упомянутое чуть выше «хождение в народ» — основная народническая практика эпохи 1870-х гг. (зародилось в 1860-е гг.), чрезвычайно популярная в студенческой среде (в том числе и среди курсисток).

жившимися под другими дубами и опять, не спеша, опускала глаза на статью по переселенческому вопросу[56]. Статья была скучная, но Наталья Борисовна, все равно, уж давно находила всех писателей скучными.

А поляна оживлялась. Подходили еще дамы и барышни с работой и книгами наслаждаться хорошей погодой, подходили с детьми няньки и важные кормилицы в сарафанах и кокошниках[57]. Изредка, но все-таки без надобности щелкая резкими звонками, прокатывались велосипедисты в своих детских костюмах. Худые проносились с форсированной быстротой, согнувшись и работая ногами, как водяные пауки; эти длинные ноги в черных чулках и круглые картузики придавали многим из них большое сходство с Дон Кихотом[58]. Коренастые, цветущие здоровьем, у которых узкий костюм плотно обтягивал упругие мускулы и широкие зады, ехали тише, уверенно и весело оглядываясь… Блестящие спицы велосипедов трепетали на солнце частыми золотыми лучами… А весело было, должно быть, только детям, которые взапуски бегали, звонко перекликались и прятались друг от друга за дубами.

— Жарко! — сказала Наталья Борисовна, с улыбкой прищуриваясь и опуская на колени книгу.

— Жарко! — промолвила и другая дачница, молоденькая дама, изящно выставившая из-под платья стройную ножку в черном шелковом чулке и легонькой туфле.

Полдень приближался. Золотистый, чуть заметный туман стоял в знойном воздухе. На местах солнечных, на горячей траве замирали в сладком забытьи пестрые мотыльки и бабочки. Золотисто-зеленые мухи словно прилипали на дорожках и деревьях… Там, вверху, над вершинами дубов, где ровно синела глубина летнего неба, собирались облака с причудливо округляющимися краями. Веселый и томный голос иволги мягкими переливами звучал в чаще леса.

---

[56] Речь идет о государственной политике переселения крестьян из густонаселенных районов Российской империи на незаселенные окраины. В 1880–1890-е гг. процесс переселения приобрел заметные масштабы. Он много обсуждался в периодике прогрессистского толка. Один из самых известных рассказов Бунина этого периода «На край света» посвящен проблеме «переселенчества».

[57] Сарафаны и кокошники на кормилицах — вероятно, часть деревенского костюма, так как кормилицы как правило брались из деревень.

[58] Детскими костюмами именуются велосипедные костюмы той эпохи, предохраняющие от попадания одежды в спицы велосипеда: короткие брюки или юбки, а также «бумеры» (женские штаны до колен наподобие турецких шаровар). Спортивные картузы также входили в состав велосипедного костюма.

IV

А Гриша в это время возвращался от Каменского в странном настроении. Он шел быстро, сбивая молотком[59] цветы по дороге, и взгляд у него был блуждающий и рассеянный…

Каменский занимался столярной работой, и Гриша брал у него уроки. Ему давно хотелось узнать какое-нибудь ремесло и потому, что это полезно для здоровья, и потому, что когда-нибудь будет приятно показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу. Когда Каменский зашел к Наталье Борисовне взять заказ, Гриша сумрачно проговорил, что «вообще очень интересно выучиться какому-нибудь ремеслу», и Каменский предложил показать ему столярное. Гриша пошел на другой же день. По дороге он, между прочим, думал, что, выучившись, он сам сделает себе идеальные шары и молотки для крокета, да, пожалуй, и всю мебель для своей комнаты… простую, удобную и оригинальную. Мечты эти очень занимали его, хотя, конечно, он не признался бы в них никому на свете. Занимало и то, что теперь он может похвалиться, что знает «живого толстовца».

В доме отца Гриша с детства видел самых разнохарактерных людей: тузов разных служб и профессий, имеющих всегда такой вид, словно они только что плотно пообедали, богатых толстых евреев, которые важно, по-гусиному, переваливались на ходу, хотя и обладали физиономиями старых жаб, известных докторов и адвокатов и множество лиц «интеллигентного пролетариата». И про всех них Гриша слышал от отца и матери самые нелестные отзывы. Тузов отец называл за глаза мошенниками и кретинами, евреев — «жидовскими мордами», остальных — болтунами и жалкими людишками. Когда Гриша только что начал сознательную жизнь, стал читать серьезные книги, знакомиться с студентами, ему часто приходилось удивляться: вдруг оказывалось, что какой-нибудь писатель или знаменитый профессор, который представлялся Грише человеком необыкновенным — ни больше, ни меньше, как «идиот», «посредственность», вся известность или ученость которой основывается на энциклопедических иностранных словарях да на приятельстве с людьми влиятельными. И говорил это не кто-нибудь иной, а сам Петр Алексеевич, которому было достаточно рассказать в шутливом тоне, что такая-то знаменитость затыкает уши ватой, любит чернослив и как огня боится жены, чтобы авторитет этой знаменитости навсегда померк в глазах Гриши. Такие же новости привозил из столицы и Игнатий, а он, как человек питерский, нервный и самоуверенный, был еще более резок в мнениях. И мало-помалу Гриша стал вполне равнодушно или презрительно относиться ко многим «именам», также как к их словам и убеждениям.

[59] Имеется в виду крокетный молоток (см. далее по тексту рассказа).

— И терпентин на что-нибудь полезен, — сказал однажды Петр Алексеевич словами Козьмы Пруткова[60], когда зашел разговор о толстовцах и о том, какую пользу может принести их учение.

И Грише чрезвычайно врезалась в память эта фраза. Игнатий же на каждом шагу громил толстовские проповеди «абсурдом», «доморощенной философией самоучки с недисциплинированной головой», и случилось то же, что и с другими «философиями»: Гриша только раздувал ноздри, когда говорили, что Толстой «кладет печи». Поэтому и Каменский интересовал его только как странный человек, про которого говорили, что он сын богатых родителей, был в военной академии, а потом взял да бросил все — ушел в какие-то колонии, ездил в Америку и, наконец, появился здесь и в полном уединении принялся за столярную работу.

Жил Каменский тоже оригинально — на мельнице, приблизительно в версте от деревни. Мельница стояла на зеленом выгоне, к югу от дачных садов, там, где местность еще более возвышалась над долиной. Хозяин уже давно забросил ее; верно, он вел разгульную жизнь в городе, а его живописное поместье с высоким тополем над соломенной крышей избушки, с низкорослым садиком, который слился с бурьяном на огороде, медленно приходило в поэтическое запустение. Внизу, в широкой долине, темным бархатом синели и, сливаясь, округлялись вершины лесов. Мельница, как объятья, простирала над долиной свои изломанные крылья дикого цвета. Она, казалось, все глядела туда, где горизонт терялся в меланхолической дымке, а хлеба со степи все ближе и ближе подступали к ней; двор зарос высокой зеленой травою; старые, серые жернова, как могильные камни, врастали в землю и скрывались в глухой крапиве; голуби покинули крыши. И в безлюдном поместье стало так уютно и тихо, что только одни кузнечики таинственно шептались в знойные летние дни у порога избушки, мирно дремлющей на солнце.

— Вот и келья под елью![61] — усмехался Гриша, подходя к мельнице в первое утро. Он уже представлял себе, как Каменский начнет поучать его, «спасать его душу», и заранее приготовлялся к этому враждебной холодностью.

---

[60] «И терпентин на что-нибудь полезен!» — афоризм из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова — знаменитой литературной маски, под которой с сатирическими и юмористическими произведениями выступали в середине XIX в. А.К. Толстой и трое братьев Жемчужниковых. Терпентин — смолистый сок хвойных деревьев, из которого получали скипидар и канифоль. Афоризм используется в шутливо-ироничном смысле для ободрения кого-либо.

[61] В «Пословицах русского народа» В.И. Даля приводится пословица: «Найдешь келью и под елью» (*Даль В.И.* Пословицы русского народа: в 2 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. 1. С. 85). В перефразированном виде пословица стала постоянно применяться к Л.Н. Толстому, толстовству и толстовцам (последователям религиозно-общественного учения Л.Н. Толстого) после публикации в 1880 г. статьи Н.К. Михайловского «Еще о гр. Л.Н. Толстом» Статья завершается таким пассажем: «Он просто презирает жизнь со всеми ее сложными формами. Он выстроил себе “келью под елью”, куда разрешается ходить всем на поклонение и откуда сам он презрительно

Однако Каменский только показал ему, как надо распиливать доски, и больше никаких поучений не делал. Но это даже обидело Гришу: не хочет снизойти до меня, думал он, искоса поглядывая на работающего учителя и стараясь подавить в себе чувство невольного почтения к нему.

Но сегодня Гриша возвращался с урока очень взволнованный…

Солнце стояло уже высоко, когда он подходил по выгону к мельнице. Обыкновенно Каменский в это время работал. Но теперь в сенцах, где стоял верстак, никого не было.

— Алексей Александрович! — окликнул Гриша и, не получив ответа, пошел к мельнице: там вчера Каменский распиливал большие доски. Но и в мельнице было пусто. Только воробьи стаей снялись с пола, да ласка таинственно, как змейка, шмыгнула по стояку в развалившийся мучной ларь.

— Значит, у огородника загостился, — подумал Гриша, возвращаясь в избу.

В сенцах, обращенных дверями к северу, было прохладно от глиняного пола; в полусумраке стоял уксусный запах стружек и столярного клея. Грише нравился этот запах, и он долго сидел на пороге, помахивая на себя картузом и глядя в далекое поле, где дрожало и словно убегало дрожащими волнами марево жаркого майского полдня. Дачные сады казались в нем смутными, серыми набросками на стекле. Зеленые, едва выколосившиеся ржи и пшеницы близ мельницы качались медленно и однообразно, словно задремывая. Грачи, как всегда в жару, кричали где-то в степи тонкими, томными голосами… А на дворе все замирало в сладкой истоме. Ни малейшего дуновения ветерка не было здесь; на глазах сохла трава, а солнце пекло все сильнее и, казалось, могло расплавить даже старые жернова в глухой высокой крапиве… И странная тишина нашла на Гришу! Ему стало чудиться, что он совсем, совсем один в целом мире… Словно разгоняя тяжелую дремоту, он поднялся с порога и огляделся кругом.

Близ порога валялся топор… На верстаке, среди инструментов, в белой пыли пиленого дерева лежали две обгорелые печеные картошки, корка черного хлеба и книга в покоробленном переплете… Гриша машинально развернул ее: Евангелие. На заглавном листе его было написано:

«Боже мой! Я стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, ибо беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес!.. Ездра. VII. 35»[62].

выглядывает на весь Божий мир: рабы и свободные, батраки и самостоятельные хозяева, — какие это все пустяки! Все — все равно, все — трын-трава, лишь бы старца в келье под елью слушали, да злу не противились... Уж он, старец-то, лучше знает, чем сам раб или батрак, чем сын убитой, брат замученного. Куда ж им в самом деле знать? Они только в батраках живут (“только и заботы, что хозяину служить”); у них только мать убили, брата замучили, а он... он в келье под елью сидит!..» (Северный вестник. 1880. № 6, июнь. Отд. II. С. 216).

[62] Цитируется Первая книга Ездры (9: 6). В Синодальном переводе отсутствует слово «Я», вместо «ибо» — потому что.

Гриша опустил книгу.

— Что это такое? — сказал он и почувствовал, как что-то новое, возвышенное коснулось его души.

— Странный человек! — прибавил он в раздумье и снова развернул Евангелие. В средине его были письма («Дорогие братья во Христе Алексей Александрович и Павел Федорыч»… — начиналось одно из них), бумажки с выписками… Гриша с любопытством оглядел их и украдкой прочел кое-что. На одной было начало стихотворения:

Долго я Бога искал в городах и селениях шумных,
Долго на небо глядел — не увижу ли Бога…[63]

На другой опять тексты:

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности; и обув ноги в готовность благовествовать мир… И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие»[64]…

Ласточка с щебетанием влетела в сенцы и опять унеслась стрелою на воздух. Гриша вздрогнул и долго следил за ней в небе. Почему-то вспомнилось ему нынешнее утро, купальня, балкон, теплица — и все это показалось таким чужим и далеким! Он постоял перед дверью в избу и, наконец, тихо отворил ее.

В передней узкой комнате загудели мухи; воздух в ней был избяной, душный, а обстановка мрачная, почти нищенская: почерневшие бревенчатые стены, развалившаяся кирпичная печка, маленькое, тусклое окошечко. Стол под окном стоял совсем простой, мужицкий; постель у стены — из обрубков полен и досок, прикрытых только попоной[65]; в головах лежал свернутый полушубок, а вместо одеяла — старое драповое пальто.

Гриша вздернул плечами и подошел к столу. Тут среди истрепанных книг валялись странные для этой обстановки предметы — бронзовый позеленевший подсвечник, большой нож из слоновой кости с надписью «Menton», головная щетка и фотографический портрет молодой женщины с аристократически худощавым, грустным лицом. Из деликатности Гриша тотчас отвел глаза от стола, но сердце его сжалось при взгляде на эти старые, засиженные мухами, уже давно не бывшие в употреблении вещи и на этот портрет.

— Разве могла она жить тут? — подумалось Грише. — И зачем это самоистязание?..

---

[63] Первые две строки стихотворения К.М. Фофанова (1862–1911), написанного в 1882 г. и впервые опубликованного в 1889 г.

[64] Послание ап. Павла к Ефесянам (6: 14–17; стих 16 опущен).

[65] Попона (здесь) — одеяло или покрывало.

Он долго смотрел на бревенчатые стены, на нищенское ложе, стараясь понять душу того странного человека, который одиноко спал на нем. Были, значит, и у него другие, светлые дни, был и он когда-то другим человеком — молодым, красивым, веселым… Что же заставило его надеть мужицкие вериги, где и что пережил он, скитаясь по белу свету? И какие суровые думы привели его в эту забытую избу?

— Странный человек! — повторил Гриша и вдруг смолк: над кроватью висела темная фототипия, снимок с картины знаменитого художника, ставшего под конец своей жизни последователем учения, которое называют «толстовским». Это было жестокое изображение крестной смерти[66], написанное резко, с болью сердца, почти с озлоблением. Все, что вынесло человеческое тело, пригвожденное по рукам и ногам к грубому, тяжелому кресту, было передано в лице почившего Христа, исхудалого, измученного допросами, пытками и страданиями медленной кончины. И нельзя было без содрогания взглянуть на стриженую, уродливую голову привязанного к другому кресту и порывающегося вперед разбойника, на его лицо с безумными глазами и раскрытым ртом, испустившим дикий крик ужаса и изумления перед смертью Того, Кто назвал себя Сыном Божьим! Темной тоской веяло даже от мрачного фона картины — этих дымных туч и песков, поднятых ураганом, когда настал великий девятый час пятницы, померкло солнце и Иисус испустил Дух Свой…

— Нет, это что-то невозможное! — воскликнул Гриша, подавленный и жалостью и еще какими-то неопределенными неприятными чувствами. И поспешил отворить дверь в другую комнату…

Обстановка ее опять удивила его. Тут было очень светло от солнца, но совершенно пусто и пахло закромом. По полу когда-то прошелся широкими полукругами веник, но не докончил своего дела, и мучная пыль белела в углах и на карнизах. У одного окна, на котором грудами лежали литографирован-

[66] Фототипия (здесь) — типографское воспроизведение фотоснимка (с картины). Речь идет о картине Николая Николаевича Ге (1831–1894) «Распятие» (начал работу в 1889 г. и переписывал много раз; создан ряд вариантов). В последний период творчества Ге был под большим влиянием Толстого, серия картин о Христе создавалась под его влиянием. Известны два основных варианта картины. Первый вариант (1892) Толстой не одобрил, второй вариант был создан в 1894 г. и сначала показан Толстому (на этот раз картина ему очень понравилась), а затем привезен на передвижную выставку в Петербург. Картину сняли с показа в первый же день по цензурным соображениям (Христос на ней изображен не канонически, как измученный человек), после этого Ге устроил показ на частной квартире. Вероятно, тогда же были сделаны фотографии картины, которые в дальнейшем тиражировались фототипическим образом (издательство Толстого «Посредник» начиная с 1892 г. активно распространяло фотокопии картин русских художников). На картине изображен умирающий или только что умерший Иисус и разбойник, взирающий на это с ужасом. Лицо второго разбойника практически не видно, поэтому в тексте рассказа говорится лишь об одном разбойнике. Ныне одно из полотен экспонируется в Париже в Музее Орсэ, другой вариант утерян. Ряд работ Н.Н. Ге на тему распятия экспонировался в разные годы в Третьяковской галерее в Москве.

ные тетрадки, учебник «Эсперанто», изречения Эпиктета, Марка Аврелия и Евангелие с параллельными текстами на английском, греческом и еврейском языках[67], — стоял единственный стул. На нем Каменский, должно быть, отдыхал и читал. На простенке были приклеены хлебом печатные рассуждения под разными заглавиями: «О Слове», «О Любви», «О плотской жизни». Среди же них еще стихотворение, крупно написанное на белом листе бумаги:

Боже! Жизнь возьми — она
Вся Тебе посвящена!
Дни возьми — пусть каждый час
Слышишь Ты хвалебный глас!
Возьми волю — должно ей
Только волей быть Твоей.
Ум направь, чтоб Твой закон
В силах был постигнут он, —
Чтоб все силы съединя,
За Твой дар, за жизнь, за все —
Сердце, полное огня,
Имя славило Твое![68]

А внизу — из псалмов Давида:

«Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью перед лицем Твоим!»[69]

---

[67] Литографированные тетрадки — тетради, отпечатанные методом литографии — плоской печати, когда типографская краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу. Эсперанто — универсальный язык международного общения, сконструированный варшавским офтальмологом Л.Л. Заменгофом (1859–1917). В 1887 г. Заменгоф (под псевдонимом Доктор Эсперанто) выпустил в Варшаве первый учебник эсперанто на польском, русском, немецком и французском языках. Л.Н. Толстой с интересом отнесся к эсперанто, толстовцы также уделяли этому языку самое серьезное внимание. Эпиктет (ок. 50–138) — греческий философ-стоик. Сочинений не оставил, сохранились его «Беседы», записанные сенатором Флавием Аррианом. Марк Аврелий Антонин (121–180) — римский император (161–180) и философ, последователь Эпиктета, представитель позднего стоицизма. Автор 12 философских книг, написанных на греческом языке. Л.Н. Толстой высоко ценил этих философов. Евангелие с параллельными текстами указывает на толстовскую практику внимательного чтения евангельского текста, углубления в значение отдельных слов и выражений. Сам Толстой перевел Евангелие на современный ему русский язык.

[68] Первый и четвертый куплеты, а также припев самого известного гимна (*англ.* Take My Life, and Let It Be) английской религиозной поэтессы Фрэнсис Ридли Хавергал (1836–1879), в русском переводе. Многие гимны, написанные ею, входили в известные англоязычные сборники религиозных гимнов. Переводчик текста не известен.

[69] Точная цитата из Деяний св. апостолов (2: 28). Похожий стих присутствует и в Псалтири, однако в Синодальном переводе он звучит иначе: «Ты укажешь мне путь жизни: полнота радо-

Как все это было странно и ново для Гриши! Он с изумлением смотрел кругом, словно прислушивался к тишине этого заглохшего поместья и к тому, что пробуждалось в его сердце, долго с опущенной головой ходил из угла в угол… Потом тихо вернулся в полутемную комнату, еще раз заставил себя посмотреть на картину крестной смерти, посмотреть на кусок хлеба на верстаке в сенцах — и вдруг ему до боли стало жалко этого одинокого человека…

«Дети! недолго уже быть Мне с вами»… — читал он отмеченные в Евангелии трогательные слова последней вечери Господа с учениками. — «Заповедь новую даю вам да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга»… «Да не смущается сердце ваше»… «Если мир вас ненавидит; знайте, что Меня прежде вас возненавидел»… «Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»[70]…

Отняв глаза от книги, Гриша долго мрачно и напряженно глядел в угол, ничего не видя перед собою. И он, этот странный человек, терпит скорбь, «ибо беззакония наши стали выше головы!». Да, это так… Запах избы от ветхого переплета книги напомнил Грише суровую, тяжелую работу, кусок корявого хлеба, жесткое деревянное ложе, черные бревенчатые стены. А пустая, безмолвная и вся озаренная солнцем комната — светлое настроение одиночества в минуты отдыха и созерцательной тихой жизни.

«Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!» — вспомнил Гриша и почувствовал, как у него самого радостно и жутко затрепетало сердце и глаза наполнились слезами непонятного восторга… «После сих слов, — читал он дальше, ощущая в волосах словно дуновение морозного ветра, — после сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя… Я открыл имя Твое человекам… Соблюди их во имя Твое!.. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина»[71]…

стей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Псалтирь 15: 11). Таким образом, сделанная в тексте рассказа отсылка к псалмам Давида не совсем точна.

[70] Цитаты из Евангелия от Иоанна (13: 33–34; 14: 1; 15: 18; 16: 20–21), некоторые стихи сокращены; все эти главы рассказывают о последней вечере Иисуса с учениками (Тайной вечере). Сюжет «Тайной вечери» важен для толстовства: Н.Н. Ге написал картину «Тайная вечеря», Л.Н. Толстой написал статью «К картине Ге “Тайная вечеря”».

[71] Цитируется Евангелие от Иоанна (17: 1) затем начало стиха 6 из той же главы, стих полностью звучит так: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое». Завершает цитату частичка стиха 11 той же главы, взятая из середины. Стих полностью: «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы». Завершается цитата стихом 17: 17.

———

— А, вы уже пришли! — раздался голос Каменского.

Гриша смущенно захлопнул книгу.

— Извините… — сказал он, подымаясь, и неловко вытащил носовой платок из кармана.

Каменский стоял с мешком в руке и с доской под мышкой и пристально смотрел на него.

— В чем вы извиняетесь? — спросил он, как всегда, важно, снисходительно и ласково.

— Я вот книгу вашу взял, — ответил Гриша фатовски, без буквы «л».

— Ведь вы ее не испортили?

— Нет, конечно…

— Так что ж тут дурного?

— Ах, опять эти расспросы! — подумал Гриша, но, взглянув на Каменского, улыбнулся: такое у него было доброе и ясное лицо.

— Я говорю, взял вашу книгу… ну, без спросу, что ли…

— Вашу? Что это значит?

— Как что значит?

— Да так. Зачем вы все такие слова употребляете?

Улыбаясь, они стояли друг против друга, и Гриша чувствовал, что этот пристальный взгляд улыбающихся глаз Каменского все более подчиняет его себе.

— Что это вы покупали? — спросил он, чтобы переменить разговор.

— А вот луку немного и хлеба.

Каменский поставил в угол доску и опустил мешок на землю. Грише хотелось еще что-то сказать, но он не знал что́ и молчал.

— Так, может быть, начнем? — добавил Каменский. — Я вот покажу вам, поставлю варить обед и присоединюсь к вам.

Гриша встрепенулся.

— Нет, нет, вы сначала поставьте!

— Успеется, — отозвался Каменский. — Давайте доску в верстак, попробуйте фуганком.

Гриша с преувеличенной готовностью стал слушать, как надо работать фуганком, и помогать заправлять доску в верстак.

— Ну-ка, попробуйте! — сказал Каменский.

Гриша с улыбкой взял фуганок и с такой силой зашаркал им по доске, что в два-три взмаха испортил ее.

— Да вы потише! — ласково засмеялся Каменский.

Напевая, он ушел в избу, вынес оттуда чугунчик с водой, поставил его на таган около порога и развел огонь. Синий дымок тихо поплыл по двору. Поглядывая на него, Каменский взял из-за верстака кадушку, сел на порог и стал на-

бивать обручи. Стук молотка звонко отдавался в пустой кадке. Подлаживая под этот стук, Гриша пристально шмыгал фуганком по доске и, останавливаясь, любовался, как поверхность ее становится все глянцевитей и ровнее. Стружки кремового цвета, красиво загибаясь, падали на пол.

— Алексей Александрович! — сказал он, подымая запотевшее и возбужденное лицо, — так я теперь?

— Так, так! — отозвался Каменский и опять посмотрел на него долгим, пристальным взглядом.

— Вы живете только с матерью? — спросил он, принимаясь за молоток.

— Нет, и отец часто приезжает… А в городе всегда вместе.

— Он что же — все города украшает?

— Как города украшает?

— Строит дома богатым людям?

— Если хотите, да.

— Ну, этого-то я не хочу!

Каменский положил в воду картофелю и луку, поправил огонь и опять сел на порог за работу.

— Да, — сказал он задумчиво. — А брат ваш что же делает?

— Он, видите ли, только что кончил курс… В Горном институте… Теперь путешествует, переводит…

— Бумагу? — перебил Каменский и засмеялся.

Это так понравилось Грише, что он бросил работу и облокотился на верстак.

— Конечно, и бумагу. Специальные сочинения, я хотел сказать.

— А вы тоже думаете этим заняться?

Гриша помолчал.

— Не знаю, — сказал он тихо.

— Но все-таки осенью в Вавилон какой-нибудь едете?

— И этого не знаю.

Помолчал и Каменский.

— Это хорошо, что не знаете, — сказал он почти строго и стал задумчиво глядеть вдаль. А немного погодя, продолжал:

— Да, горе тем, которые идут в Египет за помощью. И египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух[72].

[72] Цитата из Книги пророка Исайи, глава 31. Полностью и почти точно цитируется стих 3, перефразирован стих 1. Без сокращений текст звучит так: «1. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на Святаго Израилева не взирают и к Господу не прибегают! 2. Но премудр Он; и наведет бедствие, и не отменит слов Своих; восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. 3. И Египтяне — люди, а не Бог; и кони их — плоть, а не дух. И прострет руку Свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут».

Он поднял глаза на Гришу и прибавил:

— И вы будете очень несчастны и одиноки, если будете только переводить бумагу. Вы скоро забудете людей, будете знать только отношения и знаки вместо людей, и вам будет очень тяжело. Как богатый человек, получающий гораздо больше того, что нужно, вы будете стеснены во всем, во всех своих поступках, но в то же время вы будете чересчур уважать себя, и в душе у вас не будет уважения больше ни к чему.

Гриша вспомнил свою семью и опустил ресницы.

— Я испытал это сам, — опять заговорил Каменский. — Я видел, как растет пропасть между моими поступками и намерениями, как жизнь моя обращается в служение крахмальным рубашкам и штиблетам; видел, как растет пропасть между мной и людьми. И когда я приехал в деревню к своим, где думал начать новую жизнь, я ясно увидел, как велика эта пропасть. Я мог только с крыльца слушать по вечерам грустные величальные песни, слушать говор и весь этот смутный шум деревни, наблюдать жизнь простых и добрых людей, которых я прежде намеревался учить злым и ненужным делам, думая, что эти дела добрые и нужные дела, — но только наблюдать: между нами была пропасть. Я был как человек, стоящий у ручья, которому хотелось пить, но которому сказали, что прежде чем пить, надо взмутить воду, и он стал пить мутную воду, хотя и знал, что мутить воду было не нужно…

Гриша слушал, стараясь не проронить ни одного слова. В глубине его души подымалась какая-то грусть — «разве ты теперь-то не одинок?» хотелось спросить ему, — и все-таки он чувствовал, что у него шире открываются глаза на все, и сердце бьется напряженно. Но, боясь сказать что-нибудь невпопад, боясь, что Каменский заговорит с ним, как с мальчиком, Гриша молчал.

— А про Египет, — спросил он, наконец, — это чьи слова?

— Исайи. Вы не читали?

— Никогда. И очень бы хотел прочесть.

Каменский подумал.

— Завтра воскресенье, — сказал он, — и мы не будем работать. Если хотите, приходите, и мы почитаем вместе.

— Во сколько?

— Когда хотите. Хоть часов в десять. Раньше нельзя, так как я пойду в город на почту.

— Непременно приду! — воскликнул Гриша. — У вас тут так хорошо!

Он помолчал и вдруг с трудом выговорил:

— А вы не будете ли добры пожаловать к нам сегодня вечером?.. Мама будет очень рада вас видеть…

— С удовольствием, — ответил Каменский. — Я людей никогда не избегаю.

— Так придете?

— Приду, приду.

Он попробовал палочкой картошки в чугуне, встал и ушел в избу. Гриша торопливо схватил картуз. Очевидно, Каменский сейчас будет обедать и пригласит его… и выйдет неловкость, неприятность, которая испортит все настроение. Есть Грише не хотелось, но отказаться неловко — значит, показать себя барчуком… да даже если бы и хотелось и он сел — вышло бы все-таки что-то фальшивое, натянутое.

— Ну, — сказал он как можно спокойнее, когда Каменский вышел из избы с глиняной миской и ложкой в руках, — мне необходимо домой…

И, чувствуя, что краснеет до ушей, Гриша поспешно добавил:

— Сегодня, знаете, брат и отец приедут… Так мне необходимо… А завтра, значит, ровно в десять?

Каменский улыбнулся.

— Ну, зачем же непременно «ровно»?

— Так до свиданья, до вечера!

И Гриша быстро, не оглядываясь, пошел по выгону. «Вышло все-таки что-то неловкое!» — думал он, морщась.

Но за мельницей вздохнул свободнее и круто повернул налево, в поле. Он был взволнован, ему хотелось подумать о чем-то хорошем, но он ничего не думал и только быстро шел все дальше в степь. Позади него живописно синела долина, но ему хотелось уйти в открытое, деревенское поле. И он шел по парам, уже заросшим высокой травой и степными желтыми и белыми цветами, и ему было приятно, что они щелкают его по ногам, что ветер весело гудит в уши и обвевает лицо солнечной теплотою, запахом зеленых хлебов и душистого донника. Ветер после полудня разогнал зной, и все ожило и заволновалось. Высоко в небе плыли белые облака, пели жаворонки, в поле зыблились широкими сизыми волнами ржи и пшеницы, а от облаков бежали по ним и таяли легкие тени.

— Как хорошо! — воскликнул Гриша, останавливаясь и снимая картуз.

Он постоял, подумал, послушал жаворонков и тихо добавил:

— Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!

Потом медленно подошел ко ржам, лег на межу навзничь и в раздумье стал делать то, что делал в детстве, — медленно-медленно закрывать глаза так, чтобы солнечные лучи ярко-золотистою паутиною протянулись к ресницам, а потом задрожали и превратились в чудные трепещущие кружки, радужные, как хвост павлина… Солнце пекло ему лицо, ветер ласково прикрывал глаза, а от хлебов пахло такою свежею, молодою зеленью.

— Как жить? — думал Гриша. — Как жить, чтоб всегда было хорошо, легко, свободно, просто? И чтоб и другим было так же? Как жить?

Он постарался представить себе, что будет в его жизни… в тридцать, сорок, пятьдесят лет… Но все было смутно и непонятно. Представилось только что-то похожее на туманную синеву в долине под мельницей…

— Отчего же все в жизни так сумбурно и сложно? — повторял Гриша, напряженно вдумываясь в свои слова. — Отчего кругом так гармонично все и прекрасно, а у нас все запутано, неравномерно, шатко… Вон жаворонки… ни дум у них нет, ни дач, ни философий… Как жить?..

V

— Откуда так стремительно?

Гриша остановился среди поляны и поднял голову. Наискось к нему, по дороге от станции, шла в большой летней шляпке стройная и худощавая барышня, одна из служащих в управлении железной дороги.

— А вас, Марья Ивановна, почему это интересует? — спросил Гриша с тем неестественным спокойствием, с которым говорят красивые молодые люди с хорошенькими девушками.

Марья Ивановна пожала ему руку и сняла шляпку. Темно-каштановые волосы локонами падали на ее плечи; простое и наивное личико с голубыми глазами было очень миловидно. Глазами Марья Ивановна кокетничала и тогда бойко и гордо прищуривала их; однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марьи Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку, по-институтски.

— Как жарко! — начала она и теперь скороговоркой, стараясь не глядеть на Гришу. — А в вагоне просто дышать нечем… И работы сегодня была такая масса!.. Я уже заявила сегодня своему патрону, что если будет такая жара, я не буду больше являться на службу.

— А что же это за патрон?

— Как будто не знаете! Начальник контроля.

— Ах, да, красный немец этот, женолюб?

— Кель выражанс![73]

— А что ж — не правда?

— Конечно, не правда.

Помолчали.

— Так заявили? — начал Гриша.

— Заявила.

— А кто же вас заставляет являться-то?

— Вот мило! Если бы у меня была пара серых в яблоках и коляска на резине, меня, может быть, и не заставляли бы.

Гриша улыбнулся и прищурил глаза.

— Ведь вот, — сказал он тоном Каменского. — Они не могут без серых, все серые нужны!

---

[73] Шутливое соединение французского слова «quel» — какой — и русского слова «выражение». Дословно: что за выражение!

— А что же прикажете делать?

— Пахать, — ответил Гриша полушутя, полусерьезно.

— Пахать! — воскликнула Марья Ивановна. — Вот новость!

— Это вовсе не новость.

— Сохой пахать?

— Сохой пахать.

Марья Ивановна посмотрела куда-то вдаль и легонько вздохнула.

— Это хорошо в теории, а не на практике, — промолвила она небрежно.

— А вы не отделяйте теории от практики! — добавил Гриша наставительно, поклонился и быстро пошел к своему саду.

Он чувствовал, что Марья Ивановна глядит ему вслед, и старался идти небрежно. Он оживился еще более, и еще более ему хотелось теперь жить оригинальной, свободной жизнью, жить всем существом, независимо, гордо, чтобы про него все заговорили.

— Как мы, однако, все комедничаем! — вдруг пробормотал он, всходя на балкон.

На балконе завтракала Наталья Борисовна.

— Игнатик приехал! — сказала она весело.

Гриша промолчал и сел за стол. На столе был приготовлен ему прибор и завтрак: масло, яйца, свежие, глянцевито-зеленые огурцы. Среди стаканов стоял большой серебряный кофейник, подогреваемый синими огнями бензиновой лампы. Наталья Борисовна старательно снимала ножом и вилкой мясо с крылышка холодного цыпленка. Гриша посмотрел на ее плотную спину, на расставленные и приподнятые руки и почему-то вспомнил черепаху. Красивое лицо его стало неприятно.

— Что так поздно? — спросила Наталья Борисовна немного заискивающим тоном.

— Где же Игнатий? — сказал Гриша, вместо ответа.

— Купаться ушел. А ты это все у Каменского?

Гриша сделал усталое лицо и поднялся.

— У Каменского, — пробормотал он.

— А завтракать — разве не будешь?

— Пожалуй!

Наталья Борисовна позвонила. Гарпина внесла на тарелке сковородочку с шипящим в масле куском бифштекса.

— Дайте вина! — коротко приказал Гриша. И, когда подали бутылку шамбертена, залпом выпил большой стакан и принялся за еду очень поспешно…

— Уже? — спросила Наталья Борисовна. — А кофе?

Гриша бросил салфетку и встал.

— Merci, не хочу.

— Мало же!..

Гриша быстро прошел в свою комнату и лег на кровать. Ему хотелось еще подумать, как в поле, удержать утреннее хорошее настроение. Но от вина и еды приятно напряженнее билось сердце и работала кровь. Гриша с удовольствием вытянул ноги, положил их на отвал кровати, прикрыл глаза… и внезапно, против обыкновения, заснул крепким, здоровым сном.

А Наталья Борисовна, тихо балуясь гусиным перышком, откинулась на спинку стула и долго смотрела куда-то вдаль, в одну точку. О чем она думала? Она бы и сама не сказала… Но, подымаясь из-за стола, она почему-то глубоко вздохнула и пошла по дому ленивой, усталой походкой.

В спальне она подняла штору, села около окна и машинально взяла книгу. Но читать не хотелось. И она перевела глаза на портрет Петра Алексеевича, стоявший на ее письменном столике. С портрета пристально и насмешливо глядели на нее небольшие, чуть-чуть прищуренные глаза еще бодрого и свежего мужчины лет пятидесяти. Его правильная, яйцеобразная голова с продолговатой бородой, в которой седина тронула волосы только около щек, — еще до сих пор была гордо откинута назад. Было видно, что этот человек весь свой век прожил в холе и до старости сохранит барскую осанку высокой, в меру полной фигуры.

— Подурнел! — подумала Наталья Борисовна. — Плечи подняты по-стариковски, под глазами мешки…

На мгновение она вспоминала свою молодость, прежнего Петра Алексеевича, на мгновение ей стало неприятно, что он так опустился теперь… Но, в сущности, он теперь был ей почти совсем чужой человек; а думать о прошлом — это и утомительно, и не приведет ни к чему хорошему. И Наталья Борисовна снова принялась бесцельно смотреть в окно.

Ветер опять стих, и опять стало жарко и скучно. Но уже длинные тени легли от садов, и дачи дремали мирным послеобеденным сном долгого летнего дня. По улице прокатилась со станции линейка с дачниками-чиновниками и скрылась, громыхая развинченными гайками. Густая пыль поднялась клубами за колесами и медленно расстелилась по дороге. «Са-ахарно морожино…» — меланхолично доносилось откуда-то издалека.

А в доме было так тихо, что по всем комнатам отдавалось ровное постукиванье часов в столовой.

VI

Вечером на поляне около сада Примо был разбит крокет.

Солнце уже скрылось в густую чащу леса за поляной, и лес постепенно темнел, пока не стал черной стеной на шафрановом фоне заката. Воздух был сухой и теплый, даже душный. Но компании гуляющих дачников все прибывали. Около играющих в крокет долго стояли знакомые и незнакомые барышни и студенты; потом они разбрелись парами по парку, и зрителями остались

маленькие гимназисты. Их очень занимал не прекращающийся спор между Гришей и Игнатием.

— А я тебе говорю, что ты ее убил! — азартно кричал Игнатий, стоя перед Гришей и всем существом своим стараясь доказать, что Гриша «убил» шар Марьи Ивановны о фок. — Я стоял вот здесь, — продолжал он, все более волнуясь, отбегая и стукая молотком по тому месту, где стоял, — я стоял вот на этом самом месте и отлично видел, как шар коснулся фока[74]!

На толстого Игнатия в широком, мешковатом костюме из чесунчи было смешно смотреть. Он неуклюже бегал среди дужек и поминутно снимал соломенную шляпу, обтирая платком круглую, коротко остриженную голову.

— Шнурки-то подбери, — презрительно говорил Гриша, указывая Игнатию на мотающиеся завязки его мягких «скороходов»[75].

— Игнатик! — пробовала вмешаться Наталья Борисовна, делая страдальческое лицо и смеясь внутренним смехом. — Игнатик! Ты не по-а́нглийски играешь… Keep your temper, Sir![76]

— Оставь, пожалуйста, мама! — огрызался Игнатий. — Это же глупо наконец! Я отлично видел, как шар коснулся фока.

Гриша смотрел на Марью Ивановну и думал, что она сегодня была бы очень хороша, если бы не надела этой красной шелковой кофты, широкие рукава которой она поминутно вздергивала и взбивала на плечах.

— Ты слеп, мой милый! — лениво возражал он брату.

— Ты слеп!

— Все равно, я не уступлю.

— И я не уступлю!

— Ты молоток сломаешь.

— Ну и отлично!

— Ничего тут нет отличного.

— Я тебе уже давеча раз уступил, — опять стукая молотком в землю, кричал Игнатий, — ты еще давеча нарушил правила.

— Вечно с правилами!

— Конечно, с правилами! Раз ты их не исполняешь…

---

[74] Убил — вероятно, русский крокетный сленг, соответствующий английскому крокетному сленговому слову «crash»: оно означает ошибку игрока, когда при ударе молотком по шару шар задевает ворота или колышек. В данном случае речь идет о попадании шаром по фоку, первому колышку, от которого начинается и у которого завершается игра. В ходе игры задевать фок нельзя.

[75] Скороходы — разговорное название популярной летней обуви марки «Реформа»: легкие туфли на низком каблуке, тисненные на носке до подъема узором «елочка», производства «Товарищества Санкт-Петербургского механического производства обуви». Скороходы начали выпускать в 1884 г., их популярность была так велика, что с 1894 г. производством скороходов занимался отдельный цех фабрики. С 1910 г. «Скороход» стало официальным названием фирмы.

[76] Держите себя в руках, сэр! (*англ.*).

В это время к крокету подошел профессор Камарницкий с женой.

— Здрасьте, господа! — сказала профессорша на этот раз довольно весело. — Продолжайте, продолжайте. Мы на минуту.

Но Грише совестно было продолжать спор. Он отвернулся и сказал:

— Марья Ивановна! Вы должны решить.

Марья Ивановна положила молоток за голову на плечи, взялась за него руками и, качаясь на носках, ответила детским тоном:

— Я не знаю.

И не то улыбаясь, не то гримасничая, она рассеянно смотрела своими голубыми глазами в небо. Грише страстно захотелось подойти и сразу поцеловать ее в губы. И с дрогнувшим сердцем он машинально ответил:

— В таком случае давай новую партию. Мы считаем себя побежденными.

Профессор однообразным тоном разговаривал с Натальей Борисовной о том, что с воскресенья будет ходить линейка к купальне и «явится возможность пользоваться рекою».

— Павел! — сказала профессорша, — будем играть?

Профессор немного сконфузился, но покорно согласился. Все взяли молотки и собрались в одно место. Игнатий обтер лоб платком, бросил на землю шляпу и быстрыми ударами молотка согнал шары к фоку.

— Итак, господа, — крикнул он тоном герольда, — мы играем в следующем порядке: одну партию составляют Павел Антоныч, Софья Марковна и Гриша; вторую — я, мама и Марья Ивановна. Гриша, мы начинаем: согласен?

— Согласен, согласен.

Широко шагая, Игнатий торжественно подошел к фоку, отставил левую ногу:

— Господа, начинаю! — крикнул он и ударил в шар. Шар прошел дужку, стукнулся о проволоку второй и наискось проскочил третью.

— Вот это удар! — восторженно завопил Игнатий, любуясь, как шар волчком завертелся на одном месте. А через минуту он уже снова раздраженно кричал на всю поляну:

— Если ты, мама, не умеешь играть — брось! Это глупо, наконец! Не умеет даже крокировать!

— Да ведь нога же соскользнула.

И улыбаясь, Наталья Борисовна снова приподняла край юбки, неумело поставила ботинку на шар, сильно размахнулась, но молоток боком стукнул ее по ноге и выскользнул из рук.

— Не могу сегодня… — выговорила она, трясясь от смеха, и отошла в сторону. Зараженная этим смехом, Марья Ивановна принялась хохотать, как помешанная.

— Сначала, сначала! — кричала она, бегая за шарами и раскидывая их в разные стороны. Игнатий в отчаянии поднял плечи, покраснел и сделал ужасное лицо:

— Это черт знает что такое! — воскликнул он басом и, не выдержав, сам расхохотался.

Подъехал еще знакомый — адвокат Викентьев-Стоцкий. У него всюду были знакомые, и в городе, с извозчичьей пролетки (пешего его трудно было себе представить) бонвиван адвокат широко и приветливо размахивал шляпой чуть не каждому встречному. Всюду он держал себя как дома, всюду напевал отрывки оперных арий с мягким удальством итальянского тенора и считал себя общим любимцем.

— Стой, стой! — закричал он извозчику, соскакивая с пролетки, и быстро, покачиваясь, пошел к крокету. Это был человек небольшого роста, кругленький, с маленькими ногами и аристократическими ручками. Называя себя «верным шестидесятником», он небрежно повязывал галстух, не стриг своих серых, мягких волос и часто развязно закидывал их назад[77]. Матовое его лицо было моложаво и приятно.

— Наталья Борисовна! — кричал он еще издалека, махая на себя шляпой. — Благоверного вашего лицезрел!

— Где? — спросила Наталья Борисовна, идя к нему навстречу.

— В городе, в городе-с, — Викентьев быстро поцеловал у ней руку, оглянулся.

— Да-с, на стогнах града[78]…, — продолжал он, торопливо вынимая левой рукой портсигар из бокового кармана визитки и закуривая. — Оказывается, он вернулся еще вчера, «выпимши малость»… Здравствуйте, барышня!.. Мое почтение, Софья Марковна… А, и dominus[79] professor здесь!

Он пожал всем руки и опять оглянулся.

— Игнату Петровичу почтение! Вы давно, батенька, изволили пожаловать?

— Только сегодня, — сказала Наталья Борисовна. — Да вы откуда, Александр Иванович?

Викентьев махнул рукой и вздохнул.

— И в городе был, и на Нижних Дачах — у одного почтенного отца семейства… Ну, что же? Я вам помешал? Примите меня в заморскую игру, барышня?.. Хотя, по правде сказать, я голоден, как сорок тысяч братьев Фридрихов[80]…

---

[77] Шестидесятники — поколение, сыгравшее активную роль в конце 1850-х — начале 1860-х гг., в эпоху реформ Александра II. Демократизация общественной жизни привела к выходу на первый план большого количества разночинцев (т. е. общественных и культурных деятелей недворянского происхождения). В данном случае речь идет о сознательной небрежности внешнего вида — как бы в знак близости быту разночинцев, не имевших ни возможности, ни привычки тщательно следить за своим костюмом и прической.

[78] Аллюзия на стихотворение А.С. Пушкина «Воспоминание» (1828): Когда для смертного умолкнет шумный день, / И на немые стогны града / Полупрозрачная наляжет ночи тень…

[79] Господин (*лат.*).

[80] Составная цитата. Первая часть цитаты из трагедии «Гамлет» (1599–1601) В. Шекспира (1564–1616), слова Гамлета: «Я любил Офелию, как сорок тысяч братьев любить не могут!». Имя

Но играть было уже поздно. Сумрак мягко синел в парке, и над вершинами дубов показывались серебряные звезды… Хор молодых голосов запел где-то далеко протяжную малороссийскую песню, и Викентьев стал тихонько подтягивать:

Та налетилы гуси з далекого краю…[81]

— Отчего это, — сказал он, — когда поют хорошую песню, становится кого-то жалко и совсем не знаешь, горя или радости хочется?.. Пойдемте гулять, господа! В этакую ночь надо жить только природой.

Пошли смотреть на долину, в сторону, противоположную мельнице Каменского, туда, где видны были огни города; полежали на скате, непринужденно, по-дачному, снявши шляпы. Синяя ночная темнота все сгущалась от востока над долиной. Прошел за рекою поезд, и долго слышен был его отдаленный шум и равномерное попыхиванье… потом все затихло. Город на горизонте роился бледными огнями, а из парка доносилась то та, то другая печальная песня.

— Славно! — сказал Викентьев. — Люблю я эту самую природу, люблю грешным делом послушать песенки, полежать вот так на травке, но… «камергер редко наслаждается природой»[82]!.. Право, иной раз хочется стать рыбаком, бродягой или хоть толстовцем… в роде вашего новоявленного отца Каменского. Кстати, он еще тут обретается?

Гриша насторожился.

— Да, — ответила Наталья Борисовна. — Обещался сегодня быть у нас.

— Вот как! — сказала Софья Марковна. — Это интересно. Павел, пойдем к Наталье Борисовне?

Профессор, запинаясь, отказался:

— Нет, ты уж будь добра, зайди одна; мне он не интересен, да и надо вовремя лечь в постель.

— Да, он не интересен, — подтвердил Викентьев. — Я с ним встречался. Говорит как по-писанному, но все это не ново и хорошо только на словах.

Фридрих в данном контексте неясного происхождения: возможно, заимствовано у Фридриха Шиллера (1759–1805), автора драмы «Разбойники» (1781), главные герои которой — два брата. Возможен и иной ассоциативный ряд. Шекспировскую цитату о «сорока тысячах братьев» в сниженном бытовом контексте неоднократно использовал А.П. Чехов. В данном случае позволительно предположить чеховский генезис этого приема.

[81] Та налетилы гуси з далекого краю… — украинская народная песня. В некоторых источниках названа рекрутской. Текст песни в ином варианте (Налынулы гусы з далекого краю), например, приводится в десятом сборнике Харьковского историко-филологического общества (Харьков, 1897. С. 114) в составе корпуса малорусских песен Лубенского уезда Полтавской губернии, записанных В. Милорадовичем в 1888–1895 гг. В песне говорится о том, как двое влюбленных раньше любили друг друга, а теперь разошлись.

[82] Один из афоризмов Козьмы Пруткова (см. выше комментарий к этому рассказу).

«Нельзя объять необъятного»[83]… К тому же нам, право, тут не хуже, чем в любом скиту. Да и сам Лев Николаевич-то, кажется, уж соскучился забавляться…

Заговорили о том, что влияние нравственного учения Толстого проходит, что Толстой велик как романист и слаб, как философ, что он умеет только отрицать и ничего не дает положительного… Гриша внимательно слушал. Слова Викентьева заставили его задуматься.

— Болван! — думал он про Викентьева. — Но это-то, пожалуй, отчасти и правда… Не ново-то не ново… Да и Каменский: сам говорит — общение, общение, а живет затворником!..

Посидели еще, не зная, что делать. Всем было хорошо, но все чего-то ждали. И когда Наталья Борисовна сказала, что хочется чаю, поднялись очень живо, словно исполнили обязанность.

У крыльца профессор и Викентьев откланялись. Остальные вошли в дом. В сумраке на балконе кто-то медленно поднялся со стула.

— Здравствуйте! — сказал приятный, важный голос.

— Ах, это вы, Алексей Александрович! — воскликнула Наталья Борисовна, дружески пожимая ему руку, — очень, очень рада вас видеть… Что же это Гарпина не зажгла вам лампы?

— Она у Петра Алексеича.

— Разве он приехал?

— Да, мы уже беседовали с ним. Он пошел в кабинет обливать голову водою.

Наталья Борисовна покраснела. «Ах, Боже мой, как нарочно!» — подумала она, но тотчас же по возможности весело сказала:

— Ну, господа, вы незнакомы? Знакомьтесь, пожалуйста, а я пойду, распоряжусь о самоваре.

VII

Странное впечатление осталось у Гриши от этого вечера!..

Увидав Каменского, он почувствовал какую-то неприятную неловкость, словно между ними было что-то интимное и неискренное. Ему стало стыдно за свое утреннее простосердечное настроение, и он с сумрачным видом решительными шагами прошел в свою комнату. Однако опустил портьеры так, что ему было видно и слышно, что происходит в гостиной.

С приездом Петра Алексеевича дом оживился; по всем комнатам пахло сигарами, горели огни. Из кабинета раздавались мужские голоса, слышны были сиплые вскрикиванья Ильи Подгаевского, странного субъекта, безотлучно пребывающего при Петре Алексеевиче и участвующего во всех его попойках.

[83] Один из афоризмов Козьмы Пруткова. В оригинале звучит так: «Никто не обнимет необъятного».

Петр Алексеевич редко появлялся один и на этот раз привез с собой еще какого-то военного доктора, которого называл Васей, и своего секретаря, Бобрицкого, молодого человека, очень похожего на жирафа своей маленькой головой и большой длинной фигурой в клетчатой заграничной паре.

Среди сидящих и разговаривающих за круглым столом в ярко освещенной гостиной Каменский сразу выделялся своей высокой фигурой и одеждой. Присутствие его одних смущало, других очень интересовало. Марья Ивановна все еще боялась взглянуть на него и, махая в раскрасневшееся лицо платком, быстро-быстро заговаривала то с тем, то с другим так, словно отвечала на экзамене. Грише очень хотелось уйти с ней на качели в сад, но он знал, что будет спор, так как заметил, с какой порывистой приветливостью пожал руку Каменского Игнатий: очевидно, он рад новому человеку, с которым можно сцепиться. Однако разговор шел пока незначительный. Поддерживал его только пришедший агроном Ветвицкий, человек лет под тридцать, большой франт в золотом пенсне, всегда сдержанный, вежливый и элегантный (агрономией он занимался теоретически, в городе). В тон ему держался и Бобрицкий. Немного отодвинувшись от стола и вытянув ноги, он держал стакан чаю в руках и, когда пил, далеко отставлял мизинец, украшенный перстнем с большим куском бирюзы. Кукольное лицо Бобрицкого было слегка напудрено, а губы подведены губной помадой.

— Вы позволите вам чаю? — с легкой запинкой спросила Наталья Борисовна Каменского.

И все тотчас с любопытством обратились в его сторону: откажется он или нет? И что возьмет к чаю?

— Пожалуйста, — очень вежливо ответил Каменский.

То, что он весел и приветлив, тоже немного удивляло всех. Верно, он знал, что Примо устроили сегодня вечер с толстовцем, знал, что за каждым его движением будут следить, будут оглядывать его одежду, и потому надел чистую рубашку, умылся, причесал бороду и густые русые волосы, подстриженные в скобку. Теперь его благородное, открытое лицо было очень красиво.

— Чего они дивятся на меня? — должно быть, думал он, спокойно оглядывая всех ясными голубыми глазами.

Подошел еще гость, статистик Бернгардт, очень обыкновенный на вид человек с простым интеллигентным лицом, только очень сумрачный и молчаливый. Он недавно приехал из Сибири, и Грише часто казалось, что это суровые сибирские мужики приучили его быть таким скупым на слова. И теперь он молча сел в угол с стаканом чаю и принялся рассматривать волосы в своей большой темной бороде. Каменский тотчас заговорил с ним о сибирской железной дороге[84]. Бернгардт отвечал отрывисто, а все поглядывали на них, как

[84] Речь идет о двух участках Транссибирской железнодорожной магистрали, которые строились в год написания рассказа: Западно-Сибирской железной дороги (Челябинск — Обь; 1892–1896) и Средне-Сибирской железной дороги (Обь — Иркутск; 1893–1899).

бы спрашивая: какой интерес представляет Каменскому железная дорога? Ведь «они» отрицают цивилизацию!

Вдруг агроном почтительно промолвил:

— Правда, что Лев Николаевич не совсем здоров?

— Да, да, — поспешил ответить Бобрицкий, — я читал недавно сам.

«Начинается!» — подумал Гриша и из-за портьеры успел заметить, что Каменский встрепенулся. Верно, Каменский тоже подумал это; однако лицо его тотчас же стало еще спокойнее, и он ответил снисходительно, с тихой улыбкой:

— Нет, это неправда. Я недавно имел о нем известия.

Бобрицкий поднял брови.

— Но я же сам, своими глазами читал в «Новом времени»!

— Вы не верьте. Газеты для того же и существуют, чтобы выдумывать неправду.

Игнатий задвигался на стуле, отставил стакан с молоком и быстро заморгал:

— Ну, знаете, это слишком сильно сказано! — проговорил он с неприятной улыбкой.

— А где он теперь? В Ясной Поляне? — перебила Марья Ивановна.

— Что вы?

Каменский спросил очень ласково, но Марья Ивановна смешалась. Она встряхнула локонами и с трудом выговорила:

— Правда, что он только лето живет в деревне?

— Да, вот это правда.

Все переглянулись и помолчали. Каменский же сделал еще более невозмутимое лицо. Он налил в блюдце чаю и уже начал говорить с агрономом о рамочных ульях[85], как вдруг Софья Марковна выговорила громко и насмешливо:

— А правда, что он уже сменил пресловутую блузу на костюм велосипедиста?

И снова стала есть цукаты по маленькому кусочку, хотя выражение ее лица было такое, словно она слышала дурной запах.

— Вот это опять неправда, — уже совсем важным тоном возразил Каменский.

Снова переглянулись, а Игнатий издал какой-то носовой звук.

— Я, собственно, не понимаю… — начал он, собирая хлебные крошки… Но в это время раздался насмешливо-отчетливый, как бы с польским акцентом, голос Петра Алексеевича:

— А правда, что мы с Илюшей еще пьяны?

---

[85] Речь идет об определенном типе улья, в котором используются рамки с вощиной, которые становятся основой для строительства пчелами сот. Рамочные улья (разборные, в отличие от более ранних типов) были изобретены в середине XIX в., к концу XIX в. обрели широкое распространение.

Все живо обернулись.

Улыбаясь, Петр Алексеевич медленно шел с коробкой сигар в одной и с дымящейся папиросой в другой руке своей обычной походкой: поддерживаясь, немного приподняв плечи и не поворачивая головы, как уходят богатые люди из ресторанов среди кланяющихся лакеев. После холодной воды он посвежел и ободрился; слегка прищуренные глаза блестели, смуглое припухшее лицо было весело. И как всегда, он был очень представителен; небольшое брюшко, туго обтянутое жилетом, не портило его высокой, плотной фигуры; ноги сравнительно с ней были немного тонки, но стройны и изящны…

Зато маленький, тщедушный человек, который шел за ним в длинном черном сюртуке, производил необычайное впечатление: старческое лицо его, лицо скопца или алкоголика, было до того желто и испито, что тяжело было глядеть на него; длинные, монашеские волосы жидкими темными космами падали на плечи; в блуждающих глазах была какая-то психопатическая важность…

— Отставной профессор консерватории, потом монах, а ныне известный декадент и мой друг, Илья Подгаевский! — отрекомендовал его Петр Алексеевич, здороваясь еще раз с Каменским и с остальными и усаживаясь к столу.

— Полно, Петр! — с неестественным пафосом воскликнул Подгаевский, кивнул всем головой и задумчиво зашагал из угла в угол, бросая себе в рот мятные лепешечки.

Наступило минутное молчание. Каменский пристально, без стеснения рассматривал то Подгаевского, то хозяина. Последний, очевидно, заметил это, потому что отчетливо повторил, обращаясь уже к одному Каменскому:

— Так как вы нас находите? Пьяны мы, или уже можем вести душеспасительные беседы? Я думаю, что можем; вот Вася уже спит, а мы еще держимся…

— Мы этого еще не знаем, — ответил Каменский серьезно.

Петр Алексеевич сделал вид, что уже не слушает, и обратился к Наталье Борисовне:

— Мамаша! — сказал он смиренным тоном, — налейте или прикажите налить и мне стаканчик чаю, только, пожалуйста, без коньяку!

— Вот как! — засмеялась Наталья Борисовна.

— Я слышу разговор о Толстом, — продолжал Петр Алексеевич, оглядывая всех и подчеркивая слова, — и вот мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что нужно делать[86].

---

[86] В данном абзаце пародируется стилистика и лексические повторы толстовских трактатов. Основой пародии стал зачин трактата «В чем моя вера» (1884): «Пять лет тому назад я поверил в учение Христа — и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо». Фраза «Когда я понял»

Все засмеялись.

— Очень, очень удачно скопирован Толстой! — подхватил Бобрицкий.

— Какой догадливый! — пробормотал Петр Алексеевич, раздувая ноздри и закуривая сигару. — Любезный паж, вы не умрете, надеюсь, от сигарного дыма?

Марья Ивановна, которой это было сказано, встрепенулась:

— Вы меня опять пажом дразните?

— Уверяю вас, вы похожи на пажа!

— Вот уж нисколько!

— Ну, m-lle Гортензия.

— К сожалению, я только Марья!

— Марья должна быть черная. Ведь так, Илюша?..

— Нет, почему вы так против велосипедистов, — улыбаясь, но уже нервно прикрывая глаза и волнуясь, заговорил Игнатий.

— Разве я это сказал? — спросил Каменский и поднял брови.

— То есть не сказали, но в сущности это понятно… И это странно… Я думаю, что всякий труд, исполняемый с наименьшим напряжением мускулов…

Все прислушались. Каменский же немного наклонил голову, и по лицу его было видно, что он хочет вникнуть в каждое слово. Но Игнатий запнулся, щелкнул пальцами и прибавил торопливо:

— Я хочу сказать, что такой труд, во всяком случае, более нужен, чем какой-либо другой…

— Я вас не понимаю, — спокойно возразил Каменский.

— Не понимаете? — переспросил Игнатий.

— Извините, не понимаю.

Игнатий вздернул плечами.

— Что же тут непонятного? Разве я темно выражаюсь?

— Нет, но вы, очевидно, не подумали, что сказали.

Игнатий прикрыл глаза, соображая, подумал он или нет, и, наконец, выговорил:

— Нет, знаете, я темно выразился, но вполне понятно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что всякий труд…

— Нужно всегда различать, — тихо, но властно перебил Каменский, кладя ладони на стол, — нужно всегда различать, что нужно и что не нужно в жизни; именно, как сказал Петр Алексеевич, надо знать, что нужно делать и чего не нужно делать.

Он мельком взглянул на Петра Алексеевича и продолжал:

— Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень часто не имеет ни значения, ни смысла. Всякий труд!.. Да вот ведь и обезьяна трудилась, и ей стало жарко и скучно, наконец.

повторяется в этом трактате 9 раз и превращается в формулу. Слова «не нужно (делать)» и «нужно (делать)» весьма частотны в трактатах и статьях позднего периода, так как Толстой часто использует прагматические аргументы для доказательства своих тезисов.

— То есть, я не понимаю, про какую обезьяну вы говорите?

— А вот про ту, что катала чурбан. Помните Крыловскую басню?[87].. О труде надо думать серьезно и избирать надо тот труд, который не ограничивается одним наименьшим напряжением мускулов. Труд жизни…

Игнатий заволновался еще больше.

— Вы думаете, кажется, что я не имею понятия о труде?

— О чьем труде?

— Вообще о труде… Я, может быть, не меньше вашего работал и работаю…

— Я о вас пока не говорил.

— Но ведь это понятно!

— Повторяю вам, я о вас пока не говорил. О вас я еще буду говорить.

Игнатий вспыхнул.

— Но ведь это, конечно, и от меня будет зависеть, — резко возразил он. — Личности тут ни при чем.

— Нет, именно при чем. И отчего нам не говорить друг о друге? Мы не должны учить других, когда еще не очистились сами, но мы должны быть братьями и помогать друг другу.

— Однако же вы говорите тоном именно поучения!

Каменский немного смутился, но тотчас же оправился:

— Я не поучаю, — сказал он серьезно, — я говорю только то, что мне кажется истиной, которую я уразумел сердцем. Я не насилую вас — это главное. И вы напрасно сердитесь на меня.

— Я нисколько не сержусь, я сказал только, что знаю, что такое труд, не хуже другого…

— По вашим рукам этого не видно.

— Если вы, — перебила Каменского Софья Марковна, и все оглянулись на нее, — если вы подразумеваете под трудом труд только физический, то я думаю, что ограничивать настолько труд, по меньшей мере, странно. Умственная жизнь человека нуждается в полном развитии и усовершенствовании.

— Илья? — спросил Петр Алексеевич. — Справедливая это мысль? Правда, мы с тобой труженики и умственно развиваемся?

И с заигравшею в глазах злою улыбкой оглядел всю компанию. Разговор начинал волновать его; в словах его было уже нескрываемое презрение и к другим, и к самому себе. Но в то же время что-то нехорошее подымалось в нем и против сдержанно-докторального тона Каменского и вообще против его

[87] Речь идет о басне И.А. Крылова «Обезьяна» (1811), которая начинается следующей моралью: «Как хочешь ты трудись; / Но приобресть не льстись / Ни благодарности, ни славы, / Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы». И завершается обращением к обезьяне: «Трудишься много ты, да пользы в этом нет».

личности. Гриша с тревогой увидал, как отец сразу долил полстакана чаю коньяком и выпил, как воду.

— Илюша! что же ты? — добавил он, обращаясь к Подгаевскому.

Подгаевский, который шагал вокруг стола, оживился.

— Изволь! — сказал он, наливая и себе в чай коньяку, — но ты обратился ко мне с вопросом. Так я тебе скажу, мой милый, что мысль Софьи Марковны совершенно справедливая. И твоя обычная ирония тут ни при чем. «Оставь ее отжившим и нежившим!»[88]

— Будто бы мы с тобою еще не отжили? — спросил Петр Алексеевич.

— Мы — тени, мой милый! Но сущность наша и красота ве-чны! — сипло вскрикнул Подгаевский.

Петр Алексеевич дослушал его и спокойно выговорил:

— Вот и врешь! И мы с тобою, к сожалению, не тени, и красота не вечна. Например, вот мамаша была очень красива, а теперь только старая карга!

Поднялся общий смех и говор.

— Виноват!.. — говорил Каменский с блестящими глазами.

Но его не слушали… Гриша в волнении распахнул портьеры и, ни на кого не глядя, уже хотел уйти в сад от этого беспорядочного гама, но Каменский возвысил голос и он сел на кресло в углу гостиной.

VIII

— Виноват, я не договорил, — повторил Каменский. — Я вас перебью на минуту, — продолжал он только для того, чтобы вдуматься в то, что хотел сказать, так как намеревался говорить долго. — Я хотел ответить вам, Софья Марковна… Оставим на минуту труд в стороне, нужно сперва говорить о жизни… И вот я думаю так: жизнь человека должна быть направлена прежде всего к раскрытию и познанию…

— К раскрытию чего?

— К раскрытию того, что нужно и важно для человека, к развитию его добрых чувств, чтобы он мог любовно и радостно исполнять свое назначение на земле и волю Пославшего его…

— Пославшего его, — повторил Игнатий. — Кто же этот Пославший?

— А это называйте, как хотите — Роману, Вишну, Фта[89]… Дух Жизни, одним словом.

— Дух Жизни! Что такое Дух Жизни?

---

[88] *«Оставь ее отжившим и нежившим!»* — второй стих стихотворения Н.А. Некрасова «Я не люблю иронии твоей» (1850).

[89] Вишну — один из важнейших индуистских богов, хранитель мироздания. Фта (привычнее: Пта или Птах) — творец мира в древнеегипетской мифологии. Какой бог подразумевается под именем Роману, не ясно.

— А вам что — хочется решить его, как уравнение?

— Нисколько, это уравнение, состоящее из всех неизвестных, следовательно, я и пытаться не буду решать такое уравнение… Да это и не уравнение будет.

Петр Алексеевич насмешливо кивнул на Игнатия:

— Игнатий-то! — сказал он, — как уравнению-то обрадовался!

— Дай мне, пожалуйста, говорить! — воскликнул Игнатий с злобой. — Так я говорю: это для меня только звук, и я не знаю, что он значит…

— Дело не в звуке…

— Так позвольте: что же такое Дух Жизни?

— Дух Жизни?.. «Свет, и нет в нем никакой тьмы»[90] — вот вам одно определение. Добро, любовь — вот вам другое.

— А почему я должен поклоняться добру? — вмешался Подгаевский, внезапно останавливаясь против Каменского.

— В самом деле, — подхватил и Игнатий, — почему?

— Да зачем вы ставите эти вопросы? Вы следуйте веленьям своего сердца, в котором заключены добро и любовь!

— А если у меня не заключено ничего подобного?

— Это неправда. Еще Тертуллиан сказал, что душа христианка[91].

Игнатий заморгал, развел руками, поднял плечи:

— Да что же это за доказательство! — воскликнул он насмешливо и басом. — Это circulus vitiosus[92] какой-то! Добро, Любовь… А если я не верю Тертуллиану вашему, и моя башка, мои мозги…

— Мозги? — остановил его Каменский. — Да зачем это слово! Я только в ресторанах говорил, бывало, о мозгах. Мозги!.. С гарниром? С шампиньонами?

— А это у кого как; бывают и с гарниром, — презрительно вставил Петр Алексеевич.

Каменский нахмурился и повторил как бы уже на зло:

— Да, еще Тертуллиан сказал. А царь Давид вот что: «и рече безумец в сердце своем — несть Бога»![93]

— Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков, — заговорила небрежно Софья Марковна.

---

[90] Несколько измененная и сокращенная цитата из Первого послания Иоанна (1: 5). Стих полностью в Синодальном переводе звучит так: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы».

[91] Тертуллиан (ок. 160 — ок. 220) — один из наиболее известных раннехристианских писателей, жил в римской Африке (Карфаген). В его книге «Апологетик» (17 глава, стих 6) сказано (перевод Н. Щеглова): «Душа свидетельствует о Нем, как Судии, когда говорит: “Бог видит, вручаю Богу, Бог воздаст мне”. О свидетельство души, по природе христианки! И, произнося это, она взором своим обращается не к Капитолию, а к небу. Она, конечно, знает жилище Бога живого: от Него и оттуда она снизошла».

[92] Порочный круг (*лат.*).

[93] Немного измененная (адаптированная к современной русской грамматике) цитата из Псалтири (13: 1). В оригинале: «Рече безумен в сердцы своем: несть Бог».

— Господа, позвольте! — возгласил Игнатий. — Мы уклонились, так нельзя…

— Вы же не дали мне договорить, — сказал Каменский. Лицо у него раскраснелось, глаза возбужденно сияли и руки нервно гладили скатерть.

— Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста!

Каменский подумал и опять заговорил размеренно:

— Я говорил: человек должен уяснить себе, для чего он живет…

— Виноват, — снова не выдержал Игнатий, — одно слово… Как это уяснить, для чего я живу? Я могу сказать, для чего я сегодня в город ездил…

— Да, вот именно так, — подтвердил Каменский, — именно, надо уяснить себе цель жизни так же, как цель поездки в город. И вот: есть жизнь телесная и плотская, и есть жизнь — духовная и душевная. Жизнь телесная…

— Ну, это уже начинается метафизика какая-то! — воскликнула Софья Марковна.

— Позвольте! — начал и Игнатий.

— Виноват! — заговорил и агроном, хотевший примирить и успокоить разговор, принимающий горячий характер.

А Петр Алексеевич выговорил громче всех:

— Мы вот с Илюшей живем плотской жизнью!

— Метафизика — родня поэзии! Я стою за метафизику! — почти закричал Подгаевский. — Вы говорите: труд; но про-гре-сс движется не трудом, а твор-че-ством!

— Это, положим, вздор! — добавила Софья Марковна. — Возьмите хоть Липперта[94]…

Каменский почувствовал, что здесь нельзя говорить. Но то, что ему хотелось сказать этим людям, которые кричат только от скуки, волновало его, и он поднялся со стула. Встал и Игнатий.

— Что же вы сотворили? — почти строго спрашивал Каменский. — Что? Я скажу вам, что вы сотворили: рабовладельчество, проституцию…

— А что вы так против проституции? — вмешался Петр Алексеевич уже с явной злобой и насмешкой. — Вот Илья иначе думает.

Каменский пристально поглядел на Петра Алексеевича, но тот сделал мутные глаза и отвернулся.

— При со-вре-менных условиях это не-обхо-ди-мо-е учреждение! — уже кричал Подгаевский.

— Позвольте… Что же, современные условия хороши?

— Нет, вы позвольте! — лицо Подгаевского исказилось, глаза бегали; то, что у него не было двух верхних зубов, еще более делало его некрасивым.

---

[94] Юлиус Липперт (1839–1909) — австро-венгерский (богемский) историк культуры, представитель эволюционизма. Много издавался в русских переводах. Вероятно, речь идет о его труде «История культуры» (впервые издан на русском языке в 1894 г.).

— Нет, дайте же мне договорить! — пробовал как можно спокойнее возражать Каменский. — Вы сказали именно то, что нужно; вы сказали, как человек, который на вопрос: почему он едет так плохо и тихо, ответил, что у него сломана ось. Остановись же, — сказали ему, — почини ее.

— Позвольте-с, — заговорил и Бернгардт сумрачно, приближаясь к Каменскому, — современные условия зависят не от одного человека. Это не телега, в которой едет благодушный мечтатель и единственный обладатель ее, это — наполненный народом дилижанс. И починка зависит не от единичной воли… Конечно, можно и пренебречь сломанным экипажем, встать, махнуть рукой и отправиться пешочком; только это и нечестно и навряд хорошо для отправившегося пешочком…

— Да, — горячо подхватил Каменский, — если дилижанс плох, нужно его оставить и не тащиться в нем или не сваливать все на других, на «обстоятельства»… И во всяком случае, починка делается не злобой, а единением и любовью!

— А может быть, непротивлением злу[95]? — перебил Бернгардт и резко захохотал.

Вдруг Петр Алексеевич поднялся:

— Мамаша! — воскликнул он, — это наконец подло с вашей стороны! Вы меня все равно не приучите к духовной жизни, я не обедал сегодня!

— Господа, перейдемте в столовую, — обратилась Наталья Борисовна к окружающим.

Гриша первый поднялся и скрылся в своей комнате.

Понемногу стали подыматься и остальные. Разговор оборвался, и по рассеянным взглядам было видно, что продолжение его и нежелательно.

Но закуска была еще не готова. Агроном сел за рояль и, одним пальцем аккомпанируя, вполголоса запел пролог из «Паяцев»[96]. Около него стояли Бобрицкий,

---

[95] Непротивление злому или непротивление злу насилием — центральный момент нравственной философии Толстого. В конце первой главы трактата «В чем моя вера» Толстой пишет: «Слова эти: *не противься злу или злому*, понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим мне все. И мне стало удивительно, как мог я так навыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб, а я говорю: не противься злу или злому, и, что бы с тобой ни делали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что же может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в нагорной проповеди, но во всех Евангелиях, все, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось в одно целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть. В этой проповеди и во всех Евангелиях со всех сторон подтверждалось то же учение о непротивлении злу».

[96] Опера Руджеро Леонкавалло (1857–1919) «Паяцы» (Pagliacci; впервые представлена в Милане в 1892 г.; в России — в Петербурге в 1894 г.) имеет необычную двухчастную форму с прологом. Пролог исполняет баритон, который в дальнейшем спектакле поет партию Тонио:

Софья Марковна и Подгаевский; Подгаевский покачивал головою и, кажется, намеревался подтягивать. Петр Алексеевич в ленивой позе сидел на диване; Бернгардт ходил из угла в угол: он не хотел даже серьезно говорить с Каменским, унижать себя… А Игнатий с Каменским незаметно вышли на балкон. Игнатия мало интересовала закуска, и он думал, что, пожалуй, вышло неловко это всеобщее нападение на Каменского. Спорить больше ему не хотелось, хотя он и был немного обижен, так как любил оставаться в горячих разговорах победителем. И подпершись руками, он стоял против Каменского и машинально повторял:

— Да-а-с, батенька!

Лицо Каменского было строго и рассеянно. Облокотившись на перила балкона, он старался собрать мысли, так как твердо решил опять завести разговор.

А Марья Ивановна, полуосвещенная светом, падавшим из гостиной на балкон, глядела в сад и говорила тихо и восторженно:

— Как хорошо!

В саду было очень темно и тепло. Теплота и сон обнимали его, именно сон, а не чуткое молчание. Ночные, неопределенные облака неподвижно дремали в темноте над садом. Дремотно где-то щелкал соловей, дремотно замирала песня, невнятно доносился аромат резеды с цветника у балкона… Хотелось прикрыть глаза и ничем не нарушать этого безмятежного покоя…

IX

Гриша сидел за ужином, мрачно покусывая ногти…

Когда собрались в столовую, произошла маленькая неловкость:

— How did you get acquainted with him? (как вы с ним познакомились?) — вдруг спросила профессорша Наталью Борисовну, указывая глазами на Каменского.

— Энгельса зашел попросить[97], — пробормотал Петр Алексеевич злобно.

А Каменский мягко, но серьезно заметил:

— Я знаю английский язык, так что вы говорите лучше на каком-нибудь другом.

И когда Софья Марковна смешалась и покраснела, он добавил снисходительно:

— Да вы не конфузьтесь. Я-то ничего не имею против, говорите про меня что угодно, но это в вас самих злобу вызывает… Языки же надо знать, это ведет людей к сближению. Ведь вся беда людей с древнейших времен и до

персонаж пьесы перед началом спектакля рассказывает о том, как опера была создана. Эта новаторская опера в год написания рассказа воспринималась как новейшее музыкальное искусство.

[97] Сочинения Фридриха Энгельса (1820–1895) стали печататься в России в середине 1890-х гг. Так, в 1894 г. в Петербурге вышли сразу два издания книги Энгельса «Происхождение семьи, собственности и государства» в русском переводе.

этого вечера состоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми.

Очевидно, он вызывал на беседу, и лицо его становилось все сосредоточеннее. Но кругом шел оживленный разговор о знакомых, об опере; занимал всех и ужин — молодые картошки с зеленью, бифштекс, вина… К ужину вышел и военный доктор, похожий на цыгана. Заспанный, добродушный, он все старался казаться трезвым и поэтому расшаркивался, подымал плечи и хриплым голосом говорил любезности дамам.

Тогда Каменский, обращаясь как будто к одному Игнатию, произнес целую речь. Голос его стал торжественным, глаза — строгими и выразительными.

Он опять начал с того, что нужно в жизни. Современный человек, — говорил он, — отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. Жизнь стала слишком сложна, и сложная общественная организация парализует нашу волю и растягивает нас в разные стороны… Мы одурманили себя ненужными делами, мы загипнотизированы книгами и разучились говорить языком сердца. Мы слишком заняты, по словам Лаодзи и Амиеля[98], слишком много читаем пустого и бесплодного, когда надо стараться упрощать жизнь, стараться быть искренним, вникающим в свою душу, когда нужно отдаться Богу, служить только Ему, остальное же все приложится… Мы устали от вероучений, от научных гипотез о мире, устали от распрей за счастье личности, слишком много пролили крови, вырывая это счастье друг у друга, когда жизнь наша должна состоять в подавлении личных желаний и исполнении закона любви. Злоба — смерть, любовь — жизнь, говорил он. Жизнь только в жизни духа, а не в жизни тела. Плод же духа — любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание… Это повторяли людям все великие учители человечества, начиная с Будды…

— Ну, знаете, батенька, Будда был довольно-таки ограниченный субъект! — перебил Игнатий.

Каменский, не слушая, продолжал говорить. Он настаивал на том, что мы сами создаем себе миллионы терзаний[99] только потому, что не хотим прислушаться к

---

[98] Лао-цзы (VI в. до н. э.) — легендарный древнекитайский философ, считается основоположником даосизма. Анри-Фредерик Амьель (Amiel; 1821–1881) — франкоязычный швейцарский поэт и писатель, возглавлял кафедру моральной философии в Женеве. Стал широко известен как автор «Дневника», который вел с 1839 г. и который был частично опубликован сразу после его смерти: в 1882–1884 гг. отдельные выдержки из «Дневника» издали в виде двухтомника (позднее был напечатан полностью в 12 томах). Оба философа очень нравились Толстому. «Дневник» Амьеля был издан «Посредником» в 1894 г. в русском переводе М.Л. Толстой под редакцией и с предисловием Л.Н. Толстого.

[99] Использовано заглавие статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний» (1871–1872), представляющей Чацкого (главного героя комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума») в качестве вечного литературного типа, актуального для любой эпохи.

тому, что говорит нам сердце голосом любви, всепрощения и благоволения ко всему живущему. Настаивал на том, что мы гибнем, развивая в себе зверские похоти, тысячи ненужных потребностей и желаний. «Желаете и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть»[100], напомнил он слова апостола Иакова.

— Это все очень не ново! — послышались голоса, — это все давно слышанное. К сожалению, не так просто все развязывается. И любить по заказу нельзя. Странный рецепт: возьми да полюби!

Гриша совершенно терялся — с обеих сторон правда!..

— Но почему они не могут говорить серьезно и хладнокровно? — думал он, когда опять поднялся беспорядочный говор и шум… — Столпотворение какое-то! — Размахивая полами сюртука, Подгаевский ходил по комнате и кричал над ухом Каменского:

— Я ска-жу вам словами такого же апостола, Павла: «Освободившись же от гре-ха, вы стали рабами пра-ве-дности!»[101]

— Лучше быть рабом праведности, чем похоти, — пробовал возражать Каменский.

Но Подгаевский был уже пьян. Пьян был и «Вася», который все наклонялся и что-то бормотал на ухо Петру Алексеевичу, воображая, что говорит шепотом. А Петр Алексеевич сидел с раскрасневшимся лицом и мутным взглядом. Он не знал, чего ему хочется: нового ли возбуждения, скандала или покоя. Но руки у него дрожали, и по губам пробегала иногда судорога.

Ах, что кому до нас,
Когда праздничек у нас! — [102]

запел он вдруг нарочно фальшиво и резко.

Дамы встали и начали прощаться. Поднялся и Каменский.

— Что же вы? — спросил Петр Алексеевич. — Уже уходите? Напрасно! Давайте споем.

Каменский пожал плечами.

— Какой вы веселый! — сказал он, нахмуриваясь.

— Веселый! — повторил Петр Алексеевич и вдруг прибавил с неприятной улыбкой:

— Кстати о труде-то! Шкаф-то скоро будет готов?

— В четверг принесу.

— После дождичка?

---

[100] Цитата из Послания ап. Иакова (4: 2). Цитируемый стих сокращен, в оригинале он продолжается: «препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите».

[101] Цитата из Послания ап. Павла римлянам (6: 18)

[102] Русская народная песня, исполняется на праздник Ивана Купалы.

— А разве в четверг будет дождь?

— Да вот Брюс пишет[103] — будет.

— Я в Брюса, к сожалению, не верю. До свидания!

— Жаль!.. А закусить разве не хотите? Ведь хочется, небось?

Каменский посмотрел на него долгим грустным взглядом, пожал окружающим руки и пошел из дома через балкон…

— Петр Алексеевич! — сказала Наталья Борисовна. — Ну, пожалуйста!..

Петр Алексеевич поднялся.

— Николка! — крикнул он на весь дом. И когда вбежал испуганный лакей, прибавил:

— Лошадей нам! Вася, Илюша — в «Добро пожаловать»! Едем!

— Петр Алексеевич, — повторяла Наталья Борисовна, — ну, я тебя прошу, не езди!

— Мамаша! Оставьте! Стыдно при чужих людях…

Ах, что кому до нас, —
Когда праздничек у нас!

запел он снова, обнял доктора и Подгаевского и, пошатываясь, пошел в кабинет…

———

Дом опустел. Было слышно, как в столовой убирали посуду. Гриша сидел в своей комнате у открытого окна, стиснув зубы.

— В наше время таких бы и не слушали, — со злобой говорил на балконе Бернгардт нетвердым голосом.

— Вы и теперь не слушаете, — отвечал злобно и Каменский.

— Мы жизнью жертвовали!

— Однако вы живы.

— Не каламбурьте!.. Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью!

— Это что же вы называете работой? Неужели эта дача похожа на рабочий дом?

— Я не про эту дачу говорю. Вы не ехидничайте. Любовь!.. А ведь у вас злоба кипит, вы сами просите борьбы… Вы, например, меня ненавидите сейчас. А я, может быть, сам несчастен…

— Поверьте мне как брату, — горячо возразил Каменский, — у меня никакой нет злобы против вас. Запомните слова Паскаля: «Есть три рода людей:

[103] Имеется в виду впервые изданный в 1709 г. в Москве (и переиздававшийся вплоть до 1917 г.) «Календарь, или Месяцеслов христианский», широко известный как «Брюсов календарь». Имя сподвижника Петра I Якова Вилимовича Брюса (1669–1735) календарь получил по той причине, что на нем было напечатано: «Тиснению предано повелением Его Царского Величества под надзрением его превосходительства, генерала лейтенанта Якова Вилимовича Брюса».

одни те, которые, найдя Бога, служат Ему, другие, которые заняты исканием Его, и третьи, которые, не найдя Его, все-таки не ищут Его. Первые разумны и счастливы, последние — безумны и несчастны, средние несчастны, но разумны»[104].

— Опять тексты!

— Да, тексты! — повторил Каменский снова с сердцем…

— Покойной ночи! — послышался немного погодя голос Игнатия.

— Прощайте! — ответил грустно и важно Каменский.

— Вот галиматья! — воскликнул Гриша, подымаясь. — Полный сумбур!.. Нет, отчего они так упорно не хотят говорить как следует? Чего раздражаются?.. Ни вдуматься, ни вслушаться — ничего не хотят… А впрочем, пора спать!..

X

На заре Гришу разбудили удары грома и ощутительная сырость. Он открыл глаза.

День был серый и дождливый. От надвигающихся туч в комнате то и дело темнело; в сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот. Он возрастал, приближался тяжкими раскатами, так что дрожали стекла, и вдруг разражался треском и резкими ударами над самой крышей дома… И начинал сыпать дождь, сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, эти густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли не шелохнувшись, насыщаясь благодатною влагою. Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух.

Гриша хотел уже вставать, как в столовой послышались тяжелые шаги Петра Алексеевича. Он что-то невнятно приказывал лакею, который звенел ключами, отворяя шкаф. Очевидно, Николай искал вина.

— Гриша! — раздался вдруг голос Петра Алексеевича уже в гостиной.

Гриша не ответил.

Петр Алексеевич подошел к порогу и раздвинул портьеры. Он был в шляпе и крылатке, которая сползла у него с плеч.

— Ты спишь? — спросил он.

— Нет, — ответил Гриша и нахмурился. — А что?

— Да так… Я, знаешь, хотел тебя спросить кое-что…

— Именно?

— «Именно»… Гм!.. Ну, да все равно… Я хотел тебе сказать вот что: не замечал ли ты, что свинья одно из самых иронических животных?.. Это во-первых…

---

[104] Цитата заимствована из предисловия Л.Н. Толстого к изданию дневника Амьеля (см. выше в комментарии к этому рассказу).

Язык Петра Алексеевича заплетался. На бледное, осунувшееся лицо его было тяжело смотреть.

— Во-вторых, я зашел к тебе на минутку… — продолжал он медленно. — Я хотел тебе передать, что встретил сейчас Каменского… В город, брат, уже прет!.. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я — новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками самого обыкновенного буржуя, т. е. настоящей свиньи… И что будто это порождение последних дней… Я без него, конечно, лучше всех знаю свои «качества», но все-таки это недурно… А главное, изречение!..

И тоном Каменского Петр Алексеевич прибавил:

«Ибо ради вас имя Божие хулится у язычников!..»[105] Как тебе это нравится?

Гриша молчал.

— Молчишь? — опять заговорил Петр Алексеевич. — Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай… подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь!.. Может быть, ты будешь декадентом, символистом, спиритом?.. Что ж? — это еще ничего… Но непременно застрелись, если не станешь ничем иным, как навозным жуком-скептиком!.. Их, брат, появляется всегда страшное количество, когда что-нибудь разлагается…

Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве и деревьям. Мягкими переливами звучал под дождем голос иволги.

Гриша лежал на кровати и загадочно улыбался…

Печатается по: ***На край света и другие рассказы. СПб: О.Н. Попова, 1897. С. 13–83.***

[105] Сокращенная цитата из Послания ап. Павла римлянам (2: 24). В оригинале: «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников».

В деревне
Из детских воспоминаний

I

Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что вместе с Рождественскими праздниками начинается весна. Декабрь — вот это зима, думал я. В декабре погода по большей части суровая, серая. Рассветает медленно, город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инеем сиреневого цвета; солнца целый день не видно, и только вечером замечаешь след его потому, что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе… Да, это настоящая зима!

И я с нетерпением ждал Святок. Когда в конце декабря я бегал по утрам в гимназию, видел в магазинах сотни блестящих игрушек и украшений, приготовленных для елок, видел на базаре целые обозы с этими зелеными, загубленными для праздника елочками, а в мясных рядах — целые горы мерзлых свиных туш, поросят и битой, ощипанной птицы, я с радостью говорил себе:

— Ну, теперь уж близко праздник! Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые две недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны.

И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие светлые, солнечные дни. И правда, ведь в городе мы забываем о солнце, редко видим небо, а больше любуемся на вывески да на стены домов.

И вот, наконец, наступал давно желанный, радостный день. Вечером вдруг раздавался звонок в сенях нашей квартиры, я стремглав бежал в прихожую и наталкивался там на высокого человека в большой енотовой шубе. Воротник этой шубы и шапка на голове высокого человека были в инее.

— Папочка! — взвизгивал я в восторге.

— Уйди, уйди, я — холодный, — говорил отец весело, и, действительно, от него так хорошо пахло морозной свежестью, снегом и зимним воздухом.

Весь этот вечер я не отходил от отца. Никогда я не любил его так, как в эти вечера, никогда не засыпал так сладко!..

Я засыпал, упоенный мечтами о завтрашнем путешествии в деревню, и, правда, — это было веселое путешествие. Поезд быстро бежит среди ровных снежных полей, вагон озарен утренним солнцем. Белый дым волнующимися клубами плывет перед окнами, плавно упадает и стелется по снегу около дороги, а по вагону ходят широкие тени. Свет солнца от этого то будто меркнет, то

снова врывается в окна яркими, янтарными полосами… Даже весело и то, что в вагоне так много народу, так тесно и шумно!

Но вот и одинокая, знакомая станция среди пустынных полей. Тихо-тихо в полях после грохота поезда! Откинешься в задок саней, прикроешь глаза и только покачиваешься и слышишь, как заливается колокольчик над тройкой, запряженной в протяжку, как визжат и постукивают на ухабах полозья. Коренник сеет иноходью, передние поджарые лошади, пофыркивая, несутся вскачь, комья снегу бьют в передок, а около саней быстро-быстро, как змея, вьется длинный кнут кучера. Обернешься, — и кажется, что полоса дороги выскальзывает из-под полозьев, бежит назад, в ровное снежное поле…

А потом — шагом по лугам, под обрывами с нависшими тяжелыми снегами! Огромными раковинами завиваются внутрь гребни снеговых навесов. Ясно и резко отделяются их чистые, холодные изваяния от фона неба: небо снизу кажется темно-темно-синим! Передние лошади играют, на ходу хватают и отбрасывают снег…

— Балуй! — грозно кричит кучер, щелкает кнутом, — и опять постукивают сани на ухабах, и звонко заливается колокольчик под мерно качающейся дугою…

Да, хорошо и зимою в полях! Целый день живешь вместе с природой, каждый момент замечаешь в ее жизни.

Вот уже догорает короткий день; встали лиловые тучки с запада, солнце ушло в них, и наступает тихий зимний вечер. Над посиневшими снегами залегает к востоку морозная мгла ночи. Сливается с нею вдали снежная дорога, и мертвое молчание царит над степью. Только полозья тихо скрипят по снегу и задумчиво позванивает колокольчик: лошади идут шагом. Овсянки бесшумно перелетают перед ними по дороге… Мужик на розвальнях пристал за нами где-то на перекрестке, и заиндевевшая морда его шершавой, низенькой и бокастой лошадки трусит рысцой за нашими санями и равномерно дышит теплым паром в мой затылок.

— Не наезжай! — раздается иногда голос нашего кучера среди мертвого молчания поля.

И мужик тоже что-то покрикивает, соскакивает на раскатах и снова бочком, на бегу вваливается в свои дровни.

А кругом все темнеет и темнеет, и уже ночью въезжаем мы в знакомое село. Ночь темная, но звездная; мелкие звезды содрогаются острыми синими огоньками, крупные блещут переливчатым блеском разноцветных камней. На селе еще краснеют кое-где оконца в смутно-чернеющих избах… В чистом морозном воздухе звонко отдается скрип ворот или лай собачонки…

И чувство глубокого довольства и покоя наполняет душу, когда, наконец, медленно въезжаешь на сугроб перед крыльцом освещенного и теплого деревенского домика!

II

— Но где же весна-то? — спросите вы.

А разве не весеннее радостное чувство наполняло душу за весь этот веселый солнечный день нашего путешествия в деревню? Разве не с весенним чувством открывал я глаза, проснувшись на другое утро в детской?

В больших комнатах нашего старинного дома с утра всегда стоял синий полусумрак. Это оттого, что дом был окружен садом, а стекла окон сверху донизу зарисовал мороз серебряными пальмовыми листьями, перламутровыми, узорчатыми папоротниками. Еще до чаю я успевал обегать все комнаты, осмотреть все эти рисунки, сделанные морозом за ночь, и даже побывать в сенцах, где стоят лыжи.

— Папа, я пойду покатаюсь немного, — робко говорил я отцу тотчас после чаю.

Отец пристально смотрел на меня и с улыбкой отвечал:

— Ах, ты, дикарь этакий! Настоящий вогул[106]! Ведь еще холодно, нос отморозишь.

— Я только на минутку…

— Ну, если так, — беги!

— Я вогул, я вогул, — кричал я, подпрыгивая от радости и поспешно снаряжаясь в путь.

Резкий морозный воздух так и охватит всего, когда выйдешь из дому. За садом еще холодно краснеет заря. Солнце только что выкатилось огнистым шаром из-за снежного поля; но вся картина села уже сверкает яркими, но удивительно нежными, чистыми красками северного утра. Клубы дыма алеют и медленно расходятся над белыми крышами. Сад — в серебряном инее… Туда-то мне и нужно! И, став на лыжи, окруженный гончими, я спешил забраться в самую чащу, где можно с головой утонуть в снегу.

— Я вогул! — кричал я собакам, пробираясь по пушистому снегу к пруду под садом.

Там, на старых ракитах, до полудня держится густой махровый иней. Весело отряхать его и чувствовать, как он осыпает лицо своим холодным пухом! А еще веселее смотреть, как на пруде работники прорубают проруби и баграми вытаскивают из воды огромные льдины. Словно квадраты светлых горных хрусталей, сияют они на солнце, играя зеленоватыми и синими переливами…

К обеду солнечный день окончательно разыгрывается. С навеса крыльца падают капели. Как слоновая кость, блестят по деревенскому выгону отшлифованные ухабы дороги.

— Весна, весна близко! — думаешь, прикрывая глаза под лаской солнца.

---

[106] Вогулы (вогуличи) — устаревшее название народа манси (проживают на Урале и в Западной Сибири).

И весь день не хочется уходить со двора! Все радует. Забредешь ли на двор, где около яслей дремлют, изредка глубоко вздыхая и раздувая бока, меланхоличные коровы, бродят похудевшие за зиму лошади и жмутся в кучу овцы; пройдешь ли на гумно и слышишь по дороге, как возятся и трещат воробьи в кустах акаций, как они вдруг снимаются всей своей шумной стаей и дождем сыплются на крышу риги, — все радует… А на гумне, в затишье скирдов и соломенных валов, забитых снегом, особенно уютно. Хорошо полежать под солнцем в омете, в соломе, которая так резко пахнет мышами и снегом!

И весь праздник проходил у меня в этом очаровании солнечными днями, в светлых грезах о близкой весне. Забудешь, бывало, об уроках, забудешь даже лыжи, и все сидишь в освещенной солнцем зале, все глядишь на далекие снежные поля, которые уже блестят по-весеннему золотистою слюдою крепкого наста.

III

— Ну, не скучай, смотри, — говорил отец, когда, наконец, наступал последний день моих рождественских каникул и меня снаряжали в город. — Теперь и не увидишь, как наступит весна. Каких-нибудь два месяца, а там и Святая, и лето. Приедешь тогда, — жеребчика верхового тебе подарю, будем верхом вместе ездить, за перепелами ходить…

Мне было очень грустно покидать родной дом, но я вполне соглашался с отцом: теперь уже скоро весна!

— А ведь, правда, папа, совсем весной пахнет! — говорил и я, когда утром мы садились в сани, переваливались в воротах через высокий сугроб, набитый вчерашней мятелью, и глубоко вздыхали свежим ветром с запахом молодого снега.

— А ты любишь весну? — спрашивал отец с улыбкой.

— Люблю, папа! Очень люблю!

— А деревню любишь?

— Конечно, люблю. Когда я вырасту, я никогда не поеду в город.

— Смотри же, — прибавлял отец нравоучительно, — всегда люби. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что человек должен жить поближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо… Это неправда, будто в деревне скучно. Бедности в деревне много, — вот это правда, и, значит, надо делать так, чтобы было поменьше этой бедности, — помогать деревенским людям, трудиться с ними и для них… И хорошо можно жить в деревне!

— Правда, правда! — думаю я. — В городе даже весною не пахнет. А вот тут пахнет. И проруби вон уже почернели, оттаивать стали…

Мы проезжаем по большему селу над рекою, и я спешу наглядеться на все деревенское.

Кругом чернеют среди сугробов грязные избы; но скоро сугробы растают, и даже эти бедные избы станут чистенькими и веселыми. Да и теперь весело в них, особенно в тех, в кирпичных, где живут зажиточные семьи. И с каким удовольствием входил я в такую избу, когда мы останавливались покормить лошадей!

В кирпичных избах у богатых мужиков всегда сыро, угар зеленоватым паром стоит в теплом воздухе, на полу — мокрая солома, но всегда аппетитно пахнет хлебами, народу много, и все за работой: кто отрывисто гудит тетивой, которая бьет и вздымает пушистую белую «волну»; кто чинит хомут, с внезапной решительностью раздергивая в разные стороны пропущенную в кожу дратву; а бывалый человек, портной, в жилетке, утыканной иголками, и с мотком ниток на шее, забавляет всех россказнями. Сидя на «конике», скорчившись, — одна нога под себя, а колено другой поднято почти к самому лицу, — и ухитряясь держать большим пальцем босой ноги край сукна или овчины, он пристально шьет, но говорит, не смолкая, и при этом задумчиво улыбается веселыми умными глазами, встряхивая со лба волосы и вдевая на свет нитку в иголку. И все глядят на него дружелюбно. Он везде свой человек, даже для детей, которых он нянчит по вечерам на руках, дает им брать себя за бороду, а потом вдруг щелкнет зубами, гамкнет, как собака, и схватит ртом детскую ручонку, отчего ребенок, с замиранием сердца ждавший «штуки», радостно взвизгивает и заливается смехом…

Я уже не раз видал его, и теперь смотрю на него с любопытством и с любовью. Но пора ехать. Мы прощаемся с хозяевами и выходим на крыльцо. Хозяин, который нас провожает, стоит на крыльце в шапке, но в одной рубахе, смотрит на меня и, улыбаясь, говорит:

— Что ж, барчук, теперь, значит, до весны в город?

— До весны, — говорю я, — да ведь весна скоро!

— Скоро, скоро! — соглашается мужик.

Мы опять едем мимо черных сельских изб, по буграм, с которых катаются мальчишки на «ледяшках», по лугам, где на высоких лозинах качаются грачиные гнезда, а около горбом наросших краев проруби бабы бойко полощут белье в темной, студеной воде и звонко переговариваются…

Но уже и село кончилось. Впереди только поле, белая пелена пушистого снега. Сколько его набило за ночь в лощинах!.. В поле опять стало ветрено; ветер заносит в сторону гривы и хвосты лошадей, дорога тяжкая; но лошади застоялись, они как будто рады ветру и простору полей и быстро несут нас вперед… Небо сплошь закрыто облаками, вдалеке чернеет лесок.

— «Оттепели начались», — думаю я.

И мне представляется, как теперь надолго пойдут эти серые дни, когда на межах в пустой степи уныло качается прошлогодняя полынь от ветра. Но все-таки весна близко! Этот же ветер скоро станет теплее, а когда наступит

март, — шумно и весело пойдет он по березовым лесам в блеске весеннего солнца, пробуждая природу от зимнего сна. А потом загремят по оврагам полые воды, налетят с далекого юга птицы, зазеленеют поля…

— Хорошо в полях!..

Печатается по: ***Детское чтение. 1898. № 1. С. 87–96***

Свиданье

Посвящается М. П. Ч.[107]

Перед закатом шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытую форточку в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко разрастаясь, когда молния красным блеском мелькала по залу, от нависавших туч темнело, а часы показывали половину двенадцатого, и трудно было понять, — действительно наступают сумерки, или это только так кажется. Потом приехали с поля в мокрых чекменях[108] работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу блеяньем ягнят. Бабы с криком бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; запыхавшийся пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях раз десять пробежал по саду, гоняясь за коровой и почти с головой пропадая в облитых дождем лопухах, когда корова с треском кидалась в чащу… Наступала ночь, дождь прекратился, но отца, ушедшего в поле еще утром, все не было.

Я была одна дома, но я, по обыкновению, не скучала; мне только сравнялось тогда семнадцать лет, и я еще не успела насладиться ни своею ролью хозяйки, ни своею свободою после гимназии. Брат Паша учился в кадетском корпусе[109], Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске, так

---

[107] Первоначально рассказ посвящен Марии Павловне Чеховой (1863–1957), сестре А.П. Чехова и хорошей знакомой Бунина. Об этом посвящении упоминает она сама в своих поздних мемуарах (*Чехова М.П.* Из далекого прошлого. М.: Госполитиздат, 1960. С. 242). Начиная со второй редакции рассказа (1907, заглавие изменено на «Счастье») посвящение снято. Н.Ф. Иванова, посвятившая несколько статей, а затем и книгу личным отношениям Бунина с сестрой Чехова, считает, что во второй редакции Бунин «уберет из рассказа личностно-сокровенное» (*Иванова Н.Ф.* Иван Бунин и Мария Чехова. М.: б.и., 2023. С. 182), поэтому снимет и посвящение. Кроме того, близкая дружба Бунина и М.П. Чеховой к этому времени практически завершится. М.А. Дмитровская, напротив, полагает (выстраивая довольно туманную систему аргументов), что новое заглавие «Счастье» связало рассказ Бунина с чеховской традицией, поэтому посвящение стало излишним (*Дмитровская М.А.* Почему И.А. Бунин снял посвящение М.П. Ч<еховой>? Рассказ «Счастье» («Свиданье», «Заря всю ночь») // Практики и интерпретации. 2024. Т. 9 (2). С. 136–147).

[108] Чекмень — длиннополая крестьянская верхняя одежда, нечто среднее между халатом и кафтаном, обычно суконная.

[109] Кадетские корпуса — военные средние учебные заведения (с 1863 по 1882 гг. именовались военными гимназиями), в которых обучались юноши, желающие в дальнейшем делать военную карьеру (поступать в военные училища). Кадеты учились и проживали в кадетских корпусах на полном пансионе.

что мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму и весну в уединении. Однако зима прошла спокойно и незаметно, потому что я переживала тот период молодости, когда все кажется интересным. Я была здорова и красива, я нравилась самой себе… нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. На ходу и за работой все выходило у меня как-то само собою. Напевая, я сочиняла собственные мотивы, которые меня трогали; увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась… И кажется, все было мне к лицу, хотя я одевалась просто.

Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки и шлепая калошами по лужам, побежала к варку[110], где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав и зеленей доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся «людской». На минуту я заглянула туда, — работники, молодые мужики в белых замашных рубахах[111] сидели вокруг большого стола за чашкой щей и при моем появлении встали, — а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала:

— А папа где? Он был в поле?

— Они были ненадолго и уехали, — ответило мне несколько голосов сразу.

— На чем и куда? — спросила я.

— На дрожках, с барчуком Сиверсом.

— Разве он приехал? — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но вовремя спохватилась, только кивнула головой и поскорее вышла. И щеки у меня загорелись, и на душе сразу стало и хорошо, и жутко, и так жаль стало всего, что я любила дома!

Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность[112], и его внезапный приезд и обрадовал и испугал меня. Меня еще в детстве называли его невестой, — мы были соседи, — и в детстве он не нравился мне за это, но потом мне уже нередко думалось о нем как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами и,

---

110 Варок — огороженное место для скота.

111 См. комментарий к рассказу «На даче».

112 Петровская земледельческая и лесная академия (с 1889 г. Петровская сельскохозяйственная академия, с 1894 г. Московский сельскохозяйственный институт) — высшее аграрное учебное заведение. Открыто в 1865 г. в селе Петровско-Разумовское (с 1917 г. вошло в городскую черту Москвы). Отбывал воинскую повинность — т.е. находился определенное время в действительной военной службе в звании рядового. С 1874 г. в Российской империи была введена всеобщая воинская повинность. Все мужчины, достигшие 20 лет (кроме некоторых исключений: единственный сын, единственный кормилец в семье и др.), тянули жребий; вытянувшие жребий поступали на действительную военную службу, остальные зачислялись в ополчение.

как все вольноопределяющиеся[113], с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я уже начала свыкаться с странной мыслью, что я буду его женою. Веселый, загорелый (резко белела у него только половина лба) он был очень мил мне тогда…

«Значит, он взял отпуск», — взволнованно думала я, идя к варку, и было очень приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и в то же время на душе становилось все более тревожно. Чтобы пока не думать об этом, я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но когда я вошла в прихожую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. Почему-то я необыкновенно обрадовалась ему и, быстро войдя в зал, крепко поцеловала ему руку. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесунчовый пиджак[114] закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы.

— Папочка, отчего ты не зажег лампу? — спросила я.

— Не стоит, Натата, — ответил он, называя меня, как в детстве. — Я сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который уже час? Почти десять. Разве стаканчик молока, — прибавил он, кидая шляпу в кресло.

Я опять потянулась к лампе, но он замахал головою и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, выпил молоко медленными глотками. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками нежных и красивых очертаний. Все было неопределенно и на земле, и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасавшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но что-то другое было у меня в голове, и когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею.

— Зачем? — спросила я невольно.

— Свататься за тебя, — ответил отец с принужденной улыбкой. — Мы уже пропили тебя. Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин… Чем вам не пара, сударыня?

— Не говори так, папочка! — сказала я, смущаясь еще более, и на минуту мне стал неприятен весь этот разговор. — Неужели я уже наскучила тебе?

И на глазах у меня навернулись слезы.

Отец долго, но совершенно рассеянно глядел на меня с грустным и задумчивым лицом…

---

[113] Вольноопределяющимися после реформы 1874 г. (см. предшествующее примеч.) назывались лица, поступившие на военную службу добровольно, еще до процедуры призыва и жеребьевки, и служившие на льготных условиях. После 1886 г. вольноопределяющиеся первого разряда (окончившие высшие учебные заведения, как герой рассказа) служили в действительной службе 1 год.

[114] См. комментарий к рассказу «На даче».

— Ну, до этого еще далеко! — проговорил он, наконец, подымаясь.

Потом вздохнул, поцеловал меня в лоб и быстро пошел к дверям кабинета.

— Утро вечера мудренее! — прибавил он беспечно, оборачиваясь в дверях. — Просыпайся завтра пораньше, мне на станцию надо съездить…

И я опять осталась одна.

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали три раза, — значит было уже одиннадцать, позднее время для деревенской усадьбы. Неопределенно улыбаясь, я посидела, подумала…

— Ну, до этого еще далеко! — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало хорошо и легко и как-то счастливо-грустно…

Отец уже спал, — в кабинете было давно тихо, — и все в усадьбе тоже спало. Не спали только соловьи да заря на северо-западе, и мне казалось так естественно провести наедине с ними всю ночь. Что-то блаженно-сладостное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо-прекрасное реяло в далеком полусвете зари… И стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой, машинально съела хлеба с медом и только уже тогда прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь о чем-то подумать, потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал вдруг надо мною «Сиверс!» и, вздрогнув, я очнулась.

— Однако что же это такое? — пришла мне в голову трезвая мысль. — Что, если он в самом деле сделает мне завтра предложение?

Откинув с постели одеяло, я быстро подколола волосы, чтобы поскорее улечься и подумать серьезно, осторожно сняла ботинки, стараясь не стукнуть ими об пол, потом стала раздеваться… И вдруг мысль о муже сладким холодом пробежала по всему моему телу, краска стыда и внезапной страсти залила мне лицо и, спрятавшись под одеяло, я прильнула лицом к подушке, и сознание у меня затуманилось от неизъяснимо-сладкого чувства.

Я лежала долго, без мыслей, точно в забытьи, и только наслаждалась тем, что во мне происходило… Потом стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и снимет в прихожей пальто тихо-тихо, а я уже слышала звук колес и сдержанные голоса под крыльцом и тоже тихо-тихо выйду к мужу навстречу… Как он должен обрадоваться и засмеяться, как он легко поднимет меня на руки, полураздетую, и крепко прижмет к сердцу!… И мне

уже стало казаться, что я люблю его. Муж! Какое это большое и хорошее слово!… Я крепче прижалась к подушке, не теряя нити сладких чувств и мыслей, и мне уже мучительно стало хотеться осуществления их. Сиверса я знала тогда мало, мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более неопределенным, красивым и желанным. Было тихо, темно, я лежала не двигаясь, лежала долго и все более теряла чувство действительности. «Что ж, малый красивый, умный…», — приходили мне в голову слова отца. И я улыбалась, глядя в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица. «Милый!» — повторила я несколько раз с наслаждением и снова стала забываться в том неопределенном, что происходило во мне…

А между тем чувствовалось, что наступил глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома, — подумала я про горничную, моего большого друга, — я бы пошла сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета… Но нет, — опять подумала я, — так лучше. Как хорошо, что я одна! Я возьму ее к себе, когда выйду замуж…». Что-то робко треснуло в зале… Я насторожилась. Как хорошо, что так жутко и так странно все! И когда я, наконец, открыла глаза, мне показалось, что в зале стало как будто темнее, чем прежде. И все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, — особой ночной жизнью, которая становится так непонятна, когда о ней вспомнишь утром. Соловьи умолкли, — медленно и таинственно щелкал только один, живший в эту весну у балкона, маятник в зале тикал осторожно и размеренно точно, а тишина в доме стала напряженной и чуткой. И невольно прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного ночного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной, и вот мне уже стало казаться, что это непременно случится сегодня. А что если он не шутил? Что если он медленно и неслышно подойдет к балкону? Боже мой, — думала я с восторгом, — что можно было бы отдать за такое счастье!

Облокотившись на подушку, я смотрела в зыбкий сумрак гостиной, и лицо у меня горело от волнения, и я минута за минутой пережила в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона. Соловей поет с такой затаенной страстью, в саду все так напоено ароматом, — и вот я едва слышно отворяю ему балкон, и он уводит меня по сырому песку аллеи все дальше от дома, в глубину мокрого сада, в душистую сиреневую беседку… Сколько раз я мечтала в молодости о таких свиданиях, начитавшись стихов плохих поэтов, преимущественно воспевающих соловьев и свидания, и как странно, что за всю мою молодость я пережила только одно вымышленное свидание!

Точно во сне, — только в глубине души сознавая, что я делаю глупости, обманываю себя, как ребенка, — я стала медленно, подавляя внутреннюю дрожь, одеваться. Куда? К нему, — отвечала я себе твердо и радуясь тому, что я мысленно произношу это с такой решительностью. — Все может быть, все может случиться… В августе, в жаркую темную ночь, я вот так же не спала и томилась, а он бродил по деревне и всю ночь пел где-то далеко казацкие песни. Разве это не может повториться? И помню, никакого стыда у меня не было, когда я собиралась. Зубы у меня изредка стучали, лицо горело, но я одевалась тщательно, нашла в темноте все, что нужно, накинула шаль на плечи и, выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем, как вор, остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эха, сильно и бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно и глубоко вздохнула душистой сыростью ночи.

По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки я уверенно и быстро, хотя и затаивая внутреннюю дрожь, пошла в полусвете зари, затемненном тучками на севере, прямо к гуще в конце сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой, только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, с которой я не спускала глаз, сердце у меня замирало от нервного волнения, и когда я, наконец, вошла с бьющимся сердцем и расширенными глазами в темноту сиреневой беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко возьмет меня в объятья!

Никого, однако, не было, и постояв, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий сонный лепет осин, я, наконец, села на сырую скамью беседки и крепко закрыла горящее лицо холодными руками. Я еще чего-то ждала, ждала долго, хотя уже почти безнадежно, и порою быстро взглядывала в сумрак рассвета. И еще долго близкое и неуловимое веяние счастия чувствовалось вокруг меня, — то нечто страшное и большое, что в тот или иной момент встречает почти всех нас на пороге жизни. Оно вдруг раскрылось предо мной и коснулось меня и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, впрочем, что все те нежные и сладкие слова, которые раздавались в моей душе и к которым я прислушивалась сама, вызвали, наконец, на мои глаза слезы. Прижавшись к стволу тополя, я тихо целовала мокрую ветку сирени, ловила, как чье-то нежное утешение, слабо возникающий и замирающий лепет осины и была почти счастлива сознанием своей молодости и одиночества и своими медленными, беззвучными слезами…

Ночь тянулась еще долго-долго, и я проследила весь ее сокровенный переход к рассвету. Я видела, как сумрак стал бледнеть и таять, исчезая, точно

призрак. Видела, как заалело непогожее белесое облако на севере, сквозившее сквозь вишенник сада, в отдаленье. Свежело, я крепче куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глазах делался все больше, дрожа, вставала чистая, как слеза, яркая и целомудренная утренняя звезда. Я ни о ком уже не думала и чувствовала, что, скорее всего, я ни за кого не выйду замуж. Но кого-то я любила, — кажется, больше всего себя и то неосуществимое, чего мне хотелось. И любовь моя была во всем: в холоде и аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой яркой утренней звезде… И вдруг послышался резкий визг водовозки[115], — кто-то ехал мимо сада на речку… Потом на дворе кто-то крикнул сиплым, но свежим, утренним голосом… И сразу затаив где-то глубоко в душе все, что мне дала эта ночь, я встала со скамьи, машинально выбралась из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь, и, войдя в теплую темноту своей спальни, не раздеваясь, тотчас же легла в постель и заснула.

Сиверс, который пришел к нам утром, стрелял в саду в галок, а мне казалось, что в мою комнату вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне спать крепко-крепко. Когда же я, наконец, проснулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом к моим дверям подошли отец и Сиверс, и Сиверс весело крикнул мне:

— Наталья Алексеевна! Стыдно!

А мне, и правда, было стыдно, — стыдно выйти к нему после моей странной ночи, стыдно, что я откажу ему, если он будет просить моей руки, и неловко торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, вероятно, не расслышал.

Печатается по: ***Русская мысль. 1902. Книга VII. С. 161–168.***

[115] Водовозка — телега с большой бочкой, в которой вода привозилась из ближайшего водоема в усадьбу, деревню и пр.

Кукушка

I

Лес был небольшой, но красивый, особенно ежели принять во внимание, что вокруг него была бедная местность: поля да косогоры, кое-где поселки у оврагов, дубовые кусты в лощинах, хутора мелких помещиков и одинокая мельница-ветрянка на западном горизонте, на далеком возвышении. Правда, поля были волнистые и сменялись лугами («верхами», по-орловски), но это были совсем голые и глухие луга.

Большой Кастюринский «верх» разветвлялся к северу на два рукава. Один из них был покрыт по отлогим бокам кустарником и далеко тянулся однообразным логом. Скучно в нем было, особенно осенью! Едешь, бывало, в синеватый, пасмурный денек на охоту среди этого пустынного лога и видишь перед собою только низкое небо да пожелтевший кустарник. Ни птицы, ни зверя, — один ветер шелестит дубовой листвою…

Зато другой был гораздо веселей и живописней. Тут-то и находился лес. Оттого, что лес давно не подчищали, в нем было много густого подседа: орешников, осинников и молодых березок. Были, кроме того, овраги, где громоздились серые камни, были провалы, заросшие «глухой» крапивой, мелкий пруд, окруженный верболозами, позабытый пчельник и старая караулка, — почерневшая изба с горбатой крышей. Пустые деревянные ульи на пчельнике, прикрытые камнями и похожие на грибы, стали от времени голубовато-серого цвета, а в караулке покосились окна, двери и даже самые стены… Прошлой зимой в ней поселился старик-солдат Кукушка, а в одном из оврагов за прудом привела двух детенышей волчица.

Наступал вечер теплого и серенького февральского дня, когда работник с Кастюринского хутора привез Кукушку в караулку. Лес утопал в молодом, рыхлом снегу. Перед вечером опять начинало порошить, и деревья, наполнявшие лощины и овраги, были слегка затуманены, а в отдалении, в конце луга, сливались в неясные чащи мутно-сизого цвета. Лошадь тяжело брела по сугробам. Кукушка дремал, хотя ему было холодно в истрепанной шапке, обвязанной по ушам тряпкой, и в заплатанной шинели. Старчески-серьезное и сонное лицо его посинело. Озябшими руками он держал петуха и кошку, а за розвальнями бежали еще два сожителя Кукушки: барский Цыган, черный, с белым жилетом, и Кукушкин Мурзик, небольшой звонкоголосый кобелек, одетый в очень пушистый, рыжеватый мех. Почти около каждого кустика он рассеянно поднимал заднюю ногу и опять бежал, беспечно задрав свой лохматый хвост.

Подъехав к караулке, работник помог Кукушке снести в нее кое-что из провизии и хозяйственных принадлежностей, закурил цыгарку, надел рукавицы и, ставши в розвальнях на колени, равнодушно повернул лошадь в обратный путь.

— Смотри, как бы у тебя Цыган-то не ушел! — крикнул он на прощанье. И Кукушка остался один…

Когда на дворе стало смеркаться, в холодной караулке было уже совсем темно. Мрачно глядела пустая изба, старая, низкая, с маленькими окошечками и огромной печью. Но на Кукушку это не произвело никакого впечатления. Тому, кто ходил под дождем, ветром и снегом побираться, всякая изба покажется уютной и веселой, а Кукушка уже давно проводил где день, где ночь под чужими кровлями. Теперь же он был надолго защищен от холода и голода. Жалованья ему назначили 17 р. в год, а кормили совсем хорошо. Кроме того, ему дали валенки, старую баринову тужурку и полинявший дворянский картуз. Кукушка был очень доволен, очень успокоен своим положением, и теперь ему оставалось только затопить печку и получше устроиться в караулке. Но разве долго было это сделать?..

Дубки тихо гудели в белесоватой темноте зимней ночи; пахло февральской свежестью, и, когда Кукушка вышел в одной рубахе из сенец за угол, навстречу ему понесло холодом и мокрыми снежинками. Но зато с каким удовольствием вбежал он в избу, которая стала просто неузнаваема за какой-нибудь час! Она уже совсем успела нагреться и слабо, но весело была озарена яркой пастью печки. Длинные огненные языки вырывались из нее и лизали устье, а черные стены избы, прежде топившейся по-курному[116], трепетно блестели, как растопленная смола. Кошка примостилась на конце лавки, съежилась и жмурилась, мурлыкая и задремывая. Петух, разбуженный огнем, но совсем еще сонный, машинально бродил по соломе, накиданной на полу, в теплом кругу света, возле печки… Приятно пахло дымом сырых березовых дров и соломы.

— Ах, волк те съешь! — крякнул Кукушка со старческой веселостью и передернул плечами.

Пока варились картошки, он нарубил дров на завтра, настелил на печку соломы, потом во всю краюшку отрезал ломоть хлеба и сел ужинать. Ел он пристально, с жадной неторопливостью нищего, но, когда картошка попадалась уж очень горячая, он прожевывал ее поспешно, открывая рот и ухитряясь во рту дуть на нее. Приятная мысль о том, как он неожиданно и хорошо устроился, не покидала его… А когда ужин был кончен, он понес собакам в сенцы корки; опять озяб, жестоко ударил ногой Цыгана, бросившегося на Мурзика,

[116] Топить по-курному (по-черному) — традиционный способ отопления помещений, при котором печь не имеет дымохода (а дом трубы). Дым из печи заполняет помещение, поднимается вверх, прогревает стены и потолок, а затем выходит через небольшое волоковое окно или приоткрытую дверь.

и, возвратившись в избу, долго молился в благодарность за нынешний день, с особенно грустным и покорным видом, на большую икону, стоявшую в переднем углу на лавке. Изображение на почерневшей доске иконы было старинное, и Кукушке было жутко глядеть на него. Он искренно просил Бога даровать ему скорую и тихую кончину.

— Брысь, домовая! — сердито крикнул он среди молитвы на кошку, вспрыгнувшую на стол. Потом, кряхтя и охая, взлез на печку и, укрывшись шинелью, тотчас погрузился в дремоту.

И все стало сонно и тихо вокруг.

Чтобы не угореть, он не закрыл трубы и не задвинул печки заслонкой. Дрова и солома между тем прогорели, и свет от угольев медленно умирал в тихой темнеющей избе. Темнота сумрачно сгущалась, отовсюду надвигаясь к печке.

Скоро в ней остался уже только один раскаленный уголь. Тишина, казалось, замерла в ожидании чего-то… Тогда темнота подошла к самому устью, и уголь, как закрывающийся глаз, долго глядел на нее, озаряя лишь своды… Наконец, и этот слабый свет померк. В печке краснела чуть заметная точка, и во всей избе стало темно и холодно. Ветер шуршал соломой по крыше и заносил снегом окна. Окна тускло серели во мраке… И вот кто-то подошел и заглянул в них. Чья-то высокая тень мелькнула мимо окон, возвратилась, прильнула к стеклам и опять скрылась…

— Господи Исусе Христе! — пробормотал Кукушка с удивлением и страхом. Он заснул крепко; но старое тело, разогревшись на горячей соломе, скоро заныло — томительно и приятно, — и Кукушка полуоткрыл глаза. Кто-то высокий заглянул в окно, и Кукушка вдруг заметил это. Он хотел приподняться — и не мог, и не понимал, где он. Чувствовал только все больше, что он где-то в глухом и страшном месте… А тень вдруг опять появилась и медленно скрылась…

— Кто там? — хотел крикнуть он, собрав последние силы, но вдруг махнул рукой и сразу очнулся… Да ведь это он в караулке лежит! А тень — просто притуга, оборвавшаяся на крыше![117]

Он закашлялся и закряхтел с недовольной улыбкой, но нарочно, как можно громче, вздохнул совсем облегченно и опять закутался шинелью. Приятная усталость обняла его и тихо закрыла веки. Хорошо на теплой печке старому телу! А тут еще петух огласил избу громким криком, смело и спокойно забил крыльями, и что-то родное, дружеское было в этом крике, нарушившем тишину зимней полночи.

Ветер по-прежнему шарил по крыше, и притуга по-прежнему, заглядывая в окна, качалась по ветру. Собаки, стараясь улечься поуютнее, возились в сенцах.

---

[117] Притуга — длинная жердь, хворостина или веревка, используемая для прижимания кровельного материала (соломы, тростника, теса), чтобы его не сдувало с крыши.

Но Кукушка уже ничего не слыхал и не видал; чувствовал только приятную тяжесть и теплоту кошки, свернувшейся на его ногах, и засыпал глубоким сном.

А в лесу в это время важно и ровно усиливался гул метели по вершинам, побелевшим от снега, и волчица, сверкая огоньками своих зеленоватых глаз, таинственно пробиралась по лугу мимо караулки. Она утопала в холодных пушистых сугробах, но шла все глубже в чащу леса, намереваясь надолго поселиться по соседству с Кукушкой в одном из глухих и потайных оврагов.

II

— Что ж, не заскучал еще? — спрашивал барин, когда Кукушка пришел к нему однажды попросить деньжонок. Кукушка не был глух, но барин говорил громко, тем тоном, которым говорят с глухими и с дурачками.

— Никак нет, ваше благородие! — прошамкал Кукушка. — Мне и веку-то осталось чуть-чуть, — когда мне скучать таперь?

Барин нахмурился.

— То-то «таперь»! — передразнил он Кукушку и отвернулся. — Стар ты, — у тебя из-под носу тащат… Семен говорит, опять в вершинке три дубка срезали. Всю осень почти мальчишка сидел — не трогали, а тут старик — и то черт знает что!

Кукушка смутился, испугался и обиделся. Он стоял на пороге зала и лакейской и производил странное впечатление своим нищенским видом в барском доме. При словах барина он подтянулся и забормотал с раздражением:

— Какие ж такие мои года, ваше благородие? Дубки правда, что срезаны, только это никак не при мне… Это все приказчик мутит… Мне давно один человек сказывал…

— Так то-то я и говорю, посматривай! — перебил барин уже спокойно, но очень громко.

Тон его поразил Кукушку, и он опять смутился: не наговорил ли чего лишнего? Он улыбнулся неловкой улыбкой и поспешно прибавил:

— Известно, изо всей мочи надо смотреть… А скуки мне никакой нетути, ваше благородие! В лесу еще теплей зимою…

— Конечно, теплей, — согласился барин. — Денег я тебе сейчас вынесу.

Он ушел в кабинет, и Кукушка облегченно переступил с ноги на ногу. Бог даст, обойдется!

В это время из кабинета нерешительно вышли Митя и Коля. Коля, небольшой круглоголовый мальчик, заискивающе улыбался. Характер у него был добрый и веселый, но робкий. Митя, напротив, всегда старался быть решительным. Он был с резкими чертами лица, худее и выше Коли. Теперь он усиленно хмурился; но видно было, что они смущены оба, потому что оба подходили, застенчиво перегибаясь назад.

Кукушка улыбнулся и наклонился к ним. От этого Коля растерялся, а Митя покраснел и вдруг проговорил, сурово отчеканивая, по своему обыкновению, каждый слог:

— Вы опять в лес поедете?

— В лес, барчук, в лес, — отвечал Кукушка ласково.

— А на охоту ходить вы умеете?

— Как же мне не уметь, барчук, — сколько годов в солдатах был!

Митя повертел махры пояса и взглянул на Кукушку уже с нескрываемым любопытством. Помимо охоты, его очень занимала грубая, нищенская одежда Кукушки и то, что от Кукушки пахло курной избой и нюхательным табаком.

— А собаки у вас есть? — продолжал он, опять нахмуриваясь. — Только один наш Цыган?

— С одной собакой в лесу нельзя, барчук…

— Отчего нельзя?

— Не управится одна… У меня еще Мурзик есть. Шустрый кобелек!

— Мурзик? — воскликнул Коля, и его маленькие карие глазки засверкали удивлением и радостью. — А какой? Ты приведешь его к нам?

— А кто кого победит? — перебил его Митя уже совсем оживленно, — Мурзик или Цыган? Вы можете стравить их?

— Цыган один на один на гуся на бой выходил! — со смехом сказал Коля. — Гусь в сенцах на яйцах сидел, а он пришел, а он ка-ак на него бросится!..

Дети заговорили наперебой, торопясь и засыпая Кукушку вопросами. Кукушка тоже увлекся. Он стал рассказывать им о Мурзике, об охоте и вдруг, осененный счастливой мыслью, прибавил:

— А я вот что, барчуки, когда такое дело, — как только, Бог даст, лето придет, волченят вам принесу!

Дети запрыгали от радости.

— А зайца? — кричали они. — Лучше зайца, ястреба и волченят!

— Зайца, барчуки, не поймаешь, а вот волченят можно.

— А когда? Завтра?

— Да их еще нетути, небось…

— Отчего? Не вывелись?

— Не вывелись, не ощенились… Я… только волчицу надысь видел.

— А после?

— После беспременно принесу, в мешке притащу, — повторял Кукушка, действительно, решившись принести детям волченят и тем угодить барину. А когда и сам барин добродушно одобрил эту мысль, Кукушка совсем успокоился: порубка дубков прошла, значит, благополучно… Он не знал, что барин говорил после его ухода:

— В детство впал старик. Только до лета и держу… У меня не богадельня.

Он бодро ковылял по снежным полям к лесу. Скучно, говорят! Какая такая может быть скука, ежели сыт и тепел? Да и не впервой ему сидеть в караульщиках!

Он был приемыш, за что его и прозвали Кукушкой. В детстве он стерег скотину в качестве подпаска, в юности — в качестве пастуха, и, значит, каждый год проводил месяцев по шести вдали от людей. Потом взяли в солдаты. Возвратясь в родную деревню, он женился и попробовал зажить жизнью «настоящего» человека. Но из этого ничего не вышло. Он нанимался в будочники на чугунку, в конюхи, в работники — отовсюду его скоро увольняли. А жена его бросила чуть не через полгода после свадьбы.

— Шатается, как волк, — говорили про него мужики. — Непутевый малый!

И вот в том, что почти все отзывались о Кукушке таким образом, и заключалась одна из главных причин его непригодности к службе и работе. В кличках, которыми награждали Кукушку («шалава», «неудельный», «лодырь», «с дурью») была большая доля правды. Он действительно не отличался умом; но от кого ему было научиться разуму? Он был не «серьезный», не «хозяйственный» человек, но ведь он с детства слышал эти клички, с детства привык смотреть на себя, как на «неудельного», обездоленного человека и невольно стал таким. Он был, наконец, ленив, раздражителен, любил выпить, жить спустя рукава; но все эти качества естественно вытекали из его участи… И кончилось тем, что его стали нанимать только на самую незначительную службу: на огороды, в сады, в ночные караульщики. Время от времени он стал и побираться. В летние ночи, когда колотушка его постукивала в тишине темной деревни, он бродил, напевая сиплым, задушевным голосом-фальцетом. Тогда слышалось в его песне что-то хорошее и грустное, укор кому-то, но неясный укор, потому что Кукушка не любил долго и серьезно раздумывать о своей судьбе. Теперь он был уже стар и дряхл, но ему еще очень хотелось пожить поспокойней и получше. А в караулке ему было пока очень хорошо. Да и весна прошла дружно, весело.

Все время держалась настоящая весенняя погода. По ночам подмораживало, и звезды усеивали темное небо. Но они уже не были так крупны, как зимою, и блестели чаще и нежнее. В ночном воздухе чувствовалась какая-то легкая весенняя свежесть. А дни стояли солнечные, и лес весь день рисовался на голубом безоблачном небе. С утра ветерок по-зимнему резко развевал дым над трубой караулки. Заря ярко краснела из-за черного леса. Но по мере того, как подымалось солнце, день теплел и веселел. В затишье сильно пригревало, и южная сторона избы и завалинка около нее оттаяли и потемнели. А потом около грязного порога образовалась лужа, корни деревьев окружились проталинами, прилетели жаворонки, снег в полях разрыхлел и начало таять, как следует. Солнце наполняло караулку ярким блеском.

В такие дни Кукушка с особенным удовольствием сидел на лавке у окошка. Обойдя на заре лес, он тотчас принимался за топку, и к полудню обед был го-

тов. Тогда он ставил чашку со щами на подоконник и ел, пригреваемый солнцем. За стеклами, которые дымились светлым паром, сидел на завалинке Мурзик и умильно глядел на еду. Кошка лезла к самой чашке, и Кукушка иногда больно, но ласково бил ее мокрой ложкой в лоб. А в избе было тепло, светло и вкусно пахло щами.

После обеда он спал или опять садился к окну, чинил одежду, подшивал свиной кожей валенки или промывал ружье. Иногда, когда на душе у него было особенно покойно, он много-много раз на разные лады повторял начало своей любимой песни:

«Смолкни, пташка-кинарейка!..»[118]

Но увы! эта мирная жизнь должна была скоро кончиться.

III

Однажды вечером, в начале апреля, когда в лесу весь снег уже насытился водою, Кукушка возвращался домой из обхода. Что-то заставило его поднять голову, и взгляд его упал на противоположную сторону луга, по скату которого он шел. Огромная волчица стояла там и, насторожившись, неловко согнув свою лобастую голову с чутко торчащими ушами, исподлобья и пристально смотрела на него. В полусвете сумерек она показалась ему большой желто-серой собакой. Но когда волчица повернулась, подскакнула и с опущенным хвостом неуклюжим скоком пошла вон из лесу, Кукушка растерялся, закричал, хотел даже выстрелить… Однако скоро спохватился и опустил ружье.

— Ах, волк те съешь! — сказал он с досадой, вспомнив, что обещался принести детям волченят. — Не стоило опугивать! Надо выследить, где ее нора.

Полая вода надолго помешала ему. В тот же вечер мутно-синеватая туча с запада закрыла все небо, и ночь наступила темная-претемная. А проснувшись перед рассветом, Кукушка услыхал, что шумит проливной дождь: значит, началась настоящая весна… По лугам долго бушевали потоки, и Кукушка не решался забираться в глухие места по топкому снегу. Только уже после Святой он каждую ночь стал выходить перед рассветом к северной опушке леса и так увлекся, что иногда по целым часам стоял на одном месте, прислушиваясь, не раздастся ли где-нибудь визг или подвывание, которым обыкновенно обмениваются волченята с матерью. Он не был еще уверен, точно ли волчица поселилась в его лесу.

---

[118] Романс «Смолкни, пташка-канарейка» написан А.Е. Варламовым (1801–1848) на стихи известного актера Н.Г. Цыганова (1797–1832). Время создания относится к эпохе 1820–1830-х гг., основная тема романса заключена в следующих стихах: «Уж ко мне не воротиться / Красным дням весны моей!..». Речь в оригинальном тексте идет о том, что «Радость-младость миновалась», но герой рассказа, вероятно, переосмысляет стихи с точки зрения наступившей старости и прошедшей жизни.

Волченята между тем росли. Они прозрели и часто выползали теперь из норы. Они весело ползали и визжали, как щенята; а волчица сидела и ласково лизала их. Она холила, растила их и каждую ночь приносила к рассвету какую-нибудь добычу, — преимущественно дохлых птиц. Но они приветствовали ее таким слабым визгом, что Кукушке он совсем не был слышен.

Тогда Кукушка решился действовать более энергично. Раз утром, позавтракавши, он запер сторожку на замок и отправился в село. Там он до позднего вечера проходил по знакомым мужикам, побывал у лавочника, у овчинника и везде просил «белого камня», т. е. мышьяку, таинственно рассказывая всем, что хочет уморить волчицу. Но «белого камня» ни у кого не оказалось. Овчинник посоветовал ему, однако, отправиться в Веригино и обратиться к мельнику, известному крысомору. Не долго думая, Кукушка последовал совету. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, он решился переночевать в селе и завтра же побывать в Веригине. Возвращаться в караулку было не по дороге. Но и там его ожидала неудача: крысомора не оказалось дома.

И вот только поздним вечером на другой день он явился в лес, зарядил ружье картечью, поужинал одним хлебом и лег спать, твердо решившись отправиться в овраги на удачу и взять у волчицы детенышей с бою.

Спал он крепко, но перед рассветом внезапно очнулся. «Пора»! — решил он и тотчас же слез с печи, взял ружье, захватил кусок хлеба и, кликнув Мурзика, зашагал к оврагам. Совсем еще была ночь, только по какой-то особенно чуткой тишине чувствовалось, что рассвет близко. Не совсем просохло, и земля перед рассветом подмерзла. Легкая прохлада была напоена запахом догнивающих прошлогодних листьев и первой зелени, которой, словно кружевом, был одет чернеющий в прозрачном полумраке лес. Робко и осторожно мерцала на побледневшем востоке серебряная утренняя звезда.

Вдруг откуда-то раздалось слабое повизгиванье. Кукушка насторожился и замер на месте. Мурзик тоже остановился, однако не залаял. Визг повторился и даже с притявкиваньем. «Они»! — подумал Кукушка и, сопя, взвел курок. Если волчиха дома, надо положить ее с одного выстрела, а не то плохо будет… И с бьющимся сердцем он медленно стал пробираться по орешнику к оврагам. Вот уже можно различить камни, кустарник и самый глубокий лог оврага.

— Мурзик! — вполголоса кликнул Кукушка собаку. И тотчас же, как бы в ответ ему, Мурзик залился звонким лаем, бросился вперед, отскочил назад и завыл, захлебываясь от волнения. Тогда Кукушка, уже не помня себя, побежал к оврагу. Каждую секунду он ожидал, что из-за камней выскочит волчица и держал наготове ружье. Вдруг что-то с визгом шарахнулось из-под его ног. Он остановился и увидал двух маленьких головастых волченят, которые в страхе прижались к камням и, ощетинившись, дико смотрели на него.

— Мурзик, куси! — закричал Кукушка, оглянулся, нет ли волчицы, — и не успели волченята опомниться, как уже оба были в мешке. Они отчаянно

визжали и барахтались в нем, но Кукушка, не обращая на это внимания, перекинул мешок через плечо и почти бегом пустился к дому.

В тот же день перед вечером вся дворня на Кастюринском хуторе толпилась в конце сада около картофельной ямы: торжественно заключали туда волченят, и Кукушка был героем дня.

— Лестницу-то, лестницу-то подставляй! — кричал он тоном командира, и, когда лестница была спущена в яму, сам поспешно слез по ней и развязал мешок. Волченята выскочили из него, фыркнули и в диком ужасе прижались к стене.

— Барчуки, гляньте-ка сюда-то! — кричал Кукушка глухим голосом из ямы; а дети уже давно, раскрасневшись, чего-то боясь и волнуясь, не спускали глаз с волченят.

— Митя, они голодные! — заикаясь, говорил Коля. — Пойдем скорей, принесем им говядины!

А Кукушка, вылезши из ямы, в сотый раз рассказывал, как он изловил зверьков. Сам барин был заинтересован его рассказом, и Кукушка земли не чаял под собою от радости. Когда же ему поднесли водки и накормили, он отправился в лес с какой-то непонятной храбростью и всю дорогу пел свою песню про «кинарейку».

Но то, что ожидало его в лесу, положительно ошеломило его. Подходя к караулке, он еще издали увидел приказчика, рыжего толстого мужика в пиджаке и длинных сапогах, ехавшего из луга к нему навстречу. Кукушка остановился около избы и уже приготовился и ему рассказать историю про волченят.

Но приказчик, подъехав к караулке, медленно и не глядя на него, слез с дрожек, замотал за передок вожжи и тогда уже только направился к избе. Он подошел к самому лицу Кукушки и вдруг усмехнулся.

— Ну что? — сказал он тихо, — поймал волченят?

— Поймал, — ответил Кукушка дрогнувшим голосом.

— А шесть березок ты поймаешь, какие улетели, пока ты путешествовал?

— Какие березки? — пролепетал Кукушка.

— Какие? — переспросил приказчик, бледнея от гнева, и вдруг со всего размаху сшиб с Кукушки шапку.

Кукушка закричал диким голосом и побежал под гору.

Но приказчик не погнался за ним. Сопя и задыхаясь, он размотал вожжи, сел на дрожки и, ударив по лошади, шибко покатил по дороге вон из лесу.

— Я с тобой управлюсь еще! — крикнул он на прощанье.

IV

Кукушка недели две пролежал в караулке, прикидываясь совсем больным. Сначала он хотел подавать жалобу к мировому, потом идти жаловаться ба-

рину… Но барин сам приехал в лес. Тут-то и прикинулся Кукушка совсем умирающим. Он плакал и говорил, что приказчик «убил» его. А приказчик с холодным спокойствием советовал ему побояться Бога, не «брехать» на старости лет, потому что он, приказчик, вовсе не бил, а только замахнулся на него.

— Вас не переслушаешь! — сказал барин, махнув рукой, и прибавил, что караулить лес он пришлет пока работника, а Кукушка может, если хочет, «так» жить в караулке.

Кукушка остался и по целым дням лежал на печке. На него нашло равнодушие ко всему; он только кряхтел, лениво вставал, чтобы поесть, а потом опять ложился и засыпал. Наконец, он жестоко переругался однажды с работником из-за Мурзика, которого работник ударил, и, трясущимися руками завязав в мешок свои пожитки, хлопнул дверью и пошел вон из лесу.

Был ли он на самом деле так сильно болен, как говорил, — неизвестно; несомненно, что он преувеличивал свою хворь, но несомненно и то, что он сильно постарел, пожелтел и похудел за эти две недели. И когда он ковылял по дороге к селу, где вскоре должна была быть ярмарка и, значит, хорошая работа нищим, — он имел вид настоящего дряхлого старика-калеки…

Как-то в конце июня он навестил Кастюринский хутор. На дворе его окружили с громким лаем гончие, и он долго стоял, опустив мешок, не решаясь двинуться вперед и пошвыривая собакам кусочки хлеба. Собаки на лету подхватывали их и опять продолжали лаять настойчиво и упорно, не пропуская его к дому.

Наконец, из «людской» вышла кухарка.

— Проводи от собак-то! — закричал ей Кукушка.

— Да тебе кого надо-то?

— Барчуков. В доме они, что ль?

— Удержишь их в горнице! — ответила кухарка. — Сейчас опять с моим Федькой побегли на пруд. Какие-то плоты строят.

— Так проведи, милая!

— Мне некогда. Они и так не укусят.

Кукушка нерешительно направился к пруду. Собаки до самой плотины проводили его лаем, наконец, отстали.

— Коль, а Коль! — услыхал Кукушка голос Мити, плывшего «на спинке» по пруду. — Стать тут-то?

— Стань! — отозвался Коля с берега. — Только тины достань со дна, а то ты нарочно…

Митя вскинул руками и пропал в воде. Через несколько секунд он вынырнул и опять закричал.

— Дна не достал! Тут страсть глубоко…

Появление Кукушки заставило Митю бросить нырянье.

— Кукушка, здравствуйте! — кричал он, поспешно направляясь к берегу. А Коля уже бежал к Кукушке и сообщал ему:

— Волчонок-то издох; один только остался!

— Что ж так, барчук миленький? Аль плохо кормили?

Митя, с посиневшим лицом, со взъерошенными волосами, с грязью на подбородке, поспешно одевался и говорил, стуча зубами:

— Он был больной. Хотите, мы сейчас пойдем к другому?

— Пойдемте, барчуки, пойдемте!

Все трое отправились в сад, и по дороге Митя опять начал засыпать Кукушку вопросами.

— Кукушка, а Кукушка! а где ж ваш Мурзик-то?

— Потерял, барчук, на ярмарке потерял. Отстал где-то и пропал…

— А ты на ярмарке жил? — спросил Коля.

Митя сердито перебил его:

— Ты вечно, как баба, с своими глупостями! На ярмарке нельзя жить.

И обратившись к Кукушке, спросил:

— Вы уж не будете больше у нас в лесу жить?

— Нет, барчук! — ответил Кукушка, — куда мне таперь наниматься!

— Отчего?

— Ослаб я дюже, стар стал.

— А где ваш дом? В селе?

Кукушка грустно улыбнулся и посмотрел на Митю совсем тусклыми глазами.

— Дом! — сказал он. — Какой же у меня дом, барчук? У меня нетути дома да и не было сроду никогда.

— Отчего? — изумленно воскликнул Коля.

— Не знаю, милый барчук, — видно, не надо.

Дети вопросительно переглянулись и, почувствовав что-то грустное в словах Кукушки, притихли.

— А жены у вас тоже нету? — немного погодя спросил Митя.

— Нету, барчук, ни жены, ни детей.

— Померли?

— Да их и не было никогда.

Это окончательно поставило детей в тупик. Они уже без оживления стали рассказывать Кукушке, как они кормили волченят костями, пирожками, как для них зарезали хромого жеребенка… Но видно было, что интерес к волченятам ослабел у них.

Придя к картофельной яме, все трое стали заглядывать в нее и увидели тощего и шершавого зверька, который сидел, прижавшись, по своему обыкновению, в угол. Он был уже с порядочную собаку, но прежней резвости и прыткости в нем не осталось и следа.

— Он даже мяса не хочет есть, — сказал Коля жалобно. — Зимой он замерзнет, а папа говорит, что в дом его нельзя пустить.

— Известно, замерзнет, — сказал Кукушка, садясь около ямы и нюхая табак.

— Зимой нашему брату плохо, — прибавил он, загадочно улыбаясь в раздумье.

— Какому брату? — спросил Коля.

— Волчиному, — пояснил Кукушка. — Ведь, я, барчуки, тоже вроде волчонка. И название-то мое — Кукушка, значит, нетути у меня своего гнезда. И житье мое звериное. Беспременно я нынешней зимой замерзну. Пойдешь выпимши и замерзнешь.

— Водку выпьешь? — спросил Коля.

— Водку, милый барчук!

— А вы не пейте лучше, — сказал Митя, нахмуриваясь.

— А холодно-то? Рад бы не выпить, да выпьешь. Ходишь-ходишь, снегом тебя намочит, придешь в избу, отогреешься, ан одежа-то мокрая. А пойдешь, хвать, мятель подымется, ослабеешь, выпимши-то, ну, и капут тут тебе!

— А вы живите у нас зимой, — проговорил Митя, еще больше нахмуриваясь и слегка дрожащим голосом, потому что ему было уже до слез жалко Кукушку.

Кукушка засмеялся и покачал головой.

— Ах, милый барчук, — сказал он, опять открывая тавлинку[119] и нюхая табак. — Разве барин возьмет меня? Ведь нищих-то таких, как я, прямо боле тысячи человек в одной нашей округе.

— Да ведь папа одного тебя только возьмет, — перебил Коля.

— Не возьмет, барчук. Так уж на роду мне звериное житье положено. А за что? Ну, зверю — звериная честь, а мы ведь тоже хрещеные люди. Правда, и без меня много народу останется, да ведь и то сказать: мне-то за что ж пропадать? Тоже недаром, небось, мне определено было родиться на белый свет…

И, помолчав, Кукушка прибавил нерешительным голосом:

— А вы вот что, барчуки, попросите лучше у папаши какой ни на есть рубашки старой. Моя-то сгнила, почитай.

Он раскрыл шинель и показал совсем истлевшую мутно-розовую рубашку, из ворота которой виднелась черная и худая грудь.

Дети переглянулись и, ни слова не говоря, побежали к дому.

— Мы сейчас! — крикнули они. Оба они раскраснелись и говорили на бегу:

— Коль, а Коль! Тебе его жалко?

— А тебе?

— Я про тебя спрашиваю, а про себя все равно не скажу.

---

[119] Тавлинка — берестяная коробочка для нюхательного табака.

— Мне жалко, — сказал Коля жалобно. — Папа даст ему рубашку?

— Я две попрошу, — ответил Митя. — Только ты не говори, кому. А то папа сердит был на него.

Через полчаса Кукушка стоял в доме, в лакейской и говорил барину:

— Вот спасибо-то, ваше благородие! Мне теперь эти три рубахи до самой смерти пойдут. А то ведь похорониться не в чем. Все в беленькой-то пристойней положить.

Потом Кукушке дали водки, кусок пирога и четвертак денег. Он долго кланялся, благодарил всех и, наконец, сказал:

— Счастливо оставаться, ваше благородие! Я уж пойду: в Ястребине завтра ярмарка.

Дети пошли его провожать, и по дороге через сад Кукушка стал советовать им выпустить волчонка:

— Выпустите его, барчуки, — все равно он околеет у вас.

— А если он замерзнет зимой? — возразил Коля.

— Небось, не замерзнет. Может, он поправится.

— Хотите мы его сейчас выпустим? — воскликнул Митя.

— Самое лучшее дело!

— А как?

— А лестницу ему подставим, сами спрячемся.

Кукушка положил мешок на траву и отправился с детьми за лестницей к погребу. Совместными усилиями все трое дотащили лестницу к яме, опустили ее туда и сели за кусты.

Ждать пришлось долго. Но вот из ямы показалась голова волчонка. Он нерешительно оглянулся и опять скрылся.

— Он боится, — шептал Коля, замирая от волнения.

— Погодите, барчук! — начал было Кукушка.

Но вдруг волчонок сразу выскочил из ямы, присел и дико оглянулся.

— Улю-лю-лю! — закричал Кукушка не своим голосом.

— Куси его! — подхватили дети разом.

Волчонок шарахнулся в сторону, подскакнул и боком-боком, прыжками побежал из сада в поле.

— Ну, и слава Богу! — сказал Кукушка. — Из-за него, из-за проклятого, меня и уволили, хоть и без него все равно была бы та же честь… А теперь прощайте, милые барчуки!

— А ты не замерзнешь теперь? — спросил Коля.

— Нет, барчуки, нет! — захихикал Кукушка, — теперь не замерзну.

Он кивнул им с ласковой улыбкой головой, перекинул мешок через плечо и, согнувшись, поплелся по полю в ту же сторону, где скрылся волчонок. Долго были видны его спина с заплатой на шинели и дворянский картуз на голове…

А зимой предсказание Кукушки исполнилось. Перед святками его нашли на лугу около леса замерзшим. Видно, он по старой памяти направлялся переночевать в караулку, в которой он провел так хорошо и покойно прошлой весной три месяца.

Но детям не сказали об этом, и они, к сожалению, скоро забыли и о волченятах, и о Кукушке.

Печатается по: ***Всходы. 1899. № 1. С. 24–37.***

Астма

I

— А и глухая же сторона наша! — весело сказал землемер своим грудным, слегка сиплым тенором.

И, наклонившись, худой волосатой рукой подсунул под сиденье тележки, стоявшей возле хуторской конторы, старые пыльные ботики, завернутые в газету.

Был теплый сухой вечер конца августа — вечер среди степных полей, таких задумчивых и мирных в засуху позднего лета, после уборки хлеба. Солнце только что закатилось за вишневым садом, окружавшим контору, и не оставило никаких красок после себя. Разве вот стало бледнее голубое однотонное небо, яснее луна на востоке, спокойнее лиловатые волнистые равнины, да слышнее осторожный треск пересохших за лето стручков акации… Была во всем этом какая-то большая грусть, но землемеру и она была приятна. Все трогало его нынче, но почему — Бог знает. Это чувство, что все хорошо, все восхитительно, бывало у него после долгих томлений в астме… Но астма не душила давно, — уже больше месяца.

Помещик Стоцкий, высокий белоглазый блондин в батистовой косоворотке и лакированных сапогах, посмотрел с крыльца с той благодушной и презрительной улыбкой, которая всегда появлялась у него на лице после двух-трех рюмок. Нынче же их было выпито пять, и угреватое лицо бывшего семеновца[120] стало так сизо, что редкие, белые волосы, тщательно причесанные на косой ряд, казались льняными, а глаза — голубовато-оловянными. И глаза эти с легкой улыбкой оглядели землемера — кожаную куртку на шитой малорусской рубахе, лоснящиеся от времени штаны, заправленные в сапоги, по-цыгански загорелое и волосатое лицо с добрыми блестящими глазами, черную с проседью бороду… Кивнув работнику, державшему под уздцы пару лошадей, помещик ответил:

— Глухая-то глухая, а вот голову-то кореннику надо опустить[121].

Но землемер замахал руками.

---

[120] Помещик Стоцкий ранее служил в Лейб-гвардии Семеновском полку — старейшем гвардейском полку, сформированном Петром I в 1683 г.

[121] «Опустить голову» кореннику (т. е. основной лошади, запряженной в оглобли) означало уменьшить скорость движения экипажа, когда кучер заставляет коренника, бегущего с высоко поднятой головой, опустить голову ниже — для изменения ритма движения или сброса скорости на опасных участках пути.

— Ни Боже мой! — поспешно и весело сказал он мягким грудным голосом. — Люблю, грешный человек, с шиком проехать. Вот свернем на дорожку, да и с Господом.

— Да и курите же вы! — вставил помещик равнодушно.

— И покурить люблю! — ответил землемер, привычным жестом доставая из бокового кармана камышовый мундштук и старый серебряный портсигар с Московским кремлем на крышке.

И, быстро крутя папиросу, еще раз оглядел тележку.

Да, все в исправности! Чуйка[122] на сиденье, сундук с причиндалами — под козлами, тренога[123] — сзади… Про лошадей же и говорить нечего. С закрученными в узлы хвостами и с задранной мордой коренника — прямо щеголи: час езды до неба!

— И, стало быть, прощения просим! — сказал землемер, сняв белый пропотевший по околышу картуз и по-военному щелкнув каблуками. — Тысячу рублей денег и детей кучу! Дай, Боже, и на лето то же.

Вынул и помещик свой портсигар, — плоский, с оранжевым жгутом, с монограммами вкривь и вкось, — и, постукивая мундштуком папиросы о крышку, мутно усмехнулся.

— Живы ли еще будем, господин хороший! — сказал он.

— Что? — воскликнул землемер, поднимая большие черные брови. — Да ни за что не умру! Вы там как себе хотите, а я — пас. Нет на то моего полного согласия.

— Нас-то с вами не спросят, — сказал помещик.

— А без спросу — это уж не тае… не годится.

— Не годится-то не годится, — сказал помещик, — а признайтесь-ка, потрухиваете, небось? Недаром не любите разных там пятниц, понедельников и тому подобного…

Землемер сдвинул кистью руки картуз на затылок и слегка нахмурился.

— По совести сказать, не знаю, — ответил он, глядя в землю. — Боюсь, если говорить правду, всю жизнь — и весьма основательно боюсь. В хоре пел, по покойникам читал, а не привык вот…

— То есть как по покойникам? — спросил помещик. — Разве вы из духовных?

— Отчасти, — сказал землемер. — Дед — дьячок, отец — землемер, а я, верно, в деда. В молодости чуть не всю Библию наизусть знал. Теперь забывать стал…

— Стара стала, слаба стала, — вставил помещик армянским голосом.

---

[122] Чуйка — верхняя мужская одежда в виде длинного кафтана. Чуйки носили мещане, купцы и крестьяне. В данном контексте демонстрирует, что землемер — разночинец.

[123] Тренога (штатив) — важнейшее приспособление в землемерном деле. Используется для фиксации разного рода измерительных приборов.

— Да нет, — простодушно возразил землемер. — Мне ведь всего сорок пятый. А вот — астма! Помните в Долгом коричневого рогатого черта на алтарной двери? Лежит с высунутым языком, а Гавриил наступил на грудь и копьем его… Так вот и смерть: наступит, а ты вывертывайся!

— Ох, какая чертовщина! — прибавил он, закрывая глаза. — Гроб, свечи, венчик… А потом — погост, ночь, холод, темь, лозинки от ветра гудут… А ты лежишь без шапки, в одном сюртучке, весь гнилой, лиловый… Эх, умирать бы по-птичьему, по-звериному!..

— Ну, это уж философия, — сказал помещик. — И звери тут ни при чем. Зверь издох — и дело с концом.

— Вот именно! — воскликнул землемер. — Попроще, понимаете, надо! Я, конечно, в этих штуках — как крот в соломе, но что такое смерть? «Я, Чувиль, веселая…».

Работник, державший лошадей, засмеялся и деликатно отвел глаза в сторону.

Засмеялся и помещик.

— Это еще что за Чувиль такой? — спросил он.

— Да сказка такая есть, — ответил землемер с рассеянной улыбкой. — Жил-был, понимаете, какой-то Чувиль, и выросли у него на яблоньке золотые яблоки. Ну, конечно, с ума сошел мужик, стережет яблоньку пуще зеницы ока… И вдруг в одну прекрасную ночь шасть к нему в сад Баба-яга. Нос крючком, голова сучком, но веселая-развеселая! «Дай яблочка…». Оробел мужик, тряхнул яблоньку… «Нет, ты, — говорит, — из ручки в ручку дай!» И цап его за руку, да в лес, в избушку. А в избушке сидят, понимаете, девки ее простоволосые: Аленка и Акулька. Вот Яга и говорит этак беспечно: «Сжарь-ка мне, Аленушка, Чувиля к ужину, а я пока по делу сбегаю…». Сейчас Аленка к печке, разжарила ее — чертям тошно, посадила мужика на лопату — и трах его в огонь. Да не тут-то было! Уперся хитрый мужичишка боком, никак не всунет его Аленка. «Что ж ты, — говорит, — не лезешь?». «Да я не умею, — ты поучи, как сесть-то». — «У, дурак, да вот так-то!»... А Чувиль — шмыг ее в печь!

— Да и говорун же вы! — сказал помещик. — Вот у нас в полку был некто Шахов, не хуже вас: уморительный субъект!

— Ну-с, — не слушая, продолжал землемер, — та же самая история происходит и с Акулькой…

— Позвольте, — перебил помещик, — я не понимаю: опять, что ли, мужик девку зажарил?

— Ну конечно! — воскликнул землемер. — Да суть-то не в том, а в том, что все-таки добралась Яга до мужика. Посадила на лопату, тащит в печь, да еще и посмеивается: уж и легок же ты, мужик! «А ты кинь, — говорит мужик, — авось навек не налопаешься!» — «Да мне и лопать-то не хочется…». «Вот те на! Так чего ж тебе хочется?» — «А поиграть, да силу твою попробовать: я ведь, Чувиль, веселая!..»

— Хороша, стерва, веселая! — сказал помещик, раздувая ноздри.

Землемер помолчал, рассеянно глядя в землю, и вдруг засмеялся.

— Действительно! — подхватил он, смеясь и думая о чем-то своем. — Действительно! Есть, знаете, у нас в Долгом лавочник и ростовщик, Иван Павлов… Плут первостатейный, но деликатен — на редкость. Ростом под потолок, сюртук — по щиколки, глаза косые, томные… И вот умирает в прошлом году у нашего попа сын… Является Иван Павлов, краснеет, как девица, и говорит: «Имею честь, батюшка, поздравить с новопредставленным!»

— Это великолепно! — воскликнул помещик. — Имею честь поздравить с новопредставленным!

— Так вот, — докончил землемер, — мне все и лезет в голову: задохнешься ночью, а Иван Павлов войдет этак вежливо, поздоровается со всеми за ручку — и радостно поздравит… Но, однако, пора и честь знать. Доброго здоровья, Николай Николаевич! Спасибо за ласку.

— Прощайте, Егор Гаврилыч, — сказал помещик. — Не забывайте.

— Не прощайте, а до свидания! — шутливо подчеркнул землемер, разбирая вожжи.

И легко вскочил в тележку.

Работник посторонился, и лошади сразу тронули рысью. Помещик посмотрел на широкую и слегка сутулую спину землемера и вдруг, посинев от натуги, заорал не своим голосом:

— Домой!.. Домой, тебе говорят!.. Тишка, лови!

Землемер обернулся и увидал со всех ног бегущего работника. Оказалось, что пегий лягаш Кадо выскочил из окна и кинулся следом за тележкой. Но, услыхав крик, тотчас же прижался к земле и виновато пополз в сторону. Землемер посмотрел, как работник ловил собаку за ошейник, и засмеялся, как ребенок.

— Боже, что̀ за чудесный пес! — подумал он с нежностью.

А лошади уже вынесли тележку, мимо картофельных ям и старых ометов, в поле.

II

С полчаса после этого землемер рассеянно слушал ладный топот копыт по гладкой августовской дороге.

Еще светло было, и дорога, убегавшая на восток, между пожухнувшими картофельными клинами, казалась фиолетовой.

Землемер смотрел в даль, где поля мертво замыкались линией узкоколейной чугунки, курил и болезненно и приятно пьянел от каких-то певучих мыслей.

Огромный чистый запад, чуть тронутый розовым тоном над горизонтом, был еще светел. Но сиротливо было в полях. Сиротливо дремали на

кочках кроткие хохлатые жаворонки: услышит топот копыт, сонно побежит по пашне — и опять замрет на кочке… Вяло и терпко пахло картофельной ботвой, горько тянуло дымком откуда-то издалека: это мальчишки стерегут в полях лошадей и от скуки жгут сухую полынь, суволоку… А по дороге попадались корки мелких воронежских арбузов и напоминали о том, что скоро большая осенняя ярмарка в городе и что надо ехать продавать пристяжную, покупать капусту, поправлять зимние рамы — и начинать новый скучный год.

И землемер с певучей грустью посмотрел направо, на пустынные серовато поля, над которыми уже реял чуть серебристый и, как всегда в засуху, рассеянный лунный свет.

— Любопытно, однако, знать, — подумал он, — что это со мною сегодня? Чего это я разболтался и развеселился?.. Положим, не был дома уже две недели… дел переделал кучу… Но все это не то и не то!.. Может быть, водка? Но много ли было выпито? Сущий вздор, — две-три рюмки… Что же, в таком случае?

Но тут лошади стали: шлагбаум на переезде через линию был опущен, — значит, нужно было слезать и стучать в будку.

Спокойный бесцветный свет запада, подобный свету белых ночей, еще отражался в окне будки, и будка показалась землемеру необитаемой, почти страшной с этим тусклым блеском стекол и тишиной вокруг…

— Переезжать ли? — подумал он.

Можно было переехать тут и держать путь на Пальну, Каменку… Можно и возле следующей будки: тогда дорога пойдет по опушке большой Кастюриной Дубровки, а потом по глухим лугам «Ястребин-Колодезь»…

И землемер остановился в нерешительности.

Но послышался ровный медленный скрип телеги. И, взглянув направо, землемер увидал в легком лунном сиянии большую белую лошадь, — старую, седловатую, в гречке, с отвислыми губами. Череп ее был огромен, похож на те лошадиные черепа, что валяются среди бурьяна в южных степях; пук соломы, засунутый под узду, дико торчал возле правого полуприкрытого глаза…

— Куда прешь! — крикнул землемер, замахиваясь кнутовищем.

Но лошадь точно и не слыхала.

Звонко сипя от запала, она прошла возле самого плеча землемера, а за нею показалась скрипучая телега, пахнувшая дегтем и рогожей. Лохматый рыжий мужик, в распоясанной красной рубахе, лежал в телеге вниз лицом, как убитый. Подол рубахи завернулся у него на спину, и видна была голая поясница, а ниже — ошкур низко спущенных порток, крепко врезавшийся в тело.

— Эй, дядя! — шутливо крикнул землемер дрогнувшим голосом. — Ай помер?

Но и мужик не поднял головы, не отозвался на крик.

И землемер, уже не раздумывая, ударил правой вожжой. Тележка чуть не перевернулась от крутого поворота — и шибко покатила возле линии, за которой неясно серебрилось над полями лунное сияние.

По-прежнему на душе было и хорошо, и грустно, и почему-то тревожно... Все благополучно, все слава Богу, но чего-то недостает… Людей, может быть, жилья, приятеля, с которым проговорил бы теперь до рассвета… Хотелось петь, рассказывать свою жизнь… Спросить кого-нибудь: что же, наконец, будет на том свете что-нибудь или нет? Райские яблочки и черти в неугасимом пламени, конечно, вздор… Но ведь вздор и полное исчезновение. Зачем родился? Зачем рос, любил, страдал, восхищался? Зачем так жадно думал о Боге, о смерти, о жизни?

— Зачем, позвольте вас спросить? — сказал землемер вслух.

Существовать на том свете в теперешнем виде он, конечно, не будет. Ибо, если он будет существовать, значит, и эти лошади будут существовать… и мириады мириад всех прочих лошадей, зверей, птиц, жучков, несметных мошек… Но и бесследно исчезнуть он не может. Он этому никогда не верил. Истомлен заботами, болезнью, а жить, сохранить себя хочет жадно. И поминутно трепещет за свою жизнь, во всем чует злобу, тайну, враждебность… Лунный свет в пустынных полях, тишина, темный камень вдали, коренник, который вдруг насторожит уши, — все страшно. Днем, когда вспоминаешь, просто, незначительно, а ночью — страшно…

— Как васильки, — подумал землемер. — Днем синие, а погляди вечером, при лампе: лиловые!

— Пи, пи, пи! — тонко и хищно зазвучало вдруг где-то вверху, в рассеянном лунном свете.

Землемер оглянулся, увидал поле, телеграфные столбы, тусклый блеск, бегущий навстречу ему по рельсам, — и на душе у него стало еще тревожнее. Этот писк, писк кобчика или совки, затерявшийся в лунном свете, напомнил ему, что безмолвный вечер кончился и в полях начинается таинственная ночная жизнь. Кроткие хохлатые жаворонки, проводящие свои последние дни в осиротевшей степи, теперь спят. Но зато проснулись и всю ночь будут с жалким писком голода гоняться друг за другом все эти мелкие и крупные хищники, дремавшие днем на телеграфных проводах, таившиеся во рвах и на лесных опушках… Позевывая, выползла из своей норы в каменистом овраге лисица, вышла на лунный свет и осторожно потянула по скату, поводя пушистым правилом… Электрическими зелеными огоньками вспыхнули волчьи глаза в дубовом кустарнике… И, представив себе красоту этих глаз, землемер почувствовал приступ жуткого восторга перед звериной жизнью.

Да, как жалко тявкает лисица, если она худа, тоща, выгнана из своей норы более сильным зверем, — каким-нибудь угрюмым когтистым барсуком! Как плаксиво и зло скулит соколок голодный! И как томно потягивается и улыба-

ется лисица сытая, с густой лоснящейся шкурой! Каким звонким и дерзким смехом заливается этот тонкоголосый соколок, выбивши добычу у другого, слабого!

— Я, Чувиль, веселая! — вспомнил землемер, зорко глядя на дугу, качавшуюся в звездном небосклоне, и содрогнулся от беспричинной сладострастной жути.

III

Опять лошади стали перед будкой на переезде через рельсы и опять загородила дорогу перекладина шлагбаума.

Но на дворе уже ночь — бледная, сухая, лунная — и будка не похожа на первую. Эта живая, приветливая, манит к себе внутрь, где горит лампа и топится печь: видна яркая пасть печи, пляшущая большими языками красно-оранжевого пламени.

— Эй, добрые люди! — слабо и ласково крикнул землемер, обрадованный жильем. — Пропустите старичка за ради Бога!

И тотчас же ожесточенно, захлебываясь, залаяла возле лошадей маленькая лохматая шавка — и босая девочка, лет шести, скромненько и деловито подошла к столбу шлагбаума.

Загремела цепь, и огромный журавль, медленно и плавно вырастая, потянулся головой к небу.

— Ты будочникова, девочка? — спросил землемер ласково.

— Будочникова, — сдержанно ответила девочка и, наклонив головку и мелко перебирая босыми ножками, пошла поднимать вторую перекладину шлагбаума, за которой лунный свет и пустынное жнивье сливались во что-то легкое, светлое и серебристое, как далекое море.

— А сам будочник дома? — спросил землемер, чтобы проболтать несколько лишних минут с живым существом.

Но девочка, не оборачиваясь, ответила:

— Он у городи.

Землемер постоял, подумал.

— Жалко! — сказал он. — А что это у вас печь топится?

— Мать воду греет, — ответила девочка.

— Ай хлебы ставить?

— Нет, у нас малый помер.

Землемер широко раскрыл глаза.

— Как помер? — сказал он тревожно. — Когда?

— Сичас только.

— А велик малый-то?

— Семой месяц пошел.

Землемер облегченно вздохнул.

— Ну, ничего! — сказал он. — Мать еще родит.

— Да нам его не жалко, — просто ответила девочка. — У нас их пятеро. Да еще одного недавно зарезало.

— Машиной, что ли?

— Машиной. Мать валяла пироги, а он выполз из будки и заснул… Нас судили за него, из могилы его откапывали, думали, что мы нарочно положили.

Землемер засмеялся.

— Ах, ты, злодейка этакая! — сказал он весело. — Ну, прощай, спасибо за хлопоты!

— Час добрый, — сдержанно ответила девочка.

И лошади с грохотом перенесли тележку по деревянной настилке к тому светлому и легкому, что было впереди, взяли немного вправо, и опять колеса, сорвавшись с настилки, с мягким шорохом покатились по сухой ровной дороге.

И опять мысли надолго затерялись в однообразно-ладном стуке копыт, который бесстрастно слушало только бледное и все выше поднимавшееся лицо луны.

— Просто к перемене погоды, — думал землемер, подбадривая себя и стараясь определить причины своего беспокойства. — Эй, эй, милые, не рано!

Но теперь, когда осталось сзади последнее жилье, бодрые слова стали бесследно теряться в поле. Тревога возрастала, глаза жадно всматривались в даль… Что это, например, на том далеком косогоре, за лощиной, полной светлой дымкой? Что-то длинное, темное, зубчатое… Стена, остатки жилья? Нет, просто бесхозяйная забытая в поле копна… За ней — опять косогор и опять лужок, выходящий в разлатую голую долину, серебристо-туманную под луной… Но что это там? Что-то более блестящее, чем все остальное… И на нем что-то двигается… Волк?

Землемер вставил два пальца в рот, резко свистнул и натянул вожжи. Постромки пристяжной обвисли, коренник насторожил уши и пошел тише… Едко и приятно запахло лошадиным потом… Что-то темное, двигавшееся на косогоре, блестящем от озими, подняло голову… Стало страшно.

Но прошло несколько минут — и по чему-то тупому, что было в приближающейся фигуре, землемер узнал, что это — теленок… Верно, пегий, с белыми ресницами, глупый… Поднял голову и уставился…

Есть что-то глухое, дикое в этих осенних беспризорных скитаниях телят. Как только начинают прорастать озими, они надолго и далеко уходят в опустевшую степь. И по целым неделям бродят в ней, дичают, приобщаются к таинственной жизни зверей и хищных птиц…

— А свиньи! — подумал землемер. — Черные упрямые борова, с туго завернутыми винтами хвостиков! Те совсем отбиваются осенью от дому, Бог

знает куда уходят по лугам и косогорам… Роют под кустами, по пригоркам, что-то выкапывают, чавкают и прут дальше, повиливая крепкой тушей… Иной раз обомрешь со страху, когда этакий черт вдруг хрюкнет и выставит из куста удивленное рыло… А какая злоба, силища! Волков с ног сшибают!…

Мелькали серебристые полынки вдоль дороги, проходили темные равнины пашен, полосы радужно-зеленых озимей, тускло поблескивали подковы пристяжной, женственно отвернувшей голову от коренника… Гордо нес голову могучий коренник, шедший дробной рысью… Хотелось курить, надоело сидеть, но землемер все откладывал и откладывал остановку. Волнуясь все более и более при мысли о том диком, сильном, беспощадном и красивом, что окружало его со всех сторон и точно вызывало его на состязание, он все беспокойнее ждал чего-то. Надоело и волноваться, — от этого беспричинного волнения уже сдавливало виски и холодели руки, надоело и ждать, но беспокойный внутренний голос все настойчивее говорил, что ожидания не напрасны. И, как бы подтверждая это, коренник вдруг фыркнул. Землемер вздрогнул, глянул на него — и увидал, что он идет с чутко и строго поднятыми ушами, с какою-то преувеличенною бодростью, почти с наглостью…

Страх холодом прошел по всему телу землемера. Но бодрость еще не совсем покинула его. И чтобы поскорее увидать то, что должно увидать, он откинулся на левый бок и пристально взглянул вперед. Впереди то же, что и было: пустое поле и лунное сияние. Но поле это идет слегка под изволок, дальше опять повышается — и замыкается темной, высокой и такой красивой в лунном свете стеной старой Кастюринской рощи.

Вот она приближается и приближается, темнеет все гуще… Ясно видна широкая, спокойная тень, падающая от ее стены на поле… Доносится легкая лесная свежесть вместе с сухим душистым теплом дуба… А вот роща уже и совсем близко — и ночь стала сразу красивее: тень резче, лунный свет ярче, роща под луною чернее, выше, значительнее… Еще минута — и тележка в тени, катится по гладкой и слегка влажной дороге вдоль опушки… Направо — пашни, налево — роща… И далеко видны светлые поляны среди живописных старых дубов.

— Ах, хорошо! — с жутким восхищением хотел сказать землемер — и вдруг замер с широко открытыми глазами.

Из тенистой рощи легко и быстро, прямо на него бежала большая белая лошадь.

IV

— Та или не та? Та, что с звонким сипом прошла возле будки, или не та?

Сладострастный трепет ужаса еще раз колючим холодом прошел от корней волос по всему телу, — и землемер крепко натянул вожжи, чтобы разглядеть шибко бегущую к нему лошадь.

Но уже ясно было, что не та.

Медленно тащила скрипучую телегу большая белая кобыла, встретившаяся возле будки. Годы, тяжкая работа, голод, неволя сделали ее страшной, костлявой, почти с криком хватающей воздух легкими… Эта же шла бодро, чисто, едва касаясь земли. И так гордо и грациозно несла свою голову, что сразу было видно, что она молода, породиста, ни одного дня не знала упряжи…

Но в этом-то и заключался ужас. И ошеломленный землемер с размаху натянул вожжи.

Коренник высоко задрал морду и заплясал, пристяжная со всего разбега осела на задние ноги. Но тут белая лошадь, как перышко, перенеслась через канаву возле опушки и вся выскочила на ее высокий вал. И, увидав ее, коренник дико всхрапнул, пристяжная так шарахнулась к оглобле, что она треснула, — и тележка вихрем, вприпрыжку понеслась по межам пашни. Землемер, не помня себя, вскочил на ноги, в два взмаха замотал на руки вожжи и, откинувшись назад, изо всей силы рванул к себе левую вожжу. И коренник, мотая головою от удил, раздирающих челюсти, понес обратно, на дорогу, к лошади, сторожко и грациозно стоявшей на валу.

Она казалась литой из серебра. Но как только колеса тележки стукнулись о дорогу, тотчас же прыгнула с вала, дала тележке мелькнуть мимо себя, — землемер близко видел ее прекрасные блестящие глаза, — и весело побежала следом.

— Грабят! — крикнул землемер альтом и бросил вожжи.

Мелькнули последние дубки рощи, тележка, как по рубелю[124], сделала несколько отчаянных прыжков по перекопам — и опять в глаза глянуло широкое пустое поле и неясный лунный свет над ним. Землемер обернулся — и увидал, что и лошадь уже в поле — быстро, легко и ровно бежит за тележкой по серой дороге. Только побледнела немного, как побледнел в поле и самый лунный свет…

— С нами крестная сила! — пробормотал землемер, с трудом переводя свистящее дыхание и опять натягивая вожжи.

И опять оглянулся.

Увы, и белая лошадь пошла тише!

И, по-прежнему, выражение ее морды было спокойно, весело и ласково-вызывающе.

— Ну, притворюсь, что мне все равно, — решил землемер, снова чувствуя приступ ужаса, но уже не резкого и сладостного, а холодного, безнадежного, как в кошмаре.

И как в кошмаре погнал пару под изволок, в бесконечный, каменистый Ястребин-Колодезь.

---

[124] Рубель — деревянная доска с поперечными желобами, использовавшаяся для стирки и глаженья белья.

Мелкая безымянная речка поблескивала и бежала по его широкой долине, — настолько мелкая и прозрачная, что можно было сосчитать под водою белые камешки ее днища. Как чешуя рыбы, поблескивала она под луною, и красив и печален был в эту лунную ночь каменистый и пустынный Ястребин-Колодезь!

Но любоваться было не время.

Нужно было зорко править, чтобы не вылететь на выбоинах спуска, нужно было ловко повернуть полной рысью вправо, а потом — вброд, не дав паре заартачиться. Но лошади и сами понимали дело — и цепко пронеслась пристяжная по узкой тропочке над обрывом косогора, как раз вовремя вильнул влево коренник и уверенно кинулся в речку… Пресно и тепло пахнуло водой — и колеса с шумом заклубились в серебре и алмазах, сыплющихся в стороны, глухо застучали по размытым белым камням…

— Глянуть или нет? — подумал землемер на середине. — Нет, не надо.

И тотчас же оглянулся.

Белая лошадь опять была в двух шагах от него!

Она как раз по следу тележки вбежала в воду — и почему-то остановилась. Остановилась и, балуясь, била воду тонкой ногой, поднимая белоснежную пену. Бледное, блестящее лицо луны плавало возле тележки слева, а сзади стояла красивая и страшная лошадь с темными человеческими глазами.

— Пропал я! — с радостным отчаянием подумал землемер и погнал на берег.

И через минуту грохот колес резко оборвался и, блестя мокрыми шинами, ровно покатились они по мелкому щебню прибрежья в смутную, слегка сизую даль бесконечного луга… Луна осталась сзади.

Чтоб узнать, цела ли тренога, землемер еще раз взглянул назад и, к удивлению своему, лошади не увидал. Глянул влево, на скат голого косогора, глянул вправо, на прозрачную воду, бегущую по белым плитам, потом опять назад… Нет лошади! Только широкий луг, весь, как светлым дымом, наполненный лунным сиянием… Но зато на дрогах тележки, скрестив длинные, тонкие ноги в разбитых лаптях и повернув к землемеру мертвое, беззубое лицо, наполовину освещенное луною, сидит и смотрит круглыми глазами нищенка. И землемер, увидав ее, ляскнул зубами и сипло засмеялся бессмысленным смехом.

— Хороша! — сказал он. — Красива! Ты смерть, что ли?

Нищенка молчала.

— Молчишь? — сказал землемер. — Значит, это правда?

Нищенка молчала и смотрела ему в лицо неподвижными глазами, положив левую руку — большую, костлявую, лиловатую от загара — на привязанную к сиденью треногу.

И землемер задумался.

— Нашла с кем шутки шутить! — сказал он горько. — Или мало тебе, что ты всю жизнь издевалась надо мною?

И вдруг почувствовал такую острую боль горя и обиды, что, не помня себя, взмахнул кнутовищем. Сладкие слезы злобы сдавили его горло, но, как только он взмахнул кнутовищем, старуха точно растаяла в воздухе. И внезапно опять зазвенел где-то в небе тонкий, радостно-хищный смех какой-то ночной птицы:

— Пи, пи, пи, пи!

И замирая, затерялся над лугами…

Землемер пришел в себя и медленно перекрестился.

V

В Долгое он приехал перед рассветом. Нищенка исчезла возле подъема на хохлацкие выселки Яреськи. И тотчас же после этого он бессильно опустил вожжи. Рубашка на нем была мокрая, сердце билось. Крестясь, он снял картуз, вытер рукавом потный лоб и, почувствовав озноб, накинул на плечи чуйку.

— Что за чушь! — сказал он изумленно и посмотрел в луг.

Но в лугу было пусто.

Он посмотрел с горы в поля за лугом, к юго-востоку — и что-то грозное взглянуло ему в глаза.

А, это поднимается зимнее небо! Уже встают яркие полуночные созвездия: треугольник из алмазов Тельца с рубином Альдебарана посредине, — мистическое Всевидящее око… Но воспринимать что-либо уже не хватало силы.

И землемер стал поспешно крутить папиросу. Он ничего не чувствовал, кроме страшной слабости, и долго курил с жадностью, с упоением. А докурив, почувствовал такую жажду сна, какая бывает только в детстве, после долгого летнего дня.

— Спать, спать! — сказал он, закрывая глаза и опуская голову.

Лошади шли шагом, темные, едко пахнущие потными хомутами и разгоряченным телом. Землемер смотрел на сбитую на бок шлею коренника, хотел поправить кнутовищем — и не мог.

— Спать, спать! — сумрачно говорил он, закрывая глаза. — Я, кажется, с ума схожу.

И тотчас же начинало казаться, что тележка бежит под гору, и от этого замирало сердце, путались мысли — и сознание тонуло в глубоком сне…

Вот чувствуется, что случилось что-то. Он слабо открывает глаза и видит, что тележка стоит — и коренник с шумом делает то, для чего остановился.

Луна поднялась высоко-высоко, светлая, бледная ночь стала еще бледнее, и далеко вокруг расстилается равнина, покрытая бледной полынью… Степь, поздно, тишина, свежесть…

И опять коренник трогает с места и опять все путается. Кажется, что низко, низко по земле, по полыни, светлой мглою бежит туман, а в тумане, — белая, легкая лошадь… Мгла становится все гуще, лошадь понемногу теряется в ней…

Землемер открывает глаза — и видит, что коренник опять стоит: большой дымчатый вол лежит и дремлет посреди глинистой улицы, половина которой покрыта косой зубчатой тенью, а кругом — хаты, хохлацкие выселки, Яреськи. Место ровное, по-степному голое, улица широкая, а направо и налево — бледно-голубые мазанки с квадратными глиняными трубами, такие молчаливые и грустные в этот поздний час долгой лунной ночи. И ни звука, точно все вымерло. Только осторожно и прерывисто трюкают сверчки в бледно-голубых стенах с темными мертвыми окошечками, слюдой поблескивающими против луны.

— Ах, дурак, дурак! — с ласковой укоризной говорит землемер кореннику и легонько ударяет его вожжой, объезжая важно дремлющего дымчатого вола с огромными рогами.

А в третий раз он открывает глаза уже в Долгом, упершись оглоблями в ворота своего поместья. Похоже на Яреськи, — только улица еще шире и длиннее, а хаты тонут в палисадниках. Набежал туман на луну, стало совсем прохладно, за воротами хрипло и бодро кричит басом огромный красно-золотой петух. Землемер слезает с тележки, расправляет ноги с родственным чувством к своему поместью, с легкой тревогой — благополучно ли в доме? — и чуть слышно стучит кнутовищем в кухню, в крайнее окно длинного кирпичного дома под железной крышей, почти не видного за высокими мальвами.

И через минуту щелкает задвижка, и на крыльце, ежась и зевая, появляется солдатка Василиса, босая, в короткой юбке, вся теплая и томная со сна.

— Здоровы? — спрашивает землемер, отводя глаза от ее голых полных плеч.

— Слава Богу, живы, здоровы, — улыбаясь и почесывая под мышками, говорит Василиса.

— Ну, возьми лошадей, вели Кузьке распречь…

Дома все было благополучно, жизнь текла обычно, и, как всегда, по воскресным дням, утром из зала запахло ладаном. Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо водою из умывальника и вышел в залу. В зале было солнечно, детски-весело. На столе, в простенке между окнами, выходящими в палисадник, кипел золотой самовар. Кусочек ладана, брошенный Марьей Яковлевной в его трубу — для праздника — распространял сладкий церковный запах. Марья Яковлевна, толстая небольшая женщина лет сорока, похожая лицом на Фонвизина, мыла чашки и стаканы. И, как всегда, землемер поздоровался с ней ласково-иронически и в том же тоне поговорил о делах.

Новостей было мало: только ссора с Иваном Павловым, который опять приписал в книжке.

— Такой свинья! — воскликнула Марья Яковлевна. — Да покарал Господь! Помнишь его бланжевого[125] быка? Картошкой подавился!

[125] Бланжевый цвет — нежно-телесный, кремовый, светло-бежевый (от фр. *blanche* — белый).

— Издох? — спросил землемер.

— И часу не прожил! — сказала Марья Яковлевна, раздувая ноздри. — Покарал Господь!

Потом помолчала, взглянула в открытое окно и взволновалась еще больше.

— Ну, вот! Полюбуйтесь! — сказала она. — Боже, какие мои дети пошлые! Опять босиком!

Дети были в палисаднике. Толстый, трехлетний Котик, одетый, как девочка, важно ходил среди мальв, переваливаясь на кривых ножках. Десятилетний Павлик, худенький, хорошенький, с черными и всегда гневными глазками, закатав до самых пахов штанишки, целился из лука в воробьев. Таня и Оля, тоже худенькие, но белобрысые и некрасивые, с замиранием сердца следили за ним. И ноги у них были тоже голые: юбки подняты и завернуты на талии, панталоны, как у Павлика, закатаны кверху.

Землемер посмотрел в окно, ласково и слабо крикнул: «Здравствуйте, наследники!» и, улыбаясь, сказал:

— Причем же тут пошлость?

— Ну, конечно! — воскликнула Марья Яковлевна. — У тебя все ни при чем. Ты уж привык во всем потакать им!

И, видя, что землемер слушает рассеянно, с изумлением прибавила:

— Да что это ты как блаженный какой?

— Уморился, — виновато сказал землемер и отвел глаза в сторону…

Перед обедом он опять спал и поднялся с тяжелой головой.

Есть не хотелось и, как среди мух в жаркий день, было томительно сидеть среди густого терпкого запаха картофельного супа с бараниной, среди баловавшихся детей и крика Марьи Яковлевны. «Тоже — зал называется!», — думал землемер, с кислой улыбкой оглядывая знакомую комнатку, вдруг показавшуюся нестерпимо тесной, и противные украшения на ее стенах: генерала Гурко с косым носом, лихими баками и яростными глазами[126], Тамару в гробу[127], крещение Руси и выцветшие фотографические снимки, на одном из которых был и он сам — в солдатской позе, в сюртуке и белом галстухе, в старомодных штанах с раструбами — и Марья Яковлевна — в фате и с бессмысленно-выпученным взглядом. Жадно хотелось пива, и, когда принесли из лавочки хо-

[126] Генерал И.В. Гурко (1828–1901) был широко известен как герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Гурко был начальником передового отряда русской армии, с его именем связан ряд блестящих побед начала кампании. В дальнейшем войска под его предводительством заняли Софию, Пловдив, а в конце кампании — пригород Константинополя Сан-Стефано, где и был подписан мирный договор. Портреты генерала Гурко (как фотографические, так и репродукции живописных) широко распространялись в России.

[127] Тамара в гробу (1890–1891) — известная иллюстрация М.А. Врубеля (1856–1910) к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» (1829–1839). Выполнена для юбилейного иллюстрированного собрания сочинений Лермонтова (к 50-летию со дня смерти).

лодную бутылку темного толстого стекла, землемер осушил ее почти залпом. Потом закурил и вышел за калитку палисадника, на скамейку.

Вечер был ясный, улица, мирная и красивая от белых мазанок и разноцветных мальв, вся розовела против заходящего солнца, блестела стеклами. Стрижи весело сверлили воздух, кружась над площадью направо, над куполом деревянной церкви. И как всегда в хороший вечер, с площади, из окон сидельца винной лавки[128], неслись резкие, ухабистые басы и альты аристона[129] — звуки краковяка.

Землемер слушал, весь наполняясь этими вызывающими и бьющими по нервам звуками, и тщетно заставлял себя обдумать что-то.

— Ну, привидение так привидение, — тупо говорил он себе, с болезненным наслаждением вспоминая под краковяк только одно, — что белая лошадь была ловка, сильна, красива, — и возвращался к другой мысли.

Мысль эта пришла ему в голову еще утром и затем уже не покидала его даже во сне.

— Почему, — напряженно думал он, — почему дети так любят игру в войну, в охоту и в какие-то далекие поездки?

Но голова была пуста, вся полна краковяком и ничего не могла ответить на докучный вопрос. Только повторяла его все настойчивей и настойчивей.

Чтобы рассеяться, землемер встал и пошел к хате о. Нифонта, жившего через улицу, почти напротив.

Загорелый подпасок в старом дворянском картузе гнал по улице кучку темно-лиловых баранов, теснившихся друг на друга, мелко перебиравших ножками и поднимавших золотисто-розовую пыль. Белоголовые ребятишки в одних рубашонках катали визгливую тележку на деревянных кружках вместо колес. По тропинкам возле палисадников, среди засохшей глинистой грязи, шли бабы с подоткнутыми подолами и с коромыслами на плечах и низко кланялись поповой хате, не глядя на нее и виляя кострецами. А поп, огромный, тучный, лысый, сидел на лавочке возле палисадника, одной рукой разбирал большую енотовую бороду, а другой гладил ходившего по его плечу худенького котенка мышиного цвета.

— Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Милославский[130]! — благодушно сказал он. — Давненько не было. Небось, весь земной шар смерили?

Землемер подсел на лавочку и, принужденно улыбаясь, небрежным тоном рассказал, какая «глупейшая» история приключилась с ним в дороге.

---

[128] Казенные винные лавки появились в России после введения государственной монополии на продажу водки (с 1894 г.). Сиделец — продавец.

[129] Аристон — см. комментарий к рассказу «Тарантелла».

[130] Обращение отца Нифонта к землемеру объяснить не просто (по-видимому, свидетельствует, как и некоторые другие детали, о том, что сельский священник не слишком умен и не остер в разговоре). «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) — роман М.Н. Загоскина

Но на о. Нифонта белая лошадь не произвела никакого впечатления.

— Бывает, — сказал он. — То ли еще бывает! Вон мои работники недавно жаловались: как только они в сарай, на боковую, так сейчас же козел за стеной: бя-я! А я и козлов-то отроду не водил… Слышали, как бычок-то подковал Ивана Павлова?

Землемеру стало скучно и неприятно. Вспомнил он однообразие зимних и летних дней в Долгом, вспомнил сплетни, сон после обеда, Марью Яковлевну, выходящую после сна к чаю с желтым смятым лицом, засиженным мухами… И, раздражаясь, сказал:

— А быка жалко, батюшка! Великолепный был бык! Бывало, бежит — земля дрожит… Глаза огненной кровью налиты… Не нам чета!

— То есть как не нам чета? — удивленно спросил о. Нифонт, опуская руку, гладившую тощего головастого котенка.

— А так, — резко сказал землемер и почувствовал, что у него похолодели руки. — Сила! Я вот поехал как-то прошлой осенью в город, а в городе зверинец, а в зверинце — лев. Сижу вечером в номере, а стекла так и заливаются! У меня, понимаете, свечка едва коптит, номеришка вонючий, зеркальце на стене от духоты и самоварного пара побелело, а он — как хватит, хватит! Открыл я окно — темь, дождь, все забились в хибарки, а он так и панует над городом!.. Ах, о. Нифонт, — страстно прибавил землемер, начиная дрожать от волнения, — все-таки нет ничего на свете хуже бессилия!

— Ну, это дело другое, — сказал о. Нифонт. — А то я не понял сперва, какую мысль вы хотите провести. Понятно, страшная сила! Пишут, будто лев может хвостом быка убить.

Землемер закурил папиросу и уже хотел повторить рассказ о белой лошади, но вдруг ляскнул зубами. Раскрасневшееся солнце только что село за площадью, и все сразу потускнело, поблекло. Неприятный ветер, пыля по площади, добежал до поповой хаты, зашумел в мальвах, и землемер вдруг дернулся и стукнул зубами от холода. Торопливо простившись с о. Нифонтом, он торопливо перешел улицу, торопливо вошел в дом и, не зажигая огня, бросился на постель в своем кабинете, узкой комнате возле зала. В голове, певшей краковяк, вертелась назойливо-мучительная мысль о детской любви к войне, а нывшее тело жадно просило одеял, шуб, полушубков. Перепуганная Марья Яковлевна бегала по темным комнатам, одевала его чем попало, а он стукал зубами и просил дать ему вожжи. Он видел, что со всех сторон сыплются на него белые лошадиные черепа, заваливают столы, стулья — и задыхался от духоты, жары и неловкости под этими черепами… А стекла дрожали от далекого

(1789–1852), очень популярный в первой половине XIX века. Упомянут в «Ревизоре» Н.В. Гоголя. Ассоциативная связь между землемером и героем романа Загоскина прочитывается с трудом: можно предположить, что она построена на том, что Юрий Милославский в романе много путешествует.

львиного рева… Он вспомнил, однако, что это не рев, а гром, и, открыв глаза, услыхал шум ветра за окном, увидал золотой сполох, озаривший комнату…

— Марья Яковлевна! — крикнул он слабо.

— Лампу заправляю, — откликнулась Марья Яковлевна из зала.

И землемер опять потерял сознание.

Лев ревел, в комнате сгущался мрак, все отчетливее и дерзче певший краковяк, но ветер распахнул раму и, взвивая какую-то черную занавеску, все сильнее и сильнее заливал мрак золотым пламенем. В ужасе перед начинавшимся пожаром землемер вскочил и хотел бежать, но вдруг вспыхнуло одеяло. Он бросился тушить его руками — и потерял сознание в черных клубах удушающего дыма…

Приехавший на другой день к вечеру земский врач, человек с изумленными глазами, в круглых очках, с густой огненной бородой и в парусинном балахоне, сказал, крутя на щеке волосы, что у больного крупозное воспаление легких.

VI

Воспаление протекло быстро. Но до кризиса землемер пришел в сознание только два раза и то ненадолго.

Открыв глаза в первый раз, он узнал Марью Яковлевну, понял, что он дома, что на столике возле кровати горит свечка. Но бока были так крепко скованы острыми, нестерпимо режущими при каждом вздохе железными обручами, глазные яблоки так ломило, а дрожащее пламя свечи было окружено таким печальным и большим мутно-радужным шаром, что он поспешил повернуть голову к стене, к ковру, на котором был изображен очень прямо сидящий турок в тюрбане, огромных шальварах и с мундштуком кальяна в руке.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — сдерживая слезы и стараясь говорить ровным голосом, спросила Марья Яковлевна.

Но больной не ответил.

Все было так чуждо ему, так скучно, что ответить не хватило силы. Свет дрожал, краснел, турок в тюрбане рос, расплывался, принимал фантастические очертания… И сознание опять потонуло в кошмарах.

Второй раз оно держалось дольше. В первую минуту показалось даже, что возвратилось здоровье, — так хорошо и просто было самочувствие. В комнате было темно, Марья Яковлевна всхрапывала в кресле, за окном синела лунная ночь. И землемер вспомнил, как много лет тому назад, когда у него было первое воспаление, он вот так же пришел в себя поздней ночью, в темной комнате… И всю душу его охватила невыразимая тоска. Как молод он был тогда, как красива, восхитительна была даже болезнь! Он целый год жил тогда дома, выгнанный за курение из пятого класса реального училища, готовился в землемерное, пропадал в поле с ружьем и собакой… В жаркий

апрельский день напился из ледяного хрустального ключа в голом веселом лесу — и слег в постель. Болезнь была тяжелая, осложненная разлитием желчи, по ночам температура доходила до сорока и больше, но что за ночи стояли тогда! Голова пылает, по телу идет острый колючий холод, а лунный свет так дерзко и ярко сквозит в щели ставни, и соловьи наполняют весь сад таким дерзким и ярким ликованием, что весь мир кажется сказочным неземным сновидением… И во всем существе была непоколебимая уверенность в выздоровлении.

Уверенность, что он не умрет от воспаления, была, впрочем, и теперь. И так оно и случилось. На шестой день был кризис, а на десятый больной уже ел в постели бульон, пил чай и просто, спокойно разговаривал.

Был он желт, слаб, голова и борода у него сильно поседели, — не сдались только одни густые строгие брови, — но это очень шло к нему. Лицо стало чище, красивее, утонченнее. Марья Яковлевна с радостью рассказывала, как он бредил, какую чепуху говорил иногда — и землемер улыбался с ласковой снисходительностью к самому себе.

И с такой же улыбкой, с грустным и приятным сознанием своей слабости, вышел он в первый раз после болезни в зал, в прихожую… Казалось, что он уже давно, давно не видал знакомых комнат!

Глаза у него стали темнее, больше и смотрели на все удивленно, внимательно. На ногах были мягкие туфли, под пиджаком и рубашкой ласково грел тело лифчик из лисьей шкурки. Никуда не нужно спешить, ни о чем не нужно заботиться, — давно не бывало у него таких отрадных и мирных дней! Но он уже твердо знал: это его последняя осень. Из головы не выходили воспоминания о белой лошади, — он теперь уже не сомневался, что видел ее, — и мысль о звериной хитрости астмы: неспроста дала она ему такой долгий отдых!

Положим, на то были причины. Астма после воспаления легких всегда отпускает на время. Астма не уживается с покоем. А он жил очень покойно. Детей целый день нет дома, — почти до вечера уходят в школу, — Котик ребенок тихий, Марья Яковлевна занята по дому. Только и слышишь: «Ах, Господи, куда ж это я ключи забельшила?..» И дни текут в тишине, в беззаботном одиночестве… Но почему астма не трогала его почти все лето?

Вся его жизнь была связана с нею. С ранней молодости он отдавал треть всех своих сил на борьбу с нею, на изучение ее нрава. Жизнь истощила его, сделала его рабом нужды, забот, мещанства. Астма воплотила в себе всю тяготу и духоту этой жизни. Она всегда казалась ему живым существом, беспощадным, злым, внимательным. Малейший упадок сил, малейшее расстройство их, малейшая слабость — и астма уже спешит обвиться вокруг его шеи и радостно начинает сдавливать ее…

— Живая, живая! — подумал землемер, волнуясь и бродя по залу, уже полному сумерками, и, взглянув в зеркало, со страхом увидал в нем свое худое волосатое лицо, свои расширенные темные глаза, сурово сдвинутые большие брови, свою чистую гробовую седину.

И, закрывая от страха глаза, беспокойно зашагал из угла в угол.

Он вспомнил канун Ивана Постного, — вечер, в который он уехал от Стоцкого, — вспомнил свою беспричинную радость, тоску и тревогу в дороге, жуткий восторг перед таинственной и злой ночной жизнью… до осязаемости увидел внутренним зрением белую лошадь с прекрасными человеческими глазами… заставил себя удивиться нелепости этого призрака — и не мог. Был в нем теперь только холод отчаяния, сознание, что белая лошадь всем существом своим сказала ему о красоте и беспощадности жизни… той живой, той страшной силы, что со всех сторон окружила его, бессильного.

Он весь век чувствовал, что она стережет его, издевается над ним, приходит к нему воровски и внезапно, выжидает ночи. И если он был слаб, ночь не проходила ему даром. Томительная радость, перемешанная со смертельной тоской, овладевала им еще задолго до заката. А это лишало его и последней бодрости. И как только он, обессиленный, дрожащий, ложился в постель и тушил свечу, тотчас же радостно и бесшумно падала ему на грудь астма. Он пытался бороться. Он вскакивал, зажигал свечу, зеленел, синел от натуги, от жажды хоть единого глотка воздуха — и бедное сердце трепетало и кричало в нем дикими беззвучными криками… Теперь это сердце опять ждало борьбы — может быть, последней. Его работа кончалась… А с какою жаждой начиналось оно, с какою страстью и любовью ко всему живому, сильному, — ко всему, что теперь так беспощадно вытесняет его из мира!

Он ушел в кабинет, снял с полки Библию и развернул давно знакомую книгу Иова. На столе царил обычный беспорядок: лежали какие-то гвозди, старые планы, рассыпанные патроны папирос… Он приладился с краю и долго читал, не поднимая головы.

Потом положил локти на книгу и загляделся на кривую лесовку, росшую на пустыре за окном.

Да, вот был человек непорочный, справедливый, богобоязненный. Был он богат, здоров, радостен. Но истребил сатана, с изволения Господня, все его имущество, истребил всех чад его и поразил его проказою от подошвы по самое темя. И взял человек черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И открыл уста свои и страстно проклял день свой. «Погибни, сказал он, день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! Дыхание мое ослабело; дни мои прошли; думы мои — достояние сердца моего — разбиты; ночью ноют во мне кости мои, ибо летам моим приходит конец, и отхожу я в путь невозвратный. — Скажу Богу: за что Ты со мною борешься?

За что гонишься за мною, как лев, и нападаешь на меня, и чудным являешься во сне? Но не ответит мне Бог!»[131].

Было в простоте этих слов, в образе безумно-вдохновенного прокаженного, сидящего в пустыне за селением, скребущего черепком гнойные раны и проклинающего жизнь от колыбели до гроба, что-то столь древнее и в то же время столь близкое во все времена каждому человеческому сердцу, что прежде землемер был не в силах читать этих слов. Но теперь он прочел их спокойно и медленно, чувствуя себя почти равным Иову в безнадежности. Потом просмотрел середину книги — она никогда не нравилась ему запутанным пустословием друзей Иова, — и остановился только на словах Сафара:

«Можешь ли ты постигнуть Вседержителя? Он превыше небес: что можешь сделать? Глубже преисподней: что можешь узнать? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку»…

— Ну, вот и ответ! Вот и ответ дикому осленку! — медленно сказал землемер, глядя в сумерки. — Где же спасение? Только в нерождении — или в могиле… Там, где «беззаконные перестают наводить страх, и отдыхают истощившиеся в силах»…

— Ей, Господи, приди и возьми! — вслух сказал землемер, глядя в сумерки, и брови у него страдальчески сморщились и задрожали.

— Я покоряюсь — сказал он, восторженно всхлипнув, и, встав с места, трясущимися руками закурил папиросу.

Но тут из прихожей послышались веселые голоса вернувшихся из школы детей, потом чьи-то тяжелые шаги, и в комнату быстро вошла взволнованная, вся пахнущая осенней свежестью Марья Яковлевна.

— Полюбуйтесь! — воскликнула она. — Иван Павлов капусту прислал! Ну, пря-мо смотреть не на что! Кочерыжки одни!

Землемер сморгнул слезы, нежно и жалко улыбнулся ей и отвернулся к окну.

VII

— Это безобразие! — говорил он вечером, сидя за ужином. — Целый день дети голодные! Ведь ты подумай, как это вредно!

На столе горела лампа под абажуром из розовой бумаги и стояла миска со щами. Марья Яковлевна медленно и аккуратно ела, вся поглощенная думами о капусте, а дети, пользуясь этим, щипали друг друга за ноги, вскрикивали от боли, хохотали и хватали друг у друга из тарелок, расплескивая по столу. Землемер, сгорбившись, сидел с дымящимся мундштуком в руках и глубоко затягивался.

---

[131] См. комментарий к цитатам из Книги Иова (здесь и далее) непосредственно в тексте главы 3 настоящей монографии.

Возня детей сильно волновала его, и он глядел на них почти с ненавистью. Руки у него слегка дрожали, глаза лихорадочно блестели, темя ломило, сердце трепетало, в груди, где-то глубоко внутри, чесалось… Было похоже на отравление табаком, на угар, насморк.

— Я коклеты им посылаю на завтрак, — ответила Марья Яковлевна и, отдуваясь, вытерла тонкие губы салфеткой.

— Посылаю, посылаю! — сипло передразнил землемер задрожавшим от злобных слез голосом.

И, сделав над собой усилие, встал и уже спокойнее прибавил:

— Я не буду ужинать, лягу спать сейчас, вели не шуметь детям…

И затворился в кабинете.

Там он бросил папиросу на пол, сел в кресло и долго сидел без движения, согнувшись и крепко, с цепкостью сумасшедшего стиснув ледяными пальцами ручки кресла. Рот его изредка раскрывался, со свистом ловя воздух, блестящие глаза были расширены и с диким изумлением устремлены на свечку. Лицо посинело от натуги — и поседевшая борода казалась белой, страшной, гробовою.

Потом, собрав все силы, с поднятыми плечами, он приподнялся с места и стал жечь на свечке селитренную бумагу и жадно втягивать едкий дым ртом и ноздрями[132].

Стало немного легче, и тогда он поспешил раздеться, дунул на свечку и тотчас же забылся в наступившей темноте.

Но темнота начала сгущаться, чернеть и давить грудь. Он сделал усилие, вздохнул и перевернулся на бок. Черная темнота заколебалась, поплыла — и колокольня, обозначившаяся в ней, стала наклоняться, наклоняться — и вдруг вся рухнула на него. Он барахтался, силясь освободиться от сыплющихся на него камней, пыли, известки, — и, наконец, глухо, по-животному, заревев всем нутром, раскинул их. Раскинул — и, весь в ледяном поту, с трепещущим сердцем порывисто сел на постели… Нужно было нашарить в темноте коробку со спичками, поскорее зажечь свечу и закурить черную, пахнущую горящим веником сигару Эспик[133]… По крыше шумел проливной дождь, и этот шум, вместе с лихорадочным шумом в ушах, с каждой минутой становился все певучее и все страшнее, наполняясь вызывающими звуками краковяка.

Под утро землемер забылся и, свистя запухшими бронхами, крепко спал до десяти часов утра. Мирный величавый гул, от которого нежно дребезжали стекла, слышался ему сквозь сон. Он открыл глаза и понял, что это колокол: было первое октября, престольный праздник в Долгом. Нежно звенящие стек-

---

[132] Метод облегчения симптомов астмы, использовавшийся в XIX — начале XX вв. Больные вдыхали дым от тления бумаги, пропитанной раствором селитры (нитрата калия). Этот дым вызывал расслабление гладкой мускулатуры бронхов, на короткое время больным становилось легче.

[133] Обычно говорят о папиросах «Эспик». В их состав входили дурман, белладонна, белена. Использовались для облегчения симптомов астмы.

ла были матово-голубые, — значит, перед утром был крепкий мороз, чистый легкий воздух, яркое небо… Землемер быстро оделся и освежил водой свое лиловатое, точно заплаканное лицо с болезненно блестящими глазами. В доме было тихо, — все были в церкви, — на столе в зале стоял остывший самовар. Землемер выпил стакан теплого чаю и на минутку вышел на крыльцо, — первый раз после болезни.

Боже мой, какое невыразимое счастие — дышать! Думать, смотреть, двигаться — это дивно, сладко, но дышать… люди даже и представить себе не могут, чего они лишатся, утратив блаженство пить этот божественный напиток жизни!

И, сладостно слабея от душистой свежести, проникавшей до самой глубины наболевшей груди, землемер прислонился к двери.

На крыльце — яркое радостное тепло, из палисадника тянет холодком сырой земли и вялым ароматом гниющих цветов и листьев. Противоположная сторона улицы еще в тени, и в прозрачном воздухе так близки кажутся голубовато-белые стены мазанок. Ветви лозин за ними уже голы и четко рисуются на чистой лазури… Какой простор сияет теперь за селом, в степи, — на мерзлых кочковатых дорогах, на изумрудных озимях, над которыми в прозрачном воздухе дрожат острые крылья ястребков и кобчиков!.. Но стоять было трудно, воздух пьянил и резал грудь.

Он повернулся и столкнулся с Василисой, выносившей из дому медный поднос с самоваром и чашками. «Вот здоровье!» — острой завистью мелькнуло у него в голове. Не то кукла, не то истукан какой-то! Черные глаза радостно и бессмысленно блестят, лицо сизо от густого румянца и цинковых белил, бордовое шерстяное платье, неуклюже сшитое по моде и надушенное «персидской сиренью», чуть не трещит по швам, в черных волосах краснеет бумажная роза, на шее блестят разноцветные бусы…

— С праздником, барин! — сказала Василиса бойко. — Чуть было не задавила вас!

И ловко захлопнула дверь ногою.

А в зале, на высоком стуле возле стола, сидел Котик, ел с блюдечка яйцо всмятку и таращил глаза, засовывая в рот чайную ложечку. За столом стояла недавно нанятая нянька, бедная мещанка Пелагея, очень худая и высокая, с длинным лицом, с длинными зубами, в темном старушечьем платье горошком, и говорила печально и рассеянно:

— Вы, батюшка, яичка-то поменьше, а хлебца побольше, — вот и сыти будете…

В одиннадцать пришли из церкви дети и Марья Яковлевна, нарядные, церемонные, — как гости. Марья Яковлевна — в лиловом шелковом платье, маленькой старомодной шляпке, в митенках[134] и с зонтиком; девочки, бледные,

[134] Митенки — перчатки без пальцев (в дамском костюме конца XIX в. кружевные или шелковые).

некрасивые, — обе в розовом; Павлик, стройный, хорошенький, — в темно-синем суконном костюмчике, похожем на матросский. И только один Павлик вошел в комнату бодро и просто, блестя черными злыми глазками. А девочки и Марья Яковлевна еле двигались.

— Ах, Боже мой! — жеманно сказала Марья Яковлевна, поставив в угол зонтик и развязывая под подбородком ленты черной корзиночки, чуть державшейся на макушке ее прилизанной головы с широким пробором.

И девочки, крутя головками, томно повторили в один голос:

— Ах, Боже, какая духота была в храме!

— Давайте поскорее обедать, — сказал землемер, вдруг почувствовав отвращение ко всему своему дому и смертельную слабость во всем теле.

— Не думаю, чтобы было готово, — изнемогающим голосом ответила Марья Яковлевна…

И время до обеда текло мучительно медленно.

Есть не хотелось, но чем, кроме еды, наполнить долгий праздничный день в этом скучном и противном домишке, где интересен только один черноглазый Павлик?

— Я зол потому, что измучился за ночь, — подумал землемер и, выпив после обеда бутылку пива, с тяжелым камнем на сердце лег в постель.

Но сердце дрожало, замирало, и, как только землемер закрыл глаза, постель полетела в бездну. Он с трудом приподнялся, снял пиджак, ситцевую рубашку и швырнул в угол жаркую лисью курточку. Но и рубашка была противна: еще ни разу не мытая, горячая, с запахом галантерейной лавки. От этого запаха тошнило и ломило голову… Потом поднялся мучительный затяжной кашель с насморком… И замученного землемера охватила страстная жажда смерти, нечеловеческого вздоха, от которого сразу лопнуло бы сердце… С этой жаждой он и забылся.

В три часа он внезапно очнулся, услыхав какую-то возню в зале, и слабо крикнул:

— Кто там?

Но никто не отозвался.

Марья Яковлевна ушла с детьми в гости к становому[135] или сидельцу винной лавки. Прислуга была за воротами. И в душе вдруг так ясно, так отчетливо послышались резкие ухабистые звуки, хриплые басы и альты аристона, играющего краковяк, что на голове зашевелились волосы. И с ужасающей яркостью представилась белая лошадь, вошедшая в темнеющий зал и с наслаждением, с расширенными темными глазами, слушающая музыку.

— Боже, какой вздор! — подумал землемер, закрывая глаза и силясь освободиться от этого нестерпимо живого образа. — Боже, какое издевательство!

---

[135] Становой пристав (в просторечии: становой) — главная полицейская должность на селе, представитель уездной полиции, возглавлявший стан (полицейский округ). Назначался губернатором.

Вдруг что-то стукнуло.

Землемер быстро взглянул и увидал, как по столу мелькнул длинный хвост большой серой крысы. Землемер затаил дыхание и стал поджидать, что будет дальше.

— Придет или нет? — думал он, дрожа всем телом. — Если придет, — значит, нынче конец мне!

И, не дождавшись, снова заснул глубоким тяжким сном. А когда открыл глаза, весь похолодел от страха: в комнате почти темно, тишина гробовая, а крыса стоит на столе на задних лапках, задом к окну, и пристально смотрит на постель… Ушки подняты и розовеют на свет… Значит, конец!

Он спал, как спят перед казнью!

И, весь дрожа от страха и холода, землемер уронил голову на подушку.

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! — пробормотал он умоляюще-бессильно.

Он представил себе свое детство, младенчество и почувствовал невыразимую жалость к этому бедному маленькому осленку, неизвестно зачем пришедшему в мир и осмелившемуся мудрствовать. Что ответит ему Бог в шуме бури? Он только напомнит безумцу его ничтожество, напомнит, что пути Творца неисповедимы, грозны, радостны, и развернет бездну величия Своего, скажет только одно: Я — Сила и Беспощадность. И ужаснет великой красотой проявления этой силы на земле, где от века идет кровавое состязание за каждый глоток воздуха… и где беспомощней и несчастней всех — человек.

— Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? — вспомнил он страшные слова, звучавшие когда-то в шуме бури. — Препояшь ныне чресла свои как муж: Я буду спрашивать, а ты отвечай Мне…

— О, какая красота! — сказал землемер, и горячие слезы выступили из-под его ресниц.

— Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах? — Они изгибаются, рождая детей своих, а дети их приходят в силу, растут в поле и не возвращаются к ним. Знаешь ли ты, кто разрешил узы Онагру, которому степь Я назначил домом, а солончаки жилищем? Захочет ли Единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Ты ли дал перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на песке и забывает, что полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим…

— Все сила, сила и — свобода! — воскликнул землемер, садясь на постели и почти наяву видя в темноте перед собой свою гибель, свою смерть, — белую лошадь с дико-веселым, вызывающим и беспощадным взглядом.

— Храпение ноздрей ее — ужас, — с безумным восторгом вспоминал он стихи о лошади в книге Иова. — Роет ногою землю и восхищается силою. В порыве ярости глотает землю и не может устоять при звуке трубы. При звуке трубы издает голос: Гу! Гу! и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик…

— А верх путей Его! — дерзко и громко, точно в бреду, сказал землемер. — Верх путей Его — бык Ивана Павлова… бегемот… левиафан…

— Сила в чреслах бегемота и крепость в мускулах его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это — верх путей Божиих.

— Вот и ответ осленку! — сказал землемер, блестящими бешеными глазами глядя в темноту и свистя запухшими бронхами.

…Ночью в тусклом воздухе кабинета тускло горела лампа. Тяжело пахло холодным дымом сигар и жженой бумаги. Землемер, с опухшим пятнистым лицом, с расширенными черными глазами и густой белой бородой, в разорванной сверху донизу рубашке, полулежал на высоко взбитых подушках. Грудь его, покрытая седеющими курчавыми волосами, была в круглых лиловых кровоподтеках: вернувшаяся в десять часов от станового Марья Яковлевна нашла его почти без сознания и поставила ему банки, зажигая вату и быстро прикрывая стаканами… Стало легче, и он уговорил Марью Яковлевну идти спать. Марья Яковлевна успокоилась и ушла. И в доме, после суматохи и беготни, наступила мертвая тишина.

В полночь землемер привстал с постели, потушил лампу и закрыл глаза в смертельной жажде отдыха. Но лампа внезапно зажглась снова — сама собою. От страха у землемера опять заколотилось сердце, и он опять пошел тушить ее. И увидал, что он в людном дымном вагоне, бегущем среди зыбких снежных полей, — лежит на диване и смотрит на кавалериста-офицера, сидящего напротив. Офицер молод, красив и крепко-крепко затянут в рейтузы и смешно короткий китель. Глаза у него блестят, губы яркие, короткие курчавые волосы черны, как смоль. Усики маленькие, нахальные. И, нахально наклоняясь к землемеру, офицер глухо кричит ему на ухо:

— Вы все-таки счастливец! Скоро и приедете!

И, наклоняясь все ниже и ниже и чувствуя, что землемер почти не слышит его, кричит еще громче и еще невнятнее:

— А надо вам сказать, что я безумно люблю свою жену…

Но землемер с отчаянием чувствует, что не слышит его. По лицу офицера видно, что он кричит, — но голоса не слышно. И, задыхаясь от напряжения, землемер вскочил и побежал по широкому выгону к воротам скотного двора, упал на землю и нырнул в подворотню. Но ворота тотчас же осели — и стопудовой тяжестью притиснули его к земле. Он крикнул и сделал нечеловеческое усилие освободиться… И, вскочив с постели, кинулся к окну, за которым белел рассвет, и с размаху ударил ладонью в раму. Рама распахнулась, в комнату ворвался свежий сырой воздух, но землемер не успел глотнуть его: он упал в кресло и так и остался на месте с закинутой назад головой, выкатившимися из орбит белками и раскрытыми посиневшими губами…

И долго тянуло в эти раскрытые губы холодной пахучей сыростью ненастного осеннего рассвета…

А в полдень, когда землемер уже спокойно лежал на столе, на сене, застланном простынею, вымытый, причесанный, в сюртуке и крахмальной рубашке, в зал на цыпочках вошел Иван Павлов, поклонился ему до земли, поцеловал в ледяной лоб, в лиловатые выпуклости закрытых глаз и, увидав выходящую из кабинета заплаканную Марью Яковлевну, вежливо, кротко и радостно сказал:

— Имею честь поздравить с новопредставленным.

Печатается по: ***Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник» Кн. 3. СПб., [1907]. С. 70–108***.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Летопись личных встреч (включая «невстречи») и переписки И.А. Бунина и Л.Н. Толстого

Май — сентябрь 1887 г. — первая попытка Бунина познакомиться с Толстым (поездка верхом в Ясную Поляну, остановка в Ефремове и возвращение домой).

12 июня 1890 г. — первое письмо Бунина к Толстому (ответа не было).

20–26 июня 1890 г. — вторая попытка знакомства с Толстым (поездка в Ясную Поляну в компании с редактором «Орловского вестника» Б.П. Шелеховым; Толстого не застали).

7 февраля 1893 г. — второе письмо Бунина к Толстому (о «работе на голоде»).

20 февраля 1893 г. — ответ Толстого (отправлен толстовцу Н.И. Бунину, поскольку Толстой перепутал адресата).

15 июля 1893 г. — третье письмо Бунина к Толстому с приложением оттиска рассказа «Деревенский эскиз» (ответа не было).

4 января 1894 г. — знакомство Бунина с Толстым в его доме в Хамовниках в Москве (Бунин приехал вместе с А.А. Волкенштейном).

15 февраля 1894 г. — четвертое письмо Бунина к Толстому (о впечатлении от беседы с Толстым и о судьбе Е.Н. Дрожжина).

23 февраля 1894 г. — ответ Толстого Бунину.

Март 1895 г. (первая половина) — второе посещение Толстого Буниным в Хамовниках в Москве.

21 марта 1896 г. — пятое письмо Бунина Толстому (с философскими размышлениями о жизни; вероятно, не было отправлено).

До 5 марта 1897 г. — Бунин отправляет Толстому прозаический сборник «“На край света” и другие рассказы» (ответа не было).

После 16 января 1899 г. — Бунин отправляет Толстому только что вышедший перевод «Песни о Гайавате» с дарственной надписью (ответа не было).

Между 20 ноября и 10 декабря 1900 г. — встреча Бунина с Толстым на Арбате.

14 марта 1901 г. — шестое письмо Бунина к Толстому (с просьбой принять участие в сборнике в пользу голодающих на юге; ответа не было).

28 августа 1908 г. — поздравительная телеграмма Бунина Толстому (по случаю 80-летия; ответа не было).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Издания текстов Л.Н. Толстого

1. *Толстой Л.Н.* Анна Каренина // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1934–1939. Т. 18–20.
2. *Толстой Л.Н.* Война и мир // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1937–1955. Т. 9–16.
3. *Толстой Л.Н.* В чем моя вера? // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 23. С. 304–465.
4. *Толстой Л.Н.* Детство // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1928. Т. 1. XXIII, 355 с.
5. *Толстой Л.Н.* Дневники и записные книжки, 1854–1909 // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1937–1952. Т. 47–57.
6. *Толстой Л.Н.* Исповедь // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 23. С. 159.
7. *Толстой Л.Н.* Исследование догматического богословия // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 23. С. 60–303.
8. *Толстой Л.Н.* Казаки // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 6. XI, 313, [2] с.
9. *Толстой Л.Н.* Крейцерова соната // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 27. С. 5–78.
10. *Толстой Л.Н.* Метель // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1935. Т. 3. С. 118–144.
11. *Толстой Л.Н.* О переписи в Москве // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 23. С. 173–181.
12. *Толстой Л.Н.* Отрочество. Юность // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1930. Т. 2. XI, 416 с.
13. *Толстой Л.Н.* Письма // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1953–1955. Т. 66–67; М.: ГИХЛ, 1938. Т. 83.
14. *Толстой Л.Н.* Поликушка // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 7. С. 2–54.
15. *Толстой Л.Н.* Послесловие к «Крейцеровой сонате» // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 27. С. 79–92.
16. *Толстой Л.Н.* Путь жизни // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 45. 601 с.

17. *Толстой Л.Н.* Севастопольские рассказы // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1935. Т. 4. С. 3–119.
18. *Толстой Л.Н.* Смерть Ивана Ильича // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 26. С. 61–113.
19. *Толстой Л.Н.* Хаджи-Мурат // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1950. Т. 35. С. 5–118.
20. *Толстой Л.Н.* Хозяин и работник // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1954. Т. 29. С. 3–46.
21. *Толстой Л.Н.* Царство Божие внутри вас // Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 28. XXXVII, 396 с.

II. Издания текстов И.А. Бунина

22. *Бунин И.А.* Антоновские яблоки. Картины из книги «Эпитафии» // Жизнь. 1900. № 10. С. 149–166.
23. *Бунин И.А.* Астма // Лит.-худож. альманах изд-ва «Шиповник». СПб., [1907]. Кн. 3. С. 70–108.
24. *Бунин И.А.* Без роду-племени // Мир Божий. 1899. № 4. С. 19–33.
25. *Бунин И.А.* В августе // Русская мысль. 1901. № 8. С. 146–150.
26. *Бунин И.А.* В деревне: из детских воспоминаний // Детское чтение. 1898. № 1. С. 87–96.
27. *Бунин И.А.* Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. 273 с.
28. *Бунин И.А.* Два странника // Родина. 1887. 28 сент. № 39. Стб. 1224–1229.
29. *Бунин И.А*. День за день: старая история // Орловский вестник. 1889. 22 нояб. № 156. С. 2.
30. *Бунин И.А.* Деревенский эскиз // Русское богатство. 1893. № 4. С. 1–13.
31. *Бунин И.А.* Дневники 1885–1953 гг. / предисл., подгот. текста и примеч. Т.М. Двинятиной, О.А. Коростелева, С.Н. Морозова // И.А. Бунин. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2022. Кн. 2. С. 5–441. (Литературное наследство; т. 110).
32. *Бунин И.А.* Жизнь Арсеньева. Юность. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952. 388 с.
33. *Бунин И.А*. Записи // Новый журнал. 1965. № 80. С. 125–128.
34. *Бунин И.А.* Интервью // Иван Бунин: в 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 1. С. 359–380. (Литературное наследство; т. 84).
35. *Бунин И.А.* Кастрюк // Русское богатство. 1895. № 4. С. 127–137.
36. *Бунин И.А*. Критика и публицистика 1911–1953 годов / отв. редактор А.В. Бакунцев; сост. А.В. Бакунцев, С.Н. Морозов, О.А. Коростелев; предисл., подгот. текста и коммент. А.В. Бакунцева, С.Н. Морозова. М.: ИМЛИ РАН, 2025. 1144 с.
37. *Бунин И.А.* Кукушка // Всходы. 1899. № 1. С. 24–37.

38. *Бунин И.А.* Мелкопоместные: очерки из жизни елецких помещиков // Орловский вестник. 1891. 27 окт. № 285. С. 2; 29 нояб. № 317. С. 2; 8 дек. № 326. С. 2–3; 13 дек. № 331. С. 2–3; 17 дек. № 335. С. 2–3; 22 дек. № 340. С. 2. Подпись: И.А.Б.
39. *Бунин И.А.* Над городом // Журнал для всех. 1902. № 11. Стб. 1283–1288.
40. *Бунин И.А.* «Надежда» // Одесские новости. 1902. № 5571. С. 1.
41. *Бунин И.А.* «Надежда» // *Бунин Ив.* Рассказы. СПб: Тип. Н.Н. Клобукова, 1902. Т. 1. С. 285–290.
42. *Бунин И.А.* На Женевском озере // Мир Божий. 1901. № 7. С. 34–38.
43. *Бунин И.А.* На край света и другие рассказы. СПб: О.Н. Попова, 1897. 255 с.
44. *Бунин И.А.* На хуторе // Русское богатство. 1895. № 5. С. 120–125.
45. *Бунин И.А.* Неожиданность // Русское богатство. 1895. № 6. С. 123–132.
46. *Бунин И.А.* Неотправленное письмо Бунина Толстому // *Лидин В.Г.* Друзья мои — книги: заметки книголюба. М.: Искусство, 1962. С. 113–114.
47. *Бунин И.А.* Нефедка // Родина. 1887. № 51. 20 дек. Стб. 1613–1615.
48. *Бунин И.А.* Новая дорога // Жизнь. 1901. № 4. С. 162–171.
49. *Бунин И.А.* Новые стихотворения. М.: О.О. Гербек, 1902. 105, II с.
50. *Бунин И.А.* Новый год // Русская мысль. 1902. № 1. С. 99–105.
51. *Бунин И.А.* Освобождение Толстого. Paris: YMCA-Press, 1937. 256 с.
52. *Бунин И.А.* О Толстом // Современные записки. 1927. № 32. С. 518.
53. *Бунин И.А.* О Чехове: незаконченная рукопись. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. 415 с.
54. *Бунин И.А.* Первая любовь: из воспоминаний детства // Орловский вестник. 1890. 13 февр. № 26. С. 2; 14 февр. № 27. С. 2–3.
55. *Бунин И.А.* Перевал и другие рассказы. М.: Моск. книгоизд-во, [1912]. 344 с.
56. *Бунин И.А.* Письма 1885–1904 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. [Т. 1] / под общ. ред. О.Н. Михайлова; подгот. текстов и коммент. С.Н. Морозова, Л.Г. Голубевой, И.А. Костомаровой. 769 с.
57. *Бунин И.А.* Поздней ночью // Северные цветы. М.: Скорпион, 1901. С. 42–45.
58. *Бунин И.А.* Полн. собр. соч.: в 6 т. Пг: Т-во А.Ф. Маркс, 1915. Т. 2, 4, 6.
59. *Бунин И.А.* Помещик Воргольский // Орловский вестник. 1892. 3 июня. № 143. С. 2; 4 июня. № 144. С. 2–3; 5 июня. № 145. С. 2; 6 июня. № 146. С. 2.
60. *Бунин И.А.* Поэт-самоучка: по поводу стихотворений Е.И. Назарова // Иван Бунин: в 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 1. С. 290–296. (Литературное наследство; т. 84).
61. *Бунин И.А.* Свиданье // Русская мысль. 1902. № 7. С. 160–168.
62. *Бунин И.А.* Святая ночь // Мир Божий. 1895. № 4. С. 1–8.

63. *Бунин И.А.* Скит // Журнал для всех. 1901. № 7. Стб. 819–826.
64. *Бунин И.А.* Сосны // Мир Божий. 1901. № 11. С. 99–110.
65. *Бунин И.А.* Стихотворения. СПб.: Т-во «Знание», 1903. Т. 2. 222, VI с.
66. *Бунин И.А.* Стихотворения. 2-е изд. СПб.: Т-во «Знание», 1909. Т. 2: 1889–1902 г. 203 с.
67. *Бунин И.А.* Стихотворения: в 2 т. / вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Т.М. Двинятиной. СПб: Изд-во Пушкинского дома; Вита Нова, 2014. Т. 1. 544 с. Т. 2. 544 с.
68. *Бунин И.А.* Тарантелла // Новое слово. 1896. № 7. С. 45–93.
69. *Бунин И.А.* Тишина // *Бунин И.А.* Рассказы. СПб.: Знание, 1902. Т. 1. С. 277–284.
70. *Бунин И.А.* Туман // Жизнь. 1901. № 4. С. 1–6.
71. *Бунин И.А.* Увлечение / подгот. текста, предисл. и примеч. С.Н. Морозова // И.А. Бунин. Новые материалы и исследования М.: ИМЛИ РАН, 2019. Кн. 1. С. 46–78. (Литературное наследство; т. 110).
72. Переписка [И.А. Бунина] с Н.Д. Телешовым, 1897–1947 / предисл. и публ. А.Н. Дубовикова // Иван Бунин: в 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 1. С. 471–638. (Литературное наследство; т. 84).

III. Литература об И.А. Бунине и Л.Н. Толстом

73. *Бабореко А.К.* Бунин о Толстом // Яснополянский сборник: статьи и материалы, 1910–1960. Тула: Кн. изд-во, 1960. С. 129–134.
74. *Гейдеко В.А.* Толстовство в творчестве Бунина // Бунинский сборник. Орел: Курский ГПИ и Орловский ГПИ, 1974. С. 240–250.
75. *Кучеровский Н.М.* «Мундир» толстовства (Молодой И.А. Бунин и толстовство) // Из истории русской литературы XIX века. Калуга: [б. и.], 1966. С. 110–131.
76. *Линков В.Я.* Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина. М.: МГУ, 1989. 174 с.
77. *Мелкова А.С.* Толстой и Бунин (по материалам архива Л.Н. Толстого) // Бунинский сборник. Орел: Курский ГПИ и Орловский ГПИ, 1974. С. 262–273.
78. *Михайлов О.Н.* Бунин и Толстой // Лев Николаевич Толстой. М.: МГУ, 1959. Сб. 2. С. 203–216.
79. *Пономарев Е.Р.* И.А. Бунин и Л.Н. Толстой: Автореф. канд. дисс. СПб: СПбГУ, 2000. 23 с.
80. *Спивак Р.С.* «Живая жизнь» И. Бунина и Л. Толстого (некоторые стороны эстетики Бунина в свете традиций Л. Толстого) // Учен. зап. Пермск. гос. ун-та. Пермь, 1966. № 155. С. 87–128.
81. *Спивак Р.С.* И.А. Бунин и Л.Н. Толстой (Наблюдения над соотношением художественных стилей): Автореф. канд. дисс. М.: МГУ, 1967. 12 с.

82. *Спивак Р.С.* Принципы художественной конкретизации в творчестве Л. Толстого и И. Бунина: деталь // Учен. зап. Пермск. гос. ун-та. Пермь, 1968. № 193. С. 247–277.
83. *Спивак Р.С.* Русская деревня в изображении И.А. Бунина и Л. Толстого // Вестник МГУ. М., 1969. № 3. С. 41–48.
84. *Спивак Р.С.* Язык прозы И.А. Бунина и традиции Л.Н. Толстого // Филологические науки. М., 1968. № 3. С. 23–33.

IV. Литература о Л.Н. Толстом

85. *Алданов М.* Загадка Толстого. Берлин: И.П. Ладыжников, 1923. 128 с.
86. *Антюхин Г.В.* Друзья Л.Н. Толстого: Г.А. Русанов и В.Г. Чертков. Воронеж: ВГУ, 1983. 224 с.
87. *Бородкин М.* Граф Л.Н. Толстой как учитель жизни. СПб.: И.Л. Тузов, 1897. 120, VII с.
88. *Буренин В.П.* Драма гр. Л.Н. Толстого // *Буренин В.П.* Критические этюды. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1888. С. 169–211.
89. *Венгеров С.А.* Толстой // Энцикл. словарь. СПб.: Акц. изд. о-во Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон, 1901. Т. 33. С. 448–457.
90. *Вересаев В.В.* «Да здравствует весь мир!» (О Льве Толстом) // *Вересаев В.В.* Живая жизнь. М.: ИПЛ, 1991. С. 59–89.
91. *Вогюэ М.* По поводу «Крейцеровой сонаты» // Русское обозрение. 1890. № 12. С. 511–527.
92. *Волынский А.Л.* Нравственная философия гр. Льва Толстого // Вопросы философии и психологии. 1890. № 1 (5). С. 26–45.
93. *Галаган Г.Я.* Л.Н. Толстой // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1982. Т. 3. С. 797–851.
94. *Галаган Г.Я.* Путь Толстого к «Исповеди» // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1979. С. 192–217.
95. *Громека М.С.* Последние произведения графа Л.Н. Толстого. М.: Н.Н. Бахметьев, 1884. [4], 226 с.
96. *Грот Н.Я.* Нравственные идеалы нашего времени (Фридрих Ницше и Лев Толстой) // Вопросы философии и психологии. 1893. № 1 (16). С. 129–154.
97. *Гусев А.* О браке и безбрачии: против «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней. Казань: Имп. ун-т, 1891. 104 с.
98. *Гусев Н.Н.* Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891–1910. М.: Гослитиздат, 1960. 918 с.
99. *Дистерло Р.А.* Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист. СПб: Тип. Н.А. Лебедева, 1886. 200, [1] с.
100. *Евлампиев И.И., Матвеева И.Ю.* Принцип «непротивления злу насилием» Л.Н. Толстого в контексте русской религиозной философии кон-

ца XIX — начала XX века // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2020. Т. 24, № 2. С. 165–180. DOI: 10.22363/2313-2302-2020-24-2-165-180

101. *Иванов Г.В.* Тема «бескровного преуспеяния» в творчестве Толстого и Щедрина 80-х годов // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1979. С. 218–238.
102. *Козлов А.А.* Письма о книге гр. Л.Н. Толстого «О жизни» // Вопросы философии и психологии. 1890. № 1 (5). С. 1–34; 1891. № 2 (6). С. 68–96; № 3 (7). С. 69–102.
103. *Козлов А.А.* Религия графа Л.Н. Толстого, его учение о жизни и любви. 2-е изд. СПб.: И.А. Фролов, 1895. 224 с.
104. *Короленко В.Г.* Лев Николаевич Толстой. Статья первая // *Короленко В.Г.* Собр. соч.: в 5 т. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1990. Т. 3. С. 559–580.
105. *Короленко В.Г.* Л.Н. Толстой. Статья вторая // *Короленко В.Г.* Собр. соч.: в 5 т. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1990. Т. 3. С. 580–585.
106. *Лавров П.Л.* Старые вопросы (Учение графа Л.Н. Толстого) // *Лавров П.Л.* Социальная революция и задачи нравственности. Старые вопросы. Пг.: Колос, 1921. С. 95–148.
107. *Лакшин В.Я.* Толстой и Чехов. 2-е изд. М.: Сов. писатель, 1975. 456 с.
108. *Листовский И.С.* Заметки на «Крейцерову сонату» графа Л.Н. Толстова. М.: Унив. тип., 1891. 66 с.
109. *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский (Религия) // *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч.: [в 24 т.]. М.: И.Д. Сытин, 1914. Т. 11–12. 240, 274 с.
110. *Минский Н.М.* Толстой и реформация. Идеи «Саломеи». М.: Заря, 1910. 46 с.
111. *Михайловский Н.К.* Сочинения. [Т. 1–6.] СПб.: Ред. журн. «Русское богатство», 1897. Т. 6. 1046 стб.
112. *Никанор, архиеп*. Против графа Льва Толстого: восемь бесед высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского. Одесса: Е.И. Фесенко, 1891. 231 с.
113. *Никифоров Л.П.* Кем был Л.Н. Толстой? (По лучшим отзывам русской печати). М.: Тип. «Печатное дело», 1912. Сб. 1. 95 с.
114. *Оболенский Л.Е.* Л.Н. Толстой, его философские и нравственные идеи. 2-е изд. СПб.: Кн. магазин А.Ф. Цинзерлинга, 1887. 319 с.
115. *Плеханов Г.В.* «Отсюда и досюда»; Смешение представлений (Учение Л.Н. Толстого); Карл Маркс и Лев Толстой; Еще о Толстом; Толстой и природа // *Плеханов Г.В.* Сочинения: [в 24 т.] М.; Л.: ГИЗ, 1927. Т. 24. С. 185–253.
116. *Пономарев Е.Р.* Толстовское непротивление в контексте Серебряного века, русской революции и русской эмиграции. Ч. 1 // Новый филоло-

гический вестник. 2023. № 3 (66). С. 190–198. DOI: 10.54770/20729316-2023-3-190

117. [*Преображенский Ф.*]. Христианский брак: несколько слов о сущности и условиях христианского брака по поводу воззрений графа Л.Н. Толстого в его сочинениях «Крейцерова соната» и «Послесловие» к ней. М.: И.Д. Сытин, 1891. 54 с.
118. *Протопопов М.А.* Психологический вопрос (По поводу последней повести Льва Толстого «Крейцерова соната») // Русская мысль. 1891. № 8. С. 123–144.
119. *Пругавин А.С.* О Льве Толстом и толстовцах: очерки, воспоминания, материалы. М.: Изд. автора, 1911. 323 с.
120. *Разумовский А.* «Крейцерова соната» графа Л.Н. Толстого и ее выводы. М.: Т-во «И.Н. Кушнерев и К», 1892. 64 с.
121. *Скабичевский А.М.* Граф Л.Н. Толстой как художник и мыслитель: критич. очерки и заметки. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1887. [4], 235 с.
122. *Слонимский Л.З.* Новые теории графа Л.Н. Толстого // Вестник Европы. 1886. № 8. С. 808–836.
123. *Слонимский Л.З.* Философия графа Л.Н. Толстого // Вестник Европы. 1886. № 4. С. 581–605. Подпись: Z.
124. *Соловьев А.Е.* Отрицает ли Лев Толстой семью и брак (По поводу «Крейцеровой сонаты»). Пенза: Тип. губ. правл., 1893. 16 с.
125. *Страхов Н.Н.* Толки об Л.Н. Толстом (Психологический этюд) // Вопросы философии и психологии. 1891. № 5 (9). С. 98–132.
126. *Страхов Н.Н.* Ответ на письмо неизвестного // Вопросы философии и психологии. 1892. № 11. С. 94–100.
127. *Тенеромо И.* Живые слова Л.Н. Толстого (за последние 25 лет его жизни). М.: К.И. Тихомиров, 1912. 508 [III] с.
128. *Цертелев Д.Н.* Учение графа Л.Н. Толстого о жизни // Русское обозрение. 1890. № 7. С. 268–296.
129. *Шелгунов Н.В.* Очерки русской жизни // Сочинения: в 3 т. 3-е изд. СПб.: О.Н. Попова, [1908]. Т. 3. 1098 стб.
130. *Шестов Л.* Добро в учении гр. Толстого и Ницше (Философия и проповедь) // *Шестов Л.* Собр. соч. [Т. 1–6.] СПб.: Шиповник, [1911]. Т. 2. 2-е изд. 87 с.
131. *Эйхенбаум Б.М.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1974. 359 с.
132. *Юзефович Б.М.* Несколько слов по поводу письма гр. Л.Н. Толстого о способах борьбы с голодом. Киев: Т-во «И.Н. Кушнерев и К» в Москве; Киевск. отд., 1891. 29 с. Подпись: Б.Ю.

V. Литература об И.А. Бунине

133. *Аверин Б.В.* Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. 400 с.
134. *Анисимов К.В.* Толстовская парадигма «Хозяина и работника» у Бунина: «метельный (кон)текст» философии субъекта // Критика и семиотика. 2018. № 1. С. 187–215.
135. *Афанасьев В.Н.* И.А. Бунин. М.: Просвещение, 1966. 384 с.
136. *Афонин Л.Н.* О происхождении рассказа «Неизвестный друг» // Иван Бунин: в 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 2. С. 412–423. (Литературное наследство; т. 84.)
137. *Бабореко А.К.* И.А. Бунин: Материалы для биографии с 1870 по 1917. М.: Худож. лит., 1967. 332 с.
138. *Бабореко А.К.* И.А. Бунин: Материалы для биографии с 1870 по 1917. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1983. 351 с.
139. *Бабореко А.К.* И.А. Бунин: жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2004. 455 с.
140. *Бабореко* А.К. Юношеский роман И.А. Бунина // Литературный Смоленск. 1956. [Кн. 15.] С. 275–286.
141. *Бонами Т.М.* Художественная проза Бунина, 1887–1904. [Владимир]: Владимирск. кн. изд-во, 1962. 108 с.
142. *Волков А.А.* Проза Ивана Бунина. М.: Московский рабочий, 1969.
143. *Гейдеко В.А.* А. Чехов и Ив. Бунин. М.: Сов. писатель, 1976. 374 с.
144. *Гейдеко В.А.* А. Чехов и Ив. Бунин. 2-е изд. М.: Сов. писатель, 1987. 363, [2] с.
145. *Двинятина Т.М.* И.А. Бунин и Е.М. Лопатина (по материалам Рукописного отдела Пушкинского Дома и Русского архива в Лидсе) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2018–2019 годы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. С. 7–43.
146. *Двинятина Т.М.* И.А. и В.Н. Бунины в переписке с Е.М. Лопатиной (1923–1935 гг.) // Emigrantica et cetera: к 60-летию О. Коростелева / ред.-сост. Е.Р. Пономарев, М. Шруба. М.: Дмитрий Сечин, 2019. С. 710–752.
147. *Дмитровская М.А.* Почему И.А. Бунин снял посвящение М.П. Ч<еховой>? Рассказ «Счастье» («Свиданье», «Заря всю ночь») // Практики и интерпретации. 2024. Т. 9 (2). С. 136–147.
148. *Иванова Н.Ф.* Иван Бунин и Мария Чехова. М.: [б. и.], 2023. 212 с.
149. *Ильин И.А.* О тьме и просветлении: книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев // *Ильин И.А.* Собр. соч.: в 10 т. М.: Русская книга, 1996. Т. 6, кн. 1 / сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. С. 183–406.
150. *Келдыш В.А.* О «серебряном веке» русской литературы: проблемы прозы. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 512 с.
151. *Келдыш В.А.* Русский реализм начала XX века. М.: Наука, 1975. 279 с.

152. *Крутикова Л.В.* Иван Бунин // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1983. Т. 4. С. 635–666.
153. *Кучеровский Н.М.* Братья Бунины (Начало литературной деятельности И.А. Бунина) // Из истории русской литературы XIX века. Калуга: [б. и.], 1966. С. 85–109.
154. *Кучеровский Н.М.* Бунин и его проза (1887–1917). Тула: Приокск. кн. изд-во, 1980. 319 с.
155. *Лакшин В.Я.* Пять великих имен. М.: Современник, 1988. 460 с.
156. Летопись жизни и творчества И.А. Бунина / сост. С.Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Т. 1: 1870–1909. 944 с.
157. Летопись жизни и творчества И.А. Бунина / сост. С.Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2017. Т. 2: 1910–1919. 1184 с.
158. *Мальцев Ю.В*. Иван Бунин, 1870–1953. [М.]: Посев, 1994. 432 с.
159. *Михайлов О.Н.* Бунин. Жизнь и творчество. Тула: Приокское кн. изд-во, 1987. 317 с.
160. *Михайлов О.Н.* Строгий талант. Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество. М.: Современник, 1976. 277 с.
161. *Нинов А.* М. Горький и Бунин. История отношений. Проблемы творчества. Л.: Сов. писатель, 1973. 567 с.
162. *Нинов А.* М. Горький и Бунин. История отношений. Проблемы творчества. 2-е изд. Л.: Сов. писатель, 1984. 557 с.
163. *Пономарев Е.Р.* Жанровый генезис и сюжетология ранней прозы И.А. Бунина // Studia Litterarum. 2022. Т. 7, № 4. С. 178–193. DOI: 10.22455/2500-4247-2022-7-4-178-193
164. *Пономарев Е.Р.* «Жизнь Арсеньева» как история моего современника: движение автобиографических форм повествования от В.Г. Короленко к И.А. Бунину. Ч. 1 // Вестник СПбГУКИ. 2014. № 4 (21). С. 152–165.
165. *Пономарев Е.Р.* «Жизнь Арсеньева» как история моего современника: движение автобиографических форм повествования от В.Г. Короленко к И.А. Бунину. Ч. 2 // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 1 (22). С. 143–150.
166. *Пономарев Е.Р.* Записные книжки и дневники И.А. Бунина в свете антропологии литературы: Бунин, Чехов, Л. Толстой как писательские типы // Труды СПбГИК. Художественная антропология серебряного века: материалы междунар. науч. конф. «Литературные чтения». 20–21 октября 2016 г. 2017. Т. 215. С. 62–68.
167. *Пономарев Е.Р.* Опережая Л.Н. Толстого: толстовские темы и толстовский «тон» в ранней прозе И.А. Бунина // Studia Litterarum. 2024. Т. 9, № 4. С. 206–221. DOI: 10.22455/2500-4247-2024-9-4-206-221
168. *Пономарев Е.Р.* «Письмо с натуры»: автобиографический материал в ранней прозе И.А. Бунина // Studia Litterarum. 2023. Т. 8, № 3. С. 148–167. DOI: 10.22455/2500-4247-2023-8-3-148-167

169. *Пономарев Е.Р.* Поэтика ранней прозы И.А. Бунина: жанровый генезис, стилистические тенденции, художественные ориентиры // Раннее творчество И.А. Бунина (1883–1902 гг.): поэтика, текстология, комментарий / отв. ред. С.Н. Морозов; ред. А.В. Бакунцев, Т.М. Двинятина, Е.Р. Пономарев. М.: ИМЛИ РАН, 2024. С. 20–34. (Академический Бунин; вып. 4). DOI: 10.22455/978-5-9208 0761-8-20-34
170. *Пономарев Е.Р.* Преодолевший модернизм: творчество И.А. Бунина эмигрантского периода. М.: Литфакт, 2019. 340 с. (Академический Бунин; вып. 2).
171. *Пономарев Е.Р.* Системная перестройка поэтики И.А. Бунина в начале 1900-х годов. Трансформация идейного в философическое // Вестник Новосибирск. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2025. Т. 24, № 2: Филология. С. 123–133. DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-2-123-133
172. *Сливицкая О.В.* О природе бунинской «внешней изобразительности» // Русская литература. 1994. № 1. С. 72–80.
173. *Сливицкая О.В.* «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. 270 с.
174. *Ширмаков П.П.* Рукописи и переписка И.А. Бунина // Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома. [Л.]: Изд. АН СССР, 1959. № 8. С. 115–134.
175. *Щавлинский М.С.* Рассказ И.А. Бунина «Поздней ночью»: поэтика памяти сквозь призму текстологии // Раннее творчество И.А. Бунина (1883–1902 гг.): поэтика, текстология, комментарий / отв. ред. С.Н. Морозов; ред. А.В. Бакунцев, Т.М. Двинятина, Е.Р. Пономарев. М.: ИМЛИ РАН, 2024. С. 124–135. (Академический Бунин; вып. 4). DOI: 10.22455/978-5-9208-0761-8-124-135
176. *Dupierreux R.* Vieille Russie à Bruxelles. — Avec Ivan Bounine, prix Nobel 1933 // Le Soir. Bruxelles, 1935. 13 janv. № 13. P. 1–2.
177. *Woodward J.* Ivan Bunin: A Study of His Fiction. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, [1980]. XII, 275 p.

VI. Воспоминания о Л.Н. Толстом

178. *Авилова Л.А.* Рассказы. Воспоминания. М.: Сов. Россия, 1984. 336 с.
179. *Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого (Записки за пятнадцать лет): в 2 т. М.: Голос Толстого, 1922–1923.
180. *Горький М.* Лев Толстой // *Горький М.* Полн. собр. соч.: Худож. произведения: в 25 т. М.: Наука, 1973. Т. 16. С. 260–312.
181. *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. 485 с.
182. *Маковицкий Д.П.* У Толстого, 1904–1910: Яснополянские записки: в 4 кн. М.: Наука, 1979–1981. (Литературное наследство; т. 90).

183. *Репин И.Е.* Далекое близкое. 5-е изд. М.: Акад. художеств СССР, 1960. 510 с.
184. *Русанов Г.А.* Поездка в Ясную Поляну // Толстовский ежегодник. 1912. М.: О-во толстовского музея в С.-Петербурге и Толстовское о-во в Москве, 1912. С. 51–87.
185. *Семенов С.Т.* Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. СПб.: Обществ. польза, 1912. 153 с.
186. *Толстой С.Л.* Очерки былого. М.: ГИХЛ, 1956. 400 с.

VII. Воспоминания об И.А. Бунине

187. *Бунин Ю.А.* Из архива Юлия Бунина. Из жизни провинции в 90-х годах / публ. Т. Гордиенко // Москва. 2016. Март. С. 213–246. URL: https://moskvam.ru/publications/publication_1495.html (дата обращения: 16.07.2023).
188. *Женжурист Л.А.* Из воспоминаний о Полтаве / вст. ст. и примеч. В.С. Оголевца // Иван Бунин: в 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 2. С. 236–246. (Литературное наследство; т. 84).
189. *Куприна-Иорданская М.К.* Годы молодости. М.: Худож. лит., 1966. 384 с.
190. *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина. Беседы с памятью М.: Сов. писатель, 1989. 507 [2] с.
191. *Седых А.* Далекие, близкие. М.: Московский рабочий, 1995. 320 с.

VIII. Отдельные исследования

192. *Агарин Е.В.* Трудами рук своих: толстовские земледельческие колонии в дореволюционной России. М.: Common place, 2019. 366, [18] с.
193. *Жирмунский В.М.* Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: А.С. Суворин, 1914. 207 с.
194. *Калиничева З.В.* К вопросу о возникновении толстовства // Научный атеизм, этика, эстетика: науч. доклады. XXVII Герценовские чтения. Л., 1974.
195. *Кривенко С.Н.* На распутьи (Культурные скиты и культурные одиночки). 2-е изд. М.: Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1901. 339 с.
196. *Магомедова Д.М.* «Переписывание классики» на рубеже веков: сфера автора и сфера героя // Литературный текст: проблемы и методы исследования. М.: РГГУ, 2000. Т. 6. С. 212–218.
197. *Магомедова Д.М.* Переписывание сюжета о «новых людях» в русской прозе конца XIX — начала XX вв. (В.В. Вересаев и З.Н. Гиппиус) // Новый филологический вестник. 2018. № 2 (45). С. 118–127.
198. *Скафтымов А.П.* О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь» // *Скафтымов А.П.* Нравственные искания русских писателей. М.: Худож. лит., 1972. С. 381–403.

199. *Собенников А.С.* Архетип праведника в повести А.П. Чехова «Моя жизнь» // Русская литература XIX века и христианство. М.: МГУ, 1997. С. 239–246.
200. *Соловьев К.А.* «Я сказал: вы — боги...»: религиозное течение в освободительном движении 70-х гг. XIX в. в России («богочеловечество»). М.: [б. и.], 1998. 135 с.
201. *Теплинский М.В.* Доктор А.А. Волкенштейн (штрихи к портрету обыкновенного порядочного человека) // Вестник Сахалинского музея. 1997. № 1 (4). С. 145–187.
202. *Чисников В.* Лев Толстой и его последователи: по сведениям департамента полиции (1861–1896) // Нева. 2020. № 10. С. 207–220.
203. *Элиасберг Г.А.* Запреты и предписания, касающиеся семейной жизни, в творчестве толстовца И. Тенеромо // Запреты и предписания в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2018. С. 274–294. (Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия).

IX. Другие источники

204. Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1894 год / сост. Д.А. Иваненко. Полтава: Тип. Л. Фрешберга, 1894. 175, 149 с.
205. Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1895 год / сост. Д.А. Иваненко. Полтава: Тип. Л. Фрешберга, 1895. 229, 157 с.
206. Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1896 год / сост. Д.А. Иваненко. Полтава: Тип. Л. Фрешберга, 1896. 181, 144 с., 3 приложения.
207. *Баранов Е.* Толстовцы. М.: Дело, 1912. 96 с.
208. *Блок А.А.* Полн. собр. соч.: в 20 т. М.: Наука, 1997. Т. 1. 639 с.
209. *Боборыкин П.Д.* Воспоминания: в 2 т. М.: Худож. лит., 1965. Т. 1. 567 с.
210. *Буткевич Т.И.* Обзор русских сект и их толков. 2-е изд. Пг.: И.Л. Тузов, 1915. 566 с.
211. *Венгеров С.А.* Героический характер русской литературы. СПб.: Прометей, 1911. 205 с.
212. *Волкенштейн А.* Письма к Л.Н. Толстому // Государственный музей Л.Н. Толстого. Отдел рукописей. Ф. 1. 141/82.
213. *Горький М.* Полн. собр. соч.: Письма: в 24 т. М.: Наука, 1997. Т. 2: Письма, 1900–1901. 480 с.
214. *Даль В.И.* Пословицы русского народа: в 2 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. 1. 430 с.
215. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955.

216. *Иванов-Разумник Р.В.* История русской общественной мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.: [в 2 т.] СПб., 1907. Т. 2.
217. *Ильин Н.Д.* Дневник толстовца. СПб.: М. Янц, 1892. 289 с.
218. *Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиеп.* Избранное. Петрозаводск: Святой остров, 1992. 574 [1] с.
219. К чествованию 80-летия гр. Л.Н. Толстого // Русские ведомости. 1908. 11 марта. № 59. С. 4.
220. *Каронин С.* [*Петропавловский Н.Е.*]. Сочинения: в 2 т. М.: Гослитиздат, Ленингр. отд., 1958. Т. 2. 607 с.
221. *Клопский И.М.* Письма к Л.Н. Толстому // Государственный музей Л.Н. Толстого. Отдел рукописей. Ф. 1. 155/110.
222. *Короленко В.Г.* История моего современника // *Короленко В.Г.* Собр. соч.: в 5 т. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1990–1991. Т. 4–5.
223. *Кропоткин П.А.* Идеалы и действительность в русской литературе. СПб.: Знание, 1907. 367 с.
224. *Лесков Н.С.* Письма // *Лесков Н.С.* Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 11. 862 с.
225. *Мертваго А.П.* Не по торному пути: из воспоминаний (1878–1888). СПб.: Бр. Пантелеевы, 1895. 227 с.
226. *Попов Е.И.* Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина (1866–1894) / с предисл. Л.Н. Толстого. Берлин: Ф. Готгейнер, 1895. [4], XXXIX, 196 с.
227. *Пыпин А.Н.* История русской литературы: в 4 т. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. Т. 4.
228. *Соловьев Вл.С.* Смысл любви // *Соловьев Вл.С.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 493–547.
229. *Соловьев Вл.С.* Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // *Соловьев Вл.С.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 493–547.
230. *Соловьев Е.А.* В раздумьи: очерки и рассказы из жизни русской интеллигенции. СПб.: В.И. Штейн, 1892. 155 с.
231. *Тихомиров Л.А.* Воспоминания / Центрархив; предисл. В.И. Невского; вступ. ст. В.Н. Фигнер. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. 516 с.
232. Толстовство как секта // Миссионерское обозрение. 1897. Сентябрь-Октябрь. С. 807–843.
233. *Тургенев И.С.* Бежин луг // *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. М.: Наука, 1979. Соч.: в 12 т. Т. 3. С. 86–105.
234. *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. М.: Наука, 1988. Письма: в 18 т. Т. 5. 640 с.
235. *Файнерман И.Б.* Письма к Толстому // Государственный музей Л.Н. Толстого. Отдел рукописей. Ф. 1. 194/8. 194/9. 194/10. 194/11. 194/12. 194/13.

236. *Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Наука, 1976–1985. Соч.: в 18 т. Т. 5, 9. Письма: в 12 т. Т. 4, 5, 10.
237. *Чехова М.П.* Из далекого прошлого. М.: Госполитиздат, 1960. 294 с.
238. *Чуковский К.* Дневник 1930–1969. М.: Совр. писатель, 1994. 558 [2] с.
239. *Щеглов И.Л.* Около истины: повесть в трех письмах // Русский вестник. 1892. № 2. С. 80–141.
240. *Эртель А.И.* Письма. М.: И.Д. Сытин, 1909. 409 с.

УКАЗАТЕЛИ
(составители В.Ю. Свиридов и М.С. Щавлинский)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аверин Б.В. — 9, 129, 137, 365

Авилов Ф.А. — 63

Авилова Л.А. — 59, 63, 367

Авраам, патриарх — 160

Агарин Е.В. — 18, 35, 53, 368

Алданов М.А. — 10, 362

Александр II — 286

Александр III — 20, 23, 113

Алехин Ал.В. — 46, 55, 75, 140

Алехин Ар.В. — 46–47, 49, 55, 75, 140

Алехин М.В. — 46, 51, 55, 62, 69, 75, 140

Амьель А.-Ф. — 299, 302

Андреев Л.Н. — 131, 135

Анисимов К.В. — 88, 365

Анопов И.А. — 245

Антюхин Г.В. — 70, 362

Апухтин А.Н. — 19, 145

Афанасьев В.Н. — 9, 365

Афонин Л.Н. — 146, 365

Б.Г. — 148

Бабореко А.К. — 8, 18, 26, 148, 361, 365

Бакунцев А.В. — 2, 12, 86, 88, 162, 359, 367

Бальмонт К.Д. — 161

Баранов Е.З. — 68, 369

Баратынский Е.А. — 248

Батюшков К.Н. — 86

Батюшков Ф.Д. — 43

Белый А. — 136

Берви-Флеровский В.В. — 39, 50

Березовская А.Е. — 144

Берне Л. — 19

Бернштейн А.З. — 391

Бетховен Л. ван — 248

Бибиков А.Н. — 67

Бизе Ж. — 243

Бирюков П.И. — 38, 51, 65–66

Блок А.А. — 149, 169, 173, 185, 193, 369

Боборыкин П.Д. — 35, 369

Боголюбов С.П. — 146

Бодлер Ш. — 242

Бодянский А.М. — 62

Бонами Т.М. — 9, 365

Бондарев Т.М. — 44, 102

Бондаржевская-Барановская Т. — 247

Бородкин М. — 39, 44, 362

Брокгауз Ф.А. — 42

Брюс Я.В. — 301

Брюсов В.Я. — 161

Будда — 83, 299

Бунин А.Н. (батюшка) — 17

Бунин Е.А. — 79, 122

Бунин Н.И. — 30, 49, 357

Бунин Ю.А. — 14–15, 17–25, 29, 31–33, 46, 50–52, 57, 63–65, 68, 78, 83, 86–87, 92, 109, 117, 120, 182, 243, 366, 368

Бунина В.Н. см. Муромцева-Бунина В.Н.

Буренин В.П. — 39, 244, 362

Буткевич Т.И. — 42, 56, 75, 369

Варвара Владимировна см. Пащенко В.В.

Варламов А.Е. — 323

Варя, Варенька см. Пащенко В.В.

Венгеров С.А. — 33, 42, 62, 362, 369

Вересаев В.В. — 155, 177, 362, 368

Вессель Н.Ф. — 96, 245

Вогюэ М. — 26, 362

Волкенштейн А.А. — 45–46, 52–53, 55–56, 58–59, 61–62, 67–69, 110–111, 116, 140, 357, 369

Волкенштейн Л.А. — 55, 69

Волкенштейн О.С. — 53, 55–56, 61–62

Волков А.А. — 9, 365

Волынский А.Л. — 43, 362

Воробьевы — 23

Врангель Л.С. см. Елпатьевская Л.С.

Врубель М.А. — 344

Вудвард Дж. — 9, 130, 167, 176, 367

Вяземский В.В. — 44

Гайдебуров П.А. — 17

Галаган Г.Я. — 71, 74, 362

Гапон Г.А. — 51, 69

Гартман Э. — 33

Гаршин В.М. — 41

Ге Н.Н. — 83, 113, 115, 274, 276

Гейдеко В.А. — 8, 361, 365

Гейне Г. — 242

Гиппиус З.Н. — 177, 368

Глинка М.И. — 216, 219, 248

Гоголь Н.В. — 24, 86, 93–94, 190–191, 346

Голубева Л.Г. — 14, 29, 360, 386

Гольденвейзер А.Б. — 131, 148, 151, 367

Гольцев В.А. — 117
Гончаров И.А. — 299
Гордиенко Т.В. — 22, 368
Горький М. — 9, 54, 135, 151, 182, 366–367, 369
Грибоедов А.С. — 299
Григ Э. — 246–248
Громека М.С. — 33–34, 39, 362
Грот Н.Я. — 42–43, 362
Гурилев А.Л. — 234
Гурко И.В. — 344
Гусев А.Ф. — 26, 362
Гусев Н.Н. — 63, 362

Давид, царь — 114, 275–276, 295
Давыдова М.К. — 139–140, 368
Даль В.И. — 112, 209, 271, 369
Даргомыжский А.С. — 219
Двинятина Т.М. — 2, 7, 86, 129, 141, 162, 359, 361, 365, 367, 386
Дистерло (Бобринская) Е.Ю. — 94
Дистерло Р.А. — 94–96, 362
Дмитровская М.А. — 310, 365
Достоевский Ф.М. — 37, 142–143, 152–156, 177, 363
Дрожжин Е.Н. — 64–65, 357, 370
Дубовиков А.Н. — 146, 361
Дудченко М.С. — 51–53
Дудченко Т.С. — 51–52
Дунаев А.Н. — 52
Дэвис Р. — 2, 386

Евлампиев И.И. — 72, 362
Ежов Н.М. — 40
Ездра — 113, 272
Елпатьевская Л.С. — 139
Елпатьевский С.Я. — 31
Ефрон И.А. — 42

Жданов В.А. — 61
Желябов А.И. — 18, 21
Женжурист Л.А. — 31, 46–47, 53–54, 368
Живков Н. — 215
Жирмунский В.М. — 150, 162, 368
Жирова О.А. (Colard) — 94
Жуковский В.А. — 125, 172

Загоскин М.Н. — 345–346
Зайцев Д.В. — 12
Заменгоф Л.Л. (псевд. Доктор Эсперанто) — 275
Заньковецкая М.К. — 243
Засядко О.С. см. Волкенштейн О.С.
Златовратский Н.Н. — 37
Зола см. Золя Э.
Золя Э. — 19, 28, 57

Иаков, апостол — 300

Иаков, патриарх — 160

Ибсен Г. — 246–247

Иваненко Д.А. — 66, 369

Иванов Г.В. — 39, 74, 363

Иванова Н.Ф. — 310, 365

Иванов-Разумник Р.В. — 33, 38, 370

Иисус Христос — 34, 67, 71–73, 75–76, 83, 115, 118 ,128–129, 60, 162, 185, 206, 210, 229, 273–274, 276, 291, 297, 319

Ильин И.А. — 203, 365

Ильин Н.Д. — 370

Исаия (Исайя), пророк — 278–279

Иоанн, архиеп. (Шаховской Д.А.) — 70, 370

Иоанн Богослов — 114, 276, 295

Иов — 131, 194–196, 198–199, 349–350, 354

Исаак, патриарх — 160

Кавелин К.Д. — 19

Калиничева З.В. — 38, 368

Кареев Н.А. — 18

Каронин С. (Петропавловский Н.Е.) — 31, 35–37, 44, 54, 370

Катков М.Н. — 37

Келдыш М.А. — 9, 135–138, 151, 365

Клопский И.М. (Клобский) — 31, 51, 53–57, 59, 63, 110–111, 116, 370

Козлов А.А. — 43, 73, 363

Кольцов А.В. — 234

Конт О. — 50

Конфуций — 83

Короленко В.Г. — 14, 31, 35, 37, 41, 43, 74, 363, 366, 370

Коростелев О.А. — 7, 88, 141, 359, 365, 386

Костомарова И.А. — 14, 360, 386

Крамской И.Н. — 39

Кривенко С.Н. — 35–37, 68, 98, 140, 368

Кропоткин Д.Н. — 55

Кропоткин П.А. — 34–35, 39, 370

Крутикова Л.В. — 85, 366

Крылов И.А. — 20, 293

Кузнецова Г.Н. — 80

Куприн А.И. — 139

Куприна-Иорданская М.К. см. Давыдова М.К.

Курепин А.Д. — 40

Куровский В.П. — 78

Кучеровский Н.М. — 8, 20–21, 25, 30, 85–86, 92, 97–98, 102–103, 105, 109, 361, 366

Лавров В.М. — 117

Лавров П.Л. — 34, 50, 363

Лазарев-Грузинский А.С. — 40

Лакшин В.Я. — 40–41, 77, 158, 363, 366

Лао-Цзы (Лаотзи, Лаодзи) — 83, 299

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи — 7

Леонкавалло Р. — 297

Леонтьев Б.Н. — 29–30, 45, 49, 51, 58, 63, 66, 111

Лермонтов М.Ю. — 86, 144–146, 174, 226, 344

Лесков Н.С. — 38, 41, 370

Лидин В.Г. — 121, 360

Линков В.Я. — 8, 361

Липперт Ю. — 296

Лисица Ю.Т. — 203, 365

Листовский И.С. — 26, 363

Лопатин Г.А. — 18

Лопатина Е.М. — 141, 144, 160, 365

Льюис Д.Г. — 50

Лютер М. — 114

Магомедова Д.М. — 177, 368

Мазини А. — 243–244

Майков А.Н. — 145

Макаров П.С. — 226

Маклаков В.А. — 28, 36, 42, 47, 70, 74–75, 367

Маковицкий Д.П. — 83, 151–152, 367

Маликов А.К. — 35–36

Малиновский Н.А. — 50

Мальцев Ю.В. — 9, 21–22, 85, 107, 129–130, 132, 136–138, 148, 201, 366

Марк Аврелий — 114, 275

Маркс К. — 267, 363

Матвеева И.Ю. — 72, 362

Мелкова А.С. — 157, 361

Мережковский Д.С. — 136, 142–144, 152–155, 166, 363

Мертваго А.П. — 35, 370

Милль Д.С. — 50

Минский Н.М. — 114, 363

Миролюбов В.С. — 161

Михайлов А.Д. — 18

Михайлов О.Н. — 8–9, 14, 360–361, 366, 386

Михайлова М.В. — 12

Михайловский Н.К. — 26–27, 32, 34, 72, 98, 112–113, 271, 363

Мищенко Ф.А. — 51

Моисей — 72, 83, 160

Морозов С.Н. — 2, 4, 7–8, 12, 14, 86, 88, 115, 162, 359–361, 366–367, 386

Муромцев Н.А. — 144

Муромцева В.Н. см. Муромцева-Бунина В.Н.

Муромцева-Бунина В.Н. — 13, 15, 18, 49, 59, 63, 66, 87, 94, 139, 141, 144, 146, 177, 368

Набоков В.В. — 9, 129, 137, 365

Надсон С.Я. — 15–16, 19, 96, 145, 244

Назаров Е.И. — 22, 360

Найденов С.А. — 142

Невский В.И. — 370

Некрасов Н.А. — 144–145, 227, 294

Никанор, архиеп. (Бровкович А.И.) — 26–27, 39, 363

Николай, цесаревич (Николай Александрович Романов) — 245

Нинов А.А. — 9, 366

Ницше Ф. — 43, 142–144, 152, 155, 362, 364

Новицкая П. — 43

Новоселов М. — 36, 70

Обатнина Е.Р. — 12

Оболенский Л.Е. — 40, 363

Обольянинов Л.А. — 29, 376

Оголевец В.С. — 31, 368

Оголевец С.Я. — 31

Осипович (Новодворский А.О.) — 20

Павел, апостол — 113, 273, 300, 303

Паскаль Б. — 114, 301

Пащенко В.В. — 19–20, 23–24, 28–30, 57, 61, 65, 67, 79–80, 95, 123–124

Перовская С.Л. — 18, 21

Петр I (Первый) — 251, 301, 331

Пешехонов А.В. — 32

Писарев Д.И. — 19

Плеханов Г.В. — 29, 363

Плещеев А.Н. — 24

Победоносцев К.П. — 47

Поленц В. — 145

Полонский В.В. — 2

Полонский Я.П. — 19, 145

Попов Е.И. — 53, 64, 370

Преображенский Ф.П. — 26, 364

Прокофьева Т.О. — 4, 391

Протопопов М.А. — 26–27, 364

Пругавин А.С. — 41, 364

Пушкин А.С. — 14 ,144–145, 219, 226, 286

Пыпин А.Н. — 34, 370

Раевский И.И. — 28, 30

Разумовский А. — 26–27, 364

Райхесберг Н. — 43

Ремизов А.М. — 203, 365

Репин И.Е. — 29, 59, 368

Роллан Р. — 17

Рубинштейн Н.Г. — 251

Русанов Г.А. — 58, 362, 368

Садовский Н.К. — 243

Салтыков-Щедрин М.Е. — 39, 363

Седых А. (Цвибак Я.М.) — 84, 368

Селитренников М.И. — 68

Семенов С.Т. — 44, 59, 147, 368

Сен-Санс К. — 247

Серегина С.А. — 12

Симонсон М.Ф. — 51–53

Скабичевский А.М. — 19–20, 34, 57, 94–96, 108–109, 121, 364

Скафтымов А.П. — 44, 368

Сковорода Г.С. — 70

Скороходов В.И. — 62

Сливицкая О.В. — 9, 15, 137–138, 150 ,166, 202, 367

Слоним М.Л. — 80

Слонимский Л.З. — 32, 34, 39 ,364

Собенников А.С. — 44, 369

Соловьев А.Е. — 26–27

Соловьев Вл.С. — 33–34, 43, 150, 160–162, 176, 370

Соловьев Е.А. — 32–33, 35, 364, 370

Соловьев К.А. — 35, 369

Сологуб Ф. — 152

Спивак М.Л. — 12

Спивак Р.С. — 8, 361–362

Стасюлевич М.М. — 266

Стахович М.А. — 157

Степанов А.Д. — 4

Страхов Н.Н. — 43, 73, 364

Суворин А.С. — 24–25, 60

Сумбатов-Южин А.И. — 156

Сухих И.Н. — 4

Сфорца Людовико Мария (Людовико Моро) — 7

Телешов Н.Д. — 59, 146, 154, 157, 361

Тенеромо И. см. Файнерман И.Б.

Теплинский М.В. — 52–53, 56, 62, 67, 69, 369

Тертуллиан — 295

Тихомиров Л.А. — 34, 39, 47, 370

Толстая А.Л. — 42, 152

Толстая М.Л. — 299

Толстая С.А. — 48, 55, 75

Толстой А.К. — 145–146, 271

Толстой С.Л. — 41, 368

Томашевский Б.В. — 167

Трегубов И.М. — 69–70

Тургенев И.С. — 18, 86, 92, 142, 148, 181–182, 191, 370

Тынянов Ю.Н. — 158

Тютчев Ф.И. — 125, 145

Успенский Г.И. — 36, 104

Файнерман И.Б. (Фейнерман) — 46, 49–51, 54–56, 60, 62, 65, 67, 69, 75–76, 82–83, 110, 153, 364, 369–370

Файнерман Э.Б. — 62

Федоров А.М. — 139–140, 142

Фейербах Л. — 72

Фет А.А. — 19, 145, 172, 181, 247
Фигнер В.Н. — 370
Фигнер Н.Н. — 243–244
Флавий Арриан — 275
Фонвизин Д.И. — 191, 343
Фофанов К.М. — 19 ,113, 273

Хавергал Ф.Р. — 114, 275
Хилков Д.А. — 38, 64

Цакни А.Н. — 141–142
Цебрикова М.К. — 19–20, 23
Цертелев Д.Н. — 43, 364
Цыганов Н.Г. — 323

Чайковский П.И. — 247
Чернышевский Н.Г. — 23, 87, 89
Чертков В.Г. — 38, 42, 69
Чехов А.П. — 8, 10, 16, 18–19, 21, 24, 40–41, 44, 60, 109, 143, 148, 157–158, 161, 166, 181–182, 186, 197, 203, 214, 287, 310, 360, 363, 365–366, 368–369, 371
Чехова М.П. — 161, 310, 371
Чисников В.Н. — 47, 51–52, 70, 369
Чуковский К.И. — 142–143, 152–153, 371

Шекспир В. — 286–287
Шелгунов Н.В. — 19–20, 33–34, 36, 40, 57, 364
Шелехов Б.П. — 16–17, 58, 357
Шестов Л. (Шварцман Л.И.) — 142–144, 152–155, 179, 189, 194, 364
Шиллер Ф. — 287
Шиловский К.С. — 214
Ширмаков П.П. — 48, 367
Шмелев И.С. — 203, 365
Шруба М. — 141, 365
Ширков В.Ф. — 216

Щавлинский М.С. — 12, 161, 367, 372
Щеглов И.Л. (Леонтьев И.Л.) — 37, 44, 371
Щеглов Н. — 295

Эйхенбаум Б.М. — 50, 364
Элиасберг Г.А. — 50, 62, 65, 369
Энгельгардт А.Н. — 35
Энгельс Ф. — 298
Эпиктет — 114, 275
Эртель А.И. — 41–43, 372
Эспозито Н.П. — 146

Юзефович Б.М. — 29, 364
Юнг К.Г. — 203
Юргенс Е.Е. — 23

Dupierreux R. — 157, 367
Woodward J. см. Вудвард Дж.

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Америка см. США
Арбат — 10, 142, 156, 357
Баальбек — 205
Байрачный — 46, 51
Бахмач — 53
Бегичевка — 30, 46
Белгород — 64
Берн — 43, 244
Брюссель — 157
Вильно — 43
Владимирская губерния — 69
Воронеж — 18, 64–65, 212
Воронежская губерния — 140
Гаспра — 143
Гималаи — 107
Глотово — 79
Горлово — 49
Грасс — 80, 141
Египет — 278–279
Елец — 89, 93, 214, 360
Елисаветград — 69
Епифанский уезд — 29–30, 46, 49
Епифань — 159–160
Ефремов — 16, 357
Женева — 32, 110, 268, 299
Женевское озеро — 78–79, 169–171, 174, 360
Задонск — 159–160
Закавказье — 69
Западная Сибирь см. Сибирь
Зеньковский уезд — 52
Иерусалим — 103, 212, 221
Истра — 212
Кавказ — 62, 105, 139–140, 188
Казань — 101
Карнак — 107
Карфаген — 295
Клекотки — 49
Клозон — 141
Константинополь — 344
Коровий верх — 93
Крым — 17, 143
Курск — 23, 310
Кутаисская губерния — 69
Курская губерния — 64
Лидс — 141, 365
Липецк — 18
Милан — 8, 297
Минск — 53
Москва — 2–3, 18, 36, 56, 59, 63, 68, 96, 140–141, 144, 156, 199, 212, 244, 274, 301, 311, 332, 357–358, 385–386, 392
Нижний Новгород — 35, 54

Нил — 107

Новоселки — 93

Огневка — 122

Одесса — 69, 78, 82, 141–142

Озёрки — 19–20, 63

Орел — 29, 32, 243, 317, 386

Орловка — 46

Орловская губерния — 122, 133

Палестина — 205

Париж — 139, 144, 247, 267, 274

Петровско-Разумовское село — 311

Петропавловская крепость — 69

Петховцы (Петковицы) — 70

Пловдив — 344

Приморские Альпы — 141

Подмосковье — 212

Полтава — 10–11, 22–23, 29–32, 35, 45–47, 49–56, 58, 60, 62–63, 66–69, 75, 80–82, 97, 111, 119–124, 129, 140, 156, 164, 204, 368–369

Полтавская губерния — 52, 56, 66, 287, 369

Римская (Северная) Африка — 295

Рязанская губерния — 29–30, 46

Сан-Стефано — 344

Санкт-Петербург — 4, 17, 52, 68, 104, 111, 113, 133–135, 137–141, 227, 242–245, 266, 274, 284, 297–298, 386

Сахалин — 24, 69

Севастополь — 13

Сербия — 70

Сибирь — 100, 118, 289, 306

Скопинский уезд — 30, 46

Смоленск — 51

Смоленская губерния — 46

София — 344

Средиземное море — 205

США — 55, 111, 271

Таити — 107

Тверская губерния — 36, 46

Тульская губерния — 30, 46, 49

Урал — 306

Фивы — 107

Флоренция — 100

Франция — 14

Хамовники — 59, 61, 68, 357

Харьков — 16, 22–23, 42, 55, 96, 140, 204, 287

Харьковская губерния — 46, 52, 58, 96, 140

Хилково — 58, 140

Храмова гора — 212

Царицыно — 141

Черное море — 68, 131, 168, 170

Чечня — 133

Швейцария — 78, 299

Шевелево — 51

Шлиссельбургская крепость — 55

Ясная Поляна — 16, 25, 34, 37, 50, 58, 62, 74–75, 290, 357, 368

Bruxelles — 157, 367

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А. БУНИНА

Автобиографическая заметка — 15, 68

Антоновские яблоки. Картины из книги «Эпитафии» — 77, 79, 127, 159, 163, 359

Астма — 5–6, 12, 156, 174, 182–198, 200–201, 205, 331, 359

Байбаки — 107, 109, 127

Без роду-племени — 121–125, 359

Белая лошадь см. Астма

Белая смерть см. Астма

Божьи люди см. Два странника

В августе — 52, 164–165, 359

В деревне. Из детских воспоминаний — 6, 126–127, 304, 359

В костеле («Гаснет день — и звон тяжелый...») — 128

В лесах — 108

Вести с родины см. Неожиданность

Вечное («Не устану воспевать вас, звезды!..») — 174

Воспоминания — 13, 203, 359

Два странника — 6, 86–88, 90, 180, 200, 206, 359

Дементевна см. Федосевна

День за день. Старая история — 6, 12, 88–90, 110, 117, 206, 214, 359

Деревенский эскиз см. Танька

Деревенский нищий ((«В стороне от дороги, под дубом...») — 15

Деревня — 180, 201

Жизнь Арсеньева — 14–15, 20–21, 107, 113, 164, 359, 366

Заря всю ночь см. Свиданье

Звезды см. Вечное

Из повести см. Астма

Канун Купалы («Не туман белеет в темной роще…») — 176

Кастрюк — 81, 98, 103–104, 130, 359

Кукушка — 5–6, 177–182, 317, 359

Курган («Любил он ночи темные в шатре...») — 174

Лесная дорога («В березовом лесу, где распевают птицы...») — 175

Мать («И дни и ночи до утра...») — 147

Мелкопоместные: Очерки из жизни елецких помещиков — 86, 92–94, 360

На даче — 5–6, 108–111, 114–120, 140, 164–165, 204, 261, 311–312

На Женевском озере — 78–79, 163, 169–171, 174, 201, 360–361

На кладбище. (Сонет) («Я девушкой, невестой умерла...») — 175–176

На край света — 86, 126, 128, 269

На охоте см. «Не видно птиц. Покорно чахнет…»

На распутье («На распутье в диком древнем поле...») — 173

На хуторе — 81, 98, 104–105, 108, 116, 168, 173, 360

На чужой стороне см. Святая ночь

Над городом — 158–160, 162–163, 194, 360

Над могилой Надсона — 15

Надежда — 158, 163–164, 360

«Не видно птиц. Покорно чахнет…» — 151

Неожиданность — 98, 100–102, 109, 159, 360

«Неуловимый свет разлился над землею…» — 129

Нефедка — 86, 88, 128, 360

Новая дорога — 133–135, 159, 194, 200, 360

Новый год — 158, 162–163, 360

Ночь («Ищу я в этом мире сочетанья...») — 174

Ночь и день («Старую книгу читаю я в долгие ночи...») — 147, 171

О Толстом — 76, 360

О Чехове — 197, 360

Огни небес («Огни небес, тот серебристый свет…») — 175

Освобождение Толстого — 13, 15, 17, 31, 42, 45–46, 49, 51–52, 54, 56, 58–61, 66–68, 76–77, 80–81, 83, 88, 110, 112–113, 116, 133, 141–142, 144, 153–154, 162, 185, 190, 196, 199–200, 203, 360, 386

Осень («Таинственно шумит ночная тишина…») — 169

Осенью — 168

Оттепель («Еще и холоден и сыр...») — 172

Первая любовь: Из воспоминаний детства — 90–92, 360

Перевал — 106, 109, 120, 148, 163, 167, 360

Песнь о Гайавате — 147–148, 357

Под тучей см. «Полями пахнет, — свежих трав…»

Поздней ночью — 158, 161–162, 360, 367

Поздний час — 168

«Поздний час. Корабль и тих и темен…» — 129

«Полями пахнет, — свежих трав…» — 172

Помещик Воргольский. Из очерков «Старое и новое» — 94–96, 108, 113, 360

Портрет («Платан, часовенка над склепом...») — 176

Поэт-самоучка. По поводу стихотворений Е.И. Назарова — 22, 360

Прощание («Поблекший дол под старыми платанами...») — 152

Руда. Из книги «Эпитафии» — 107

Свиданье — 6, 148–150, 161, 188, 310, 360, 365

Святая ночь — 107, 127–128, 360

Скит — 78, 129–130, 170, 175–176, 361

Смерть («Спокойно на погосте под луной...») — 175

Сосны — 129, 131–133, 162, 170, 176, 182, 186, 361

Сутки на даче см. На даче

Суходол — 201

Счастье см. Свиданье

Танька — 48, 98–101, 104, 109, 147, 357, 359

Тарантелла — 6, 96–97, 109, 121, 158, 219, 345, 361

Темные аллеи — 196

Тишина см. На Женевском озере

Туман — 131, 166–169, 170–171, 174, 182, 201, 361

Туман на море см. Туман

Увлечение — 85–87, 91, 361

Угасшие звезды см. Огни небес

Учитель см. Тарантелла

Фантазер см. На хуторе

Федосевна — 180

Храм Солнца — 205

Цикады — 168

«Христос воскрес! Опять с зарею…» — 129

Шаман и Мотька — 86

Эпитафия см. На кладбище. (Сонет) — 175

Эпитафия см. Руда. Из книги «Эпитафии»

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. ТОЛСТОГО

Анна Каренина — 11, 14, 32–33, 43, 56, 64, 71, 80, 85, 95, 133–134, 155, 200, 358

В чем моя вера? — 32, 61, 71–72, 76, 80, 88, 118, 127, 160, 291, 297, 358

В чем счастье? см. В чем моя вера?

Власть тьмы — 11, 28, 39, 156, 184

Война и мир — 11, 13, 19, 25–26, 32, 37, 71, 80, 85, 91, 132, 155, 171, 176, 181, 188–189, 191, 193, 358

Воскресение — 11, 146, 154

Детство — 13, 87, 90, 358

Живой труп — 163

Записки сумасшедшего — 120, 169

Ильяс — 194

Исповедь — 32, 58, 71–74, 88, 102, 107, 120, 130, 358, 362

Исследование догматического богословия — 71, 358

Казаки — 11, 15, 77, 105, 132–133, 162, 171, 199, 358

Краткое изложение Евангелия — 58, 73

Крейцерова соната — 11, 23–28, 43, 57, 88–90, 103, 163, 358, 362–364

Круг чтения — 200

Метель — 88, 358

Много ли человеку земли нужно? — 184

Мысли, вызванные переписью в Москве см. О переписи в Москве

Неделание — 75, 101

Новое Евангелие см. Краткое изложение Евангелия

О жизни — 43 ,363–364

О жизни и смерти — 157

О переписи в Москве — 141, 144, 155, 358

О сознании духовного начала — 131

Отрочество — 13, 87, 90, 112, 358

Плоды просвещения — 28

Поликушка — 5, 11, 177–178, 181, 358

Послесловие к «Крейцеровой сонате» — 23–28, 57, 358, 364

Путь жизни — 60, 358

Ручной труд и умственная деятельность: Из письма французу — 17

Севастополь в мае см. Севастопольские рассказы

Севастопольские рассказы — 13, 87, 359

Смерть Ивана Ильича — 43, 88, 94, 197–198, 359

Три смерти — 130

Хаджи-Мурат — 131, 188, 359

Хозяин и работник — 11, 68, 88, 103, 132, 169, 359, 365

Холстомер — 188

Царство Божие внутри вас — 69, 162, 359

Что такое искусство? — 157

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища

ОГЛМТ — Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева (Орел).

ОР ГМТ — Отдел рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) (Санкт-Петербург).

Печатные источники

Летопись 1 — Летопись жизни и творчества И.А. Бунина. Т. 1: (1870–1909) / сост. С.Н. Морозов; науч. ред. О.Н. Михайлов. М.: ИМЛИ РАН, 2011.

Летопись 2 — Летопись жизни и творчества И.А. Бунина. Т. 2: (1910–1919) / сост. С.Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2017.

ЛН–84 — Литературное наследство. Т. 84: Иван Бунин: в 2 кн. / ред. А.Н. Дубовиков, С.А. Макашин. М.: Наука, 1973.

ЛН–110 — Литературное наследство. Т. 110: И.А. Бунин. Новые материалы и исследования: в 4 кн. / ред.-сост. О.А. Коростелев, С.Н. Морозов. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2019; Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2022.

ОТ — Бунин И.А. Освобождение Толстого. Париж: YMCA-Press, 1937.

П 1 — Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов / под общ. ред. О.Н. Михайлова; подгот. текстов и коммент. С.Н. Морозова, И.А. Костомаровой, Л.Г. Голубевой. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

П 2 — Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов / под общ. ред. О.Н. Михайлова; подгот. текстов и коммент. С.Н. Морозова, Р.Д. Дэвиса, И.А. Костомаровой, Л.Г. Голубевой. М.: ИМЛИ РАН, 2007.

ПСС — Бунин И.А. Полное собрание сочинений: в 6 т. Пг.: Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1915. (Бесплатное приложение к журналу «Нива»).

Стих. — Бунин Ив. Стихотворения: в 2 т. / вступ. ст., сост., подг. текста и примеч. Т.М. Двинятиной. Т. 1. СПб: Изд-во Пушкинского Дома, «Вита Нова», 2014.

Т — Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1928–1958.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 7

Chapter One
EARLY YEARS: TOLSTOYANISM AND THE CHOICE OF PATH 13

1. Spiritual Affinity and the First "Non-Meetings". 13

2. Choosing Beliefs: The Path from Narodnichestvo to Tolstoyanism and Back . 18

3. Tolstoyanism in the Life of Russian Society in the 1880s–1890s. 31

4. Bunin the Tolstoyan: "Not to Be Completely Simplistic". 48

5. Tolstoy's Teachings in Bunin's Mind. 71

Chapter Two
TOLSTOYAN MOTIFS IN THE EARLY WORKS OF IVAN BUNIN 85

1. Ahead of Tolstoy: The Closeness of Literary Worldviews 86

2. Tolstoyan "Tone" and Tolstoyanism as a Theme 90

3. Tolstoyanism or Narodnichestvo? Stories from *Russkoe bogatstvo*. 97

4. "Na dache" [At the Dacha]: A Story about a Tolstoyan or a Tolstoyan Story? . 108

5. Life and Literature: The Letter of 1896.. 121

6. Rethinking Tolstoy's Legacy: Works of the Second Half of the 1890s 126

7. Modernism and Neorealism.. 135

Chapter Three
BUNIN THE INNOVATOR AGAINST THE BACKDROP OF LATE TOLSTOY:
THE 1900S. 139

1. Liberation from Tolstoyanism: Divergence from Tolstoy. 139

2. The Systemic Restructuring of Bunin's Poetics: The Dissolution of the
Ideological and the Disappearance of Tolstoyan Maxims 158

3. "The Commandment of Joy" in Bunin's Poetry. 171

4. Rewriting Tolstoy. "Polikushka" and "Kukushka". 177

5. Tolstoy's Idea in a Modernist Context: The Story "Asthma" 182

CONCLUSION 202
APPENDIX 1. Stories by Ivan Bunin (Texts of the First Publications) 206
Dva strannika 206
Den' za den'. Staraia istoriia 214
Tarantella (Iz zhizni derevenskoi intelligentsii) 219
Na dache 261
V derevne. Iz detskih vospominanii 304
Svidanie 310
Kukushka 317
Asthma 331
APPENDIX 2. Chronicle of Personal Meetings (Including "Non-Meetings") and Correspondence Between I.A. Bunin and L.N. Tolstoy 357
BIBLIOGRAPHY 358
Indexes 372
Index of Names 372
Index of Geographical Names 380
Index of Works by I.A. Bunin 382
Index of Works by L.N. Tolstoy 385
List of Abbreviations 387

A.M. GORKY INSTITUTE OF WORLD LITERATURE
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Series
“Academic Bunin”

Editorial Board
ANTON V. BAKUNTSEV, TATIANA M. DVINYATINA,
RICHARD D. DAVIES, SERGEY N. MOROZOV,
VADIM V. POLONSKY, EVGENY R. PONOMAREV

5

Evgeny R. Ponomarev

I.A. BUNIN and L.N. TOLSTOY (1880s–1900s)

MOSCOW
IWL RAS
2026

https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0871-4

The monograph was prepared at the A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences under a grant from the Russian Science Foundation (Project No. 22-18-00347).
The publication was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation (Project No. 22-18-00347-II).

Approved for publication by the Scientific Council of
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences

Series
"Academic Bunin"

5

APPOINTED REVIEWERS:

Sergey N. Morozov, PhD in Philology, Senior Researcher,
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences

Andrey D. Stepanov, DSc in Philology, Professor,
St. Petersburg State University

Igor N. Sukhikh, DSc in Philology, Professor,
St. Petersburg State University

Ponomarev, Evgeny R.
I.A. Bunin and L.N. Tolstoy (1880s–1900s). Moscow, IWL RAS Publ., 2026. 392 p. (Academic Bunin; 5). (In Russian)
https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0871-4
ISBN 978-5-9208-0871-4

Abstract: This monograph presents the results of the research devoted to the constant presence of Leo Tolstoy's personality and work in the creative consciousness of Ivan Bunin. The study covers the period from the beginning of Bunin's literary career until Tolstoy's death (from the late 1880s to 1910; personal and creative ties essentially ended in the first half of the 1900s; after the great writer's death, Bunin's attitude towards him would reach a new level). The study examines the personal relationships between the writers, Tolstoyan motifs in Bunin's early work, and the plot features of some of Bunin's works, in which he attempts to "rewrite Tolstoy."

Keywords: I.A. Bunin, early works, L.N. Tolstoy, Tolstoyanism, narodnichestvo, poetics, prose, plot theory, artistic styles, rewriting of the classics



This is an open access book Distributed under
the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 (CC BY-ND)

ISBN 978-5-9208-0871-4 (Issue 5)
ISBN 978-5-6043382-4-7 (Issue 1)

© E.R. Ponomarev, text, 2026
© T.O. Prokofieva, design, 2026
© IWL RAS, 2026

Научное издание

Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук

Серия «Академический Бунин»

5

Е.Р. Пономарев

И.А. БУНИН И Л.Н. ТОЛСТОЙ
(1880-е — 1900-е годы)

Оформление обложки Т.О. Прокофьева

Компьютерная верстка А.З. Бернштейн

Подписано в печать 06.10.2026.
Формат 70 × 100/16. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 24,5
Тираж 100 экз.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук
121069 г. Москва, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1
Тел. (495) 690-05-61

ISBN 978-5-9208-0871-4